ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЛОНЫ И КРУЖКИ

ACADEMIA

ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЛОНЫ

ACADEMIA

ACADEMIA

ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЛОНЫ И КРУЖКИ

Первая половина XIX века

Редакция, вступительная статья и примечания
Н. Л. БРОДСКОГО

ACADEMIA
Москва ~ Ленинград
MCMXXX

Титул, переплет и супер-обложка по рисункам худ. И. Ф. Рерберг.

Отпечатано в Центр. тип. НКВМ
в количестве 5000 экз., 37 л.
Ленинградский Област-
лит № 32559

Идеологические потребности русского дворянства наряду с другими формами своего выражения уже в XVIII веке вызвали к жизни значительное количество салонов и кружков—политических, литературных, театральных, музыкальных. В этом сборнике представлен материал, преимущественно посвященный литературным об'единениям. Сложные процессы социальной жизни разлагали общедворянскую организацию на различные группы, расходившиеся между собой по экономическим, культурно-бытовым признакам, отличавшиеся друг от друга идейными интересами, в частности эстетическими вкусами. Борьба за эти интересы, коренящиеся в ближайшую очередь в разнообразных оттенках общественной психологии дворянских группировок, определяла, как известно, шумную и пеструю литературную действительность XIX века. Процесс социальной дифференциации командующего класса еще резче стал обнаруживаться с выходом на историческую арену под влиянием растущего капитализма новой общественной силы—разночинной интеллигенции, рекрутировавшейся из духовенства, купечества, служилых профессий, крепостного звания и поставлявшей литераторов, журналистов, профессоров, художников, актеров и т. д. Уже в первой четверти XIX века к внутриклассовым столкновениям дворянской группы присоединяются схватки между детищами дворянских гнезд и пестрой по составу разночинной группой. Различное содержание вкладывают в политическую лирику Пушкина 20-х годов либеральные единомышленники поэта и студенты-медики без дворянского паспорта. В 30-х го-

дах купец Полевой и цензор-профессор из крепостных Никитенко остро сознают свою отчужденность от тех, кто гордится „шестисотлетним дворянством". Термин „литературная аристократия", печатно пущенный в те же годы булгаринской группой, наглядно вскрывал социальную разнородность и определял причины общественно-литературной полемики журналистов 30-х годов. Плебей Белинский имел другую аудиторию, чем „Библиотека для чтения" барона Брамбеуса. Горожанину-бедняку Достоевскому было тесно и душно в литературном салоне светской, обеспеченной пишущей братии. В середине 50-х годов разрыв между барской и разночинной группами, питаемый всем комплексом хозяйственной и социально-политической жизни, стал неизбежен. На этом моменте, накануне классовых схваток обеих групп и дальнейших перипетий литературной борьбы заканчивается наш сборник, характеризующий также правое и левое крыло буржуазно-демократической идеологии 40—50-х годов—молодую редакцию „Москвитянина" во главе с Аполлоном Григорьевым и радикальные кружки Дурова, Рыбникова.

— Смена классов и социальная диффузия наличных общественных группировок довольно отчетливо выступают в представленном материале.

От великосветского салона к разночинскому кружку, от аморфного литературного об'единения, быстро распадающегося вследствие различных интересов его участников, к долговременному существованию группы, связанной общностью работы в журнале, газете — таков путь салонно-кружковых организаций первой половины XIX века.

Салон—исключительная принадлежность крупно-поместного барства и во всяком случае родовитого или богатого столичного круга—об'единяя людей по их клас-

совому родству, был оформлением эстетических вкусов дворянского быта, выполнял украшающую функцию жизни знатного и богатого слоя. Между салоном Зинаиды Волконской и салоном А. Елагиной нельзя провести резкой разницы: если в первом первоклассные таланты пленяли слушателей своими поэтическими творениями в стихах и прозе, импровизировали, играли и пели, во втором выдающиеся умы блистали перед слушателями своими ораторскими дарованиями, красноречиво касаясь всевозможных вопросов, не задевающих, однако, основ социального бытия собравшейся аудитории. В салоне могли быть выходцы из других классов сравнительно с господствующей публикой, но они или услаждали своим искусством знатного хозяина с гостями и с окончанием вечера прекращалась их связь с колонной залой, или занимали особое место, не сливаясь с другими посетителями салона (как это было у князя В. Ф. Одоевского или у графа В. Соллогуба). В салоне собирались для развлечения, для светской тренировки ума и чувств, для умственного спорта—избранные для обмена внутренним богатством, которому не было иного приложения при отсутствии соответствующих политических учреждений.

Кружки были об'единениями, где участники—нередко при различии социального происхождения—сходились на какой-либо общей платформе, однородной работе. Разноклассовость состава давала перевес одной группе над другой: в первые десятилетия разночинец временно подпадал под влияние дворянской идеологии, в 40—50 годах XIX века он крепче стоял на своих ногах, властно подчиняя себе выходцев из дворянских усадеб в связи с победным ходом тех процессов социальной жизни, которые вели к экономическому разорению и ко всяческой ликвидации поместного быта. Кружки, выражая рост общественной мысли всех социальных групп кроме за-

крепощенного крестьянства (с подневольным в первой половине XIX века фабрично-заводским пролетариатом) и малокультурного городского ремесленного мещанства, служили организаторами их идеологии, часто имели свои печатные органы, были местом встреч людей, сходившихся для делового уяснения волнующей темы, для разрешения идеологических контроверз, для проведения в профессиональной практике общей идеологической воли. Кружки с меньшей идейной напряженностью, не ставившие задач выработки определенного мировоззрения или воздействия на общественную среду, также были групповыми об'единениями, намеренно отграничивавшими себя от других группировок и в этой кажущейся пассивности выполнявшими роль активного противодействия инакомыслящим из другого социального лагеря (таковы в 40-х годах кружки Вельтмана, Глинки). Различия в классовом подборе членов кружков придавали своеобразное типологическое лицо кружковым заседаниям. В дворянских кружках и в начале века было больше забавы, игры в литературу (Арзамас), и в 30-х годах богемный характер определял сборища Нестора Кукольника, и в последующие десятилетия барственное сибаритство бросалось в глаза разночинцу—посетителю тех об'единений, где задавали тон его классовые антагонисты. Те же различия, определяемые социальным составом участников, можно отметить между кружком молодой редакции „Москвитянина" и кружком Иринарха Введенского. Само собой разумеется, что часы досуга посвящались развлечениям и там, где действенным фактором были разночинцы вроде Белинского, иногда проводившего вечера за карточным столом, но забава там носила характер отдыха после трудового дня, а не занимала главенствующего места, что, повидимому, доминировало на собраниях у Ф. Толстого.

Особенностью литературных кружков было то, что наряду с чисто литературными вопросами неизменно возбуждались на собраниях вопросы иного порядка, литературные темы обсуждались на широком фоне общих проблем—социальных, философских, и не раз заострение „внелитературной" тематики вызывало крушение литературного об'единения. Молодые участники Дружеского литературного общества, поставившие целью „образование себя в литературе, особенно в русской", нередко разрушали „дух благий дружества" спорами о вопросах, касавшихся не только „критики и опровержения беллетристических пиэс". Андрей Тургенев, один из организаторов кружка („Корифей"), с сокрушением спрашивал своих товарищей: „Отчего говорим мы так часто о вольности, о рабстве, как будто бы собрались здесь для того, чтобы разбирать права человека? Какую пользу можем получить мы, касаясь иногда в спорах наших до самой религии, о которой здесь, по моему мнению, никогда бы упоминать не должно? Все сие, как мы видели уже из опытов, бывает токмо источником неудовольствий, которые хотя и не могут долго продолжаться, но всегда, по крайней мере на несколько минут, без всякой нужды нарушают согласие нашего соб ания, затмевают в нас светлый луч единодушия и радости и со всем тем не приносят ни малейшей пользы".

Вторжение политической тематики в безобидные шутки по адресу литературных староверов прекратило существование Арзамаса. Под'ем общественных настроений в дворянской среде 20-х годов подрезал философские увлечения любомудров и направил их интересы к политическим событиям. В кружках 40-х годов политические вопросы начинают преобладать—явный показатель социальных сдвигов, перемещения общественных сил. На при-

знании за литературным об'единением организующего социального фактора, классовой ячейки, заготовляющей взрывчатый материал против вражеского лагеря, или спокойно созерцательного уюта друзей „чистого искусства", сторонящихся черни с ее практическими заботами, все чаще возникали расхождения между писательскими группами.

Изменения в положении аристократической верхушки дворянства вызвали явный упадок салонов в 40—50 годах. Блестящий расцвет салонной жизни падает на 20-е, начало 30 годов. Социальный кризис 30—50 годов, вызвавший многосторонние проявления общественной психоидеологии, сказался на росте литературных кружков, их дифференциации, причем слабое развитие общественно-политических форм и становление наиболее развитых выражений общественной мысли почти преимущественно в замкнутой социальной группе приводило к тому, что представители различных идеологий при невозможности найти им практическое применение нередко встречались друг с другом в разных домах, не разрывая связей при различии убеждений. Так как салонно-кружковые разногласия переходили на университетскую кафедру (лекции Грановского, Шевырева), имели отражения в журналистике (Московский Телеграф, Московский Вестник, Москвитянин и т. д), то по понятным причинам кружковая жизнь получала сильные толчки к своему развитию в городских центрах.

Есть любопытное свидетельство обозревателя общественной жизни Москвы 40-х годов, отмечающее этот рост литературных собраний в частных домах, как характерное явление столичного общества: „В настоящую минуту литературные споры и интересы играют в Москве значительную роль. Самое общество, прежде довольно равнодушное к тому, что происходило вне его обширного

и вместе тесного круга, начинает принимать в них живое участие. Чино и честолюбие никогда не увлекало Москвы, да и не могло быть удовлетворено в ней. Любостяжанием Москва также не отличалась: сюда с издавна приезжали не копить деньги, а проживаться. Интересы сосредоточивались: для молодых—в танцах, для пожилых—в картах, для тех и других по мере сил в сплетнях и слухах.

Но с некоторых пор и танцы, и сплетни, и зеленые столы начинают, кажется, терять прежнюю свою занимательность: теперь танцуют нехотя, сплетничают изредка, да и самые карты уже не во всех домах составляют непременное, как во время оно, условие общежительности. Все это начинает надоедать, ко всему этому вкус притуплен: мы разучились по-прежнему веселиться — что очень жаль, но разучились и злословить по прежнему—что очень хорошо. В клубах и в избранных домах ведут еще сильную игру, но даже и тут замечена перемена: нет прежних игроков без проигрыша, нет прежних ставок, от которых тысячи—не одних рублей, но и душ—летели из рук в руки. Что это значит? Уж не наступает ли для нас зрелый возраст? В танцах у нас передвигают ноги и говорят о Жорж Занд, а ломберные столы сменились разговорами „о Байроне и о матерьях важных". Давно ли разговорное общество считалось редкостью, а где теперь и у кого нет литературных вечеров и даже чтений? Есть ли день в неделе, который прошел бы без светски-литературного сборища? Эта страсть собирать ученых людей и подчивать ими не ученых иногда даже переходит в манию: литераторы, артисты, профессоры часто не знают, куда им ехать, как отвечать на все зовы, и не один из них вправе повторить французско-нижегородское выражение: On se me l'arrache... Правда, бывало и прежде, что светское общество посещало публичные

лекции: это время попечительства Муравьева, время мерзляковских чтений. Но между такими эпохами какие продолжительные перерывы! Ездили на лекции предложенные, но не вызывали новых. Тогда публичные курсы были делом случайным, чисто личным Теперь же они — дело общественное. Здесь скрывается неимоверная разница. В настоящую минуту публичные курсы, можно смело сказать, сделались потребностью значительной части московского общества, они для этой избранной части так же необходимы, как театр, как концерты, как чтение французских романов. Это больше чем мода: это одно из условий общественной жизни. Дамы, сановники, светская молодежь, одни по собственному влечению, другие из подражательности, толпою посещают лекции любимых профессоров, даже магистерские диспуты, которые потом, по вечерам, чуть-чуть не повторяются в салонах. При таком направлении умов понятно, что литературные партии (которых корень не в личных отношениях, как прежде, а в коренных, основных убеждениях), что эти партии находят отголосок и в светском обществе" [1].

Эта характеристика относится не столько к профессиональным писательским об'единениям, сколько к тем многочисленным частным кружкам, которые вроде „литературных обедов" Карлгоф отражали в известной степени внутреннюю жизнь настоящих салонов и кружков.

Активные участники кружковой жизни высоко ценили значение подобных кружков. Знаменитое описание кружка Покорского в романе „Рудин" исторически точно рисует переживания „идеалистов 30—40 годов". Характеризуя западников и славянофилов, Герцен патетически восклицал: „Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седели волосы,

[1] „Современник" 1847, т. III. Смесь, стр. 94—45.

а стремления вечно—юны. Где? Укажите,—я бросаю смело перчатку, исключая только на время одну страну, Италию, и отмерю шаги поля битвы, т. е. не выпущу противника из статистики в историю". На закате жизни К. Д. Кавелин признавался, что он „безгранично был обязан на первой поре жизни многим салону Елагиной", и констатировал, что „в литературных кружках и салонах зарождалась, вос итывалась, созревала и развивалась тогда русская мысль, подготовлялись к литературной и научной деятельности нарождавшиеся русские поколения".

Но те же наиболее деятельные члены кружков видели обособленность своей жизни, бесплодность словесных прений, трагическую обреченность своих умственных взлетов. Это чувство особенно остро переживалось теми, кто, обладая высококультурными ценностями, представлял из себя, подобно Чаадаеву, обломки гибнущих общественных групп или опередил сознанием нарастающие формы социального бытия. Герцену казалось, что появление кружков 30-40 годов было „естественным ответом на глубокою внутреннюю потребность тогдашней русской жизни": „дрянь Александровского поколения заняла (после 1825 года первое ме то... под этим б о л ь ш и м светом безучастно молчал большой м и р народа... между этой крышей и этой основой дети первые приподняли голову"... Для всех, кто, увидав расхождение между нравами, бытом и тем, что несли „учители, книги, университет", не собирался вести „праздное существование кор ета в отставке" с деревенской ленью, халатом, странностями, картами, вином", по словам автора „Былое и Думы", должно было наступить „время искуса и внутренней работы". „Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя, возбужденная мысль требовала выхода.

Разное разрешение вопросов, одиноко мучивших молодое поколение обусловило распадение на разные круги". Герцен не согласен, будто „эти кружки, незаметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бессвязное"; он считает „неосновательным" возражение, что „воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое и что они скорее выражают перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое", и утверждает, что в Николаевскую эпоху „Россия б у д у щ е г о существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, а в них было наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси". Герцен, обвеянный воспоминаниями встреч с талантливыми представителями дворянской, буржуазной и разночинной интеллигенции (дети помещиков—Станкевич, Бакунин; купец Боткин; попович Красов; „сын мелкого чиновника в Чембарах"—Белинский), набрасывал романтический покров на сборища этой молодежи, не замечая, что огромная затрата интеллектуальных сил, их исключительная по напряжению работа мысли и совести не опирались на запросы „большого м и р а народа", что между „чисто народной Русью" и салонно-кружковыми об'единениями лежала пропасть, что культурные завоевания шли только в верхнем слое и потому весь аромат этой культурной жизни был оранжерейный [1].

[1]) Это положение четко указано было обозревателем столичных кружков в „Современнике" 1847 года, признавшим „отвлеченный теоретический характер" главенствующих идеологий: „Где ратоборствуют об одних началах, не думая о применении к чему бы то ни было, там не трудно ужиться самым противоположным мнениям. Рассуждать о том, что было и чего не было за 300, за 500 лет или что будет через 300 или 500 лет, рассуждать ins Blaue hinein, конечно, очень приятно, оно даже полезнее, чем играть в преферанс или сплетничать

Более об'ективную характеристику аристократическим и дворянским салонам и кружкам дает один из участников их, К. Д. Кавелин: „Образованные кружки резко выдавались вперед над остальной массей населения, не имели с ней почти ничего общего и жили своей особой жизнью, соприкасаясь с остальными слоями и классами русскаго общества только внешним образом. Правда, никакого антагонизма и вражды не было между теми и другими, но не было также между ними никакого сближения и взаимодействия. Образованные кружки представляли у нас тогда, посреди русского народа, оазисы, в которых сосредоточивались лучшие умственные и культурные силы, искусственные центры, со своей особой атмосферей, в которой вырабатывались изящные, глубоко просвещенные и нравственные личности. Они в любом европейском обществе заняли бы почетное место и играли бы видную роль. Но эти во всех отношениях замечательные люди вращались только между собою и оставались без всякого непосредственнаго действия и влияния на все то, что находилось вне их теснаго немногочисленнаго кружка. Существование этих людей и их кружков было плодотворно для России только в общем отвлеченном смысле, но не отражалось в живых актах на окружавшем их русском обществе Эти изящные, развитые, просвещенные, гуманные люди жили полною жизнью в своих кружках, не внося своим

но что же дальше? Где применение наших начал хоть бы к вашим поместьям, хоть бы к сельскому хозяйству? Напрасно ищем в сего, хотя и находим кое-где желание выйти из такого странного положения да томительную скуку, которая невольно одолевает, когда в продолжение нескольких лет слышишь одни и те же мнения, одни и те же споры, одно пересыпание из пустого в порожнее. Конечно, мною сказанное не касается некоторых делателей на поприще науки, литературы, практической жизни. Но это исключения, правда, весьма утешительные, зато весьма редкие (Том 3-й, Смесь, стр. 96).

существованием ничего в наш тогдашний печальный, полудикий быт. Люди, глубоко понимавшие всю цену просвещения, не думали устраивать школ и обучать грамоте мужиков, посреди которых жили; к местной, губернской и уездной администрации, наполненной невеждами, земскими ярыжками и под'ячими старого закала грабившей живых и мертвых, возмутительно притеснявшей простой народ, люди, проникнутые идеями правды и гуманности, относились с очень понятным омерзением и гадливостью, но они ничего не делали, чтобы поддержать лучших людей в этой печальной среде, чтобы помочь им выбраться из грязной действительности, чтобы пролить хоть какой-нибудь луч света в это царство мрака. Также чуждо было для них и все остальное,— и сельское духовенство, и купечество, и мещанство. Из своего прекрасного далека они безучастно смотрели на то, что делалось в ежедневной жизни вокруг них, из боязни унизиться и испачкаться в нравственной и всяческой грязи соприкосновением с нею... Ключ ко всему, что думалось и делалось в избранных кружках, существовал только для них самих; для остальной России оно казалось непонятным чудачеством, диковинной штукой, кото ой себя только тешили господа и дворяне" [1]. Эта характеристика не касается профессионально-писательских кружков, где под разным углом зрения ковалось на завтрашний день идеологическое оружие—в кружке ли Воейкова или Белинскаго,—ни тем более не относится к разночинским об'единениям, видевшим задачу своих личных существований в работе для порабощенного „народа".

Публикуемый нами материал не дает исчерпывающей полноты описания салонно-кружковой жизни первой

[1] Собрание сочинений К. Д. Кавелина. Том III. СПБ. 1859, стр. 1129—1131.

половины XIX века. Помимо того соображения, что современный читатель может ознакомиться со многими колоритными мемуарными зарисовками, недавно переизданными в издательстве Akademia (из воспоминаний И. И. Панаева, напр., мы извлекли только страницы о средах Кукольника и не включили описания пятниц Башуцкаго, Серапионовых вечеров в кружке Майкова, известных чтений по истории французской революции в кружке Белинскаго и т. д.), размеры сборника не позволяли вводить многое, дополняющее общую картину отдельными штрихами, и потому нередко ценные материалы только указаны в библиографических примечаниях. Есть немало указаний на существовавшие в избранную эпоху кружки, но не нашедшие достаточно полного мемуарнаго изображения,—так, в дневнике Никитенко (т. I) можно проследить историю „святой пятницы", кружка, куда входил между прочим Печерин; там же встречаются указания на литературные вечера у Струговщикова, Маркевича, литературные обеды у цензора Семенова и у книгопродавца Смирдина; Плетнев упоминает о пятницах у А. А. Перовского, о парижском салоне графини Орловой (Сочинения, т. II, стр. 83, 94); Н. Барсуковым приведены данные о салоне Сухово-Кобылиных (Жизнь и труды Погодина, т. IV, стр. 311 – 312), П. Вяземский не столь подробно упоминает о своем кружке, сколько о кружке своего отца, характеризующем XVIII век; были литературные собрания у Боратынскаго и проч. Отсутствуют подробные описания таких кружков, как „Зеленая лампа", где вращался юный Пушкин.

С значительными пробелами выступает в нашем сборнике провинциальная жизнь. Не столь интенсивно, как в столицах, но культурные запросы дворянского класса и разночинной группы также выливались в кружковые об'единения в губернских центрах, а иногда и в поме-

щичьих усадьбах. В Одессе были четверги у графини Эдлинг, сестры А. В. Стурдзы („Русский Архив" 1877, № 11. Из Одесских воспоминаний. П. Т. Морозов); делались попытки к созданию литературнаго кружка в одесском доме Ал. Ив. Казначеева, о чем в записках Н. М. Мурзакевича имеется след. свидетельство: назначенный градоначальником Ал. Ив. Казначеев и его благоверная супруга—„синие чулки". по многим причинам, не могли собрать вокруг себя общество, в котором с приятностью можно было бы отдохнуть („Русская Старина" 1889, № 2, стр. 246—47). В Туле, в начале XIX века,—рассказывает доктор К. К. Зейдлиц—в доме Юшковых собирались все обыватели города и окрестностей, имевшие притязание на высшую образованность. Варвара Афанасьевна Юшкова была по природе женщина очень изящная, с необыкновенным дарованием к музыке. Она устроила у себя литературные вечера, где новейшие произведения школы Карамзина и Дмитриева, тотчас же после появления своего в свет, делались предметом чтений и суждени.." („Жизнь и поэзия Жуковскаго", 1883, стр. 14). Заметна была тяга к кружковой жизни в таком крупном областном центре, как Харьков. Здесь прежде всего заслуживает внимания „Поповская Академия", кружок, группировавшийся около мелкопоместного дворянина Сумского уезда А. А. Палицына. В селе Поповке жил этот просвещенный любитель искусства и литературы, переводчик „Новой Элоизы" Руссо, „Садов" Делиля и „Игоря, героической песни" (Харьков 1807), признававшийся на седьмом десятке (в Октябре 1808 г.), что прежняя страсть его к музам, без сил, иногда становится ему лишь мукой и тем еще более. что другие страсти уже не занимают"; к нему с'езжались молодые люди и жили у „поповского пустынника", предаваясь литературно-художественным занятиям. Из них главным членом Поповской Академии,

помимо дочери А. А. Палицына, написавшей несколько стихотворений („Озеро" в „Вестнике Европы" 1808. т. 41 стр. 201–209), был Н. Ф. Алферов, много странствовавший по свету и оставивший после себя коллекцию картин, акварелей и гравюр; деятельными членами были также В. И. Ярославский, сын дьячка в Тростянце Ахтырскаго уезда, заведывавший в 1800—1806 гг. строением нескольких зданий по проекту Палицына и оставивший о своем учителе любопытные воспоминания, поэт Е. И. Станевич, П. и М. Байковы и нек. другие. По словам В. М. Каразина, А. А. Палицын, действуя на богатых помещиков, в числе которых Шидловские и Надоржинские были его друзьями, „заохотил их к строениям, лучшему расположению домов, украшению их приличной мебелью, к заведению библиотек. Ему обязаны мы большей частью началами европейского быта на Украине". В 1810 году Харьковский университет избрал его почетным членом. [1]

Почти одновременно с московскими кружками Станкевича и Герцена в Харькове существовал кружок университетской молодежи, группировавшийся около Измаила И. Срезневского, одного из видных деятелей украинской культуры (И. И. Срезневский уже в 1831 году выпустил известный „Украинский альманах"). В 1833 году в письме к одному из участников этого кружка И. В. Росковшенку (под псевдонимом И. Мейстера много печатавшему в „Библиотеке для чтения" 1836 — 39 гг.) Срезневский тепло вспоминал кружковые собрания: „Ты, может быть, вспомнишь наши заседания in 4: G. Theodore, Joseph, Jean Ismail и только. Незабвенное время. Theodore [2] с конфетой

[1] Н. Ф. Сумцов. Просветительная деятельность. А. А. Палицына. Сборник Харьковского историко-филологического общества, том XVI, Харьков, 1905. Указанием на этот материал я обязан проф. А. И. Белецкому.

[2] Ф. Евецкий, автор нескольких работ по украинской этнографии и литературе (в „Отечественных записках" 1841, „Денница" 1842).

в зубах, Joseph [1] с Кантом на устах, jean [2] с трубкой во рту, Ismail [3] с глупостью на языке. Прекрасный 4-or" [4].

Несколько позже, в сороковых годах, было еще несколько подобных украинских кружков, напр., Корсуна (см. Автобиографию Костомарова, изд. 1922, стр. 158 и др.). Без сомнения, в крупных городских центрах существовали профессионально-писательские кружки, близкие к местным журналам, газетам. но материал, характеризующий эту сторону провинциальной жизни, годен в плане другого сборника. Количество указаний на существовавшие в первой половине XIX века литературные кружки значительно увеличилось бы, если привлечь организации учащейся молодежи—университетские, гимназические. Еще в XVIII веке наряду с кружками деятелей литературы и общественной мысли знаменитым новиковским „Дружеским Ученым Обществом", кружками Хераскова, И. П. Тургенева и др.—возникли, напр., в 1781 году московский студенческий литературный кружок „Собрание университетских питомцев", в 1799 году „Собрание воспитанников университетскаго благороднаго, пансиона". В XIX веке было немало подобных организаций Из них достаточно припомнить „одиннадатый нумер", кружок студентов московского университета, в котором Белинский читал свою трагедию „Дмитрий Калинин". Но этот материал, как и мемуарые зарисовки литературных об'единений типа Общества любителей российской словесности при Московском университете, пришлось изъять из нашего сборника за исключением отрывка из

[1] И. А. Джунковский.

[2] Росковшенко.

[3] И. И. Срезневский.

[4] В. И. Срезневский. Из первых лет научно-литературной деятельности И. И.Срезневского. Журнал Мин. Народного Просвещения 1898, январь.

Пироговских воспоминаний о „десятом нумере“, рисующего малоизвестный тип разночинцев 20-х годов.

Всякий мемуарист субъективно воспроизводит пережитое, виденное им, выражает групповую точку зрения, часто в данный исторический момент не совпадающую с первоначальными впечатлениями. Может быть, следовало бы отдать известное место указаниям на неверный тон, ошибочную характеристику того или иного исторического лица, предвзятость в оценке сообщаемого факта, но составитель сборника не ставил задачей детальное комментирование мемуарного материала и полагал, что читатель этой книги не нуждается в указании, что в воспоминаниях И. С. Тургенева там, где он говорит о современном ему молодняке, слышится желчная нота „отца“, разошедшегося с „детьми“ в результате столкновения двух социальных группировок, что Е. Карлгоф сообщает вздорную сплетню, будто участник кружка Герцена Соколовский пел нецензурную песню в разгульном обществе (стр. 232), что заявление К. Д. Кавелина не точно, будто поэт и драматург Станкевич „после себя ничего не оставил, кроме писем“ (стр. 329) и т. д. и т. д.

Примечания в прямых скобках принадлежат авторам мемуаров.

Н. Л. Бродский

ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЛОНЫ И КРУЖКИ

В ПЕТЕРБУРГЕ
С НАЧАЛА XIX В. ПО 20-е ГОДЫ

У ДЕРЖАВИНА [1]

1806 г., 5 декабря, среда

Сильно билось у меня сердце, когда в'ехал я на двор невысокого дома на Фонтанке, находящегося невдалеке от прежней моей квартиры в Доме умалишенных. Вхожу в сени, с „Артабаном" подмышкою, и спрашиваю дремавшего на стуле лакея: „Дома ли его высокопревосходительство и принимает ли сегодня?" „Пожалуйте-с", отвечал мне лакей, указывая рукою на деревянную лестницу, ведущую в верхние комнаты.—„Но, голубчик, нельзя ли доложить прежде, что вот приехал С. П. Ж., а то, может быть, его высокопревосходительство занят".—„Ничего-с, пожалуйте; енерал в кабинете один".—„Так проводи же, голубчик".—„Ничего-с, извольте итти сами-с, прямо по лестнице, а там и дверь в кабинет, первая налево". Я пошел или, скорее, поплелся; ноги подгибались подо мною, руки тряслись, и я весь был сам не свой: меня била лихорадка. Взойдя наверх и остановившись пред стеклянной дверью, первая налево, завешенною зеленою тафтою, я не знал, что мне делать—отворить ли дверь, или дожидаться, покамест кто-нибудь случайно отворит ее. Я так был

[1] „Дневник чиновника" С. Жихарева. „Отеч. Записки" 1855 г., № 4, стр. 394—396 и № 5, стр. 166—167.

смешан и так смешон. К счастью, явилась мне неожиданная помощь в образе прелестной девушки, лет 18-ти, которая, пробежав мимо меня и, вероятно, заметив мое смущение, тотчас остановилась и, добродушно спросив: „вы верно к дядюшке?“—без церемонии отворила дверь, примолвив:—„войдите“. Я вошел. Старец лет 65-ти, бледный и угрюмый, в белом колпаке, в беличьем тулупе, покрытом синею шелковою материею, сидел в креслах за письменным столом, стоявшим по средине кабинета, углубясь в чтение какой-то книги. Из-за пазухи у него торчала головка белой собачки, до такой степени погруженной в дремоту, что она и не заметила моего прихода. Я кашлянул. Державин—потому что это был он—взглянул на меня, поправил на голове колпак и, как будто спросонья зевнув, сказал мне: „Извините, я так зачитался, что и не заметил вас. Что вам угодно?“ Я отвечал, что, по приезде в Петербург, я первою обязанностью поставил себе быть у него с данью того искреннего уважения к его имени, в котором был воспитан; что он, будучи так коротко знаком с дедом, конечно, не откажет и внуку в своей благосклонности. Тут я назвал себя. „Так вы внук Степана Данилыча? Как я рад! А зачем сюда приехали? Не определяться ли в службу?“ и, не дав мне времени отвечать, продолжал: „Если так, то могу попросить князя Петра Васильевича (Лопухина) и даже графа Николая Петровича (Румянцева)“. Я об‘яснил ему, что я уже в службу определен и что ни в ком и ни в чем покамест надобности не имею, кроме

его благосклонности... Державин все время слушал меня с видимым удовольствием и потом, несколько призадумавшись, сказал, что он желал бы, чтоб я остался у него обедать. Я об'яснил ему, что с величайшим удовольствием исполнил бы его волю, если б не дал уже слова обедать у прежнего своего хозяина, доктора Эллизена. „Ну, так милости просим послезавтра, потому-что завтра хотя и праздник, он у нас день невеселый: память по Николае Александровиче Львове". Я поклонился в знак согласия. „Да прошу вперед без церемонии ко мне жаловать всякий день, если можно. Ведь у вас здесь знакомых, должно быть, немного".

И вот я послезавтра буду обедать у Державина! Напишу о том к своим. Боюсь, что не поверят моему благополучию.

1807 г., 9 января, среда

Гаврила Романович (Державин) представил меня А. С. Шишкову, сочинителю „Рассуждения о старом и новом слоге", задушевному другу президента Российской Академии Нартова. С большим любопытством рассматривал я почтенную фигуру этого человека, которого детские стихи получили такую народность, что, кажется, нет ни в одном русском грамотном семействе ребенка, которого не учили бы лепетать:

Хоть весною
И тепленько,
А зимою
Холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже, и проч.

Он очень долго толковал о пользе, какую бы принесли русской словесности собрания, в которые бы допускались и приглашались молодые литераторы для чтения своих произведений, и предлагал Гавриле Романовичу назначить вместе с ним попеременно, хотя по одному разу в неделю, литературные вечера, обещая склонить к тому же Александра Семеновича Хвостова и сенатора Ивана Семеновича Захарова, которых домы и образ жизни представляли наиболее к тому удобств. Бог весть, как обрадовался этой идее добрый Гаврила Романович и просил Шишкова устроить как можно скорее это дело.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР У А. С. ШИШКОВА [1]

1807 г., 3 февраля, воскресенье

Поздно вчера возвратился я от А. С. Шишкова, веселый и довольный. Общество собралось не так многочисленное, как я предполагал: человек около двадцати, не больше. Гаврила Романович, И. С. Захаров, А. С. Хвостов, П. М. Карабанов, князь Шихматов, И. А. Крылов, князь Д. П. Горчаков, флигель-ад'ютант Кикин, которого я видел в Мо-

[1] Как этот, так и другие отрывки до стр. 38 заимствованы из „Дневника чиновника" С. Жихарева в „Отеч. Записках" 1855, № 7, стр. 125—130, 132—136, 142—143, 144—147, 167, 177—179, 190—192, 194—198; № 8, стр. 384—388, 397, 399—402; № 9, стр. 156—160, 160—167.

скве у К. А. Муромцовой, полковник Писарев, А. Ф. Лабзин, В. Ф. Тимковский, П. Ю. Львов, М. С. Щулепников, молодой Корсаков, Н. И. Язвицкий, сочинитель букваря, Я. А. Галинковский, автор какой-то книги для прекрасного пола, под заглавием: Утренник, в которой, по отзыву Щулепникова, лучшими статьями можно почесть: Любопытные познания для счисления времен и Белые листы для записок на 12 месяцев, и наконец я, не сочинивший ни букваря, ни белых листов для записок на 12 месяцев, но приехавший в одной карете с Державиным, что стоит букваря и белых листов для записок. Долго рассуждали старики о кровопролитии при Эйлау и о последствиях, какие от нашей победы произойти могут. Одни говорили, что Бонапарте нужно некоторое время, чтоб оправиться от полученного им первого в его жизни толчка; другие утверждали, что если расстройство во французской армии велико, то и мы потерпели немало, что наша победа стоит поражения и обошлась нам дорого, потому что из 65 000 человек, бывших под ружьем, выбыла из строя почти половина. Слово за слово, завязался спор...

Время проходило, а о чтении не было покамест и речи. Наконец, по слову Гаврилы Романовича, ходившего задумчиво взад и вперед по гостиной, что пора бы приступить к делу, все уселись по местам. „Начнем с молодежи“, сказал А. С. Хвостов. „У кого что есть, господа?“ Мы, сидевшие позади, около

стен, переглянулись друг с другом и почти все в один голос об'явили, что ничего не взяли с собой. „Так не знаете ли чего наизусть?“ смеясь продолжал Хвостов: „Как же это вы идете на сражение без всякого оружия?“ Шулепников отвечал, что может прочитать стихи свои к „Трубочке“. „Ну, хоть к Трубочке!“ подхватил И. С. Захаров, меценат Шулепникова: „Стишки очень хорошие“. Шулепников подвинулся к столу и прочитал десятка три куплетов к своей Трубочке, но не произвел никакого впечатления на слушателей. „Пахнет табачным дымком“, шепнул толстый Карабанов Язвицкому. „Как быть!“ отвечал последний: „Первую песенку зардевшись спеть“. Гаврила Романович, видя, что на молодежь покамест надеяться нечего, вынул из кармана свои стихи „Гимн Кротости“ и заставил читать меня. Я прочитал этот гимн к полному удовольствию автора и, кажется, заслужил репутацию хорошего чтеца. Разумеется, все присутствующие были или казались в восторге, и похвалам Державину не было конца. За этим все пристали к Крылову, чтоб он прочитал что-нибудь. Долго отнекивался остроумный комик, но наконец разрешился баснею из Лафонтена: „Смерть и Дровосек“, в которой, сколько припомнить могу, есть прекрасные стихи:

. . . При том жена и дети,
А там боярщина, подушные, оброк,
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек?

а заключительный смысл рассказа выражен с такою простотою и верностью:

Что как на свете жить ни тошно,
Но умирать еще тошней.

Это стоит Лафонтенова стиха:

Plutôt souffrir, que mourir.

Казалось, что после Крылова никому не следовало бы отваживаться на чтение стихов своих, каковы бы они ни были, однако ж князь Горчаков, по приглашению приятелей своих, Кикина и Карабанова, решился на этот подвиг и, вынув из-за пазухи довольно толстую тетрадь, обратился ко мне с просьбою прочитать его послание к какому-то Честану о Клевете. Как ни лестно было для меня это приглашение, однако ж я долго отговаривался, извиняясь тем, что, не зная стихов, невозможно хорошо читать их, потому что легко дать им противосмысленную интонацию, но Гаврила Романович с нетерпением сказал: „Э, да ну, братец, читай! что ты за педант такой?“ И вот я, покраснев от стыда и досады, взял у Горчакова тетрадь и давай отбояривать:

Свершилось наконец, и ты, Честан, и ты
Предмет злословья стал и жертвой клеветы;
Чудовища сии кого не поражали?
Когда и на кого свой яд не извергали?
Ты молод и пригож, ты честен и богат,
Ты добродетелен—так ты и виноват.
Пред светом винен тот, кто зависти достоин:
В нем трусом прослывет победоносный воин,
Безмездного судью мздоимцем нарекут,
Невинную красу к распутницам причтут!

Что хочешь ты, скажи лишь злое кстати слово —
И общество его превозносить готово.
Зови того глупцом, кто кроток или благ;
Кто ж строг и справедлив — людей и бога враг,
Свет будет повторять: он щедр на порицанья.

Далее не припомню, но все послание в том же тоне; немножко длинновато и стихи идут попарно вереницею, бьют в такт, как два молота об наковальню, но в них местами довольно силы и есть мысли — читать можно. Все слушали с большим вниманием, и по окончании чтения А. С. Хвостов сказал, кивая на князя Горчакова, с которым, как видно, он исстари дружен: Это наш Ювенал.

Очередь дошла до Карабанова. Он также член Российской Академии и, повидимому, очень уважается, потому что писал и переводил много всякой всячины, от театральных пьес до книг духовного содержания. Шулепников говорил, что из всех его сочинений лучшими почитаются шуточные стихотворения, которых, к сожалению, напечатать нельзя. Мне показалось очень странным, что такой толстый, пухлый и серьезный человек занимается бездельем, и я думал, что сочинитель куплетов к Трубочке подшучивает надо мною; однако ж многие подтвердили слова Шулепникова, прибавив, что эти стихотворения, как-то „Пахарь", „Казак" и пр., написаны легко, остроумно и прекрасным языком. Карабанов прочитал лирическую песнь на манифест о милиции, которою всех более восхищался полковник Писарев, повторявший при окончании каждой строфы, состоящей из двенадцати шестистоп-

ных стихов: „прекрасно, прекрасно!“ Карабанов читает внятно, но так протяжно, монотонно и вяло, что невольно одолевает дремота: так читал я псалтирь по дедушке.

А. С. Шишков приглашал князя Шихматова прочитать сочиненную им недавно поэму в трех песнях: „Пожарский, Минин и Гермоген“; но он не имел ее с собою, а наизусть не помнил, а потому положили читать ее в будущую субботу у Гаврилы Романовича. Моряк Шихматов, необыкновенно благообразный молодой человек, ростом мал и вовсе не красавец, но имеет такую кроткую и светлую физиономию, что, кажется, ни одно нечистое помышление никогда не забиралось к нему в голову. Признаюсь в грехе, я ему позавидовал: в эти годы снискать такое уважение и быть на пороге в Академию... За ужином, обильным и вкусным, А. С. Хвостов с Кикиным начали шутя нападать на Шихматова за отвращение его к мифологии, доказывая, что это непобедимое в нем отвращение происходит от одного только упрямства, а что, верно, он сам чувствует и понимает, каким огромным пособием могла бы служить ему мифология в его сочинениях. „Избави меня боже!“ с жаром возразил Шихматов: „почитать пособием вашу мифологию и пачкать вдохновение этой бесовщиной, в которой, кроме постыдного заблуждения ума человеческого, я ничего не вижу. Пошлые и бесстыдные бабьи сказки—вот и вся мифология. Да и самая-то древняя история, до времен христианских, египетская, греческая и римская, сущие бредни, и я почитаю, что

поэту-христианину неприлично заимствовать из нее уподобления не только лиц, но и самых происшествий, когда у нас есть история библейская, неоспоримо верная и сообразная с здравым рассудком. Славные понятия имели эти греки и римляне о божестве и человечестве, чтоб перенимать нелепые их карикатуры на то и другое и усваивать их нашей словесности!"

После ужина Гаврила Романович пожелал, чтоб я продекламировал что-нибудь из „Артабана", которого он, как я подозреваю, успел, по расположению ко мне, расхвалить Шишкову и Захарову, потому что они настоятельнее всех стали о том просить меня. Я отказался решительно от декламации, извинившись тем, что ничего припомнить не могу, но предложил, если будет им угодно, прочитать свое послание к Счастливцу, написанное гекзаметрами; тотчас же около меня составился кружок, и я, не робея, пропел им:

Юноша! тщетно себе ты присвоил
названье счастливца:
Ты, не окончивший поприща, смеешь
хвалиться победой! и пр.[1]

Старики слушали меня со вниманием и благосклонностью; особенно Гаврила Романович,

[1] [Эти стихи, написанные в 1805 году (в то время, когда никто еще не писал гекзаметрами, кроме Тредьяковского), напечатаны впоследствии в „Учебной книге российской словесности", изданной г. Гречем.
Позднейшее примечание.]

которого всегда поражает какая-нибудь новизна, очень хвалил и мысли и выражения; но позади меня кто-то очень внятно прошептал: в тредьяковщину заехал! И этот кто-то чуть ли не был Писарев. Бог с ним! Гаврила Романович сетовал, зачем я не прочитал ему прежде этих стихов, и прибавил, что если у меня в чемодане есть еще что-нибудь, то принес бы к нему напоказ. Дорогой отозвался он о князе Шихматове, что „он точно имеет большое дарование, да уж не по летам больно умничает".

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР У Г. Р. ДЕРЖАВИНА

1807 г., 9 февраля, суббота

Сегодняшний литературный вечер у Гавриила Романовича начался чтением стихов его на выступление в поход гвардии. На этот раз я охотно отказался бы от чтения их перед публикою—так мне они не по сердцу, но побоялся, чтоб он опять не огрел меня названием педанта, и волею-неволею провозгласил:

Ступай и победи
Никем непобедимых;
Обратно не ходи
Без звезд, на персях зримых!

... Между тем Иван Семенович Захаров, вынув из портфеля претолстую тетрадь, приглашал всех послушать новый перевод нравоучительных правил Рошфуко (Maximes), сделанный каким-то Пименовым (вероятно, одним из

его многочисленных protégés), и как ни хвалил он этот перевод, но, кажется, ни у кого не было охоты слушать его, а А. С. Шишков без церемонии об'явил, что он большой нелюбитель этих нарумяненных французских моралистов, которых все достоинство заключается в одном щегольстве выражений, и что, как бы ни был хорош перевод, он не может принести ни большой пользы, ни удовольствия, потому что знающие французский язык предпочтут чтение сочинения в оригинале, а для незнающих оно в переводе покажется сухим и недостаточным для полного понятия об авторе. Князь Шихматов присовокупил, что уж если дело пошло на перевод моралистов, то надлежало бы приняться не за Рошфуко и Лабрюера, а скорее за Иисуса Сираха... „Вот так правила!“ сказал он с необыкновенным одушевлением: „вот где настоящая, полная наука общежития! И почему бы трудолюбивому и грамотному человеку не взять на себя труда перевести Сираха, выпустив из него некоторые длинноты и повторения, и не издать его особою нравоучительною книжкою? Почему бы не приспособить афоризмов этого писателя, столь простых, понятных и так глубоко врезывающихся в память, к первоначальному чтению для юношества, и почему бы не наполнить ими всех азбук и даже прописей? Чего хочешь, того и просишь у этого дивного Сираха, и всякий найдет себе в нем то, что может быть ему на потребу и утешение в жизни—от самых первых оснований премудрости, заключающейся в страхе божием, почтении к вла-

стям и любви к ближнему, до самых тонких общественных приличий: все есть, и это все как превосходно выражено!..“

Остальное до завтра.

10 февраля, воскресенье

„Все это так, однако ж пора вам, князь, познакомить нас с вашими „Пожарским, Мининым и Гермогеном“, сказал А. С. Хвостов. „Моралисты моралистами, а поэзия поэзией, и нам забывать ее недолжно. Мы отложили чтение вашей поэмы до нынешней субботы: ну, так подавайте ее сюда без отговорок“.—„Я и не думал отговариваться“, возразил князь Шихматов очень простодушно: „я сочинял мою поэму не для того, чтоб оставлять ее в портфеле, и рад таким слушателям“. Развернув тетрадь, князь приготовился было читать ее, но А. С. Шишков не дал ему разинуть рта, схватил тетрадь и сам начал чтение. Стихи хороши, звучны и сильны, а богатство в рифмах изумительное: автор вовсе не употребляет в них глаголов, и оттого стихи его сжаты, может быть, даже и слишком сжаты, но это их не портит. Не постигаю, как мог он победить это затруднение, составляющее камень преткновения для большей части стихотворцев. О достоинстве содержания поэмы и расположении ее судить нельзя, не прочитав ее всей от начала до конца, à tête reposée, но видно по всему, что молодой поэт успел набить руку.

Шишков читал творение своего любимца внятно, правильно и с необыкновенным одушевлением. Я от души любовался седовласым

старцем, который так живо сочувствовал красоте стихов и передавал их с такою увлекательностью: судя по бледному лицу и серьезной его физиономии, нельзя было предполагать в нем такого теплого сочувствия к поэзии.

Крылов не читал ничего, сколько его о том ни просили—извинялся, что нового не писал, а старого читать не стоит, да и не помнит. Ф. П. Львов прочитал стишки свои к „Пеночке", написанные хореем довольно легко и с чувством:

Пеночка моя драгая,
Что сюда тебя влекло?
Легкое твое крыло,
Чистый воздух рассекая, и пр.

Но эти стишки возбудили спор: П. А. Кикин ни за что не хотел допустить, чтоб в легком стихотворении к птичке можно было употребить выражение: драгая, вместо дорогая, и сказать крыло, когда надобно было сказать крылья. За Львова вступились Карабанов и другие, но Захаров порешил дело тем, что слово: драгая, вместо дорогая, и в легком слоге может быть допущено так же, как и слова возлюбленный и драгоценный, вместо любезный или любезнейший, как, например:

Ты зачем меня оставил,
Мой возлюбленный супруг,
И в чужбину путь направил и пр.

Но что касается до выражения крыло вместо крылья, то, по совести, надлежало

бы изменить его, потому что птица может рассекать воздух только двумя крыльями, а на одном в воздухе даже и держаться не может. Этот спор, видимо, неприятен был Федору Петровичу, и он часто посматривал на Крылова, который как-то насмешливо улыбался.

„А знаете ли вы", спросил у меня Щулепников: „стихи графа Л. И. Хвостова, которые он, в порыве негодования за какое-то сатирическое замечание, сделанное ему Крыловым, написал на него?"—„Нет, не слыхал", отвечал я.—„Ну, так я вам прочитаю их, не потому, чтоб они заслуживали какое-нибудь внимание, а только для того, чтоб вы имели понятие о сатирическом таланте графа. Всего забавнее было, что он выдавал эти стихи за сочинение неизвестного ему остряка и распускал их с видом сожаления, что есть же люди, которые имеют несчастную наклонность язвить таланты вздорными, хотя, впрочем, и очень остроумными эпиграммами. Вот эти стишонки:

Небритый и нечесаный,
Взвалившись на диван,
Как будто неотесанный
Какой-нибудь чурбан,
Лежит, совсем разбросанный,
Зоил Крылов Иван:
Об'елся он иль пьян?

Крылов тотчас же угадал стихокропателя: в какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь,— сказал он и отмстил ему так, как только в состоянии мстить умный и добрый Крылов: под

предлогом желания прослушать какие-то новые стихи графа Хвостова, напросился к нему на обед, ел за троих и после обеда, когда амфитрион, пригласив гостя в кабинет, начал читать стихи свои, он без церемонии повалился на диван, заснул и проспал до позднего вечера".

Завтра очередной литературный вечер у И. С. Захарова. Гаврила Романович требует, чтоб я прочитал какие-нибудь из своих стихов: „Иначе", прибавил он: „если никто из молодых людей читать не станет, то опять, того смотри, попотчуют переводом Рошфуко, да и цель собраний будет не достигнута". Бог весть, соберусь ли я с духом читать стихи свои перед публикою. И хочется и колется... Впрочем, смелость берет города! [1]

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР У А. С. ШИШКОВА

1807 г., 17 марта, воскресенье

Вчера слушали мы 8-ю песнь „Илиады", которую Гнедич читал с необыкновенным одушевлением и напряжением голоса. Я, право, боюсь за него: еще несколько таких вечеров — и он того и гляди начитает себе чахотку. В переводе его есть прекрасные стихи и особенно в изображении раздраженного Зевса:

Златую цепь спущу с небесной я твердыни,
Низвестеся по ней все боги и богини!

[1] 16 февраля Жихарев прочитал на литературном вечере у И. С. Захарова свое стихот орение „К деревне", оцененное самим автором как сплошной „набор слов".

Вообще Гнедич владеет языком отлично, и хотя в стихах его есть некоторая напыщенность, но зато они гладки, ударения в них верны, выражения точны, рифмы созвучны—словом, перевод хоть куда.

Кроме Гнедича, других чтецов не было. Много разговаривали прежде о политике, но после перешли опять к литературе и театру. Любопытствовали узнать о новой трагедии „Пожарский“ и сожалели, что не пригласили автора на вечер. „Да, странно, что о нем ничего не было слышно“, сказал Шишков: „и откуда он мог взяться?“ Я об'яснил, что Крюковский служит в банке [1], что я видел его и слышал его трагедию. „Ну, что ж? какова?“ спросил Державин. Я отвечал, что стихи есть превосходные; но что касается до трактации сюжета, расположения сцен и характеров действующих лиц, то в этом отношении, по мнению моему, она очень посредственна, что подтвердил и сам Яковлев, которому назначается роль героя пьесы. „Да отчего же о ней говорят так много?“ заметил Карабанов: „тут, батенька, должно быть, какое-нибудь недоразумение“. „Яковлев плохой судья“, сказал Гнедич, который, не знаю почему, не очень любит Яковлева. „Может быть, Яковлев и ошибается“, отвечал я: „но трагедиею публика интересуется потому, что, несмотря на свои недо-

[1] [Матвей Васильевич Крюковский в это время не служил еще в банке, а только искал случая определиться туда. Он был поручиком в отставке и членом Общества любителей словесности, наук и художеств.
Позднейшее примечание.]

статки, она все-таки есть произведение замечательное и, так же как „Дмитрий Донской", теперь является очень кстати". Александр Семенович Хвостов начал утверждать, что в последнее время заметно большое движение в театральной литературе и что этому, без сомнения, способствовало соединение таких отличных талантов, какие теперь украшают нашу сцену, как, например, Шушерин, Яковлев, Семенова, Рыкалов, Пономарев, Рахманова и другие. „Мне кажется, что это совершенно наоборот", сказал Гнедич: „не актеры образуют писателей, но писатели актеров. Без Сумарокова и Княжнина мы не имели бы Дмитревского и его последователей: Шушерина, Плавильщикова и Яковлева; без Озерова талант Семеновой не получил бы такого развития и, может быть, зачах бы преждевременно, истомленный ролями старинных трагедий, в которых слог не только устарел, но и вовсе неудобен для правильного произношения. Да и сами Шушерин и Яковлев разве были теми, чем стали они со времени трагедий Озерова, и роли Эдипа, Фингала и, наконец, Дмитрия Донского разве не дали им случая выказать свои дарования в новом блеске?" И. С. Захаров вступился за старые трагедии и доказывал, что слог их вовсе не тах устарел, потому что, несмотря на появление новых трагедий, публика продолжает смотреть с удовольствием на представления и старых. Из этого готов был возникнуть спор, но Гнедич замолчал из учтивости. К счастью, что не было Кикина и Писарева, а то бы пошел дым коромыслом.

„Может быть, хорошие писатели и подлинно содействуют образованию актеров“, сказал Карабанов: „но, кажется, и то не менее справедливо, что хорошие актеры возбуждают охоту в писателях трудиться для театра. Вот, например, вы сами, Николай Иваныч, теперь переводите „Леара“ и, помнится, сами же говорили, что, не будь Шушерина для роли Леара и Семеновой для роли Корделии, вам бы и в голову не вошло переводить эту трагедию“. —„Это правда“, отвечал Гнедич: „но я перевожу, или, лучше, переделываю „Леара“ собственно для бенефиса Шушерина, по его просьбе[1], и если бы не был уверен, что он хорошо его сыграет, то, конечно, не стал бы тратить время попустому; но автор, который предпринимает труд не случайный и заботится о художественной его отделке собственно для своей славы, не имеет в предмете ни Шушерина, ни Семеновой, а только характеры выводимых им на сцену персонажей, и не станет соображаться с средствами тех сюжетов, которые их играть должны, а предоставит соображаться им самим с его творением. Автор трагедии или комедии— не капельмейстер какой-нибудь, который обязан сочинять музыку заказанной ему оперы, соображаясь с голосами, находящимися в распоряжении его импрессарио“.

За ужином разговорились о Российской Академии. „А сколько считается теперь всех членов?“ спросил Державин Петра Ивановича Соколова. „Да около шестидесяти“, отвечал

[1] [„Л е а р“ был представлен в первый раз на театре 18 ноября 1807 года в бенефис Шушерина.]

секретарь Академии. „Неужто же нас такое количество?“ сказал удивленный Шишков: „я думал, что гораздо менее“.—„Точно так; но из них, как вашему превосходительству известно, находится налицо немного: одни в отсутствии, другие избраны только для почета, а некоторые...“—„Не любят грамоты“, подхватил А. С. Хвостов. Все засмеялись. „Правда, что иные точно бесполезны“, заметил Шишков: „втерлись в литераторы бог весть каким образом, не имея на то никакого права, между тем как много писателей достойных не заседают еще в Академии. Впрочем“, прибавил он: „надобно надеяться, что все изменится к лучшему. Государь намерен сделать большие преобразования, одни из средств к распространению просвещения уже угаданы, другие обновлены и усилены, третьи очищены и облагорожены; остается направить их к надлежащей цели, это не замедлится, и тогда Российская Академия будет иметь настоящее свое значение, а труды достойных наших писателей получат надлежащее одобрение“.

Мне так хотелось знать, из каких лиц составлена Академия, что я решился попросить у сидевшего возле меня Соколова именного списка ее членам. Он с величайшею готовностью обещал мне дать его, пригласив притти за ним в Академию, где он бывает каждое утро.

Мы вышли от Шишкова вместе с Гнедичем и рассуждали дорогою, отчего, несмотря на радушие хозяев, так мало собирается у них молодых писателей, да и те, которые приходят, ничего почти не приносят с собою для чтения.

„Должно думать", сказал переводчик „Илиады": „что наши юноши мало трудятся собственно для литературы и только стараются попасть в общество литераторов для каких-нибудь особенных целей, а, может быть, и от нечего делать. Да правду сказать, в числе этих господ академиков низшей степени есть такие, которые не очень могут ободрить молодого поэта. Вы не слыхали, как ваш сосед за столом, Петр Иванович, подтрунивал над сочинителями пьес театральных: вся эта поэзия, говорил он Тимковскому, все эти трагедии и поэмы одна только роскошь в литературе; а нам не до роскоши, когда мы нуждаемся в насущном хлебе, нам нужны не поэты, а люди, которые бы умели писать в прозе правильно и ясно; у нас нет ни эпистолярного, ни делового слога, о котором похлопотать непременно бы следовало, а заботиться о прочем—одна суетность и, право, не стоит труда. Вот, извольте видеть, как рассуждает Петр Иванович, а еще секретарь Академии!"

18 марта, понедельник

Давеча из Коллегии нарочно ездил к Соколову за списком членов Академии и так рад, что получил обещанное сокровище! Что ж это значит? В числе 58 человек только 5 известных поэтов с истинным талантом: Державин, Херасков, Капнист, Дмитриев и Нелединский, и только два настоящие литератора с именем— М. Н. Муравьев и А. С. Шишков, к которым, правда, можно присоединить и нескольких даровитых особ из высшего духовенства, как-то: преосвященных Иринея псковского, Анастасия

белорусского, Мефодия тверского, Феоктиста курского и Михаила черниговского, а там хоть шаром покати! Вижу людей знатных: графа Строганова, графа Мусина-Пушкина, Татищева, князя Куракина, князя Белосельского, графа Васильева, Трощинского и князя Голицына, и нахожу натуральным, что Академия ищет себе достойных покровителей, но понять не могу, как попали в нее люди вовсе неизвестные в литературе или, что еще хуже, известные своею бездарностью, отчего в списке красуются имена графа Хвостова, Кутузова, Стахия Колосова, Николева, Мальгина, Озерецковского, Никитина, Дружинина, Севастьянова, Никольского и самого секретаря Академии Соколова, а нет в нем имен Карамзина, Крылова, Озерова, князя Шаховского, Чеботарева, Мерзлякова и других? Невольно удивляешься, видя ряд имен, может быть и почтенных людей, но уж вовсе не поэтов и не литераторов. Скажут, что они люди ученые, хоть и это еще не доказано; но в таком случае место их скорее в Академии Наук. Академия российская основана в видах пользы русской литературы, по примеру Академии французской, следовательно и должна быть составлена из одних знаменитых литераторов, за исключением некоторых вельмож, ее покровителей и предстателей у престола. Иначе всякий, переведя какую-нибудь книжку, может тотчас и попасть в Академию, как, например, попал в нее Я. А. Дружинин за перевод „Пифагоровых учениц“ Виланда... Ума не приложу; потолкую об этом с Гавриилом Романовичем.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР У Г. Р. ДЕРЖАВИНА

1807 г., 24 марта, воскресенье

Видно, нашей братье, мелкотравчатым стиходеям, совестно стало приходить на литературные вечера с пустыми руками. Немного их было вчера у Гавриила Романовича, да и те, которые были, как-то—П. А. Корсаков и Шулепников, опять ничего не принесли с собою; но, в замену плохих стихов, наслушался я умных речей и вдоволь насмотрелся на многих почтенных людей, в числе которых министр просвещения, граф Завадовский, занимает первое место. Это муж века Екатерины Великой. Он очень величав наружностью; в движениях его много истинного достоинства; говорит протяжно и как будто взвешивая каждое слово, но зато выражается правильно, и разговор его исполнен здравомыслия. Сказывали, что смолоду он был красавец: может быть; но теперь, кроме живых, умных глаз, других остатков прежней красоты не заметно; лицо угревато и багрово, а от белонапудренных волос кажется еще багровее. Разговаривали о войне и о намерениях государя достигнуть общего мира в Европе...

А. С. Шишков прочитал стихи Анны Петровны Буниной на смерть одной из ее приятельниц, молодой девушки шестнадцати лет. В них есть мысли и довольно силы в выражениях, но, странное дело, они как будто писаны по заказу и не производят никакого действия на душу; это стихи не женщины, оплакиваю-

щей свою подругу, а скорее студента, рассуждающего о жизни и смерти; отсутствие чувства главный их недостаток. Бунина не хотела назвать стихов своих элегиею потому, что они писаны четырехстопным ямбом в десятистишных строфах, и дала им пышное название оды, как будто бы нельзя написать элегии четырехстопными ямбами. Но если стихи мне вовсе не по душе, то эпиграф к ним пришелся по сердцу; это двустишие, взятое из сочинений какого-то испанского поэта, а, может быть, и просто какая-нибудь эпитафия:

Dionosla Dios, no pórque la Diese
Mas para montrar en tierra su obra.

То есть: „Бог дал нам ее не для того, чтоб оставить ее здесь, но чтоб показать на земле свое творение". Эту мысль могла бы развить Бунина в своих стихах, не гоняясь за глубокомыслием, которое не всегда бывает у места, и особенно там, где должно преобладать одно чувство...

Решительно не понимаю, отчего во всех здешних литераторах заметно какое-то обидное равнодушие к московским поэтам, хотя бы, например, к Мерзлякову, Жуковскому, Пушкину (В. Л.) и другим. И. С. Захаров, толкующий беспрестанно о грамматике, говорит о них как об учениках и никак не хочет согласиться, чтоб они имели дарование, а между тем покровительствует таким писателям, которых Мерзляков не допустил бы даже на свои лекции, а отправил бы их к Афанасию Михайловичу Смирнову. Какое же может быть сравнение не

только между Мерзляковым или Пушкиным, но даже между Измайловым, Колычевым, князем Шаликовым и прочими второклассными.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР У А. С. ХВОСТОВА

1807 г., 5 мая, воскресенье

Вчерашний литературный вечер А. С. Хвостова был последним из литературных вечеров, и до осени их более не будет. Гаврила Романович уезжает в свою Званку, на берега Волхова, и хочет, на досуге, заняться стихотворным описанием сельской своей жизни. „Лира мне больше не по силам", говорит он: „хочу приняться за певницу". Но кажется, что он только так говорит, а думает иначе и при первом случае не утерпит, чтоб опять не приняться за оду: как бы человек в силах ни ослабел, он не может итти наперекор своему призванию. „Chassez le naturel, il revient au galop".

Я несколько опоздал к чтению и вошел в гостиную, когда оно уже началось. А. С. Шишков читал какую-то детскую повесть, одну из многих, приготовленных им к изданию и составляющих продолжение к изданным уже им в прошедшем году. Разумеется, не было конца похвалам повести, а еще более намеренью автора; последнее точно стоит доброго ему спасиба от всех честных людей. Каково бы ни было достоинство повести в литературном отношении, о котором, впрочем, я ничего ска-

зать не могу, потому что слышал ее только вполовину, но, признаюсь, нельзя было без особого уважения смотреть на этого почтенного человека, который с такою любовью посвящает труды свои детям.

За этим князь Шихматов читал свое подражание восьмой сатире Буало [1]. Все удивлялись, что Шихматов вдруг сделался сатириком, потому что этот род поэзии не свойствен его таланту. Однако ж сатира его имеет свои достоинства и по мыслям и по языку. Преудивительный человек этот Шихматов! Как я ни вслушивался в рифмы, но не мог заметить ни одного стиха, оканчивающегося глаголом. Особый дар и особая сила слова! [2]

Нынче, видно, мода на сатиры: вот уже четвертая, которую удается мне слышать: Горчакова, Шаховского, Марина и, наконец, Шихматова.

После чаю Крылов попотчевал нас баснею „Медведь и Пустынник", это перевод из Лафонтена, но какой перевод! прелесть! стоит оригинала. Медведь у него совершенно живой:

. . . Завидя муху,
Увесистый булыжник в лапы сгреб,
Присел на корточки, не переводит духу
И думает: постой, вот я тебя, воструху!

[1] [De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air,
Qui marchent sur la terre ou nagent dans la mer, и проч.]

[2] [Так прежде казалось автору „Дневника", и он сознается, что удивление его было безотчетно и неосновательно. Это литературный фокус-покус, одна побежденная трудность, и не заключает в себе большого достоинства.

Позднейшее примечание.]

А как читает этот Крылов! внятно, просто, без всяких вычур и, между тем, с необыкновенною выразительностью, всякий стих так и врезывается в память. После него, право, и читать совестно.

Собеседники делали ему множество комплиментов и, между прочим, чрезвычайно хвалили комедию его „Урок дочкам“. Лабзин заметил, что кроме нравственной цели, которую Крылов умел развить с таким искусством в своей комедии, в ней, как в пьесах Мольера, есть величайшее достоинство совершенного отсутствия самого автора, и что он умел избежать этого нестерпимого притязания наших комиков не острословие, которым они желают выказываться сами, тогда как надобно выказывать характеры своих персонажей. „Жаль одного“, сказал он: „что комедия „Урок дочкам“ не написана стихами, тогда было бы она еще совершеннее“.

„А почему ж бы она была совершеннее?“ возразил прозаик И. С. Захаров: „ничего не бывало: эта комедия, хотя она и в одном действии, имеет все достоинства des pièces de caractère и легко обойдется без стихов, которыми нужно только скрашивать les pièces de circonstance по ничтожности их содержания и характеров действующих лиц“.

„А потому“, подхватил Карабанов: „что острое слово в стихах скорее врезывается в память и поступки людей разительнее представляются в стихах, нежели в прозе“.

„Избави нас бог“, сказал Шишков: „от острословия в комедиях, которое годится только для

эпиграмм. Надобно, чтоб комедия возбуждала смех положением действующих лиц, а не остротами. Возьмем в пример хоть бы сцену из „Модной лавки“ Ивана Андреевича, когда провинциал-муж находит в шкапу модного магазина, вместо предполагаемой в нем контрабанды, старуху, жену свою: в этой сцене нет ни одной остроты, а она заставляет хохотать от всей души. Но вот и другой пример. В первой сцене комедии Павла Иваныча Сумарокова „Деревенский в столице“, которую он читал мне на прошлой неделе, слуга на замечание помещика, что Петербург очень изменился с тех пор, как они его не видели, отвечает: „И сколько желтых домов! не пересчитаешь“. Вот, пожалуй, и острота, а смеха не производит“.

Наконец, заставили читать меня. Гавриле Романовичу хотелось, чтоб я прочитал „Бардов“, но я извинился, что наизусть их не помню, и прочитал „Осень“, однако ж, не без робости. На диване, против меня, сидел человек, которого я видел в первый раз—пожилой генерал с двумя звездами, с живой, умной физиономией и насмешливой улыбкой: это был известный остряк и знаменитый рассказчик Сергей Лаврентьевич Львов, приехавший к хозяину невзначай и, кажется, очень довольный тем, что нашел у него литературное собрание. Львов устремил на меня выразительный взгляд и заставил сконфузиться: я читал плохо, спешил и заикался, однако ж стихи мои, кажется, понравились; впрочем, мудрено было бы им и не понравиться после таких стихотворений, каковы, например: „К Трубочке“, „К Пеночке“,

„Видение“, „К Честану“ и проч.; в моих, по крайней мере, есть воображение, чувство и чистота слога [1]. Да здравствует Москва!..

У А. А. ШАХОВСКОГО

1807 г., 6 мая, понедельник

По милости Дмитревского [2] я познакомился с князем Шаховским. Он без церемонии приглашал меня к себе, сказав, что всякий вечер бывает дома и что я ежедневно найду у него кого-нибудь из литераторов и, между прочим, Крылова, который живет с ним в одном доме и даже стена об стену.

Князь Шаховской толст и неуклюж, однако ж ходит проворно. Вся фигура его очень оригинальна, но всего оригинальнее нос и маленькие живые глаза, которые он беспрестанно прищуривает; говорит скоро, пришепетывая, и, судя по тому, что говорит, надобно полагать, что любит подсмеяться. Не понимаю, как он может с своею фигурою и своим произношением преподавать правила трагической декламации: ученики его должны во время уроков помирать со смеху.

[1] [Автор „Дневника“ просит извинения за нескромность юноши, но поправлять не намерен: еже писах, писах.

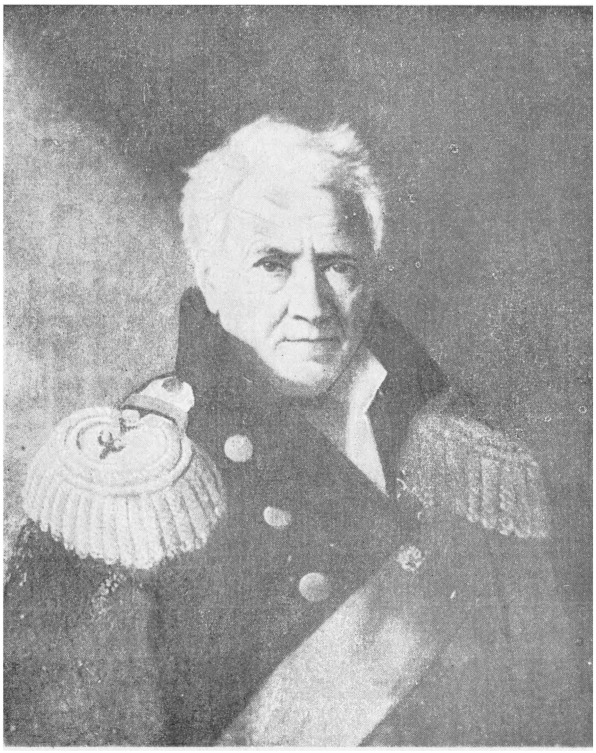
Позднейшее примечание.]

[2] О нем см. в „Дневнике чиновника,“ 2 янв. 1807 г., „Отеч. Записки“ 1855, № 5, стр. 158—160.

9 мая, четверг

Вчера вечером я был у князя Шаховского. Он живет у Синего Моста, в доме Гунаропуло, на углу Большой Морской. Меня встретил высокий лакей, довольно засаленный, которого, как я после узнал, зовут Макаром. „Дома ли князь?“ — „Никак нет-с, он во французском театре, но сейчас приедет; пожалуйте. Катерина Иванова у себя“. Я вошел. Женщина небольшого роста, худощавая, лет 24-х, сидевшая на диване за каким-то шитьем, встретила меня очень приветливо, спросив: „что вам угодно?“ Я сказал ей свое имя, прибавив, что князь приглашал меня к себе на репетиции „Пожарского“, назначив время по вечерам, в которые, по словам его, обыкновенно бывает дома. „Ах, батюшки! да он вас дожидался еще на другой день репетиции!“ заговорила вдруг Катерина Ивановна (это была она) так громко и нецеремонно, как будто мы с нею целый век были знакомы: „ведь вы пишете стихи и сочинили трагедию, которую Петр Николаич очень хвалит“.—„Правда, что я пишу стихи и сочинил трагедию“, отвечал я: „но такую, которая, по мнению знающих людей и по собственному моему убеждению, не может быть представлена на театре, и Кобяков в этом случае сказал наобум, потому что он даже и не читал ее“.— „О! да, да! он ничего не смыслит и только побирается стишками. Вот намедни пристал к князю: сочини ему стихи в его оперку, которую он перевел с французского, „Les amants Protées“; вообразите, с бессмыслицей для роли

Г. Р. Державин.



А. С. Шишков.

Самойлова сладить не мог [1]. А когда есть время князю заниматься таким вздором? Вы не поверите, как он занят: так занят, что не имеет часу свободного времени. Петр Николаич у нас почти всякий день, приносит разные новости, в которых и половины нет правды; а впрочем, он прекраснейший человек".

Я узнал моего друга, но узнал также, что Катерина Ивановна любит поговорить.

Между тем князь Шаховской возвратился из театра вместе с Павлом Михайловичем Арсеньевым. Последний тотчас с великою радостью об'явил Катерине Ивановне, что Матвей Васильевич (Крюковский) вслед за ними едет. Князь обласкал меня и просил быть у него без церемонии. „Только мне и отрады", промолвил он: „что по вечерам дома с людьми грамотными".

Вскоре приехали Крюковский и за ним князь Иван Алексеевич Гагарин, покровитель Семеновой. „Теперь все налицо, Катенька", сказал князь: „как бы чаю?"—„Ивана Андреича еще нет", отвечала она и тотчас послала сказать Крылову, что чай готов.

Мы уселись вокруг большого круглого стола, а Шаховской с Гагариным развалились на диване и закурили трубки. Крылов не замедлил явиться и сел на креслах в углу, у печки.

[1] [Во светлой мрачности блистающих ночей
Явился черный блеск от солнечных лучей;
Ужасный слышу гром в молчанье непрерывном...
Спокоен был и весь от страха трепетал...
Закрыл свои глаза и с быстротой взирал и пр. и пр.
Оборотни, опера в одном действии.]

„Спасибо, умница, что место мое не занято“ сказал он Катерине Ивановне: „тут потеплее“

Арсеньев завел речь о „Пожарском“ и начал хвалить автора на чем свет стоит. Чего-чего не наговорил он ему! Что он первый-то у нас драматический писатель, что трагедия его — первая современная трагедия в целом свете, что на нем одном теперь сосредоточены надежды всех любителей драматической поэзии и проч. и проч. Крюковский краснел и молчал, Крылов улыбался, князь Гагарин очень серьезно и с удивлением посматривал на своего приятеля, который осмеливался так превозносить пьесу, в которой не было роли для Семеновой; но князь Шаховской не выдержал и вспыхнул, как фейерверк: „Да помилуй, братец Павел Михайлыч! откуда ты вдруг набрался такой премудрости, что выдаешь себя за оракула драматической поэзии и уверяешь автора в том, в чем он и сам по совести сознаться не может. Бесспорно пьеса Матвея Васильича имеет свои достоинства; но чтоб она была первою пьесою в свете, так это, голубчик, вздор; а то еще и пущий вздор, чтоб один только автор ее был надеждой и опорой русской сцены. Не говоря о других, куда ж ты девал Озерова?“

„Ну, это только так говорится“, отвечал Арсеньев.

„Говорится?“ возразил князь Шаховской: „а зачем же на вечерах у Марьи Алексеевны проповедуешь ты эту чепуху барыням и барышням, которые ни бельмеса не смыслят в нашей драматической поэзии? Ты сказал, а

они повторять пошли—„на русском театре ничего-де путного нет, кроме трагедии „Пожарский". И вот пирог испечен, мнение готово! Нет, любезный, прямо просишься в мою сатиру или в комедию Ивана Андреича".

„Знаешь ли, князь, отчего наш Арсеньев так пристрастен к трагедии Матвея Васильича, которой, впрочем, я сам отдаю полную справедливость, хотя и не знаю, какой она будет иметь успех на сцене? Оттого, что он в жизни своей не читал никакой другой пьесы, а эту как-то удалось ему выучить наизусть. Не правда ли, Павел Михайлович?"

Арсеньев засмеялся.

„Смейся или нет, что правда, то правда", продолжал князь Гагарин: „ну-ка, назови еще трагедию или комедию, которую бы ты читал когда-нибудь".

Арсеньев признался, что он точно не читывал ни одной театральной пьесы, но зато, по страсти к театру, все их пересмотрел на сцене.

В одиннадцать часов заехал за князем Гагариным граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин, очень толстый, но приятной наружности человек, с открытым лицом и добродушною физиономиею; он большой любитель спектаклей французского и русского и ежедневно бывает в одном из них. „Или сегодня у тебя неприсутственный день", спросил он князя: „что ничего не читают?"—„Да еще не размололись", отвечал Шаховской: „и вместо пролога, бранимся пока с Арсеньевым".

Между тем Крюковский подсел к столику, на котором Катерина Ивановна разливала чай, и

тихомолком болтал с нею. Из всего, что они говорили, я мог только расслушать несколько слов: „И сегодня были?“—„Были утром“.—„Хорошо читает?“—„Прекрасно, князь очень доволен“.—„А чем дебютирует?“—„Кажется, Дидоной или Пальмирой“.—„Как жаль, что я не был!“

„А ты не слыхал“, сказал князь Шаховской графу Пушкину: „что Крылов написал новую басню, да и притаился, злодей!“ С этим словом он вдруг вскочил с дивана и поклонился в пояс Крылову. „Батюшка Иван Андреевич, будьте милостивы до нас бедных—расскажите нам одну из тех сказочек, которые вы умеете так хорошо рассказывать“. Шаховской пародировал сестру Шехерезады.

Крылов засмеялся, а когда смеется Крылов, так это недаром—должно быть смешно. Он придвинулся к столу и прочитал новую свою басню „Оракул“:

> В каком-то капище был деревянный бог,
> И стал он издавать пророчески ответы, и проч.

Собеседники слушали с величайшим удовольствием и заставили автора повторить заключение. Странное дело, мы слышали басню в первый раз, а почти все знали ее уже наизусть.

После Крылова читал князь Шаховской начало комической своей поэмы „Расхищенные шубы“. Содержание основано на происшествии, случившемся прошедшею зимою в немецком так называемом Шустер-Клубе: пьяный швейцар во время бала перепутал шубы и

салопы приезжих гостей, отчего при раз'езде произошел беспорядок—вот и все тут! Но князь Шаховской умел опоэтизировать анекдот. В его стихотворной шутке много мест, достойных Буало, поэме которого (Le Lutrin) он, по словам его, подражать хотел. Каково-то будет продолжение, а начало, нечего сказать, прекрасно. Совет старшин клуба описан мастерски, и некоторые из них дышат жизнью:

> Сам мастер гробовой Фрейтодт с умильным взором,
> С улыбкой радостной, как будто перед мором!

„Но скажи, пожалуйста, князь", спросил граф Пушкин: „когда ты находишь время сочинять что-нибудь? По утрам у тебя должностной народ, перед обедом репетиции, по вечерам всегда общество, и прежде второго часа ты не ложишься—когда ж ты пишешь?"

„Он лунатик, граф", с громким смехом подхватила Катерина Ивановна: „не поверите: во сне бредит стихами! Иногда думаешь, что он тебе что-нибудь сказать хочет, а он вскочил да и за перо, прибирать рифмы!"

Мы расхохотались, и сам князь Шаховской также.

Граф Пушкин с князем Гагариным уехали к княгине Голицыной, проименованной la Princesse nocturne, потому что она не принимает у себя ранее полуночи и ночи превращает в дни, Крылов ушел спать, а, наконец, и Арсеньев с идолом своим, Крюковским, отправились по домам. Я также хотел откланяться, но князь Шаховской настоял, чтоб я с ним ужинал. Мы остались болтать втроем. Я рас-

сказал ему о моей праздной службе, о моих занятиях и о страсти моей к театру, прочитал ему несколько сцен из „Артабана“. Результат моей болтовни был для меня неожиданно счастлив: с величайшим добродушием князь предложил мне ходить во все театры отныне навсегда бесплатно в его кресла, которые он сам никогда не занимает, находясь всегда за кулисами.

Вот оно что! Теперь не для чего мне справляться с карманом и разбирать спектакли: ступай в любой и, сверх того, в кресла [1]!

С. П. Жихарев

[1] Несколько позже у Шаховского по вечерам обычно с'езжались Грибоедов, Жандр, Хмельницкий, Катенин, Бегичев, Я. Толстой, Ник. Всеволожский, А. С. Пушкин, Ал. Бестужев, Алябьев, Ф. Ф. Юрьев, Верстовский и мн. др., читались театральные пьесы, обсуждались их постановки.

ДОМ А. Н. ОЛЕНИНА [1]

Искусство и литература находили скромное, но постоянное убежище в доме А. Н. Оленина. Этот достойный сановник был от природы страстный любитель искусств и литературы. При долговременной службе он все свободное время посвящал своим любимым предметам. Может быть, ему недоставало вполне этой быстрой наглядной сметливости, этого утонченного, проницательного чувства, столь полезного в деле художеств, но пламенная его любовь ко всему, что клонилось к развитию отечественных талантов, много содействовала успехам русских художников. Кипренский был им взыскан и поощряем; конечно, Егоров, Шебуев, оба Брюлловы не забыли постоянного о них попечения А. Н. Оленина. Сверх того Оленин был одним из первых основателей русской археологии. Ревностный поборник отечественных древностей, он занимался постепенно всеми предметами, входящими в этот круг, начиная от тмутараканского камня до драгоценностей керченских, от Лаврентьевского Нестора до описания московских памятников.

Дому Оленина служила украшением его супруга Елизавета Марковна, урожденная Полторацкая. Образец женских добродетелей, неж-

[1] „Современник" 1851, июнь, стр. 39—40, отдел: „Науки и художества". Литературные воспоминания А. В.

нейшая из матерей, примерная жена, одаренная умом ясным и кротким нравом—она оживляла и одушевляла общество в своем доме. Крылов особенно находил в ней не только участие друга, но даже и попечительность доброй матери. Он с своею лафонтеновскою беспечностью нашел в Елизавете Марковне другую г-жу де-Ласаблиер. Вообще дом Оленина немало содействовал к известности Крылова, который Олениным был представлен ко двору и определен в императорскую Публичную библиотеку. Лучшие произведения Крылова были читаны в первый раз в кругу друзей Оленина, к числу которых принадлежал Н. И. Гнедич, ревностный переводчик Гомера, чей замечательный труд и тщательное изучение греческого подлинника, к сожалению, не всегда встречают ныне достаточную оценку.

В доме Оленина явился в свою очередь В. А. Озеров с рукописным „Эдипом в Афинах", и тут была читана в первый раз эта трагедия, которую не затмили произведения позднейших наших драматургов. Эдип был представлен на сцене в первый раз в 1804 году. Роль Антигоны была написана Озеровым для дебюта К. С. Семеновой. Первоначальные репетиции этой трагедии происходили также в доме А. Н. Оленина. Д. Н. Блудов и С. С. Уваров были с ранней молодости в числе коротких приятелей семейства Олениных, В. В. Капнист часто посещал этот дом, постоянно открытый для немногих, всегда встречавших радушный прием со стороны хозяина и хозяйки. Часто к обеду собиралось незваных гостей

человек до десяти или более, хлеб-соль была не причудливая, но сытная и вкусная.[1]

Возвратимся в гостиную Олениных—в эту гостиную, где почти ежедневно встречалось несколько литераторов и художников русских. Предметы литературы и искусств занимали и оживляли разговор; совершенная свобода в обхождении, непринужденная откровенность, добродушный прием хозяев давали этому кругу что-то патриархальное, семейное, что не может быть понято новым поколением. Сюда обыкновенно привозились все литературные новости: вновь появлявшиеся стихотворения, известия

[1] См. еще записки Ф. Ф. Вигеля, ч. IV, стр. 144—145; воспоминания М. Ф. Каменской в „Историч. Вестнике" 1894, май, стр. 336—337; записки графа Ф. П. Толстого в „Русск. Старине" 1873, т. VII; Моя жизнь... рассказ академика Ф. Г. Солнцева в „Русск. Старине" 1876, т. XV; Г. П. Георгиевский—А. Н. Оленин и Н. И. Гнедич. Новые материалы из оленинского архива, Сборник отделения русск. яз. и словесности Академии Наук. Том XCI, № 1. СПБ., 1914; А. П. Керн—воспоминания в сборнике Л. Майкова. Пушкин, П., 1899, стр. 235—236. В начале XIX в. известны были еще дома Трощинского и Полторацких, где сходились тогдашние литераторы. Все, что печаталось за подписью Жуковского, Батюшкова, кн. Шаховского, немедленно прочитывалось в ежедневном кружке кн. Хилковой (дочери Трощинского), „становилось предметом самых оживленных толков; Капнист и Гнедич, земляки Трощинского, обыкновенно являлись с только что вышедшими книжками или журналами в руках; Аркадий Родзянко ничего не печатал, не прочтя предварительно в гостиной Трощинского. Другой, не менее литературный дом... был дом Полторацких, где бывали Державин и Карамзин, очень часто Оленин, Крылов, Гнедич, Капнист и мн. художники и ученые" (П. Щебальский. Литератор старого времени. „Русский Вестник" 1871, ноябрь, стр. 300—301).

о театрах, о книгах, о картинах—словом, все, что могло питать любопытство людей, более или менее движимых любовью к просвещению. Не взирая на грозные события, совершавшиеся тогда в Европе, политика не составляла главного предмета разговора—она всегда уступала место литературе. Здесь нельзя не заметить, что не только у нас, но и вообще во всей Европе обнаруживалось сильное стремление к развитию словесности и наклонность к мирным умственным занятиям именно в то время, когда потрясение всех начал гражданского порядка и дух воинских предприятий колебали все государства, стоявшие на краю гибели.

С. Уваров

БЕСЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО СЛОВА[1]

Вскоре около знаменитого, вдохновенного старца составилось общество под названием Беседы Л. Р. Слова. В уреченные дни поэты и прозаики, писатели заслуженные и новички начали с'езжаться в дом Гавриила Романовича, затейливый и своеобразный. Беседа имела свои частные и публичные заседания. Сии последнии по вечерам и отличались присутствием многих посторонних слушателей, допускаемых туда по билетам. Зала средней величины, обставленная желтыми под мрамор красивыми колоннами, казалась еще изящнее при блеске роскошного освещения. Для слушателей вокруг залы возвышались уступами ряды хорошо придуманных седалищ. Посреди храмины муз поставлен был огромный продолговатый стол, покрытый зеленым тонким сукном.

Около стола сидели члены беседы под председательством Державина, по мановению которого начиналось и перемежалось занимательное чтение вслух, часто образцовое. Здесь, кроме Державина, заседали: А. Н. Оленин, А. С. Шишков, Озеров, Крылов, друг его Гнедич, Жуковский, Муравьев-Апостол, Писа-

[1] „Москвитянин" 1851, ноябрь, кн. I (№ 21), стр. 4–8.

рев, М. М. Сперанский, Н. И. Соколов и, если не ошибаюсь, иногда Дмитриев и Карамзин. Всех имен не припомню. Лирическая поэзия, драма, элегия, народная басня, языкознание, классическая литература и отечественная история имели в этом отборном кругу представителей, достойных себя.

Я был слишком молод тогда, чтобы иметь доступ в заветное святилище изящного. Но мне смерть хотелось обратить на себя внимание отборного сословия писателей. Мои ребяческие стихи не могли никак устоять на суде знатоков; оставалось одно средство: представить им образчик моих познаний классических. Я ухватился за рассказ Ферамена в Федре Расина, переведенный Державиным, и написал сравнительный разбор трех рассказов об одном и том же мифе—Эврипида, Овидия и франц. поэта, отправил труд свой к секретарю „Беседы“ Писареву, и с тех пор мое бытие стало известнее нашему Парнасу на берегу Фонтанки.

Гнедич встретил меня в гостиных и полюбил pour l'amour du grec. А. С. Шишков радушно принял новый труд мой: Опыт о преподавании Российскому юношеству греческого языка, представил его на суд собраний и склонил их прочесть отрывки из моего опыта при первом публичном заседании. Меня, разумеется, пригласили на этот вечер, столь для меня памятный.

После басен Крылова и других изящных произведений, старец Шишков начал читать вслух мои пламенные страницы, Гнедич хвалил,

и все прочие аристархи почтили восемнадцатилетнего юношу своими ободряющими отзывами [1].

А. Стурдза

[1] См. о „Беседе“ еще записки Ф. Ф. Вигеля, ч. III, стр. 151—152. Изд. „Русск. Архива“, М., 1892; Воспоминания В. И. Панаева в „Вестнике Европы“ 1867, сентябрь, стр. 251—252 (здесь же о Державине на стр. 245—254).

АРЗАМАС[1]

I

Весной (1815 года) решился, наконец, Жуковский приехать в Петербург на житье. Ему предшествовала выросшая его знаменитость, и он особенно милостиво был принят у вдовствующей императрицы, которая любила в нем певца обожаемого ею, могущественного, препрославленного сына своего. Несмотря на новый образ жизни, Петербург не мог показаться ему чужбиной: недра дружбы ожидали его в нем. Тщесла ный и ленивый (А. И.) Тургенев, который выслуживался чужими трудами и плел себе венок из чужой славы, конфисковал его в свою пользу и дал ему у себя помещение.

Желая им похвастаться и им угостить, в один весенний вечер созвал он на него всех коротких знакомых своих. Я рано притти не мог: принадлежа к Оленинскому обществу, я счел обязанностью в этот день видеть первое представление Расиновой „Ифигении в Авлиде“, коей переводчик, Михаил Евстафьевич Лобанов, был один из приближенных к Алексею Николаевичу (Оленину). Публика приняла трагедию хорошо; а так как один партер с некоторого времени имел право из'являть народную

[1] Записки Ф. Ф. Вигеля. Изд. „Русск. Архива“, М., 1892, ч. IV, стр. 168—177.

волю (что шалунам и крикунам было весьма приятно), то она не упускала случая сим правом воспользоваться, и потому-то, вероятно, шумными возгласами вызвали переводчика. Ничтожество и самолюбие были написаны на лице этого бездарного человека; перевод его был не совсем дурен, но Хвостов, я уверен, сделал бы его лучше, то есть смешнее.

С Крыловым, с Гнедичем и с самим, венчанным свежими лаврами, поэтом после представления прямо из театра явились мы к Тургеневу. Но, о горе! приход последнего едва был замечен. На Жуковском сосредоточивались все любопытные и почтительные взоры присутствовавших: он был истинным героем празднества. В помутившихся глазах и на бледных щеках Лобанова выступила досада, которую разве один я только заметил.

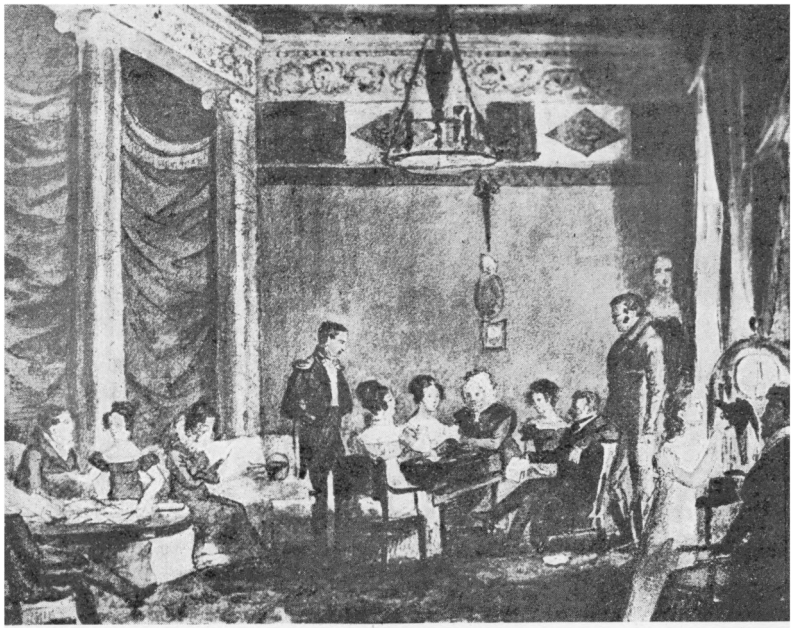
На этом вечере, в кругу не весьма обширном, мог я ближе разглядеть одного молодого человека, которого дотоле встречал в одних только больших собраниях. Щеголяя светскою ловкостью, всякого рода успехами и французскими стихами, Сергей Семенович Уваров старался брать первенство перед находящимися тут ровесниками своими, и его откровенное самодовольствие несколько смирялось только перед остроумием Блудова и исполненным достоинства разговором Дашкова. Мне показался он нестерпим.

Барич и галломан во всем был виден; оттого-то многим членам „Беседы“ он совсем пришелся не по вкусу; некоторые из них, более

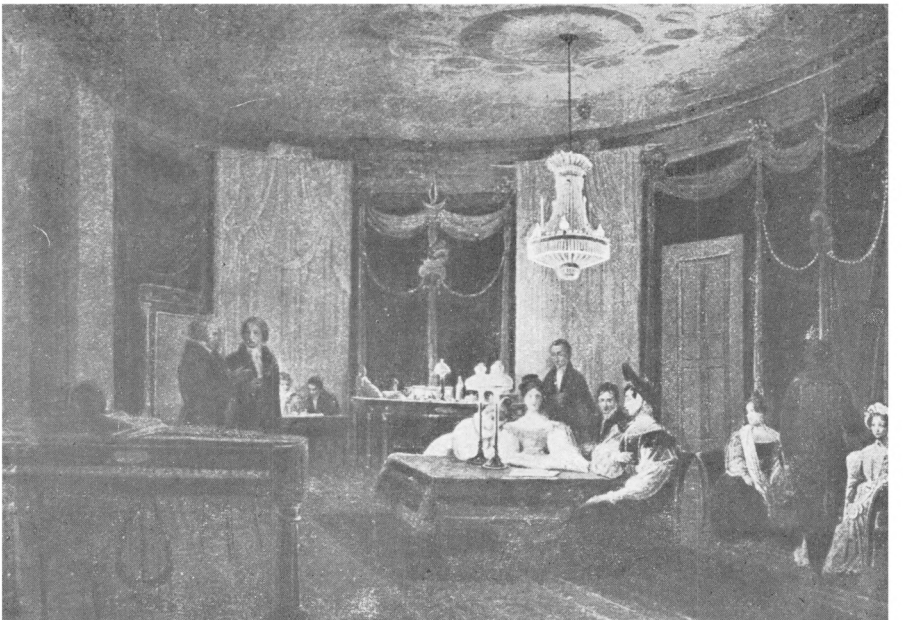
самостоятельные, позволяли себе даже подсмеиваться над ним. Это его взорвало, но покамест принужден он был молчать. Приезд Жуковского не нравился большей части Беседников, что и подало Уварову мысль вступить с ним в наступательный и оборонительный союз против них.

Он обманулся в своих расчетах: Жуковский, так же как и Карамзин, чуждался всякой чернильной брани. Не менее того ошиблись в нем и петербургские его естественные враги. В наружности его действительно не было ничего вселяющего особое уважение или удивление; в обхождении, в речах был он скромен и прост: ни чванства, ни педантства, ни витийства нельзя было найти в них. Оттого в одно время успехам его завидовали, а особу его презирали. Оленинская партия не в‘явь, но тайно также не благоволила к нему. Тогда-то Шаховскому (и кому же иному) вздумалось одним ударом сокрушить сие безобидное, по мнению его, творение его и всю знаменитость и всех друзей его.

Мы обыкновенно день имянин Дашкова и Блудова, 21 сентября, праздновали у сего последнего. Крылов и Гнедич тут также находились за обедом. Афишка в этот день возвещала первое представление 23 числа новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах под названием „Липецкие воды или урок кокеткам“. Для любителей литературы и театра известие важное. Кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обе-



В доме А. Н. Оленина.



Семейство Голицыных.

щаемое сим представлением; все из'явили согласие, кроме двух Оленистов.

Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров, в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дернул его ни к селу ни к городу вклеить одно действующее лицо в нее, которое все дело перепортило. В поэте Фиалкине, в жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это все равно что намалевать рожу и подписать под нею имя красавца; обман немедленно должен открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка была брошена, еще кипящие молодостью Блудов и Дашков спешили поднять ее.

Победа казалась на стороне Шаховского; новая пиеса его имела успех чрезвычайный,

публика приняла ее с шумом, громогласным одобрением. В тот же вечер, как нам сказывали, по сему случаю было большое празднество у петербургского гражданского губернатора Бакунина, коего супруга, сестра Павла Ивановича Кутузова, надела венок на счастливого автора. Крылов, с которым на другой день я увиделся, сказал мне с коварною улыбкой: „Как быть, les rieurs sont de son côté“ (насмешники на его стороне). Торжество Шаховского пуще раздражало нас. Ах, юность, юность! Ну, право, как будто и смешно и совестно за себя и за других, когда вспомнишь, как все эти пустяки почитали мы делом сериозным и важным.

Для получения наследства Блудов когда-то ездил в Оренбургскую губернию. Дорогой случилось ему остановиться в Арзамасе; рядом с комнатой, в которой он ночевал, была другая, куда несколько человек пришли отужинать, и ему послышалось, что они толкуют о литературе. Тотчас молодое воображение его создало из них общество мирных жителей, которые в тихой, безвестной доле своей посвящают вечера суждениям о предмете, который тогда исключительно занимал его. Воспоминание об этом вечере и о другом, проведенном со мною, подало ему мысль библейским слогом написать нечто под названием „Видение в какой-то ограде“. Арзамасские любители словесности в одно из своих вечерних собраний слышат странный шорох в соседней комнате; Шаховской в магнетическом сне бродит по ней; они прислушиваются, а он рассказывает, как в па-

мятную нам бурную ночь вздумалось ему остановиться перед окошком опустевшей залы дома Державина и какие чудеса ему там привиделись. Потом принимается он исповедывать все тайные, но всем известные грехи свои. Писано было отменно забавно, а для Шаховского с товарищами довольно язвительно. Напечатать было невозможно, а рукописи всегда трудно разойтись по рукам и получить общую известность. Главное было то, чтоб она дошла до Шаховского, и в чашу радости его много подлила она горечи.

Дашков поступил еще лучше, то есть смелее. За начинающимся недостатком политических происшествий, следственно и известий, в „Сыне Отечества“ Греч начинал уже помещать литературные статьи, но и ими журнал сей не изобиловал. Вероятно оттого-то согласился он напечатать в нем „Письмо к новейшему Аристофану“ Дашкова, притворяясь, будто не знает, на чье лицо оно писано. А угадать было не трудно: самым пристойным, почти учтивым образом автор письма, как палицей, так и бил с плеча в Аристофана. Шум и великая тревога сделались оттого в неприятельском стане.

Принимая в этом деле живейшее участие, не менее того видел я и забавную его сторону. С родственником моим Загоскиным, верно преданным Шаховскому, я не прерывал своих сношений, мы часто посещали друг друга. Я любил бесить его, позволяя себе нескромные шутки и повторяя все колкости, слышанные мною в кругу моих приятелей насчет его патрона. С своей стороны и он не слишком щадил сих

последних и в нетерпении своем высказывал мне злые намерения наших противников. Таким образом, пламя раздора все более раздувалось, и с обеих сторон готовились к новым битвам. Передавая все слышанное мною дружескому обществу нашему, я в шутку сам прозвал себя его шпионом или лазутчиком, а там, в сердитовеселом расположении духа, находя это название слишком жестоким, перевели его на слово соглядатай. Роль поджигателя была очень веселая, не совсем уважения достойная, но как быть, дело от безделья.

Новое нападение противной стороны, возбужденной мною посредством Загоскина, ограничилось его комедией „Урок волокитам“ в трех действиях и в прозе. Она была недурна, особливо как скороспелка. В ней, хотя не совсем остроумно, досталось всем, а более всех мне. Пожалуй, я мог бы не узнать себя в Фольгине, большом врале, ветреном моднике, каким никогда я не бывал, если бы некоторые из слов и суждений моих не были вложены в уста его. Я знал, чем отомстить человеку, который, по всей справедливости, гордился едва ли не более древностью рода своего, чем новостью своей известности. Я уверил его, что все приятели мои не хотят верить его существованию, фамильное имя его почитают вымышленным, одним словом, видят в нем псевдоним, под которым сам Шаховской написал комедию.

Любопытно в это время было видеть Уварова. Он слегка был задет в комедии Шаховского и придрался к тому, чтоб из‘являть величайшее негодование. Мне кажется, он более

рад был случаю теснее соединиться с новыми приятелями своими. Мысленно видел он уже себя предводителем дружины, в которой были столь славные бойцы, и на челе его должен был сиять венец, в который как драгоценный алмаз намерен был он вставить Жуковского. Опыт доказал ему, что он никакой подчиненности не может ожидать от соратствующих: все равно, в петербургском большом свете он гораздо их более известен и в глазах его может показаться главою партии.

В одно утро несколько человек получили циркулярное приглашение Уварова пожаловать к нему на вечер 14 октября. В ярко освещенной комнате, где помещалась его библиотека, нашли они длинный стол, на котором стояла большая чернильница, лежали перья и бумага; он обставлен был стульями и казался приготовленным для открытия присутствия. Хозяин занял место председателя и в краткой речи, хорошо по-русски написанной, осуществляя мысль Блудова, предложил заседающим составить из себя небольшое общество „Арзамасских безвестных литераторов". Изобретательный гений Жуковского по части юмористической вмиг пробудился: одним взглядом увидел он длинный ряд веселых вечеров, нескончаемую нить умных и пристойных проказ. От узаконений, новому обществу им предлагаемых, все помирали со смеху; едино, гласно избран он секретарем его. Когда же дело дошло до президентства, Уваров познал-

как мало готовы к покорности избранные им товарищи. При окончании каждого заседания жребий должен был решать, кому председательствовать в следующем, для них не было даже назначено постоянного места; у одного из членов попеременно другие должны были собираться. Уварову не могло это нравиться, но с большинством спорить было трудно; он остался при мысли, что время подчинит ему эту республику.

Все это знаю я только по слуху, ибо в этом первом заседании я не участвовал: Уваров забыл или не хотел пригласить меня на него. Удивленные моим отсутствием, все другие члены изъявили желание видеть меня между собою. Тогда собралось нас всего семь человек, которых в припадке ослепленного дружелюбия и самолюбия сравнивал я с семью мудрецами Греции, а общество наше называл то плеядой, то семиствольной девницей.

„Арзамасское общество“ или просто „Арзамас“, как называли мы его, сперва собирался каждую неделю весьма исправно, по четвергам, у одного из двух женатых членов—Блудова или Уварова. С каждым заседанием становился он веселее, за каждою шуткой следовали новые, на каждое острое слово отвечало другое. С какою целью составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, с тем, чтобы проводить время приятным образом и про себя смеяться глупостям человеческим. Не совсем прошел еще век, в который молодые люди, как умные дети, от души умели смеятья; но конец его уже близился.

Благодаря неистощимым затеям Жуковского, „Арзамас“ сделался пародией в одно время и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ. Так же как в первых, каждый член при вступлении обязан был произнесть похвальное слово покойному своему предместнику; таковых на первый случай не было, и положено брать их напрокат из „Беседы“. Самим основателям общества нечего было вступать в него; все равно, каждый из них в свою очередь должен был играть роль вступающего, и речь президента всякий раз должна была встречать его похвалами. Как в последних, странные испытания (впрочем, не соблюденные) и клятвенное обещание в верности обществу и сохранении тайн его предшествовали принятию каждого нового Арзамасца. Все отвечало одно другому.

Вечер начинался обыкновенно прочтением протокола последнего заседания, составленного секретарем Жуковским, что уже сильно располагало всех к гиларитету, если позволено так сказать. Он оканчивался вкусным ужином, который также находил место в следующем протоколе. Кому в России не известна слава гусей арзамасских; эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить герб общества.

Все шло у нас не на обыкновенный лад. Дабы более отделиться от света, отреклись мы между собою от имен, которые в нем но-

сили, и заимствовали новые названия у баллад Жуковского. Таким образом наречен я „Ивиковым Журавлем“, Уварова окрестили „Старушкой“, Блудова назвали „Кассандрой“, Жуковского „Светланой“, Дашкову дали название „Чу“, Тургеневу „Эоловой Арфы“, а Жихареву „Громобоя“.

Ни государь, ни Елисавета Алексеевна в это время не воротились еще из-за границы, а двор со вдовствующей императрицей оставался в Гатчине. Что удивительного, если в Петербурге деятельно занимались тогда всяким вздором. Глухо разнеслась в нем весть о существовании какого-то во мраке возникшего общества. „Беседа“ первая догадалась, что оно оживлено не совсем приязненным к ней духом; в ней предполагали, что тайно готовятся на нее сильные нападенія; кто скрывается, тот должен и иметь дурной умысел, и словесники готовы были приписывать нам заговор против правительства. А впрочем кому же придет в голову, что порядочные люди собираются еженедельно единственно затем, чтоб умно подурачиться! Если бы некоторые из членов „Беседы“, из тех, которые были поумнее, могли подслушать нас, то верно были бы успокоены и обезоружены. Правда, в похвальных им речах дарования их не слишком высоко оценивались, притязания их на авторство были осмеяны, но личности против них никто себе не позволял. Они бы узнали, что, устранив всякое педантство, Арзамасцы между собою не чинились и часто позволяли себе даже трунить один над другим.

Не менее „Беседы“ взволновано было Олениинское общество: „Арзамас“ казался ему загадкою, которой тайну я не спешил открыть ему. Из слов и обхождения Крылова и Гнедича мог я заметить, что они чуждаются падших и не дерзнут восстать на торжествующих. Вся эта истинно-комическая история (ибо комедия Шаховского была началом ее) должна была иметь влияние на судьбу мою. В доме у Олениных Жуковский был принят с усиленной ласкою; со мною как будто ни в чем не бывало. Несмотря на то, я мог ясно видеть, что недавние связи совершенно разорваны...

В этой главе[1] хочется мне кстати досказать повесть о „Беседе“ и „Арзамасе“, хотя для того я должен буду выступить за пределы 1816 года. Оно будет не весьма длинно. „Беседа“ в этом году как будто исчезла, совсем пропала без вести. Единственное заседание ее, на коем я присутствовал, было едва ли не последнее; если потом и были они, то не публичные и верно очень редко, ибо о них и слуху не было. Единственный свет, ее озарявший, слабел и тихо угасал на берегах Волхова: летом Державин заснул вечным сном в деревне своей Званке, невольно осудив на то и „Беседу“. Божество отлетело, и двери во храм его навсегда затворились.

Когда старуха-„Беседа“ в изнеможении сил близилась к концу, в то же самое время молодой соперник ее все более крепился и мужал. Век его был также короток, но он оставил по

[1] Ч. V. стр. 37—52.

себе долгие воспоминания. Новых членов, коими он обогащался, да позволено мне будет назвать здесь по порядку, неизвестных же читателю стараться познакомить с ним.

Первые им восприятые были прибывшие из-за границы два дипломата. По летам своим Петр Иванович Полетика мог некоторым образом почитаться нам ровесником, но он всегда был старообразен: ему не было еще сорока лет, а казалось гораздо за сорок, и потому он не совсем подходил подстать к людям, из коих составлялась не академия, а общество довольно молодых еще, пристойных весельчаков. Служа в Иностранной Коллегии, состоял он при разных миссиях и из'ездил почти весь свет. Из-за морей показывался он иногда в Петербурге и потом вдруг исчезал из него; во время сих быстрых появлений коротко познакомился он с сослуживцами своими, Дашковым и Блудовым; мне также не раз случалось с ним встречаться и разговаривать. Лишь только узнали о его приезде, единогласно, громогласно призвали его в наше общество. Он мало занимался русскою литературой, хотя довольно хорошо ее знал; но, я повторяю, не одни литераторы нам были нужны. Его бы следовало принять почетным членом, тогда их у нас еще не было, все были одни действительные, и, нареченный „Очарованным Челном", не знаю как-то́, ускользнул он от обязанности произнести вступительную речь. Недолго насладились мы его обществом; следующей весной назначен был он советником посольства в Лондон.

Вместе с ним из Мадрида и Парижа приехал один юноша, впрочем лет двадцати пяти, приятель Дашкова, Д. П. Северин. Что сказать мне о сем новом сочлене нашем? В сокращенном виде был он Уваров, с тою, однако, великою разницей, что последний был знатнее родом, гораздо красивее, во сто раз умнее и богаче и даже добродушнее его. Я думаю, оттого, что безмерные притязания Уварова давно уже обратились в права, а Северина и поныне еще терзает неудовлетворенное честолюбие. С нами, по крайней мере, не мог и не умел он позволять себе ничего резкого. Кто же в первой молодости был совершенно зол? Счастие почти всегда ласкает юность, да и самые неудачи так скоро забываются посреди тысячи развлечений, тысячи наслаждений. В это время худенький Северин был точно в молоке испеченный и от огня слегка подрумяненный сухарь. С годами взволнованная желчь, разливаясь по жилам и чертам его, в самый неприятный цвет, наконец, окрасила его лицо. Вот его наружность. Что касается до характера, это было удивительное слияние дерзости с подлостью; но надобно признаться—никогда еще не видал я холопство, облеченное в столь щеголеватые и благородные формы. У него были и литературные права: благоволящий к нему Жуковский имел слабость чью-то басенку в восьми стихах напечатать под его именем в собрании русских стихотворений. Он был совоспитанник Вяземского, товарищ по службе Дашкова, приятелем обоих, и потому-то двери „Арзамаса“ открылись перед ним настежь.

Сейчас только что назвал Вяземского, а он тут и является. Он и В. Л. Пушкин приехали в Петербург вместе с Карамзиным и месяца через два с ним же воротились в Москву. В сие короткое время один усладил, а другой потешил „Арзамас“ своим соприсутствием.

В следующее заседание приглашены были некоторые более или менее знаменитые лица: Карамзин, князь Александр Николаевич Салтыков, Михаил Александрович Салтыков и, наконец, Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. Все они, вместе с отсутствующим Дмитриевым, единогласно выбраны почетными членами или почетными гусями: титул сей, разумеется, предложен был Жуковским. В это время только удалось мне видеть Нелидинского, не высокого роста, умного, веселого, толстенького старичка, исполненного нежнейшей чувствительности и предававшегося самой грубой чувственности, написавшего немного прелестных стихов и, к сожалению, так много непотребных.

В этот же день потешили и В. Л. Пушкина. Некогда приятель и почти ровесник Карамзина и Дмитриева, сделался он товарищем людей, по меньшей мере, пятнадцатью годами его моложе. Надобно им было чем-нибудь отличить его, признать какое-нибудь первенство его перед собою. И в этом деле помог Жуковский, придумав для него звание „Старосты Арзамаса“, с коим сопряжены были некоторые преимущества. Из них некоторые были уморительные и остались у меня в памяти; например, место старосты „Вота“, когда он

налицо, подле председателя общества, во дни же отсутствия—в сердцах друзей его; он подписывает протокол с приличною размашкой; голос его в нашем собрании... имеет силу трубы и приятность флейты, и тому подобный вздор.

Я полагаю, что если б это общество могло ограничиться небольшим числом членов, то оно жило бы согласнее и могло долее продлить свое веселое существование, но Жуковский беспрестанно вербовал новых. Необходимо их представить здесь.

Первого назову я Дмитрия Александровича Кавелина. Гораздо старее Жуковского, он однако же учился с ним вместе в московском университетском пансионе, который оставил он несколько годов прежде него. Он принадлежал к партии Сперанского, находился под покровительством и в тесной дружбе с Магницким. Он никогда не был выскочкою, держал себя тихо, скромно, удалялся от общества, оттого, может быть, не увлечен был их падением и сохранял значительное место директора медицинского департамента. Но без них он как бы осиротел и, как кажется, желал составить новые связи, пристать к чему-нибудь, к кому-нибудь. Придравшись к прежнему соученичеству, он очень ласкался к Жуковскому и предложил ему печатать его сочинения в типографии своего департамента. Он был человек весьма неглупый, с познаниями, что-то написал, казался весьма благоразумным, ко всем был приветлив, а, не знаю, как-то ни у кого к нему сердце не лежало. Действующее

лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишний. Жуковский наименовал его „Пустынником“. Безнравственность его обнаружилась в скором времени; постыдные поступки лет через семь или восемь до того обесславили его, что все порядочные люди от него удалились, и в России, где общее мнение ко всем так снисходительно, к нему одному осталось оно немилосердно. Как будто сбылось пророчество Жуковского: около него сделалась пустыня, и он всеми забыт.

Одного только члена, предложенного Жуковским, неохотно приняли. Не знаю, какие предубеждения можно было иметь против Александра Федоровича Воейкова. Наш поэт воспитывался в Белевском уезде, в семействе Буниных. Екатерина Афанасьевна Бунина, по мужу Протасова, имела двух дочерей, которые, выростая с ним, любили его как брата; говорят, они были очаровательны. Меньшая выдана за соседа, молодого помещика Воейкова, который также писал стихи, и оттого-то у двух поэтов составилось больше чем приязнь, почти родство. Совершенная разница в наружности, в чувствах, в обхождении супругов, конечно, бросалась в глаза: он был мужиковат, аляповат, неблагороден; она же настоящая Сильфида, Ундина, существо неземное, как уверяли меня (ибо я только вскользь ее видел). Неужели это ему ставили в вину? Да какое неуклюжество не простил бы я, кажется, за ум, а в нем было его очень много. В душе его не было ничего поэтического, стихи, столь

отчетливо, столь правильно им написанные, не произвели никакого впечатления, не оставили никакой памяти даже в литературном мире. Лучшее произведение его было перевод Делилевых „Садов“. Как сатирик, имел он истинный талант; все еще знают его „Дом сумасшедших“, в который поместил он друзей и недругов, над первыми смеялся очень забавно, последних казнил без пощады. Он был вольнопрактикующий литератор, не принадлежал ни к какой партии, ни к какому разряду, и потому-то мне не случилось доселе упомянуть о нем. Никто, может быть, так хорошо не знал русскую словесность; доказательством любви его к ней служит принятие звания профессора ее в Дерптском университете. Это всех удивило и многим не понравилось; наши дворяне, и особенно старинные, как он, гнушались тогда всем, что походило на учительство—они не были современниками Гизо и Шевырева. Воейков никак не обиделся данным ему у нас названием „Дымной печурки“.

Еще одного деревенского соседа, но вместе с тем парижанина в речах и манерах, поставил Жуковский в „Арзамас“. В первой молодости представленный в большой свет, Александр Алексеевич Плещеев пленил его необыкновенным искусством подражать голосу, приемам и походке знакомых людей, особенно же мастерски умел он кривляться и передразнивать уездных помещиков и их жен. С такою способностью не трудно было ему перенять у французов их поговорки, все их манеры, и сие делал он уже не в шутку, так что с пер-

вого взгляда нельзя было принять его за русского [1].

По заочности были приняты еще два члена: Батюшков, как уже сказал я, под именем „Ахилла“, и партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов, под именем „Армянина“. Первый следующею осенью обрадовал нас своим приездом, последнего никогда мы меж себя не видали. Он находился в Москве, там вместе с Вяземским и Пушкиным составили они отделение „Арзамаса“, и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев. Новых членов они не набирали без согласия горнего „Арзамаса“, не имея на то права.

Я все откладывал говорить о некоторых членах, вступивших в „Арзамас“, как ныне полагать должно, с дурными замыслами. Тяжко мне изображать людей, возбудивших во мне приязнь и уважение, после прославивших себя преступными заблуждениями, но коих память, несмотря на то, все еще осталась мне любезна.

По тесным связям Александра Тургенева с другими членами был он принят в „Арзамас“ как родной, и, кажется, ему самому в нем полюбилось. Тут он нашел нечто похожее на немецкую буршеншафт, людей уже довольно зрелых, не забывающих студенческие привычки. В нем не было ни спеси, ни педантства; молодость и надежда еще оживляли его, и он был тогда у нас славным товарищем и собеседником. В душевной простоте своей Жуковский, как будто всем предрекая будущий жребий

[1] [Прозван был „Черным враном“.]

их, дал Николаю Тургеневу имя убийцы и страдальца „Варвика“. Он не скрывал своих желаний и хотя ясно видел, что ни один из них сериозно не может разделять их, не думал за то досадовать. Вскоре, движимый одинаковыми с ним чувствами, вступивший к нам новый член был гораздо его предприимчивее.

В Михаиле Орлове почти все заимствовано у Запада: в конституционном государстве он равно блистал бы на трибуне, как и в боях; у нас под конец был он только что сладкоречивым, приятным салонным говоруном.

Однако же и в России тогда уже был он хотя самым молодым, но совсем не рядовым генералом. Император имел о нем высокое мнение и часто употреблял в важных делах. В день Монмартрского сражения его послал он в Париж для заключения условий о сдаче сей столицы. После того отправлен был он к датскому принцу Христиану, об'явившему себя норвежским королем, дабы уразумить его и заставить помириться со Швецией и Бернадотом. И такой препрославленный человек пожелал быть с нами! С восторгом приняли мы его. Не знаю почему, я думаю, по плавным речам его, как чистые струи „Рейна“, у нас получил он название сей реки. Почти все те, с коими тогда я был знаком, были молодые люди с богатым состоянием, по службе на прекрасной дороге, которым в настоящем порядке вещей будущее сулило всякого рода успехи, и всем этим готовы были они пожертвовать. Чему? Идее. Одним словом, они готовы были, вопреки пословице, проме-

нять ястреба на кукушку, бессмысленно твердящую одно имя — свобода. Ими населена была гостиная госпожи Е. Ф. Муравьевой; а как все Арзамасцы были также частыми ее посетителями, то сын ее Никита Михайлович без всякого затруднения поступил в их общество. Ему одному только не помню я, какое дал прозвание Жуковский [1].

В начале 1817 года был весьма примечательный первый выпуск воспитанников из Царскосельского лицея; немногие из них остались после в безызвестности. Вышли государственные люди, как, например, барон Корф, поэты, как барон Дельвиг, военноученые, как Вальховский, политические преступники, как Кюхельбекер. На выпуск же молодого А. С. Пушкина смотрели члены „Арзамаса“ как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нем более нежного участия; особенно же Жуковский, восприемник его в „Арзамасе“, казался счастлив, как будто бы сам бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата. Почти всегда со мною так было: те, которых предназначено мне было горячо любить, на первых порах знакомства нашего мне казались противны. Спросят: был ли и он тогда либералом? Да как же не быть восемнадцатилет-

[1] „Лебедь статный“ — арзамасское прозвище Н. Муравьева.

нему мальчику, который только что вырвался на волю, с пылким поэтическим воображением и кипучею африканскою кровью в жилах, и в такую эпоху, когда свободомыслие было в самом разгаре. Я не спросил тогда, за что его назвали „Сверчком", теперь нахожу это весьма кстати, ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос. Я здесь не буду более говорить об Александре Сергеевиче Пушкине, глава эта и так уже слишком растянута. О, если б я мог дописаться до счастливого времени, в которое удалось мне узнать его короче! Его хвалили, бранили, превозносили, ругали. Жестоко нападая на проказы его молодости, сами завистники не смели отказывать ему в таланте; другие искренно дивились его чудным стихам, но немногим открыто было то, что в нем было, если возможно, еще совершеннее,—его всепостигающий ум и высокие чувства прекрасной души его.

Показалось Орлову, что свободная стихия достаточно наполняет „Арзамас", чтобы сделаться в нем преобладающею. Он задумал приступить к его преобразованию и дать ему новое направление. В один прекрасный весенний вечер собрались мы на даче у г. Уварова; заседание открыто было в павильоне Штейна, как в месте особенно вдохновительном. В приготовленной им речи, правильно по-русски написанной, Орлов, осыпав всех нас похвалами, с горестью заметил, что превосходные дарования наши остаются без всякого полезного

употребления. Дабы дать занятие уму каждого, предложил он завести журнал, коего статьи новостию и смелостию идей пробудили бы внимание читающей России. Расширив таким образом круг действия общества, он находил необходимым и умножить число его членов; сверх того предлагал каждому отсутствующему члену предоставить право в месте пребывания его учреждать небольшие общества, которые бы находились в зависимости и под руководством главного. Изумив сочленов своих неожиданностью предложений, он надеялся вырвать их согласие.

Не знаю, каким образом о намерении его заблаговременно предупрежденный Блудов отвечал ему также приготовленной речью. Учтивее, пристойнее и вместе с тем убедительнее нельзя делать опровержений; он доказывал ему невозможность исполнить его желание, не изменив совершенно весь первобытный характер общества. Касаясь до распространения света наук, о коем неоднократно упоминал Орлов, заметил он ему, что сей светоч в руках злонамеренных людей всегда обращается в факел зажигательства; и сие сравнение после того не раз случалось мне слышать от других. Когда вспомнишь это прение, кажется, что будущий жребий сих людей был написан в их речах.

Орлов не показал ни малейшего неудовольствия, вечер кончился весело, и все разъехались в добром согласии. Только с этого времени заметен стал совершенный раскол: неистощимая веселость скоро прискучила тем,

у коих голова полна была великих замыслов, тем же, кои шутя хотели заниматься литературой, странно показалось вдруг перейти от нее к чисто-политическим вопросам. Два века, один кончающийся, другой нарождающийся, встретились в „Арзамасе"; как при Вавилонском столпотворении, люди перестали понимать друг друга и скоро рассеялись по лицу земли. И, действительно, в этом году с отлучкою многих членов, и самых деятельных, прекратились собрания, и „Арзамас" тихо, неприметно заснул вечным сном.

Ф. Вигель

II [1]

Против Шишкова и других тогдашних славянофилов, и отчасти против Державинской „Беседы", где они нашли себе прибежище в литературе, учреждено было в Петербурге то шутливое „Арзамасское общество", о котором напечатал в „Москвитянине" А. С. Стурдза[2].

Оно названо было Арзамасским вот по какому случаю. Воспитанник петербургской Академии Художеств, живописец Ступин, переехал на житье в Арзамас и завел там школу живописи. Я, в один проезд мой через Арзамас с моим дядею, посещал его и с ним познакомился. Молодые литераторы, которым, при всем уважении к предприятию Ступина, казалось смешным, что в Арзамасе есть школа живописи, назвали ее „Арзамасскою Акаде-

[1] Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, стр. 81—83, 88—90.

[2] „Москвитянин" 1851, ноябрь, кн. I, стр. 13—17.

миею“ и в подражание этому учредили в Петербурге „Арзамасское ученое общество“.

В этом обществе, посвященном шуткам и пародиям, каждый член имел свое имя. Некоторые имена я помню. Жуковский назывался „Светлана“; А. И. Тургенев—„Эолова Арфа“; С. П. Жихарев—„Громобой“; Д. Н. Блудов—„Кассандра“; Ф. Ф. Вигель „Ивиков Журавль“; Д. П. Северин—„Резвый Кот“; С. С. Уваров—„Старушка“; В. Л. Пушкин—„Вот“. Других не помню. Они читали пародии, и каждое заседание начиналось похвальным словом какому-нибудь из литературных староверов, противников Карамзина, или кому-нибудь из стихотворцев.

В этих пародиях и речах, произносимых членами, много упоминался известный гр. Дм. И. Хвостов. Кстати вспомнить при этом случае об нем.

Гр. Хвостов теперь забыт; но в наше время он составлял наслаждение веселых литераторов и молодых людей, не чуждых литературе, которые хотели позабавиться. Слушатели бегали от его чтения, но словесники находили в его сочинениях неисчерпаемый источник забавы и шуток.

Он был по происхождению не граф и начал свое литературное поприще еще в старинном журнале „Собеседник“, потом печатал в „Аонидах“ Карамзина, еще без графского титула. Но он был женат на племяннице Суворова, который и выпросил ему графство у короля Сардинского.

Его сочинения замечательны не тем, что они плохи; плохими сочинениями нельзя прославиться, так как не прославился своими Николев. А он, в Петербурге и в Москве, составил себе имя тем, что в его сочинениях сама природа является иногда навыворот. Например, известный закон оптики, что отдаленный предмет кажется меньше; а у него в притче „Два прохожие" сперва кажется им издали туча; потом она показалась горою; потом подошли ближе, увидели, что это куча. У него, в тех же притчах, осел лезет на рябину и крепко лапами за дерево хватает; голубь—разгрыз зубами узелки; сума надувается от вздохов; уж—становится на колени; рыбак, плывя по реке застрелил лисицу, которая не видала его, потому что шла к реке кривым глазом; вор—ружье наметил из-за гор. И множество драгоценностей в этом роде, особенно в первом издании его притчей 1801 года.

Вот как принимали в члены Арзамасского общества Василия Львовича Пушкина. Это происходило в доме С. С. Уварова.

Пушкина ввели в одну из передних комнат, положили его на диван и навалили на него шубы всех прочих членов. Это прообразовало шутливую поэму князя Шаховского „Расхищенные шубы" (которая была напечатана в Чтениях Беседы любителей российского слова) и значило, что новопринимаемый должен вытерпеть, как первое испытание,

шубное прение, т. е. преть под этими шубами. Второе испытание состояло в том, что, лежа под ними, он должен был выслушать чтение целой французской трагедии какого-то француза, петербургского автора, которую и читал сам автор. Потом, с завязанными глазами, водили его с лестницы на лестницу и привели в комнату, которая была перед самым кабинетом. Кабинет, в котором было заседание и где были собраны члены, был ярко освещен, а эта комната оставалась темною и отделялась от него аркою, с оранжевою, огненною занавескою. Здесь развязали ему глаза—и ему представилась, посредине, чучела огромная, безобразная, устроенная на вешалке для платья, покрытой простынею. Пушкину об'яснили, что это чудовище означает дурной вкус; подали ему лук и стрелы и велели поразить чудовище. Пушкин (надобно вспомнить его фигуру: толстый, с подзобком, задыхающийся и подагрик) натянул лук, пустил стрелу и упал, потому что за простыней был скрыт мальчик, который в ту же минуту выстрелил в него из пистолета холостым зарядом и повалил чучелу! Потом ввели Пушкина за занавеску и дали ему в руку эмблему Арзамаса—мерзлого арзамасского гуся, которого он должен был держать в руках во все время, пока ему говорили длинную приветственную речь. Речь эту говорил, кажется, Жуковский. Наконец поднесли ему серебряную лохань и рукомойник, умыть руки и лицо, об'ясняя, что это прообразует „Липецкие воды", комедию кн. Шаховского. Все это

происходило в 1816 или 1817 году. Разумеется, так принимали только одного добродушного Василия Львовича, который поверил, что все подвергаются таким же испытаниям. Общий титул членов был: их превосходительства гении Арзамаса.

Случилось, что Василий Львович, едучи из Москвы, написал эпиграмму на станционного смотрителя и мадригал его жене. И то и другое он прислал в Арзамасское общество, и то и другое найдено плохим, и Пушкин был разжалован из имени „Вот"; ему дано было другое „Вотрушка"! Вас. Льв. чрезвычайно огорчился и упрекнул общество дружеским посланием, которое напечатано в его сочинениях:

Что делать! видно мне кибитка не Парнас!
Но строг, не справедлив ученый Арзамас!
Я оскорбил ваш слух; вы оскорбили друга! и пр.

По рассмотрении послания, оно было найдено хорошим, а некоторые стихи сильными и прекрасными — и Пушкину возвращено было прежнее „Вот" и с прибавлением я вас: т. е. „Вот я вас", Виргилиево puos ego! Пушкин был от этого в таком восхищении, что ездил по Москве и всем это рассказывал.

Так забавлялись в то время люди, которые были уже не дети, но все люди известные, некоторые в больших чинах и в важных должностях. Никто не почитал предосудительным

в то время шутить и быть веселым, следуя правилу царя Алексея Михайловича: делу время, и потехе час. Тогда не считали нужною педантическую важность, убивающую природную веселость, и не любили педантических споров, убивающих общественное удовольствие [1].

М. Дмитриев

III

ПИСЬМО Д. В. ДАШКОВА П. А. ВЯЗЕМСКОМУ [2]

1815 г., 26 ноября, СПб.

Ради величественного арзамасского гуся не сердитесь на меня, любезнейший Петр Андреевич, за неисправность мою в переписке с вами. Во всяком другом случае и во всех других обстоятельствах она была бы совершенно непростительна: но теперь вы должны только жалеть обо мне, бедном мученике Фемиды и Комитета. По чести, ежели собачья жизнь моя еще продолжится, то небольшой участок здравого смысла, доставшийся мне от природы (от сей природы, которая так щедра к вам, любезнейший князь, и к любезным Арзамасцам и так скупа к Беседчикам), скоро выдохнется, улетит на луну, и мне тогда уже не миновать сотрудничества. Шутки в сторону,

[1] Ср. еще Полное собрание сочинений кн. П. А. Вяземского. Том VIII, стр. 415—416. СПб. 1883.

[2] Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива. М., 1886, стр. 104—109.

приезд государя и очистка дел так много доставили мне работы, не всегда приятной, что я едва успеваю бывать в „Арзамасе“, в этой милой отчизне, где мы всегда об вас вспоминаем. Какое бы для вас обильное поле! Секретарь наш „Светлана“[1], который как будто бы нарочно сотворен для сего звания, верно уведомил уже вас, что в самое первое собрание вы избраны par acclamation сочленом нашим: следовательно я не нарушу ужасной присяги нашей, говоря с вами откровенно. Из великодушия и чистейшей любви к ближним (хотя ближние сии часто бывают чересчур глупы) мы положили, чтобы каждый новопринимаемый член выбирал для первой речи своей одного из живых покойников „Беседы“ или Академии заимообразно и напрокат и говорил бы ему похвальную надгробную речь. До сих пор таких мертвецов отпето у нас пять, и Светлана превзошла сама себя, отпевая петого и перепетого Хлыстова [2]. То-то была речь! То-то протоколы! Зачем вас нет с нами! Очередной председатель у нас всякую неделю новый, и по именному указу, как в Академии— отвечает оратору пристойным приветствием, в котором искусно мешает похвалы ему с похвалами усопшему (выражения церемониала). Опять новое торжество для Светланы! Ей пришлось принимать „Громобоя“-Жихарева, который, бывши прежде сотрудником „Беседы“, должен был по общему на-

[1] Жуковский В. А.
[2] Д. Хвостов.

шему постановлению отпевать сам себя. Поле было, конечно, богатое, но исполнение превзошло ожидания наши. Атрей представлен был в виде некоего царственного волдыря на лице бывшего поганого Беседчика, а остальные 27 трагедий, комедий, трагикомедий, драм, опер и водевилей, сочиненные и переведенные им, представлены волдыриками и сыпью, окружающими большой нарост. Словом, было чего послушать. Неоцененный секретарь наш не даром жил так долго с Плещеевым и удивительно как навострился в галиматье. Любимое его выражение—„Арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье". Судите о прочем. Приезжайте скорее к нам хоть недели на две. Выберите себе по сердцу покойника и похороните его с миром в стеклянном гробе нашем.

Теперь только вспомнил я, что еще не благодарил вас за два приятнейшие письма ваши и за прекрасные эпиграммы, которые совершенно похожи на золотое копье Аргаилово: они вышибают из седла всех противников наших с первого раза. Помилуйте, какие это ножички. Тупая сабля моя перед ними хуже деревянной сабли итальянского Арлекина; но так и быть! Я бью врагов Арзамаса чем ни попало. Не сердитесь на нас, любезнейший князь Петр Андреевич, за то, что прекрасные эпиграммы ваши до сих пор не напечатаны: с львиною силою надобно нам иметь и мудрость змеи, и мы выжидаем удобного времени. Nous avons eu affaire à une bien forte partie,—но теперь слава Арзамасу! Враги наши растопта-

ны и грызут только нашу пяту. Много, много и вы нам способствовали: все вытвердили наизусть поэтический венок ваш, и сам Картузов должен был хвалить его. Но вы что-то забыли седого деда. Представьте, что после первого представления „Комедии против комедии“ Хлыстов ухватил за руку сочинителя—которого неизвестное нам имя Загоскина мы переменили в Гвоздушкина—и потащил его в директорскую ложу, где во всей славе сидел Мешков [1], и представил молодца как ниспосланного с небес мстителя. Мешков, puisque Мешков il уа, вскочил, принял мстителя с распростертыми об'ятиями и обещал ему первую вакансию сотрудника в „Беседе“, но тот корячится и хочет пролезть прямо в члены. Благородное честолюбие! Нельзя ли вам, любезнейший сочлен, достойно воспеть все это? Жуковский то и дело твердит—ей, быть Бесединаде!

Простите, любезнейший князь, будьте здоровы и счастливы, веселитесь в Москве, но ради Арзамаса приезжайте к нам поскорее хоть на несколько дней; привезите нам еще несколько д н е й вашего сотворения. Нам в хороших стихах, каковы ваши, большая нужда. Жуковский изленился и без вас ничего писать не хочет... Северин на сих днях к нам приехал, но все еще кружится с утра до вечера. Он будет к вам писать непременно, как скоро удосужится, а между тем поручил мне крепко, крепко обнять вас. Позвольте мне и за себя

[1] Шишков А. С.

это исполнить и уверить вас в искреннейшей сердечной моей к вам преданности.

Ваш навсегда

Дашков

IV [1]

Веселый кружок арзамасский... Красавец и баловень аристократических собраний, остроумный, ловкий, веселый, с примесью самолюбия фата, но высокообразованный, истинно-просвещенный—Уваров; и с сановитою южною красотою своею, с прекрасными чертами смуглого лица, высокого роста и возвышенной души, любимый и ценимый по какому-то инстинкту даже нами, детьми, Дашков, которого, в нашем наивном почитании и любви, мы прозвали пальмовым деревом (пальмою между людьми), как прозвали мы Северина подсолнечником за его желтое и кисленькое лицо, чопорную фигуру и особенно за измену, как мы думали, Каподистрии и обратное движение к восходящему солнцу министерства Нессельроду. Вот и черные, как смоль, раскаленные, как угли, глаза Вигеля, которого раздражительность и негодование на меня в моем детстве я узнала только по его запискам; помню ж я его как частого посетителя, хорошего приятеля всех арзамасцев и друга нашего дома, с табакеркой в руках, которую

[1] Воспоминания и записки графини А. Д. Блудовой, „Заря“ 1871, кн. III, стр. 27—28 (написано в феврале 1867 г.).

он вертел, играя ею и особенным манером постукивая по ней, а взявши щепотку табаку, как будто клевал по ней пальцами, как птица клюет клювом, когда готовился сказать что-нибудь колкое или забавное. А там широкое добродушное лицо и тучная фигура Александра Тургенева, тоже ежедневного гостя, но мало занимавшегося детьми, на которого мы с изумлением глядели за обедом, когда он глотал все, что находилось под рукою,—и хлеб с солью, и бисквиты с вином, и пирожки с супом, и конфекты с говядиной, и фрукты с майонезом, без всякого разбора, без всякой последовательности, как попадет, было бы с'естное; а после обеда поставят перед ним сухие фрукты, пастилы и т. п., и он опять все ест, между прочим, кедровые орехи целою горстью за раз, потом заснет на диване и спит и даже храпит под шум разговора и веселого смеха друзей. Помню, как теперь, голубой, набивного бархата диван и овальный стол из желтого тополя в гостиной нашей, где сиживал он. Эта способность глотать все, что ни попадет, и спать потом так сладко делала его в моих глазах каким-то Boa constricteur безвредной породы или добрым огром, который, однако, детей не ест, а непрочь даже поделиться с ними конфектами. Мы его прозвали по-французски потому, что этою пропастью или омутом мгновенно пожиралось все с'естное.

А вот и (А. С.) Пушкин с своим веселым, заливающимся, ребяческим смехом, с беспрестанным фейерверком остроумных блистатель-

ных слов и добродушных шуток, а потом растерзанный, измученный, убитый жестоким легкомыслием пустых, тупых умников салонных, не постигших ни нежности, ни гордости его огненной души.

Образ Батюшкова неопределенно, туманно рисуется передо мною лишь однажды в той же голубой гостиной; небольшого роста, молодой, красивый человек, с нежными чертами, мягкими волнистыми русыми волосами и с странным взглядом разбегающихся глаз; я проходила через гостиную в детскую, и отец остановил меня у дверей, где он стоял с Батюшковым, сказав ему: „Vous ne reconnaissez pas la petite?“ Вероятно, он был долго в отсутствии, или нас не было в Петербурге. В следующее лето на даче, помню, стали говорить у нас с горестью, что он сделался такой странный, и стали бояться—не лишился бы он ума.

А. Блудова

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА В 1819 ГОДУ [1]

В 1819 году, в зимние вечера собирались к одному содержателю пансиона в Петербурге (французскому дворянину) любители словесности из находившихся в то время в столице французских путешественников, чиновников и нескольких дам и мужчин из высшего класса русского общества. В сем пансионе воспитывались дети знатных и богатых людей, и потому хозяин имел обширный круг знакомства. Время на сих литературных вечерах проводили чрезвычайно весело. Читали переводы с русского языка и небольшие оригинальные статьи, разговаривали, шутили и, наконец, за ужином, по древнему афинскому и нынешнему французскому обычаю, пели куплеты, всегда остроумные, весьма часто забавные. Присутствие дам, прекрасных и умных, одушевляло беседу.

Не имея никаких притязаний на звание французского автора, я, по просьбе хозяина и некоторых приятелей, должен был писать по-французски небольшие статьи, которые исправлял (в грамматическом отношении) г-н Сен-Мор [2] и сам читал их в нашей беседе. Пре-

[1] Сочинения Фаддея Булгарина, ч. III, изд. 2, СПБ. 1830. „Встреча с Карамзиным", стр. 178—190, 195—199 (первоначально в „Альбоме Северных Муз" на 1828 г., изд. А. И.).

[2] [Издатель антологии на французском языке.] О Дюпреде-Сен-Море есть указание в письме Е. Е. Комаровского к И. Козлову от 25 декабря 1823 года, „Русск. Архив" 1886, № 3.

красному его чтению я обязан тем, что некоторые из моих статей имели успех. Впрочем, общество наше было весьма невзыскательное. Немножко ума, немножко веселости, занимательное происшествие, и слушатели были довольны.

Однажды хозяин об'явил нам, что в будущее заседание один известный русский чтец будет декламировать сцены из Мольеровской комедии и что несколько отличных русских литераторов посетят нашу беседу. Я тогда только что возвратился из долговременного странствования по Европе и не знал в лицо ни одного русского литератора. С нетерпением ожидал я дня собрания и первый туда явился. По мере появления новых лиц в зале я спрашивал об их именах и, к удивлению моему, слышал одни звонкие имена в адрес-календаре, а не встретил ни одного известного в литературе. В досаде я уселся в углу комнаты и погрузился в размышления.

Итак, хозяин сам обманулся и нас обманул, думал я, обещая украсить круг наш присутствием литераторов. Но он знаком в свете, а не на Парнасе. В свете достоинство литератора определяется другим образом, нежели в ученом кабинете. Сочинители нескольких незначащих печатных страничек или стишков (при помощи приятелей), смелые и многоязычные говоруны, дерзкие судьи дарований, которых все достоинство составляет память, испещренная беспорядочными узорами различных словесностей и выдержками из остроумных иностранных журналов—вот люди,

которые между литераторами называются опрокинутою библиотекою (Bibliothèque renversée), а в свете слывут умниками, созрелыми судьями литературы. Так называемый большой свет можно уподобить крепости. Комендант в ней—приличие. Этот комендант не впускает в ограду никого, кто не принадлежит к гарнизону, но сдает на капитуляцию целую крепость первому смельчаку, который устремится на приступ с толпою своих робких поклонников. Успехи в большом свете в отношении к уму весьма не трудны, ибо они зависят от положения человека в обществе. Родство, связи, покровительство доставляют рукоплескателей, и обыкновенно случается, что эти рукоплескания света превращаются в пронзительный свист публики образованной.

Между тем как я размышлял таким образом, началось чтение Мольеровой пиесы. Вдруг дверь в зале потихоньку отворяется и входит человек высокого роста, немолодых лет и прекрасной наружности. Он так тихо вошел, что нимало не расстроил чтения и, пробираясь за рядом кресел, присел в самом конце полукруга. Орденская звезда блестела на темном фраке и еще более возвышала его скромность. Другой вошел бы с шумом и шарканьем, чтоб обратить на себя внимание и получить почетное место. Незнакомец никого не обеспокоил. Я смотрел на него с любопытством и участием. Черты его лица казались мне знакомыми, но я не мог вспомнить, где и когда видел его. Лицо его было продолговатое, чело

высокое, открытое, нос правильный, римский. Рот и уста имели какую-то особенную приятность и, так сказать, дышали добродушием. Глаза небольшие, несколько сжатые, но прекрасного разреза, блестели умом и живостью. Вполовину поседелые волосы зачесаны были с боков на верх головы. Физиономия его выражала явственно душевную простоту и глубокую проницательность ума. Отличительными чертами его лица были две большие морщины при окончании щек, по обеим сторонам рта. Я, по невольному влечению, искал его взгляда, который, казалось, говорил душе что-то сладостное, утешительное.

На его одушевленной физиономии живо отражались все впечатления, производимые чтением. Ни одно острое слово, ни одна счастливая мысль, ни одна удачная черта характера не ускользнули от его внимания. Неудовольствие изображалось на лице, как облако в чистой воде, когда чтец дошел до некоторых плоскостей, встречающихся в комедиях Мольера, жертвовавшего иногда вкусу своего современного партера. Я не сводил глаз с незнакомца и размерял по его ощущениям мои собственные. Пришла очередь до моей статьи. Она была написана мною вследствие моего спора с французами о немецкой трагедии и заключала в себе обозрение и краткий разбор Шиллеровых драматических творений. Прежде я хладнокровно представлял мои безделки на суд снисходительных любителей словесности, но на этот раз сердце мое забилось сильнее: я чувствовал, что в незнакомце имею знаю-

щего и опытного судью. Во время чтения Г. Сен-Мора я с боязнью поглядывал на незнакомца и старался вычитать мой приговор на его лице. Счастье мне благоприятствовало: я с радостью приметил, что незнакомец был доволен.

Кончилось чтение,—слушатели встали с своих мест, и начался разговор. С нетерпением подбежал я к хозяину, чтобы спросить об имени занимательного незнакомца. „Это Карамзин!“ отвечал хозяин и поспешил к нему поблагодарить за посещение.

„Карамзин!“ воскликнул я так громко, что он обернулся и посмотрел на меня...

Г-н Сен-Мор знаком был с Карамзиным. Я попросил г-на Сен-Мора представить меня великому писателю, что и было тотчас исполнено. „Я согласен с вами насчет трагедии“, сказал он мне после первого приветствия. „Классики требуют слишком точного соблюдения трех единств; романтики отвергают все условия искусства. Вы справедливо говорите, что надлежало бы выбрать средину между двумя крайностями. Три единства слишком стесняют круг действия; соединение отдаленных эпох в драме развлекает внимание и ослабляет занимательность целого. Пусть появится другой Расин во Франции—и он сделает переворот во мнениях, ибо людей должно убеждать не теориями изящного, а примерами“. При сих словах Карамзин приятно улыбнулся и промолвил: „Я говорю не насчет вашей теории: говорить правду все-таки надобно. Следствия приходят после“. Карамзин сделал мне не-

сколько вопросов насчет моего пребывания за границею; но как ни время, ни место не позволяли распространяться в разговорах, то я должен был с горестью отстать от Карамзина и уступить свое место другим. Я просил у него позволения посетить его. Он пожал мне руку и сказал: „В десять часов вечера я пью чай в кругу моего семейства. Это время моего отдыха. Милости просим, я всегда буду рад вам. Прошу запросто—без предварительных визитов".

Я не преминул воспользоваться этим позволением и через несколько дней отправился к Карамзину. Он жил тогда на Фонтанке, близ Аничкова моста, в доме г-жи Муравьевой, в верхнем этаже. Меня впустили в зал без доклада. В первой комнате, за круглым чайным столиком, на котором стоял самовар, помещалось целое семейство Карамзина; сам он сидел в некотором отдалении, в полукруге посетителей. Карамзин встретил меня в половине комнаты, дружески пожал руку, произнес громко мою фамилию, представляя другим собеседникам, и просил садиться. В его приемах, обращении и во всех движениях соединялось глубокое познание светских приличий с каким-то необыкновенным добродушием и простотою патриархальных времен. Каждое его слово, каждое движение шло прямо от сердца. Находясь в обществе незнакомых людей в первый раз в доме, я не чувствовал ни малейшего смущения и принуждения. Общество составлено было из людей разного звания и происхождения, русских первоклассных чинов-

ников, литераторов и иностранцев, но все сии разнородные части спаивались в одно целое умом и душою хозяина. В обращении его не видно было, чтобы он отдавал кому-либо преимущество насчет другого. Добродушная его вежливость разливалась ровно на всех. Он говорил со всяким одним тоном и слушал каждого с одинаковым вниманием. Люди сближались между собою Карамзиным. Все преимущества нисходили или возвышались на одинаковую степень в его присутствии. Он был душою и располагал движениями членов своего общества...

Ф. Булгарин

СУББОТЫ В. А. ЖУКОВСКОГО [1]

I

Характер и движение литературных отношений в Санкт-Петербурге заметно изменились в тот же 1816 год, когда последовала кончина Державина. Много было до этих пор преимуществ на стороне Москвы, где жили Карамзин и Жуковский—одушевители молодого поколения писателей. Они переселились теперь в северную столицу. Около них начали между собою соединяться люди, чувствовавшие призвание к литературе и понимавшие важность благородных умственных занятий.

Куда спешили князь Вяземский, Жуковский, Батюшков, Гнедич, Пушкин, там же, между графом С. Румянцовым, Сперанским, Олениным, сидели Уваров, Дашков, Блудов. Это самое общество раз в неделю, по субботам, собиралось на вечер к Жуковскому. Сфера идей, тон суждений, краски языка естественно согласовались с понятиями, стремлениями и умом лиц, соединенных в собрании.

Здесь и Крылов являлся, как общий друг. Его практический ум и тонкое соображение

[1] Сочинения и переписка П. А. Плетнева, СПБ. 1885, т. II, стр. 80—82.

находили для себя много пищи независимо от приятного развлечения, представляемого разнообразием гостей, любивших его одинаково. Еще заметнее отдавался он игре своего остроумия и любезности по субботам у Жуковского, где отсутствие дам, чтение литературных новостей и большая свобода в отношениях развязывали его всегдашнюю осторожность. Между лучшими русскими писателями, со времен Ломоносова до смерти Пушкина, всегда заметно было искреннее дружелюбие. Ни тени той взаимной зависти, в которой обвиняют соперников. Это низкое чувство никому не знакомо было в их кругу, всегда оставаясь только в низшем слое литературном. Крылов сознавал в Жуковском талант независимый и энергический. Он постоянно сохранял к нему в душе чувство братства и дружбы. Шутя и любезничая с ним, Крылов бывал особенно приятен. Раз на одном из этих вечеров он стал искать чего-то в бумагах на письменном столе. „Что вам надобно, Иван Андреевич?“ спросили его. „Да вот какое обстоятельство“, сказал он: „хочется закурить трубку; у себя дома я рву для этого первый попадающийся мне под руку лист, а здесь нельзя так: ведь здесь за каждый лоскуток исписанной бумаги, если разорвешь его, отвечай перед потомством“. Есть очень любопытная картина, представляющая кабинет Жуковского, когда после он жил в той части Зимнего Дворца, которая называлась Шепелевским домом. На ней видишь группы людей в разных положениях. Это портреты литераторов и других лиц, собиравшихся у

него. Всех заметнее и живописнее тут Крылов рядом с Пушкиным [1].

II [2]

За несколько лет перед смертью Пушкина Жуковский возобновил у себя литературные субботы, на которых некогда его друзья в первый раз приветствовали у него вступление на горизонт блестящего светила поэзии. Многие из тогдашних посетителей певца „Светланы" опять к нему явились, но еще многочисленнее было молодое поколение талантов. Они все радушно были принимаемы добрым хозяином. Им всем у него было равно весело и равно полезно. Живой, острый и окрепший в

[1] О субботах Жуковского есть упоминания в „Воспоминаниях" А. О. Смирновой („Русский Архив" 1871 г., стр. 1871), в переписке А. И. Тургенева с И. И. Дмитриевым („По субботам проводим мы вечера у В. А. Жуковского, где собираются литераторы всех расколов и всех наций"; см. „Русский Архив" 1867, стр. 642), в „Записках" А. И. Кошелева (Берлин, 1884, стр. 31), в статьях П. Бартенева „Пушкин в южной России" в „Русск. Архиве" 1866, стр. 1161—1162 („Кюхельбекер, как и многие тогда молодые стихотворцы, хаживал к Жуковскому"), стр. 1202 (здесь сказано, что Плетнев познакомился с Пушкиным на одной из литературных суббот Жуковского и что Кюхельбекер, Пушкин, Плетнев „поздними вечерами возвращались вместе от Жуковского и в одушевленных беседах не замечали дальних расстояний столицы"). В 1836 г. у Жуковского—есть указание—бывали по субботам Пушкин, Гоголь, Вяземский, В. Ф. Одоевский, Бенедиктов, Тепляков.

[2] Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. III, СПБ, 1885 г., стр. 105.

мышлении ум Пушкина блистал в разговорах светлостию идей, быстротою соображений и верностию взгляда [1].

П. А. Плетнев

[1] Любопытны строки в письме А. А. Шаховского к С. Т. Аксакову от 8 января 1830 года: „Вчера я провел вечер у Жуковского с Крыловым, Пушкиным, Гнедичем. Предметом нашего собрания были мои Смольяне. Их слушали с большим вниманием, кроме Крылова, который, об'евшись поросенка, дремал до начала чтения, заснул в первом действии и выспался к четвертому („Русский Архив" 1873, стр. 0472).

САЛОН С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ [1]

I

Учредительницею и председательницею одного из литературных кружков в Петербурге была Софья Дмитриевна Пономарева, одна из любезнейших и образованнейших женщин своего времени. О жизни этой замечательной женщины не сохранилось печатных известий; сведения же, собранные нами, весьма скудны. С. Д. Пономарева была урожденная Позняк. Брат ее, Иван Дмитрич, уже умерший, воспитывался в Царскосельском лицее вместе с Дельвигом и был моложе его одним курсом. Софья Дмитриевна часто посещала своего брата, обыкновенно в сопровождении А. Е. Измайлова. В эти поездки, которые не ограничивались кратковременным посещением лицея, Софья Дмитриевна познакомилась со многими из товарищей ее брата, и в том числе с Дельвигом, который уже был тогда в старших классах, и нередко проводила в их шумном обществе целые дни. В зимние вечера в доме Софьи Дмитриевны собиралось многочисленное и разнообразное общество; здесь встречались светские молодые люди, нередко устраивались танцы, которые так любила хозяйка, и, следуя ее примеру, все общество отдавалось са-

[1] В. П. Гаевский. „Дельвиг". „Современник" 1854, № 1.

мой чистосердечной веселости. Но подобные собрания, хотя и льстившие самолюбию Софьи Дмитриевны, не могли удовлетворять ее уму и образованию. Она искала другого общества, других впечатлений, и с зимы 1821 года учредились литературные вечера в ее доме. В гостиной Софьи Дмитриевны собирались литераторы всех партий, всех убеждений, потому что своенравный ум ее, жажда перемен и разнообразия впечатлений не довольствовались одним и тем же кружком: сегодня собирались у нее Измайлов, В. И. Панаев, О. М. Сомов, многие из второстепенных сотрудников „Благонамеренного“, члены Общества любителей словесности, наук и художеств, собиравшегося под председательством Измайлова, и, вообще, его партия; в другой день туда являлись Дельвиг, Гнедич, Баратынский, Илличевский и, вообще, последователи новой школы. Случалось даже, что обе партии встречались и даже, как будто заключив перемирие, встречались без неприязненного чувства, читали свои и чужие произведения, беседовали, бесконечно спорили, шумели, сочиняли эпиграммы друг на друга и расходились уже за полночь, довольные собой и очарованные любезностью хозяйки. Софья Дмитриевна, которая, по словам Измайлова,

Была, как Грация, мила
И образована, как Музы,—[1]

[1] [Из „Надгробия Софье Дмитриевне Пономаревой“ (третьего), напечатанного в „Благонамеренном“ 1824 года (№ 8, стр. 146).]

действительно имела редкую способность оживлять и сближать самое раз'единенное общество и обладала всеми средствами нравиться и пленять; по словам того же Измайлова, самого ревностного из ее поклонников, у ней были:

> ... и ум и красота,
> Любезность, дарованья,
> Вкус тонкий, острота,
> Приятные и редкие познанья
> И непритворная, прямая доброта [1].

И потому не удивительно, что она „была украшением, душею дружеских ученых бесед" и „оживляла их своею любезностью и остроумием". В современных журналах и альманахах весьма часто встречаются стихотворения в честь Софьи Дмитриевны, и, быть может, некоторые из наших читателей не раз останавливались в недоумении над таинственными буквами С. Д. П. Большая часть из петербургских современных ей поэтов (а поэтов тогда было очень много) воспевали Софью Дмитриевну, как могли и умели, в посланиях, надписях, мадригалах и экспромтах, и альбом ее (тогда было царство альбомных стихов и альбомов) почти с каждым днем украшался каким-нибудь новым стихотворением.

Не знаем, сохранился ли этот альбом и у кого, но не сомневаемся, что он принадлежит к числу замечательнейших русских альбомов. В нем встречались имена и произведения боль-

[1] [Из „Надгробия Софье Дмитриевне Пономаревой" (первого), напечатанного в „Благонамеренном" 1824 года (№ 8, стр. 146).]

шей части литературных деятелей того времени и многих художников и любителей. Автору предлагаемой статьи не случалось видеть этого альбома, но, судя по стихотворениям, переходившим из него в альманахи и периодические издания, не трудно составить себе некоторое понятие о его содержании. Первое место, если не по достоинству, то по численности, занимали в нем надписи, мадригалы и экспромты А. Е. Измайлова.

Там же можно найти стихотворения: В. И. Панаева, О. М. Сомова, И. Кованько, А. Д. Илличевского, П. А. Плетнева и других.

Стихотворения Дельвига занимают здесь также не последнее место. Вообще С. Д. Пономарева имела значительное влияние на жизнь и музу нашего поэта, что даже доказывается некоторыми из его произведений. По собственному признанию Дельвига, она пробудила звуки любви в его лире, на которой он воспевал до тех пор только вино и дружбу. Вот его стихотворение, написанное, как видно из его рукописей, в альбом С. Д. Пономаревой, появившееся в печати под заглавием:

К ЛИЛЕ

О, чародейство красоты!
К любви по опыту холодный,
Я забывал, душой свободный,
Безумной юности мечты
И пел, товарищам угодный,
Вино и дружество: но ты
Явилась, душу мне для муки пробудила,
И лира про любовь опять заговорила. [1]

[1] [Стихотворение это было напечатано в таком виде в „Новостях литературы", изд. А. Воейковым и В. Козло-

Вообще, в числе стихотворений Дельвига находим довольно много таких, которые хотя и не означены именем С. Д., но, по всей вероятности, обязаны ей своим существованием... Но возвратимся к литературным вечерам у Софьи Дмитриевны и перенесемся на одно из подобных собраний.

Представьте себе, читатель, небольшую, но уютную гостиную, в которой вокруг небольшого стола, освещенного матовым светом лампы и заваленного книгами, тетрадями и листами, собралось несколько собеседников. Простота, выражающаяся во всем, и отсутствие всяких затей роскоши и претензий на моду немедленно сообщаются каждому, даже непривычному посетителю этой гостиной. Здесь всякому весело, легко и свободно. На большом диване, в глубине комнаты, сидит Софья Дмитриевна, окруженная довольно многочисленным обществом и постоянно охраняемая Гектором и Мальвиною [1], которым не шутя завидовали многие из присутствующих. Возле нее на диване помещается „толстый и неуклюжий издатель" „Благонамеренного", как называл сам себя Измайлов. „На нем синий, долгополый сюртук, из которого вышло бы

вым (1823 г., кн. V, стр. 191). В обоих изданиях стихотворений Дельвига оно напечатано (в первом — на стр. 125, во втором — на стр. 93) под заглавием: „В альбом", с следующею переменою в первом стихе:

О, сила чудной красоты!]

[1] Любимые собаки С. Д. Пономаревой, воспетые в элегиях Измайлова, Дельвига, Илличевского, Баратынского.

два капота для людей обыкновенных, в боковом кармане его торчат бумаги, на черных глазах его сияют серебряные очки". „Дородный журналист" только что возвратил с новою стихотворною данью переходящий из рук в руки альбом Софьи Дмитриевны, который он, вопреки усвоенному за ним прозванию „писателя не для дам", так часто украшал произведениями своей не всегда благопристойной музы. Возле Измайлова сидит „Русский Геснер", он же и „русский Феокрит", В. И. Панаев, поэт Меналков, Титиров, Хлой, ручейков и овечек, „сочлен, товарищ и друг" Измайлова и, по собственному его признанию, его же „соперник" в описываемом обществе. Наружность его и костюм представляют такую же резкую противоположность со всею внешностью Измайлова, какую представляют его сладостные и нежные идиллии необузданным произведениям „русского Теньера № 1", как называл себя Измайлов. Далее Гнедич, всегда задумчивый, рассеянный и серьезный, беседует о своем труде с Дельвигом, который весьма рассеянно слушает его рассуждения о русских спондеях. Сюда же собрались Баратынский, Плетнев, Илличевский, Сомов и несколько других, менее известных личностей. Разговор мало-по-малу сделался общим. Говорили о современных литературных новостях, между которыми самою любопытною была только что изданная новая книжка „Полярной Звезды", составлявшая самое замечательное явление в литературе всего 1823 года. „Полярная Звезда", о которой в то время говорили всюду, была

первым русским альманахом, имевших огромный и вполне заслуженный успех. Это издание было провозвестником новой эпохи в русской журналистике и первым представителем той реакции, которая окончательно выразилась через два года изданием „Московского Телеграфа". Издатели альманаха угадали потребность читателей, что, при упадке тогдашней журналистики и совершенном разладе ее с ходом литературы, было уже верным ручательством успеха. Почти все известные и даровитые деятели современной изящной словесности участвовали в этом издании. В нем встречаются сочинения Батюшкова, Жуковского, Крылова и Пушкина, и потому весьма естественно, что „Полярная Звезда" была предметом особенного внимания русских читателей и что о ней много говорили и писали. Наш поэт также принимал деятельное участие в альманахе. В первой книжке „Полярной Звезды" были напечатаны четыре его стихотворения, именно: русская песня—Ах ты, ночь ли (стр. 109), На смерть***, Сельская элегия (стр. 265), Вдохновение, сонет (стр. 288), и песня—Роза ль ты, розочка (стр. 377), из которых три первые принадлежат к лучшим стихотворениям Дельвига. Из собиравшихся у Софьи Дмитриевны поименованных писателей почти все (кроме Илличевского) были сотрудниками альманаха, и потому весьма понятно, что каждый из них принимал живое участие в суждениях об этой литературной новости.

Разговор переходил мало-по-малу от одного предмета к другому, от „Полярной Звезды"

к спорам о классицизме и романтизме, и остановился, наконец, на произведениях литературы еще неизданных. Обширные карманы Измайлова, всегда набитые своими и чужими стихами, представляли неистощимый материал для таких разговоров, которые обыкновенно оканчивались чтением. Измайлов, любивший читать приятелям и знакомым свои произведения, не заставлял себя долго просить в подобных случаях. На этот раз предметом чтения была только что написанная им басня на своих приятелей, обидевших его авторское самолюбие. Басня эта „Слон и Собаки". По словам одного критика, в ней, „за древностию времени, намеки стали непонятны, и теперь видна только одна литературная сторона басни"; но мы знаем, что в этом не совсем чистоплотном апологе играл некоторую роль и Дельвиг, к которому относились стихи:

... в родню хоть толст,
Да не в родню, быть может, прост. [1]

Разумеется, приятельские отношения не нарушались подобными безделицам: по свидетельству того же критика, „Слон и Собаки" поцеловались и были опять дружны между собою [2]. Но беспрестанные выходки Измайлова, на которые, впрочем, Дельвиг мало обращал

[1] [Об'яснение этого намека сообщено бароном А. И. Дельвигом. Эти два стиха взяты из басни Крылова „Слон на воеводстве". Они приведены также в сатирической статье „Свидание Зерова с самоучкою" („Литературные листки" 1824 г., № 11, стр. 51—57).

[2] [„Библиотека для чтения" 1849 г. (№ 8, Критика, стр. 37).]

внимания, не всегда оставались без ответа. На этот раз случай посмеяться над Измайловым представился сам собою. Разговор обратился к пародиям, которые в то время входили в моду и предметом которых нередко были сочинения Карамзина и Жуковского [1]. Измайлов, любивший пародию, придавал этому роду особенную важность; Дельвиг, напротив того, утверждал, что не может быть ничего легче, как сочинить пародию на любое стихотворение [2]. Измайлов потребовал, чтобы Дельвиг, в доказательство этой легкости, немедленно написал пародию на переведенную Жуковским сказку Вальтера Скотта Замок Смальгольм (впоследствии названную Смальгольмский Барон), в то время известную еще немногим. Все общество выразило то же самое желание, и Дельвиг через несколько минут прочитал следующее [3]:

[1] [Например, рассказ Измайлова „Новый Ермак“ (Сочинения Измайлова, т. II, стр. 463—468) начинается пародиею на сочинение Карамзина: „Нечто о науках, искусствах и просвещении“.]

[2] [Дельвиг уже не раз имел случай доказать легкость писать пародии. Так, например, еще в лицее, когда профессор русской и римской словесности Кошанский написал в 1814 году „На смерть Ожаровской“, Дельвиг написал весьма близкую и удачную пародию на это стихотворение под заглавием „На смерть кучера Агафона“, скончавшегося в то же время. Это неизданное стихотворение сообщено нам М. Л. Яковлевым.]

[3] [Для сравнения представляем соответствующие строки из стихотворения Жуковского:

До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон
И без отдыха гнал меж утесов и скал
Он коня, торопясь в Бротерстон.
. . . . . .

До рассвета поднявшись, извозчика взял
Александр Ефимыч с Песков
И без отдыха гнал через Лигов канал
В желтый дом, где живет Бирюков.
. . . . . .
В черном фраке был он, был тот фрак запылен,
Какой цветом—нельзя распознать,
Оттопырен карман, в нем торчит, как чурбан,
Двадцатифунтовая тетрадь [1].
Вот к полудню домой возвращается он
В трехэтажный Моденова дом [2];
Его конь опенен, его ванька хмелен,
И согласно хмелен с седоком.
Бирюкова он дома в тот день не застал... и т. д.

Добродушный Измайлов, разумеется, не обиделся этой невинной шуткой, первый смеялся над ней от души и потом часто читал ее своим приятелям. Впоследствии, года через три, Дельвиг на одном из своих литературных вечеров читал эту пародию Жуковскому, который слушал ее с большим удовольствием, потом часто говорил о ней и даже вспоминал об этой шутке еще за несколько лет до своей

Но в железной броне он сидит на коне,
Наточил он свой меч боевой,
И покрыт он щитом, и топор за седлом
Укреплен двадцатифунтовой.
Через три дни домой возвратился барон,
Отуманен и бледен лицом;
Через силу и конь, опенен, запылен,
Под тяжелым ступал седоком.
Анкрайорские битвы барон не видал...“]

[1] [Эти два стиха привел и сам Измайлов в своей шуточной поэме „Рыжий Конь“ (Сочинения Измайлова, т. II, стр. 541).]

[2] [Измайлов жил, как сказано и в об'явлении о подписке на „Благонамеренный“, на Песках, против Бассейной. в каменном трехэтажном доме Моденова, под № 283.]

смерти, встретившись с двоюродным братом поэта.

Так или почти так проводили время на литературных вечерах в доме Пономаревой. К сожалению, эти собрания скоро прекратились. В апреле 1824 года Софья Дмитриевна заболела горячкою и скончалась в величайших мучениях 4 мая 1824 года. Смерть ее была незаменимою потерею для всех знавших ее, и в особенности для окружавшего ее дружеского литературного общества. По обычаю того времени, на смерть этой замечательной женщины явилось множество, частию уже указанных выше, стихотворений. Между ними находим следующую эпитафию, принадлежащую Дельвигу:

Жизнью земною играла она, как младенец игрушкой.
Скоро разбила ее: верно утешилась там.

Вообще сожаления о преждевременной кончине этой замечательной женщины были искренни, и, без сомнения, в истории литературы двадцатых годов сохранится о ней навсегда благодарное воспоминание [1].

В. П. Гаевский

[1] Так как В. Гаевский рассказал о салоне Пономаревой по воспоминаниям участников его, кн. Д. А. Эристова, А. И. Дельвига (и др. лиц, знавших С. Д. Пономареву), то приведенную статью можно рассматривать как документ почти мемуарного характера. На основании свидетельства А. Е. Измайлова, сообщавшего в журнале „Благонамеренный“ 1821 г., №№ 11 и 12, о заседаниях салона, и протоколов этого лит. общества история его возникновения и дальнейшей судьбы уясняется в таком виде: 10 июня 1821 возникло „Вольное общество“.

ПРОЕКТ УСТАВА „СОСЛОВИЯ ДРУЗЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ“ [1]

1. По занятии мест господами членами, секретарь встает со своего места и говорит: София распростра-

премудрости и словесности“; первое заседание было 22 июня того же года; последующие заседания происходили 15 июля, 12 августа, 14 октября, 16 ноября, 21 декабря, при чем 12 августа общество было переименовано в „Сословие друзей просвещения“. Статьи, читавшиеся на заседаниях, помещались в „Благонамеренном“ под псевдонимами: „Баснин“—А. Е. Измайлов, „Аркадин“—В. И. Панаев, „Словарев“—Н. Ф. Остолопов, „Сословов“ (или Сословин)—Д. М. Княжевич, „Софиин и Юлиин“—братья Княжевичи. Сама С. Д. Пономарева носила прозвище „Мотыльков“, секретарь общества А. И. Пономарев—„Беседин“; известны также псевдонимы О. М. Сомова—„Арфин“ и П. Л. Яковлева—„Узбек“.

О салоне Пономаревой см.: 1) Н. В. Дризен. Литературный салон двадцатых годов (неизд. стих. Н. Гнедича, А. Измайлова, В. Кюхельбекера, А. Илличевского, А. Костякова и др., написанные в альбом С. Д. Пономаревой). „Нива“; ежемесячные литературные приложения 1894, № 5; 2) Мих. Мазаев. Дружеское литературное общество С. Д. Пономаревой (Из истории лит. кружков в России). СПБ. 1892. Изд. редакции журнала „Библиограф“; 3) Барон А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, т. I. Изд. моск. Публичного и Румянцевского музеев, стр. 48—50; 4) А. А. Веселовский. Сословие друзей просвещения. „Русский библиофил“ 1912, № 4; 5) В. И. Измайлов. Воспоминания, „Вестник Европы“ 1867, сентябрь, стр. 265—267 (кстати сообщу, что у В. Измайлова были в 1827 г. литературные среды, о чем см. „Русский Вестник“ 1875, № 8, стр. 596); 6) Записки Д. Н. Свербеева, т. I, М. 1899, стр. 225—230 (автор, между прочим, пишет: „изредка читал там Крылов новые свои басни еще до печати“, стр. 228).

[1] Автор—П. Л. Яковлев (Узбек). Этот проект характеризует литературную позицию салона С. Д. Пономаревой.

няется. И новый обожатель ее явился в преддверие ее храма.

2. Попечитель: Да подвергнется испытанию.

3. Секретарь: Друг NN нашел его, скитающегося во мраке.

4. Попечитель: Да просветится!

5. Секретарь садится на свое место.

6. Предложивший выходит из комнаты.

7. Предложивший покрывает кандидата черным покрывалом и подводит к дверям.

8. Предложивший ударяет в дверь четыре раза.

9. Секретарь: Кто нарушает спокойствие наше?

10. Кандидат: Слепотствующий искатель мудрости.

11. Секретарь: Имя твое?

12. Кандидат: Такой-то.

13. Секретарь: Любишь ли ты мудрость?

14. Кандидат: Люблю ее, ищу ее, поклоняюсь ей.

15. Секретарь: Любишь ли ты дружбу?

16. Кандидат: Ей посвящаю дни мои.

17. Секретарь: Отрицаешься ли славенизма?

18. Кандидат: Отрицаюсь.

19. Секретарь: Отрицаешься ли бисерных, кристальных, жемчужных слез?

20. Кандидат: Отрицаюся, отрицаюся.

21. Секретарь: Отрицаешься ли Шишкова и братии его?

22. Кандидат: Отрицаюсь.

23. Секретарь: Отрицаешься ли злоязычия Воейкова?

24. Кандидат: Отрицаюся.

25. Секретарь: Отрицаешься ли графа Хвостова, подражателей и почитателей его?

26. Кандидат: Отрицаюся.

27. Попечитель ударяет по столу четыре раза.

28. Предложивший вводит кандидата.

29. С кандидата снимают черное покрывало и надевают белое.

30. Кандидата ставят на возвышение, составленное из Телемахиды, Рассуждения о старом и новом слоге русского языка, Садов Воейкова, Петриады Грузинцева, Эсфири Каченовского.

31. Предложивший говорит: Я люблю Словесность, Деятельность и Премудрость.
32. Сии слова громко повторяет кандидат.
32. (sic) Предложивший: Клянусь любить Словесность, Деятельность и Премудрость.
33. Кандидат повторяет клятву.
34. Предложивший: Дружба к членам.
35. Кандидат повторяет.
36. Члены встают с мест, снимают с кандидата покрывало, окружают, и каждый подает ему руку.
36 (sicc). Попечитель прикасается указательным пальцем до глаз, ушей и губ кандидата.
37. Кандидат кладет указательный палец на губы.
38. Члены: София! София! София!
39. Попечитель и члены садятся.
40. Новый член садится на назначенное ему место, на котором написана данная фамилия.
41. Новый член говорит благодарственную речь.[1]

[1] „Русский библиофил“ 1912, № 4, в статье А. А. Веселовского.

В МОСКВЕ
С НАЧАЛА XIX В. ПО 20-Е ГОДЫ

ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО [1]

I

В весьма многих частных ученых собраниях литературных молодые люди, знакомством или дружеством соединенные, сочиняли, переводили, разбирали свои переводы и сочинения и, таким образом, совершенствовали себя на трудном пути словесности и вкуса. В Петербурге и Москве существовали таковые общества, не думающие ни об известности своей, ни о выгодах, но живущие единственно удовольствиями, внутри самих себя заключенными. одним словом, наслаждениями учения; говорю о собраниях дружеских потому особенно, что я сам во многих из них участвовал.

Как восхитительно бывало нам, еще отрокам, видеть посреди мирных и уединенных бесед своих и старцев, знаменитых отличными заслугами отечеству, и мужей, приседящих кормилу правления, которые с отеческою, благосклонною улыбкою внимали нашим юношеским разговорам, слушали наши первые опыты в сочинениях, увеселялись нашими мечтами, как мечтами младенцев, не знающих еще света

[1] Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете. Часть седьмая. М. 1817, А. Мерзлякова. Воспоминание о Федоре Федоровиче Иванове. Стр. 101—104.

и будущего своего жребия. Они умеряли порывы восторгов наших, не убивая их совершенно, давали нам строгие советы, не приводя нас в отчаяние и закрывая перед очами нашими печальную будущность завесою благообещающей отдаленности. Как приятен был для нас собственный образ нашей жизни! Пламенная любовь к литературе, простые, искренние расположения друг ко другу, свобода, сладостная беспечность, любезная мечтательность, взаимное доверие, любовь к человечеству, ко всему изящному, стремительность к добру, невинная, охотная, бескорыстная, даже исступленная: вот что было жизнью наших собраний, наших разговоров, наших действий! Мы строго критиковали друг друга письменно и словесно, разбирали знаменитейших писателей, которых почитали образцами своими, рассуждали почти о всех важнейших для человека предметах, спорили много и шумно за столом ученым и расходились добрыми друзьями по домам[1].

А. Мерзляков

[1] Дружеское литературное общество возникло в 1801 году и просуществовало около полугода. Устав его, составленный Мерзляковым, был подписан 12 января след. лицами: М. Кайсаровым, В. Жуковским, Андреем Тургеневым, А. Воейковым, Александром Тургеневым, С. Родзянкой, А. Мерзляковым, А. Кайсаровым, А. Офросимовым, питомцами Московского университетского благородного пансиона. В задачи кружка входило заниматься „теорией изящных наук", „трудиться над собственными своими произведениями, обрабатывая их со всевозможным рачением", критиковать сочинения и

II[1]

Здесь желал бы я друзьям русской литературы, коей некогда Москва, и в ней университет, были средоточием, напомнить о том влиянии, какое Веймарская Афинская деятельность имела и на нашу московскую словесность. Несколько молодых людей, большею частью университетских воспитанников, получали почти все, что в изящной словесности выходило из Германии, переводили повести и драматические сочинения Коцебу, пересажи-

переводы на русский язык, касаясь „плана пьесы, слов, выражений, оборотов" и проч. Кроме того предметом занятий были „философические и политич. сочинения". На заседаниях общества читались речи. Сохранились 23 речи, принадлежащих—Мерзлякову (4 речи), Воейкову (3), Мих. Кайсарову (3), Андрею Кайсарову (3), Андрею Тургеневу (3), Жуковскому (3), А. Тургеневу (2) и Родзянке (2 речи). Темы речей: „О трудностях учения", „О поэзии и о злоупотреблении оной", „О том, что мизантропов несправедливо почитают бесчеловечными", „О героизме", „О дружбе и страстях" и проч. Подробное описание жизни общества см. в трудах: В. И. Резанов. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПБ. 1906. Главы XI—XV, и во II выпуске (П. 1916), главы XXVI—XXIX; Архив братьев Тургеневых. Выпуск II. Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева. П. 1911 (статья В. М. Истрина. „Младший тургеневский кружок и А. И. Тургенев"); „Амфион", ежемесячное издание, январь, М. 1815. „Россиада", поэма эпическая г. Хераскова. „Письмо", стр. 50—51,—подписано Мрзлкв.

[1] „Современник", литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. А. Краевским, кн. В. Ф. Одоевским и П. А. Плетневым. Т. V, СПБ. 1837. „Отрывок из записной книжки путешественника", стр. 304—305.

вали, как умели, на русскую почву цветы поэзии Виланда, Шиллера, Гете, почти весь тогдашний новейший немецкий театр был переведен ими; многое принято было в театре московском. Корифеями сего общества был Мерзляков, Ан. Т.[1]. Дружба последнего с Ж.[2] не была бесплодна для юного гения. Она увековечена в посвящении памяти его первого и превосходного перевода поэта. [3]

[1] Андрей Тургенев.
[2] В. А. Жуковский.
[3] Еще весной 1800 года будущие участники Дружеского общества собирались у Воейкова в его доме под Девичьим; они называли себя „поддевиченскими". С любовью вспоминали о воейковском доме в стихах и прозе,—так, Андрей Тургенев писал Жуковскому и Мерзлякову из Петербурга 21 декабря 1801 г.: „Вспомните этот холодный еще, сумрачный апрельский день и час в развалившемся доме, окруженном садом и прудами. Вспомните гимн Кайсарова, стихи Мерзлякова, вспомните себя и, если хотите, и речь мою, шампанское, которое вдвое нас оживило, торжественный, веселый ужин, соединение радостных сердец". Жуковский вспоминал в 1813 году в послании к Александру Ивановичу:

Где время, когда по вечерам
В веселый круг нас музы собирали?
Нет и следов. Исчезло все—и сад,
И ветхий дом, где мы в осенний хлад
Святой союз любви торжествовали.

А. Воейков в 1821 году также вспоминал „ветхий дом", где „сладко пировали",

...Где, распалив вином и спорами умы
И к чел вечеству любовью,
Хотели выкупить блаженство ближних кровью.
При звуке радостном бокалов, хоров, лир,
Преобразить спешили мир.

Мерзляков также воспевал поддевиченские собрания:

... Мы в кочках под шатром
В сентябрьски вечера ненастны
С любезной трубкой и вином
Родные песенки певали
И с бурей голос соглашали.

Не упоминая о других первых спутниках жизни... заключу словами спутника поэта: „где время то?..“ Но кто не помнит стихов Жуковского?

А. И. Тургенев

Любопытно, что П. А. Вяземский называл петербургский Арзамас „Новым Арзамасом“, разумея под старым свой московский кружок (1810—11 гг.), куда входили Жуковский, Батюшков, В. Л. Пушкин, М. Виельгорский и др. Но и в представлении старших арзамасцев—Александра Тургенева и Жуковского—Дружеское литературное общество было тоже „Арзамасом“: в бумагах А. И. Тургенева сохранился документ под названием „Речи и правила или уставы поддевиченского Арзамаса“.

С 1806 года у Воейкова возобновились поддевиченские собрания, но уже другого характера. О них есть упоминания в мемуарах С. Жихарева: „Александр Воейков задает такие славные литературные вечера и попойки Мерзлякову, Жуковскому, Измайлову, Мартынову, Сумарокову, Качановскому и многим другим у себя в доме на Девичьем поле“ („Дневник студента“, СПБ., 1859, стр. 323; см. также „Дневник чиновника“ под 12 окт. 1806 г. в „Отеч. Зап.“ 1855, № 4, стр. 37).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА У Ф. Ф. ИВАНОВА [1]

В 1811 году и в начале 1812 года в Москве было много жизни в литературе. Литераторы часто собирались между собою и всякий раз читали друг другу свои произведения. Эти вечера и в то время и еще прежде бывали по большей части у Фед. Иванова, автора известной драмы Семейство Старичковых. Тут бывали Фед. Фед. Кокошкин, переводчик Мольерова „Мизантропа“; Алексан. Фед. Воейков, переводчик Делилевой поэмы „Сады“; Батюшков, когда он приезжал в Москву; С. И. Смирнов, тоже занимавшийся литературою, на сестре которого после Мерзляков и женился.

В этих вечерах играли иногда в коммерческие игры. Воейков, исстари остряк и весельчак, играл иногда с Мерзляковым не в деньги, а на столько-то стихов! Мерзляков по большей части проигрывал и за это повинен был проигранное число стихов перевести из „Садов“ Делиля, которые он, добродушный, и действительно переводил, а Воейков брал их, как свою собственность, и вставлял в свой перевод Делилевой поэмы. Может быть, он

[1] Мелочи из запаса моей памяти, стр. 161—162.

несколько и переделывал их, чтобы они приходились к тону его собственного перевода, но дело в том, что это действительно было [1].

М. Дмитриев

[1] Н. В. Сушков вспоминает об этих вечерах Ф. Ф. Иванова, „весельчака, остряка и писателя“ (1813—1814 годы): „в шесть, семь часов вечера собирались к нему его приятели и добрые знакомые почти каждый день. Тут часто бывали А. М. Пушкин—певун и балагур, смиренно-степенный Н. И. Ильин (автор „Рекрутского набора“, „Лизы и торжества благодарности“, „Влюбленного Нелюдима“), всегда любезно говорливый князь И. М. Долгорукий с дочерью (г-жей Новиковой) и с пасынком Пожарским и т. д. Бывали по временам Вяземский, Кокошкин, Воейков, В. Л. Пушкин и пр. В разговорах и спорах приятельских, забавных, остроумных, подчас и важных, поучительных, ученых, мы забываем, что живем на развалинах сожженной Москвы! Музыка, пенье, танцы под клавикорд перемежались чтением припасенных хозяином или гостьми стихов, а иногда и тут же написанных под шумок, но вдохновенно или по задаче. Переводчик Тасса (А. Ф. Мерзляков) решительно доказал не один раз возможность итальянской импровизации на русском языке. Он именно был импровизатор—по заказу, тут же, сразу писал, порой и говорил стихи на заданные предметы. Любимая у нас игра была—омонимы (слова, имеющие разные значения). Кто не разгадает слова, должен, в наказанье, написать стихи или что-нибудь спеть, или проплясать и т. д. Разумеется, первое наказанье доставалось всех чаще Профессору красноречия. Против него действовали скопом и заговором. И он всегда выходил с честью из затрудненния—писать когда ни попало, по заказу, хочешь, не хочешь. Мы, прочие, частенько-таки отделывались белыми стихами, а иногда и на русский лад, почти что без всякой меры. А Мерзляков, большею частью, писал с рифмами, если же без рифм, так уж певучим размером своих гекзаметрических, как он называл, песен. Так однажды, в час времени, наш Импровизатор написал рас-

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО И. М. ДОЛГОРУКОГО [1]

Спектакли (в доме И. М. Долгорукого) продолжались однажды всю зиму, до самого великого поста. Нам, молодым людям, было очень

сказ,—теперь можно прямо сказать,—быль в повести об одной из наших собеседниц, на пяти или шести-семи страницах. Помню только несколько стихов из вступленья и заключенья:

В зимний вечер пред огнем
Девушки собрались...
Все—с работой, все кругом...
В посиделки разыгрались...
Речь за речью, как река,
Сказка сказку погоняет...
То веселье, то тоска
Белы груди колыхает.

Обрисовав наш веселый круг и очеркнув некоторые лица намеком, стишком, он выводит вперед главное лицо—одну мечтательницу, тоскующую о милом... Он далеко, в ратной дружине... Она боится за него, боится за себя: жив ли сердечный друг? помнит ли одиночную, красную девицу? не изменил ли заветной любви?.. Наконец, Мерзляков доводит свой рассказ до появления жданного, нежданного гостя... двери настежь!.. Ах!..

— И домашний стиходей,
Мерзляков, с пером, с бумагой...
И с обычною отвагой...
. . . . . .
Палец ко лбу! рюмку в руки!
От тарабарской науки—
Ну читать! читал... читал...
И урок свой докончал!

(Обоз к потомству с книгами и рукописями. Из записок Н. В. Сушкова. „Раут", книга III, исторический и литературный сборник, изд. Н. В. Сушкова, М., 1854, стр. 267—270.)

[1] „Москвитянин" 1851, февраль, № 3, кн. I, стр. 301—305.

весело; но и мы, наконец, устали. А князь Иван Михайлович, который не мог жить без людского общества, придумал себе на пост другую забаву—и кто бы мог вообразить, какую?—Учреждение на пять недель поста литературного общества! Наскоро он набрал членов—и на второй же неделе общество было открыто! Я помню некоторых его членов: сам хозяин, младший сын хозяина кн. Михайла, М. Н. Загоскин, С. Т. Аксаков, А. А. Волков, А. Д. Курбатов, свояк кн. М. П. Телегин; других не помню. Правилом общества положено было председательствовать в нем каждому из членов по очереди и по старшинству лет. В первом заседании председательствовал сам хозяин: собиралась и публика, т. е. человек двадцать его коротко-знакомых и его ближних мужчин и дам. Но во второе же заседание и это общество, сколь ни важно сидели члены, превратилось в комедию!—Приехала из провинции, из деревни, одна дама, о которой князь известил нас, что она стихотворица. Мы никогда об ней не слыхивали. После уже, гораздо спустя после этого, мне попалась книга ее стихотворений, посвященная князю, где она, обращаясь к князю с оправданиями своему перу, говорит между прочим с удивительною наивностию, что если ее слог имеет такие-то и такие-то недостатки, то ей это извинительно, потому что один он был ее образцом и учителем. Но обращаюсь к нашему заседанию. Мы ничего не знали, что готовится, и садимся очень важно на свои места, за большой стол, как члены общества. Вдруг князь ставит еще кресла, говоря: „Марья Петровна! прошу

покорно садиться с нами!“ и об'являет, что она выбрана в почетные члены. Дама, после некоторых извинений, села. Вдруг встает один из старших членов, бывший на этот раз председателем, и начинает ей приветственную речь. Я помню даже хрию этой речи, вот она: „С тех пор как сотворен мир и вращаются круги звездные, все человеки стремятся к счастию. Одни полагают его в том, другие в другом, а мы в занятиях литературой и в поэзии. Почему, уважая ее дарования, мы захотели разделить с нею наши благородные занятия и присоединить ее к нашему обществу“. Мария Петровна беспрерывно краснела, приподнималась со стула и говорила: „Помилуйте! чем я это заслужила?“ И подлинно, чем заслужила она такую комедию! Мы все едва могли удержаться от смеха; наконец князь, во время самого произнесения речи, наклонился ко мне, закрыв себя от других платком, и я увидел, что он помирает со смеху!—Кончилось заседание; князь вышел в другую комнату, нахохотался вволю, и я видел, что он совершенно доволен, что из его серьезного намерения почтить талант приезжей дамы, не думав, не гадав, вышла такая комедия, тем более что дама не заметила этого и осталась тоже довольною [1].

М. Дмитриев

[1] Об И. М. Долгоруком см. Разные сочинения С. Аксакова. М., 1858, стр. 62—68, 77—78. Полное собрание сочинений П. А. Вяземского, т. VIII, стр. 476—481.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СОБРАНИЯ У Ф. Ф. КОКОШКИНА [1]

1812 год

Я бывал с Шушериным на литературных вечерах у Ф. Ф. Кокошкина, у которого обыкновенно собирались Каченовский, Мерзляков и Ф. Ф. Иванов, сочинитель драматических пьес „За богом молитва, а за царем служба не пропадают“ и „Не бывать фате“—пьес, которые в свое время имели значительный успех. Иванов слыл большим остряком и в самом деле был остроумный и веселый собеседник. Приезжали иногда гр. Салтыков, Вельяшев-Волынцев, Смирнов, зять Мерзлякова, и другие; Шушерин вел себя с большим тактом со всеми. Кокошкин иногда читал на этих вечерах свой перевод Мольерова „Мизантропа“ и просил замечаний. Замечания Каченовского всегда были очень дельны, но умеренны, а Мерзляков, бывавший по вечерам обыкновенно веселее, часто нападал беспощадно на переводчика. Один раз Кокошкин, выведенный из терпенья его беспрестанными придирками, положил рукопись на стол, очень важно сложил руки и сказал: „Да помилуйте, Алексей Федорыч, предоставьте же переводчику поль-

[1] Разные сочинения С. Аксакова, М, 1858. Литературные и театральные воспоминания, стр. 28—30, 175—181.

зоваться иногда стихотворной вольностью“.—„Стихотворная вольность состоит в том, чтоб писать хорошо“, возразил Мерзляков, произнося слова своим пермским выговором на о. Все громко засмеялись и одобрили такой ответ. Но едва ли кто больше Мерзлякова пользовался так называемой стихотворной вольностью, в которой он так резко отказывал Кокошкину,—особенно в своих переводах Тасса, из которых отрывки он также иногда читывал у Кокошкина, и никто, кроме Каченовского, не делал ему никаких замечаний, да и те были весьма снисходительны. Я тут же сообщал потихоньку Шушерину на ухо мои критические заметки и один раз попросил у него совета,—не сказать ли мне моих замечаний самому Мерзлякову? Но Шушерин удержал меня, сказав. „Ну, полно, любезный друг, что тебе за охота? Ведь ты еще юноша, а это знаменитый муж, профессор словесности. Разумей про себя и не делай сам того, что критикуешь у Мерзлякова“. Я послушался Шушерина и, конечно, сделал хорошо. Нет однако никакого сомнения, что перевод Кокошкина много обязан своим достоинством, правильностью и (по-тогдашнему) чистотою языка строгим замечаниям Мерзлякова.

1815 год

Деревянный дом Кокошкина на Арбате сгорел, и он купил себе огромный каменный дом у Арбатских ворот, где Мерзляков читал свои публичные лекции о русской литературе и где впоследствии было столько прекрасных

благородных спектаклей. В Кокошкине не заметно было, что он пережил такую великую историческую годину, о ней и речи не было. Он весело встретил меня литературными и театральными новостями, точно как будто ничего не случилось важного с тех пор, как мы не видались. „Милый, как я вам рад!“ восклицал Кокошкин, обнимая меня при первом нашем свидании: “как кстати вы приехали: Алексей Федорович у меня в зале читает публичные лекции, и, конечно, ничего подобного Москва не слыхивала; я решился поставить на сцену м о е г о „Мизантропа“ (он всегда называл его м о й), я теперь весь погружен в репитиции—работы по горло. Ваши советы будут мне полезны“ (разумеется, это была учтивость).

Мне удалось слышать только одну лекцию Мерзлякова, именно ту, в которой он разбирал Дмитрия Донского, и разбирал очень строго и справедливо. Несмотря на убедительные и ясные доказательства профессора, почти все слушатели нашли такой разбор любимой трагедии пристрастным и недоброжелательным, даже осердились за него. Стихи Озерова, после Сумарокова и Княжнина, так обрадовали публику, что она, восхитившись сначала, продолжала семь лет безотчетно ими восхищаться, с благодарностью вспоминая первое впечатление, и вдруг публично с кафедры ученый педант, чем был в глазах публики всякий профессор, смеет называть стихи по большей части дрянными, а всю трагедию—нелепостью!.. Волнение было сильное. Едва ли кто-

нибудь из слушателей был так доволен, даже обрадован этой лекцией, как я, потому что лекция очень совпадала с жестоким разбором Дмитрия Донского, написанным А. С. Шишковым; разбор этот я считал почти во всем справедливым. После чтения был завтрак у Кокошкина, и он, по моей просьбе, познакомил меня с Мерзляковым; я с горячностью высказал ему мое сочувствие и уважение и сообщил о критике Шишкова. В этот же день я видел в первый и последний раз Батюшкова.

1826—1827 годы

Каждую неделю в известные дни собиралось все наше общество у Кокошкина, у Шаховского и у меня, но видались мы ежедневно, даже не один раз.

Во время наших приятельских обедов и вечеров редко обходилось дело без карт, но сначала обыкновенно что-нибудь читали или слушали музыку. Иногда Писарев читал свои стихи, которые, впрочем, он стал писать гораздо менее. Он прочел также переведенное им в трех актах какое-то драматическое представление для будущего бенефиса Щепкина— „Пятнадцать лет в Париже". Пьеса показалась мне скучновата. Но зато водевиль „Пять лет в два часа, или как дороги утки", переведенный им для бенефиса Синецкой, всех нас заставил хохотать и восхищаться куплетами. В это время Писарев был особенно занят, по поручению Общества любителей русской словесности, сочинением похвального слова уже несколько лет умершему Капнисту; разумеется,

и оно было прочтено нашему ареопагу. Но по большей части читали на этих вечерах стихи Шаховского, который, кроме своих театральных сочинений, имел время и несчастную претензию писать патриотические стихотворения. Одно из них, чрезвычайно длинное, в котором описывалась война 12-го года и торжество русских в Париже, ужасно надоело мне. По несчастию, чтение мое нравилось автору, и я читал его тетрадищу плохих стихов не один раз. А что всего несноснее,—бывало прочтешь около половины, как вдруг войдет новый гость, и Шаховской непременно скажет самым умильным голосом, с нежностью смотря мне в глаза: „Селгей Тимофеич, да мы повтолим для него сначаля", и я, проклиная нового гостя и Шаховского, повторял сначала. На таких собраниях был прочтен, каждый раз по одному акту, мой прежний перевод Мольеровой комедии „Школа мужей", по возможности мною выпра вленный и отданный на следующий бенефис Щепкину, который тосковал по Мольеру и, вообще, по ролям, требующим работы. Я обещал ему перевесть на следующий год Мольерова „Скупого" и сдержал мое обещание.

Слушали мы с наслаждением и музыку и пение Верстовского. Его „Бедный певец", „Певец в стане русских воинов", „Освальд или три песни" Жуковского и „Приди, о путник молодой" из Руслана и Людмилы, „Черная шаль" Пушкина и многие другие пьесы—чрезвычайно нравились всем, а меня приводили в восхищение. Музыка и пение Верстовского казались мне необыкновенно драматичными.

Говорили, что у Верстовского нет полного голоса; но выражение, огонь, чувство заставляли меня и других не замечать этого недостатка. Один раз спросил я его—отчего он не напишет оперы? Верстовский отвечал, что он очень бы желал себя попробовать, но что нет либретто. Я возразил ему, что, имея столько приятелей-литераторов, хорошо знакомых с театром и пишущих для театра, не трудно, кажется, приобресть либретто. Верстовский сказал, что у всякого литератора есть свое серьезное дело и что было бы совестно, если б кто-нибудь из них бросил свой труд для сочинения ничтожной оперы. Я, однако, с этим не согласился и при первом случае напал на Кокошкина, Загоскина и Писарева: для чего никто из них не напишет оперы для Верстовского, когда все они, да и вся публика, признают в Верстовском замечательный музыкальный талант? Мне отвечали самыми пустыми отговорками, недосугом, неуменьем и тому подобными пустыми фразами. Я расшумелся и кончил свои нападения следующими словами: „Послушайте, господа: я ничего никогда для театра не писывал; но ведь я осрамлю вас, я напишу Верстовскому либретто!“ Кокошкин, с невозмутимым спокойствием и важностью, отвечал мне: „Милый! сделай милость, осрами!“ Ободрительный смех Загоскина и Писарева ясно говорил, что они сочувствуют словам Кокошкина. По опрометчивости и живости моей я не сообразил, до какой степени это дело будет ново и трудно для меня, и вызвался Верстовскому написать

для него оперу, и непременно волшебную. Нечего и говорить, как был он мне благодарен. Напрасно ломал я себе голову, какую бы написать волшебную оперу: она не давалась мне, как клад. Я бросился пересматривать старинные французские либретто и, наконец, нашел одну—именно волшебную [1], и где были даже выведены цыгане, чего Верстовский очень желал. Мы оба придумали разные перемены, исключения и дополнения, и я принялся за работу.

В приятельской нашей игре в карты и беседах много происходило комических сцен между Шаховским и Загоскиным, хотя они горячо и нежно любили друг друга. Загоскин, в свою очередь, часто бывал смешнее Шаховского: младенческое простодушие, легковерие и вспыльчивость, во время которой он ничего уже не видел и не слышал, были достаточными к тому причинами. Часто посреди игры все мы, остальные, положив карты, хохотали над ними до слез. Они беспрестанно спорили и ссорились, подозревали друг друга в злонамеренных умыслах, и нередко случалось, что один другого обвинял в утайке той карты, которая находилась у него самого на руках; но один раз случилось особенно забавное происшествие, впрочем, не зависящее от карт: ехали мы, т. е. я, Кокошкин, Загоскин и Писарев, в условленный день на вечер к Шахов-

[1] [Кажется, она называлась по имени главного действующего лица, волшебника, вызывающего духов—„Заметти". Много каламбурили над словом „Заметти", придавая ему русское значение.]

скому. Вдруг Загоскин говорит: „Надоел мне Шаховской своими стихами, опять что-нибудь будет читать. Я придумал вот что: как приедем, я заведу с ним спор. Скажу, что я сегодня прочел „Кумушек“ Шекспира, и начну их бранить; скажу, что Шекспир скотина, животное,—Шаховской взбесится и посмешит нас своими выходками и бормотаньем. Между тем, время пройдет; мы скажем, что слушать его стихов уже некогда, и сядем прямо за карты“. Мы охотно согласились, потому что как-то давно Шаховской с Загоскиным не схватывались и не бранились. Приехав к Шаховскому, мы нашли у него Щепкина и еще двух приятелей из нашего круга. Загоскин с первого слова повел свою атаку, и так неосторожно и неискусно, так по-топорному, что Шаховской сейчас сметил его намерение. Вместо того чтоб разгорячиться, он весьма хладнокровно начал подсмеиваться над Загоскиным; сказал, между прочим, что с малолетними и с малоумными о Шекспире не говорят, что вся русская литература, в сравнении с английской, гроша не стоит и что такому отсталому народишку, как русский, надобно еще долго жить и много учиться, чтобы понимать и ценить Шекспира. Шаховской знал, что ничем нельзя так раздразнить Загоскина, как унижением русского народа; знал, что он подносил горящий фитиль к боченку с порохом. Так и случилось,—последовал такой взрыв, какого мы и не видывали. Загоскин совершенно вышел из себя и не только уже от всей души принялся ругать Англию, Шекс-

пира и Шаховского, но даже бросился на него с кулаками. Разумеется, его удержали. Он сейчас опомнился, и Шаховской, прищурив свои маленькие глаза и придав своему лицу, как он думал, самое насмешливое, язвительное выражение, сказал: „Ну что, блат, ты хотел меня лаздлазнить и потешить публику, а я смекнул дело да лаздлазнил тебя; только чул впелед не длаться". Друзья сейчас помирились, мы все досыта насмеялись, время было выиграно и цель достигнута; мы сели прямо за карты [1].

С. Т. Аксаков

[1] О литературных вечерах Ф. Кокошкина см. „Литературные встречи и знакомства" А. Милюкова, П., 1890, гл. Воспоминание о Ф. Ф. Кокошкине.

ДЕСЯТЫЙ НУМЕР [1]

Вхожу в большую комнату, уставленную по стенам пустыми кроватями со столиками; на каждом столике наложены кучки зеленых, желтых, красных, синих книг и пачки тетрадей; вижу—лежит на одной кровати чья-то фуражка, дном наружу; на дне—надпись; читаю: „Hunc pil...—тут стерто, не разберу—Fur rapidis manibus tangere noli: possessor cujus fuit semperque erit Tschistof, qui est studiosus quam maxime generosus".

Понимаю. Где же этот г. Чистов? А вот он входит в дверь: испитой, с густыми темными волосами, свинцового цвета лицом, темно-синею выбритою гладко бородою; за ним приходит с лекции и мой Феоктистов; дверь начинает беспрестанно отворяться и затворяться; являются одно за другим все новые и новые лица, рекомендуются, приветливо обращаются ко мне; вот г. Лейченко, самый старший, действительно на вид лет много за 30; вот Лобачевский, длинный, рыжий, усеянный, должно быть, веснушками по всему телу, судя по лицу и рукам, и еще человек шесть нумерных и посторонних.

Начинаются беседы, закуривание трубок; говорят все разом—ничего не разберешь; дым

[1] Сочинения Н. И. Пирогова, т. II, Киев, 1910, стр. 236—242.

поднимается столбом; слышится по временам и брань неприличными словами.

Мой бывший наставник, Феоктистов, представляется мне совсем в ином свете, не тем, каким я его знал до сих пор: он тут перед некоторыми просто пасс—тише воды, ниже травы.

Вот хотя бы Чистов, обладатель фуражки с латинскими стихами—тот берет со стола книгу, ложится на кровать и, обращаясь ко мне (я стою вблизи его кровати), спрашивает: „С какими римскими авторами вы знакомы?“ Я краснею. „Что же? Феоктистов, верно, вам немногое сообщил; где же ему, он и сам ничего не понимает в латыни. Садитесь-ка вот здесь, я вам кое-что прочту из Овидия; слыхали о „Метаморфозах“ Овидия? А? слыхали?“—„Да, немного слыхал“.—„Ну, слушайте же!“—И Чистов начал скандировать плавно и с увлечением, и тут же я научился у него больше, чем во все время моего приготовления к университету от Феоктистова. Оказалось потом, что Чистов был действительно знаток римских классиков; я редко видал его за медицинскими книгами; всегда, бывало, лежит и читает своего любимого Овидия Назона или Горация.

Родом из духовных, воспитанник семинарии, Чистов отличался однако же резко от других сотоварищей, по большей части тоже семинаристов: это была мебель из елового, а он из красного дерева и, должно быть, поэт в душе.

Чего я ни насмотрелся и ни наслышался в 10-м нумере!

Представляю себе теперь, как все это виденное и слышанное там действовало на мой 14—15-летний ум! Является, например, какой-то гость Чистова, хромой, бледный, с растрепанными волосами, вообще странного вида на мой взгляд—теперь его можно было бы по наружности причислить к нигилистам, по-тогдашнему это был только вольнодумец.

Говорил он, как-то захлебываясь от волнения и обдавая своих собеседников брызгами слюны. В разговорах быстро, скачками переходит от одного предмета к другому, не слушая или не дослушивая никаких возражений: „Да что Александр I, куда ему, он в сравнение Наполеону не годится. Вот гений, так гений!.. А читали вы Пушкина „Оду на вольность"? А? Это, впрочем, винегрет какой-то. По-нашему не так; révolution, так révolution, как французская—с гильотиною!" И услыхав, что кто-то из присутствующих говорил другому что-то о браке, либерал 1824—1825 гг. вдруг обращается к разговаривающим: „Да что там толковать о женитьбе! что за брак! на что его вам? кто вам сказал, что нельзя попросту спать с любою женщиною?.. Ведь это все ваши проклятые предрассудки, натолковали вам с детства ваши маменьки да бабушки да нянюшки, а вы и верите. Стыдно, господа, право, стыдно!" А я-то, я—стою и слушаю, ни одного слова не проронив.

Вдруг соскакивает с своей кровати Катонов, хватает стул и бац его по средине комнаты! „Слушайте, подлецы!" кричит Катонов: „кто там из вас смеет толковать о Пушкине?

Слушайте, говорю!"—вопит он во все горло, потрясая стулом, закатывая глаза, скрежеща зубами:

Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
Я с злобной радостию вижу,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле...

Катонов, восторженный обожатель Мочалова, декламируя выходит из себя—не кричит уже, а вопит, ревет, шипит, размахивает во все стороны поднятым вверх стулом, у рта пена, жилы на лбу переполнились кровью, глаза выпучились и горят. Исступление полное. А я стою, слушаю с замиранием сердца, с нервною дрожью; не то восхищаюсь, не то совещусь.

Рев и исступление Катонова, наконец, надоедают; на него наскакивает рослый и дюжий Лобачевский. „Замолчишь ли ты, наконец, скотина!" кричит Лобачевский, стараясь своим криком заглушить рев Катонова. Начинается схватка, у Лобачевского ломается высокий каблук. Падение. Хохот и аплодисменты. Бросаются разнимать борющихся на полу.

Не проходило дня, в который я не услыхал бы или не увидел чего-нибудь новенького, в роде описанной сцены, особенно памятной для меня потому только, что она была для меня первою невидалью; потом все вольнодумное сделалось уже делом привычным.

За исключением одного или двух, обитатели 10-го нумера были все из духовного звания, и от них-то именно я наслышался таких вещей о попах, богослужении, обрядах, таинствах и

вообще о религии, что меня на первых порах, с непривычки, мороз по коже подирал...

Все запрещенные стихи, в роде „Оды на вольность", „К временщику" Рылеева, „Где те, братцы, острова" и т. п., ходили по рукам, читались с жадностью, переписывались и перечитывались сообща при каждом удобном случае.

Читалась и барковщина, но весьма редко, а заменяла в то время более современная поэзия подобного же рода студента Полежаева.

О боге и церкви сыны церкви из 10-го нумера знать ничего не хотели и относились ко всему божественному с полным пренебрежением.

Понятий о нравственности 10-го нумера, несмотря на мое короткое с ним знакомство, я не вынес ровно никаких. Разгул при наличных средствах, полный индиферентизм к добру и злу при пустом кармане—вот вся мораль 10-го нумера, оставшаяся в моем воспоминании.

Вот настало первое число месяца. Получено жалованье. Нумер накопляется. Дверь то и дело хлопает. Солдат, старик Яков, ветеран, служитель нумера, озабоченно приходит и уходит для исполнения разных поручений. Являются чайники с кипятком и самовар.

Входят разом человека четыре—двое нумерных студентов, один чужой и высокий, здоровенный протодьякон. Шум, крик и гам. Протодьякон что-то басит. Все хохочут. Яков является со штофом под черною печатью за пазухой, в руках несет колбасу и паюсную икру. Печать со штофа срывается с восклицанием: „Ну-ка, отец дьякон, белого панталонного хватим!"—„Весьма охотно", глухим басом и с рас-

становкою отвечает протодьякон. Начинается попойка. Приносится Яковом еще штоф и еще— так до положения риз.

— Знаете ли вы, — говорит мне кто-то из жильцов 10-го нумера,—что у нас есть тайное общество? Я член его, я и масон.

— Что же это такое?

— Да так, надо же положить конец.

Чему?

— Да правительству, ну его к чорту.

И я после этого открытия смотрю на господина, сообщившего мне такую любопытную вещь, с каким-то подобострастием.

Масон! Член тайного общества! То-то у него книги все в зеленом переплете. А я уже прежде где-то слыхал, что у масонов есть книги в зеленом переплете.

— А слышали, господа: наши с Полежаевым и хирургами (студентами московской медико-хирургической академии) разбили вчера ночью б....ь на Трубе? Вот молодцы-то!

Начинаются рассказы со всеми сальными подробностями. И это откровение я выслушиваю с тем же наивным любопытством, как и сообщенную мне тайну об обществе и масонстве.

Да, нумер 10-й был такою школою для меня, уроки которой, как видно, пережили в моей памяти много других, более важных воспоминаний.

Впоследствии почуялись и в 10-м нумере веяния другого времени: послышались чаще имена Шеллинга, Гегеля, Окэна.

Н. И. Пирогов

КРУЖОК АРХИВНЫХ ЮНОШЕЙ [1]

В это время, т. е. в 1820—22 годах, познакомился я с некоторыми сверстниками, которых дружба или приязнь благодетельно подействовала на дальнейшую мою жизнь. Первое мое знакомство было с И. В. Киреевским. С ним мы познакомились на уроках у Мерзлякова. Мы жили на одной улице (большой Мещанской) в первых двух домах на левой руке от Сухаревой башни. Часто мы возвращались вместе домой; вскоре познакомились наши матери, и наша дружба росла и укреплялась. Меня особенно интересовали знания политические, а Киреевского — изящная словесность и эстетика, но оба мы чувствовали потребность в философии. Локка мы читали вместе, простота и ясность его изложения нас очаровывала. Впрочем, все научное нам было по душе, и все нами узнанное мы друг другу сообщали. Но мы делились и не одним научным—мы передавали один другому всякие чувства и мысли, наша дружба была такова, что мы решительно не имели никакой тайны друг от друга. Мы жили как будто одною жизнью.

Другое мое знакомство, превратившееся в дружбу, было с кн. В. Ф. Одоевским. С ним

[1] Записки А. И. Кошелева, 1812—1883 годы. Берлин, 1884, стр. 6—11. Прозвище дано было С. Соболевским.

мы вскоре заговорили о немецкой философии, с которою его познакомили возвратившиеся из-за границы профессор М. Г. Павлов и И. И. Давыдов, заведывавший университетским пансионом, в котором воспитывался кн. Одоевский. Кроме того, в это же время я сошелся с В. П. Титовым, С. П. Шевыревым и И. А. Мельгуновым. Здесь я упоминаю о них только мимоходом, потому что впоследствии об этих сверстниках я буду иметь случай говорить обстоятельнее.

В сентябре 1822 года я поступил в Московский университет по словесному факультету. Тут я слушал лекции: Мерзлякова—о словесности, Каченовского—о русской истории, Геймa—о статистике, Давыдова—о латинской словесности и Двигубского—о физике. Эти лекции оставили во мне мало живых воспоминаний: профессора читали, а мы их слушали только по обязанности. Возбудительного, животворного они нам ничего не сообщали. Тут познакомился я с М. П. Погодиным, но в это время мы мало сблизились, ибо он уже выходил из университета, а я туда только поступал, но хорошо помню, что он был отличным студентом и всегда славно отвечал на вопросы профессоров.

В следующем, т. е. в 1823 году, совет университета сделал постановление, в силу которого студенты должны были слушать не менее восьми профессоров. Это нас, студентов, сильно раздражило и даже взбесило, и многие не захотели подчиниться такому распоряжению. Тогда нас, „бунтовщиков“, призвали в правле-

ние, и ректор А. А. Прокопович-Антонский об'явил нам, что если мы вольнодумничаем и не хотим исполнить требование совета, то должны выйти из университета. Мы доказывали ректору невозможность с пользою, т. е. с надлежащими приготовлениями, слушать восемь курсов, но он твердил свое и выражался так повелительно и даже дерзко, что иные покорились воле начальства, а человек десять (и я в том числе) подали просьбы об увольнении из университета.

Освободившись от университета, где мы мало учились и много времени тратили напрасно, я налег на чтение и возобновил уроки у Мерзлякова, Шлецера и других преподавателей, которые мне живо передавали разные знания. В это время особенно полезною была для меня дружба с И. В. Киреевским, с которым мы занимались вместе и друг друга оживляли и поощряли. Всего более занимали нас немецкие философские сочинения. Около этого времени мы познакомились с даровитым, весьма умным и развитым Д. В. Веневитиновым, к прискорбию, рано умершим. Немецкая философия и в особенности творения Шеллинга нас всех так к себе приковывали, что изучение всего остального шло у нас довольно небрежно, и все наше время мы посвящали немецким любомудрам. В это время бывали у нас вечерние беседы, продолжавшиеся далеко за полночь, и они оказывались для нас много плодотворнее всех уроков, которые мы брали у профессоров. Наш кружок все более и более разрастался и сплотнялся. Главными самыми деятельными

участниками в нем были: Ив. В. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин, кн. В. Одоевский, Титов, Шевырев, Мельгунов и я. Этим беседам мы обязаны весьма многим как в научном, так и в нравственном отношении. Не могу также не упомянуть здесь о благодетельном влиянии, которое имели на меня и Киреевского наши матери, т. е. моя и его, Авдотья Петровна Елагина, друг Жуковского, женщина высокообразованная и одаренная чрезвычайно любящим сердцем. Они руководили нами очень умно, давая нам полную свободу в выборе и предметов для занятий и наших приятелей. Они были между собою дружны и действовали заодно ко благу своих детей.

В 1824 году мы держали с Киреевским экзамен в университете, требовавшийся указом 1809 года для поступления на службу.

По окончании экзамена я и Ив. В. Киреевский поступили на службу в московский Архив иностранных дел.

В Архив почти одновременно поступили, кроме Ив. Киреевского, Дм. и Алекс. Веневитиновы, Титов, Шевырев, Мельгунов, С. Мальцев, Соболевский, двое кн. Мещерских, кн. Трубецкой, Озеров и другие хорошо образованные московские юноши. Служба наша главнейше заключалась в разборе, чтении и описи древних столбцов. Понятно, как такое занятие было для нас мало завлекательно. Впрочем, начальство было очень мило, оно и не требовало от нас большой работы. Сперва беседы стояли у нас на первом плане, но затем мы вздумали

писать сказки так, чтобы каждая из них писалась всеми нами. Десять человек соединились в это общество, и мы положили писать каждому не более двух страниц и не рассказывать своего плана для продолжения. Как между нами были люди даровитые, то эти сочинения выходили очень забавными, и мы усердно являлись в Архив в положенные дни— по понедельникам и четвергам. Архив прослыл сборищем „блестящей" московской молодежи, и звание „архивного юноши" сделалось весьма почетным, так что впоследствии мы даже попали в стихи начинавшего тогда входить в большую славу А. С. Пушкина [1].

А. И. Кошелев

[1] См. в „Евгении Онегине" гл. VII, XLIX строфа:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.

КРУЖОК С. РАИЧА

В это же время составилось у нас два общества: одно литературное, другое философское. Первое, под председательством переводчика Георгик—С. Е. Раича (Амфитеатрова), собиралось сперва в доме Муравьева на Большой Дмитровке, где помещалось Муравьевское военное учебное заведение и где впоследствии были училище проф. Павлова, дворянский клуб и лицей (гг. Каткова и Леонтьева), а потом на квартире сенатора Рахманова, при сыне которого Раич был воспитателем. Членами этого общества были: Ф. И. Тютчев, Н. В. Путята, кн. В. Ф. Одоевский, В. П. Титов, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Д. П. Зиновьев, Томашевский, А. С. Норов, Андр. Н. Муравьев и многие другие [2]. Наши заседания были очень живы и некоторые из них даже блестящи и удостаивались присутствия всеми любимого и уважаемого московского генерал-

[1] Там же, стр. 11—12.

[2] К. А. Полевой называет также Н. А. Полевого—Записки К. А. Полевого. СПБ., 1888, стр. 101, а М. Погодин прибавляет: „Много толков было о журнале, которого программу представил Полевой [Н. А.], принятый в наше общество. Она не понравилась нам, и Полевой отстранился, об'явив в след. году подписку на „Телеграф". Воспоминания о С. П. Шевыреве. СПБ. 1869. стр. 7.

губернатора кн. Д. В. Голицына, Ив. Ив. Дмитриева и других знаменитостей. Тут изящная словесность стояла на первом плане; философия, история и другие науки только украдкой, от времени до времени, осмеливались подавать свой голос. Мне удалось там прочесть некоторые переводы из Фукидида, Платона и отрывки из истории Петра I, которою тогда я с любовью занимался [1].

А. И. Кошелев

[1] А. Н. Муравьев вспоминает об этом кружке в своей брошюре—Знакомство с русскими поэтами. Киев. 1871, стр. 4—8. См. „Автобиографию“ С. Раича в „Рус. Библиофиле“ 1913, № 8 и Воспоминание о С. Е. Раиче М. А. Дмитриева в „Моск. Ведомостях“ 1855, № 141.

КРУЖОК ЛЮБОМУДРОВ [1]

Другое общество было особенно замечательно: оно собиралось тайно, и об его существовании мы никому не говорили. Членами его были: Кн. Одоевский, Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окэн, Горрес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения, но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров. Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед; христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу и его творения мы считали много выше евангелия и других священных писаний. Мы собирались у кн. Одоевского, в доме Ланской (ныне Римского-Корсакова в Газетном переулке) [2]. Он

[1] Записки А. И. Кошелева, стр. 12—18.

[2] М. Погодин так описывает место встреч любомудров:

„Две тесные каморки молодого Фауста под под'-ездом были завалены книгами—фолиантами, квартантами и всякими октавами, на столах, под столами, на стульях, под стульями, во всех углах, так что пробираться между ними было мудрено и опасно. На окошках, на полках, на скамейках — склянки, бутылки,

председательствовал, а Д. Веневитинов всего более говорил и своими речами часто приводил нас в восторг. Эти беседы продолжались до 14 декабря 1825 года, когда мы сочли необходимым их прекратить как потому, что не хотели навлечь на себя подозрения полиции, так и потому, что политические события сосредоточивали на себе все наше внимание. Живо помню, как после этого несчастного числа кн. Одоевский нас созвал и с особенною торжественностью предал огню в своем камине и устав и протоколы нашего общества любомудрия. Но возвратимся несколько вспять и расскажем о положени дел в последние годы царствования императора Александра I.

Смутно вспоминаю я о либеральных толках, бывших в 1818—1822 годах, особенно между военными, возвратившимися из Франции после событий 1812—1815 годов; но очень положительно и ясно сохранились в моей памяти жалобы на слабость императора Александра I в его отношениях к Меттерниху и Аракчееву. И старики, и люди зрелого возраста, и в особенности молодежь, словом чуть-чуть не все,

банки, ступы, реторты и всякие орудия. В переднем углу красовался человеческий костяк с голым черепом на своем месте и надписью: sapere aude. К каким ухищрениям должно было прибегнуть, чтоб поместить в этой тесноте еще фортепиано, хотя и очень маленькое, теперь мудрено уже и вообразить! Это мог сделать только Одоевский с своими изобретательными способностями в этом роде".

В память о кн. В. Ф. Одоевском. Заседание Общества любителей российской словесности 13 апреля 1869 года. М., 1869, стр. 52—53.

беспрестанно и без умолку осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие пламенно ее желали и на нее полагали все надежды. Неудовольствие было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, восемнадцатилетним юношею, у внучатного моего брата Мих. Мих. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости—d'en finir avec ce gouvernement. Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление. На другой же день утром я сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил тогда Рожалин, только что окончивший университетский курс с степенью кандидата. Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенною жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констана, Роэ-Коллара и других французских политических писателей, и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана.

Никогда не забуду того потрясающего действия, которое произвели на нас первые известия о 14 декабре. Хотя уже знали, что император Александр I скончался, что скрывали его смерть, что в Петербурге в правительственной сфере происходили толки и пере-

говоры и что в обществе было сильное волнение, однако известия о явном бунте нас сильно поразили: слова стали переходить уже в дела.

В этот промежуток времени, т. е. между получением известий о кончине императора Александра и о происшествиях 14 декабря, мы часто, почти ежедневно, собирались у М. М. Нарышкина, у которого сосредоточивались все доходившие до Москвы слухи и известия из Петербурга. Толкам не было границ. Не забуду никогда одного бывшего в то время разговора о том, что нужно сделать в Москве в случае получения благоприятных известий из Петербурга. Один из присутствовавших на этих беседах, кн. Николай Иванович Трубецкой (точно он, а не иной кто-либо, хотя это и невероятно, однако верно: вот как люди меняются!), адъютант гр. П. А. Толстого, тогда командовавшего корпусом, расположенным в Москве и ее окрестностях, брался доставить своего начальника, связанного по рукам и ногам (avec les mains et les jambes liées). Предложениям и прениям не было конца; а мне, юноше, казалось, что для России уже наступал великий 1789 год.

В первых числах декабря, по указу сената, присягнули в Москве императору Константину Павловичу, и целые десять дней все просьбы подавались на его имя и указы писались от его имени. Эта присяга принесена была совершенно просто—без всяких особенных обстоятельств. Не такова была присяга императору Николаю Павловичу. Тут сочли нужным при-

В. Ф. Одоевский.

Н. А. Полевой.

нять разные чрезвычайные меры. В соборе присягали одни сенаторы и высшие сановники, а прочие чиновники присягали особо по каждому ведомству.

Ночью разосланы были повестки насчет этой присяги. Меня разбудили в четвертом часу, я не мог более заснуть и до рассвета проходил по своей комнате. В 8 часов я поехал к Ив. Киреевскому и вместе с ним к Веневитиновым. Много мы толковали и были крайне взволнованы, но, несмотря на то, в 11 часов собрались в Архиве коллегии иностранных дел для принесения присяги. Наш добрый начальник А. Ф. Малиновский был в крайнем смущении и испуге. По распоряжению свыше военный караул при Архиве был утроен и солдаты снабжены патронами. Командовал не унтер-офицер, даже не простой офицер, а целый майор. Воображали, кажется, что архивные юноши произведут подражание петербургскому возмущению. Но у нас все прошло самым спокойным образом, и только Соболевский в шутку, вполголоса, при попарном нашем шествии в церковь, пропел марсельезу.

Хотя в Москве все было тихо и скромно, однако многие, и мы в том числе, были крайне озабочены и взволнованы. Известия из Петербурга получались самые странные и одно другому противоречащие. То говорили, что там все спокойно и дела пошли обычным порядком, то рассказывали, что открыт огромный заговор, что 2-я армия (тогда армия состояла из двух отделов,—один находился под начальством графа Остен-Сакена, а другой—гр. Витген-

штейна) не присягает, идет на Москву и тут хочет провозгласить конституцию. К этому прибавляли, что Ермолов также не присягает и с своими войсками идет с Кавказа на Москву. Эти слухи были так живы и положительны и казались так правдоподобными, что Москва или, вернее сказать, мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и комп., ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и, таким образом, готовились к деятельности, которую мы себе предназначали.

Вскоре начали в Москве по ночам хватать некоторых лиц и отправлять их в Петербург. Очень памятно мне арестование внучатого моего брата и коротко мне знакомого Вас. Серг. Норова [1]; лично при этом я находился, и это событие меня очень поразило. Сидим мы у Норова и беседуем. Вдруг около полуночи без доклада входит полицеймейстер и спрашивает, кто из вас Вас. Серг. Норов. Когда хозяин встал и спросил, что ему нужно, тогда полицеймейстер об'явил, что имеет на-

[1] [В. С. Норов, старший брат А. С. Норова, бывшего впоследствии министром народного просвещения, служил прежде в лейб-егерском полку, считался отличным служакою, страстно любил военное дело и вышел в оставку по особому случаю. В. кн. Николай Павлович при фронте разругал его и, стукнувши ногою по земле, обрызнул его грязью. Норов подал в отставку, и все офицеры полка сделали то же. Это было сочтено за бунт. Норов и многие из офицеров были переведены тем же чином в армейские полки. Несколько времени спустя Норов получил отставку и поселился у матери в Москве.]

добность переговорить с ним наедине. Норов попросил нас уйти на время наверх к его матери. Опечатали все бумаги Норова, позволили ему только в сопровождении полицеймейстера взойти к старухе-матери, чтобы с нею проститься, и повезли его в Петербург. Этот увоз произвел на мать ужасное действие—она словно рехнулась. Он произвел и на всех нас сильное впечатление. Вскоре, также ночью, увезли в Петербург Нарышкина, Фонвизина и многих других. Это навело всюду и на всех такой ужас, что почти всякий ожидал быть схваченным и отправленным в Петербург. Рассказы из Петербурга о том, кого там брали и сажали в крепость, как содержали и допрашивали арестованных и пр., еще более увеличивали всеобщую тревогу. Матушка очень за меня боялась, положила меня спать подле своей комнаты; ей постоянно чудилось, что за мною ночью приехали, и потому на всякий случай она приготовила в моей комнате теплую фуфайку, теплые сапоги, дорожную шубу и пр. Этих дней или, вернее сказать, этих месяцев (ибо такое положение продолжалось до назначения верховного суда, т. е., кажется, до апреля), кто их пережил, тот, конечно, никогда их не забудет. Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец. Эти события нас, между собою знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня.

Я, было, забыл рассказать об одном, хотя в самом себе и неважном событии, однако вполне характеризующем то прожитое время. В январе, во время ежедневных новых арестов, об'является, что тело покойного императора будет провезено через Москву и что по этому поводу имеет быть торжественная встреча. Всех нас, архивных юношей, нарядили в мундиры и отправили к Серпуховской заставе, откуда мы пешком попарно вместе с другими ведомствами должны были торжественно шествовать до Кремля. Между тем прошел слух, что в Москве приготовляется манифестация против покойного и царствующего императора. В Петербурге вздумали, что в „крамольной" Москве предполагается выбросить из гроба тело покойного императора и таскать его по улицам, в знак общего негодования за назначение Николая Павловича наследником императорского престола. Войска, под предлогом большей торжественности, а действительно из опасения манифестации, были в усиленных рядах расставлены по обеим сторонам улиц от Серпуховских ворот до Кремля и в самом Кремле, и, сверх того, велено было солдатам иметь заряженные ружья. Таким образом, церемония грозила превратиться в событие, но таковым оно являлось только Петербургу, а здесь никто и не думал воспользоваться этим случаем, чтобы произвести возмущение. Все прошло совершенно спокойно и чинно; тело императора было поставлено в Архангельском соборе, тут оно простояло три дня; мы по очереди дежурили, а народ усердно

приходил поклоняться праху, а на четвертый день так же спокойно и чинно проводили тело до Петровской заставы. Наконец дожили мы до мая и думали разъехаться по деревням, но начальник наш Малиновский получил приказ из Петербурга по случаю предстоящей коронации никого не увольнять в отпуск. Следовательно, приходилось нам жить в Москве, и мы положили ознакомиться с московскими окрестностями. Вследствие этого нашего решения мы постепенно посетили пешком все приближные местности Белокаменной, и как все эти прогулки совершены были нами вместе, то они также сильно содействовали к скреплению нашей дружбы. Я вспоминаю о них с особенным чувством и знаю, что я им весьма многим обязан.

Слухи о предстоявших приговорах верховного суда не переставали волновать Москву, но никто не ожидал смертной казни лиц, признанных главными виновниками возмущения. Во все царствование Александра I не было ни одной смертной казни, и ее считали вполне отмененною. С легкой руки Николая I смертные казни вошли у нас как бы в обычай, и при благодушном Александре II они совершались не раз и уже не производили того потрясающего действия, какое произведено было известием о казни Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Пестеля и Каховского. Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми — нет возможности: словно каждый лишился своего отца или брата.

Вслед за этим известием пришло другое о назначении дня коронования императора Николая Павловича. Его в'езд в Москву, самая коронация, балы придворные, а равно балы иностранных послов и у некоторых московских вельможей—все происходило под тяжким впечатлением совершившихся казней. Весьма многие остались у себя в деревнях, и принимали участие в упомянутых торжествах только люди, к тому обязанные по службе. Император был чрезвычайно мрачен, вид его производил на всех отталкивающее действие; будущее являлось более чем грустным и тревожным.

А. И. Кошелев

КРУЖОК Н. А. ПОЛЕВОГО [1]

Говоря о тогдашних знакомых и временных неприятелях Николая Алексеевича Полевого, не могу не упомянуть, наконец, о небольшом искреннем кружке знакомых, который образовался около этого времени в нашем доме. Он составился, большею частью, из молодых людей, пламенно любивших литературу и занимавшихся новым тогда направлением философии.

Из числа их должен я упомянуть прежде, нежели о других, об Иване Васильевиче Киреевском, потому что он был знаком с нами еще прежде издания „Московского Телеграфа". У него не было блестящего дара слова, как у покойного Веневитинова, но необыкновенно логический, твердый ум его способствовал ему быть непобедимым диалектиком. Это особенно обнаружилось в то время, когда в нашем доме явилось несколько молодых людей, только что окончивших университетский курс, страстных последователей и поклонников Шеллинговой философии. Одним из них был Михаил Петрович Розберг. Он окончил университетский курс в 1825 году и тогда же написал и напечатал свою диссертацию об эстетическом раз-

[1] Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого, СПБ, 1888, стр. 151—157, 166—167, 177—178, 209—211.

витии греков и римлян. Диссертация его, написанная на латинском языке, была награждена серебряною, а не золотою медалью потому только, что первую награду присудили одному князю за диссертацию на ту же тему, хотя все знали, что эту диссертацию писал не сам молодой князь, а, по заказу его, кандидат Рожалин, славившийся своими способностями. Такое столкновение не совсем обыкновенных обстоятельств, огласившееся в литературном кругу, и неоспоримое достоинство диссертации г. Розберга побудили Николая Алексеевича познакомиться с молодым автором, и он нашел в нем то, чего ожидал, то есть человека необыкновенного умом, образованностью и блестящими способностями, к числу которых и тогда принадлежал редкий дар слова. М. П. Розберг вскоре сделался близким нашим знакомым и ввел в наш круг несколько достойных своих товарищей по университету. Назову из числа их Ивана Ивановича Бессомыкина, Ивана Николаевича Камашева и Михаила Николаевича Лихонина. Все мы были тогда молоды, беззаветно любили все, что только относится к просвещению, и с жаром изучали глубокомысленные, но трудные для ясного уразумения книги Шеллинга и его последователей. Такое общее стремление чрезвычайно сближает людей, особливо молодых, бескорыстно преданных изысканию истины. Прибавьте к этому тогдашнее направление европейской литературы, восторг, с каким читали тогда бессмертные создания великих современных писателей— Байрона, Вальтера Скотта, Гете, Томаса Мура

и многих достойных их последователей и соревнователей; вспомните, что тогда началась новая жизнь во французской литературе, что все благородные стремления воскресали и развивались с необычайной силою, и вы согласитесь, что было о чем побеседовать и поспорить в искреннем кругу молодым людям, больше жившим идеальной жизнью. В самом деле, никогда не бывало между нами речи о современных сплетнях, о спекуляциях на литературу и жизнь, ни даже о том, как сделать свою карьеру. Никто и не думал, что он будет и как пойдет по тернам жизни. Зато умственная, идеальная жизнь, исследование вечных задач мира были в полном разгаре. Но в то время, которое описываю я, особенно занимала всех и была предметом жарких суждений немецкая философия. Хотели об'яснить себе ее положения и применения, потому что философия дает взгляд на все и отражается во всех действиях человека. Соглашаясь в общих положениях и выводах Шеллинговой философии, не всегда соглашались в подробностях, и это было поводом к бесконечным спорам. Тут-то в первый раз показал вполне и свой сильный ум и свою диалектическую способность Иван Васильевич Киреевский. C'était un fort jouteur! С ним особенно состязался М. П. Розберг, достойный его соперник в диалектике и в слове. Помню, что раз, как-то вечером, завязался спор, не кончившийся до глубокой ночи, и, чтобы окончить его, согласились собраться на другой день у Киреевского. На другой день явились там все спо-

рившие, но жаркое состязание длилось до того, что, наконец, Розберг, усталый, утомленный, переменившийся в лице от двухдневного спора, с глубоким убеждением и очень торжественно произнес, обращаясь к Киреевскому:

— Я не согласен, но спорить больше нет сил у меня!

Чтобы кончить речь о тогдашних наших философских беседах, где была и примесь комизма в подробностях, я должен упомянуть еще об одном лице, некоторое время участвовавшем в общих спорах о философии. Не помню, каким образом познакомился с нами Дмитрий Потапович Шелихов, который был известен как стихотворец, как переводчик отрывков из Энеиды, как член Общества любителей российской словесности, где он мастерски читывал стихи, потому что был одарен прекрасным органом и чистым произношением, притом был красавец. Он казался еще молодым человеком, хотя участвовал в войне против французов и находился в отставке, кажется, в чине полковника гвардии. Никто и не подозревал, что он был пламенный последователь философии Шеллинга или, по крайней мере, представлялся таким. Вообще, я и теперь не могу дать себе верного отчета, что за человек был он.

Новый взгляд, бывший следствием знакомства Николая Алексеевича с философией Шеллинга, выражался в „Московском Телеграфе“ с самого начала этого журнала. В следующий год там было довольно статей, может быть, даже излишне проникнутых новою тогда фило-

софиею; но журнальная сметливость издателя была такова, что он никогда не увлекался в однообразное направление, всегда имея в виду общность своих читателей. Все части шли ровно в его журнале. После описанного мною можно было бы подумать, что философия должна была преобладать в „Московском Телеграфе“. Но там выражалась она только в направлении статей, во взгляде, и никогда не вытесняла других частей просвещения.

Князь П. А. Вяземский не только оставался постоянным сотрудником „Московского Телеграфа“, но и оказывал постепенно более деятельности в участии своем по журналу. Он писал для него много сам, доставлял статьи знакомых ему литераторов и оказывал издателю искреннюю приязнь, ободрял, поощрял его к труду и был лучшим советником в затруднительных случаях.

Неизменный в чувствах дружбы, князь Вл. Ф. Одоевский хотя почти вовсе не участвовал в нашем журнале, но отношения его к Николаю Алексеевичу оставались прежние. Он был приятнейшим гостем его и часто проводил с ним время, не обращая внимания на внушения школьных своих товарищей, которые сделались врагами или недоброжелателями Н. А. Полевого.

Не называю еще нескольких человек, которые уже давно сошли со сцены мира, но тогда были близкими людьми к моему брату. Казалось, что восставшая против него литератур-

ная буря только увеличила их участие к нему, и они, видя правоту на его стороне, делались тем более жаркими его защитниками. К этому же времени относится первоначальное знакомство и вскоре искреннее сближение Николая Алексеевича с двумя достопамятными и славными писателями. Это были: знаменитый польский поэт Мицкевич и необыкновенный своею судьбою, один из лучших поэтов своего времени, Евгений Авраамович Баратынский.

Как можно видеть из моего рассказа, наше тогдашнее общество составляли люди вообще необыкновенные, так что редко можно встретить подобное избранное соединение людей в светских гостиных, где гости собираются, как на службу, для исполнения определенных обязанностей, с известными правами и условиями. Не удивительно, что Мицкевич, Баратынский и несколько других лиц, не столь громко известных, но вполне достойных быть их собеседниками, собирались в небогатом домике, где жил Николай Алексеевич, и проводили у него вечера, а иногда и целые дни. Причисляю эти дни к приятнейшим в моей жизни потому именно, что только счастливое стечение обстоятельств могло соединить столько избранных людей. Чего не было тут переговорено! Какие вопросы не были предметом суждений! Сколько оригинального, умного, высокого было сказано!

Пушкин и его сотрудники бывали у Н. А. Полевого и при встрече казались добрыми приятелями. Весною 1827 года, не помню по какому случаю, у брата был литературный вечер, где собрались все пишущие друзья и недруги; ужинали, пировали всю ночь и раз'ехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои *непозволенные* стихи, хохотал от резких сарказмов И. М. Снегирева, вспоминал шутливые стихи Дельвига, Баратынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно смешило то место, где в пышных гекзаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов, которые „в лавочку были должны, руки держали в карманах (перчаток они не имели!)"...

Глядя на пирующих вместе образованных, большею частью любезных людей, кто подумал бы, что в душе многих из них таились мелкие страстишки и ненависть к тому, у кого они пировали? Только „приличия были *спасены*",—если позволят употребить здесь выразительный французский идиотизм.

Весною того же года Пушкин спешил отправиться в Петербург, и мы были приглашены проводить его. Местом общего сборища для проводин была назначена дача С. А. Соболевского, близ Петровского дворца. Тогда еще не существовало нынешнее Петровское, т. е. множество дач, окружающих Петровский

парк, также не существовавший: все это миловидное предместье Москвы явилось по мановению императора Николая около 1835 года. До тех пор, вокруг исторического Петровского дворца, где несколько дней укрывался Наполеон от московского пожара в 1812 году, было несколько старинных, очень незатейливых дач, стоявших отдельно одна от другой, а все остальное пространство, почти вплоть до заставы, было изрыто, заброшено или покрыто огородами и даже полями с хлебом.

В эту-то пустыню, на дачу Соболевского, около вечера, стали собираться знакомые и близкие Пушкина. Мы увидели там Мицкевича, который с комическою досадою рассказывал, что вместе с одним товарищем он забрался в Петровское с полудня, надеясь осмотреть на досуге достопамятный дворец и потом найти какой-нибудь приют, или хоть трактир, где пообедать. Но дворец, тогда только снаружи покрашенный [1], внутри представлял опустошение; что же касается до утоления голода, который, наконец, стал напоминать Мицкевичу об обеде, то в Петровском не оказалось никаких пособий для этого: в пустынных дачах жили только сторожа, а трактира вблизи не было. В таком отчаянном положении Мицкевич увидел какого-то жалкого разносчика с колбасами, но когда поел колбасы, то весь остальной день мучила его жажда, хотя желудок был пуст. Он так уморительно рассказывал все эти приклю-

[1] [Кажется, один нижний этаж был отделан наскоро.]

чения, что слушавшие его не могли не хохотать, а гостеприимный хозяин дачи спешил восстановить упадшие силы знаменитого литвина. Постепенно собралось много знакомых Пушкина, и уже был поздний вечер, а он не являлся. Наконец, приехал Александр Михайлович Муханов—против которого написал свою первую критическую статью Пушкин, вступившийся за m-me Staël—и об'явил, что он был вместе с Пушкиным на гулянье в Марьиной роще (в этот день пришелся семик) и что поэт скоро приедет. Уже поданы были свечи, когда он явился, рассеянный, невеселый, говорил не улыбаясь (что всегда показывало у него дурное расположение) и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказавши никому ласкового слова, укатил в темноте ночи. Помню, что это произвело на всех неприятное впечатление. Некоторые об'ясняли дурное расположение Пушкина, рассказывая о неприятностях его по случаю дуэли, окончившейся не к славе поэта. В толстом панегирике своем Пушкину г. Анненков умалчивает о подобных подробностях жизни его, заботясь только выставить поэта мудрым, непогрешительным, чуть не праведником [1].

Из всего рассказанного здесь мною видно, однако же, что Пушкин действовал в отношении к моему брату неприязненно и, вольно или

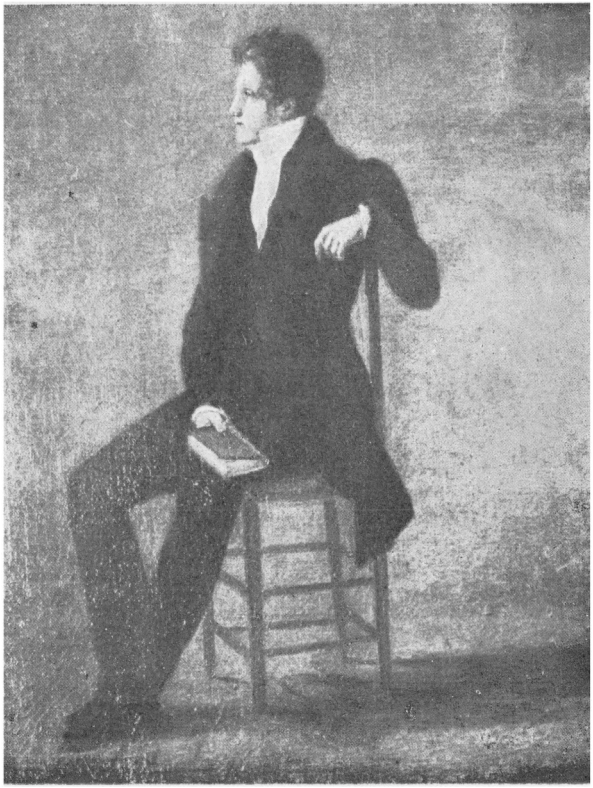
[1] Автор имеет в виду изданные П. В. Анненковым в 1855 году сочинения А. С. Пушкина, преимущественно первый том—Материалы для биографии А. С. Пушкина.

невольно, повредил ему во многом. Конечно, в его воле было затеять свой журнал, но уже одно то, что он не присоединился к „Телеграфу“, вдруг переменил свой образ мыслей о нем и стал постоянно отзываться как о ловком шарлатанстве,—это уже не могло не повредить Н. А. Полевому и усилило неприязненные действия его противников [1].

К. А. Полевой

[1] Известно мнение Пушкина о деятельности Полевого, как издателя „Московского Телеграфа“, в связи с закрытием журнала в 1834 году: „Жуковский говорит: „Я рад, что „Телеграф“ запрещен, хотя жалею, что запретили. „Телеграф“ достоин был участи своей; мудрено с большей наглостию проповедывать якобинизм перед носом правительства; но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только молва“ (Дневник Пушкина, под ред. Б. Л. Модзалевского. М. 1923, стр. 12). О Н. Полевом см. „Былое и думы“ А. И. Герцена, ч. I, гл. VI—VII. Важно признание близкого к нему Максимовича М. А. (см. письма М. П. Погодина к С. П. Шевыреву с введением и историко-литерат. об'яснениями Н. П. Барсукова в „Русск. Архиве“ 1882, № 6, стр. 184—185; но ср. „Русск. Старина“ 1904, август, стр. 420 (письмо М. П. Розберга от 31 марта 1846 года к В. Ф. Одоевскому). Враждебен голос С. Шевырева в его дневнике 19 окт. 1830 г. „Известия одесского библиографического общества“, т. II, выпуск II, стр. 53.

Салон Зинаиды Волконской.



Д. В. Веневитинов.

КРУЖОК ВЕНЕВИТИНОВА [1]

В 1825 году, возбужденный примером „Полярной Звезды“, произведшей общее движение в литературе, я решился издать альманах „Уранию“. Все московские литераторы, начиная с Мерзлякова, обещали мне свое содействие и надавали статей—Дмитрий Веневитинов, Тютчев, Дмитриев (М. А.), Строев, Снегирев, Раич, Зиобишин, Титов; Муханов [Павел Александрович] подарил драгоценное письмо Ломоносова; князь Вяземский достал даже от Пушкина несколько мелких стихотворений. Шевырев принял в издании самое живое участие и поместил в „Урании“ несколько переводов из Шиллера и Гете и примечательное свое стихотворение „Я есмь“.

Это стихотворение молодого человека, не имевшего еще двадцати лет отроду, обратило на себя внимание Пушкина и Баратынского. В декабре 1825 года мне случилось отправиться в Петербург, и Шевырев принял на себя окончание издания „Урании“, которая пошла очень хорошо.

Успех „Урании“ ободрил нас. Мы составили с Дмитрием Веневитиновым план издания дру-

[1] М. Погодин. Воспоминание о Степане Петровиче Шевыреве. СПБ. 1869, стр. 7—14.

гого литературного сборника, посвященного переводам из классических писателей, древних и новых, под заглавием „Гермес“. У меня цело оглавление, написанное Шевыревым, из каких авторов надо переводить для знакомства с ними русской публики: Рожалин должен был перевести Шиллерова Мизантропа [1], Д. Веневитинов брался за Гетева Эгмонта [2], я за Геца фон-Берлихингена [3], Шевырев за Валленштейнов лагерь [4]. Программы сменялись программами, и в эту-то минуту, когда мы были, так сказать, впопыхах, рвались работать, думали беспрестанно о журнале, является в Москву А. Пушкин, возвращенный государем из его псковского заточения.

Представьте себе обаяние его имени, живости впечатления от его поэм, только что напечатанных, — „Руслана и Людмилы“, „Кавказского пленника“ и в особенности мелких стихотворений, каковы: „Празднество Вакха“. „Деревня“, „К домовому“, „К морю“, которые просто привели в восторг всю читающую публику, особенно нашу молодежь, архивную и университетскую. Пушкин представлялся нам каким-то гением, ниспосланным оживить русскую словесность. Семейство Пушкиных было

[1] [Напечатан в „Москвитянине“.]

[2] [Переведено первое действие, напечатанное в собрании его сочинений.]

[3] [Перевод мой напечатан особой книгой в 1828 году, с посвящением Дмитрию Веневитинову. Исправленное издание в собрании сочинений Гете 1866 г.]

[4] [Отрывки напечатаны в „Московском Вестнике“. Вполне Валленштейнов лагерь долго не был разрешаем цензурой и только в 1858 году был напечатан особо].

знакомо и, кажется, в родстве с Веневитиновыми. Через них и через Вяземского познакомились и все мы с Александром Сергеевичем. Он обещал прочесть всему нашему кругу „Бориса Годунова", только что им конченного. Можно себе представить, с каким нетерпением мы ожидали назначенного дня. Наконец, настало это вожделенное число. Октября 12 числа поутру спозаранку мы собрались все к Веневитинову (между Мясницкою и Покровкою, по дороге к Армянскому переулку) и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. Наконец, в двенадцать часов он является.

Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. До сих пор еще— а этому прошло сорок лет—кровь приходит в движение при одном воспоминании. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков, строгий классик. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французскою декламацией, которой мастером считался Кокошкин и последним, кажется, представителем был в наше время граф Блудов. Наконец, надобно представить себе самую фигуру Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрец высокого искусства—это был среднего роста, почти низенький человечек, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, вертлявый, с порывистыми ужимками, с приятным голосом, в черном сюр-

туке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно завязанном галстуке. Вместо языка Кокошкинского, мы услышали простую, ясную, внятную и вместе пиитическую увлекательную речь. Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием просто всех ошеломила. Что было со мною, я и рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков — „да ниспошлет господь покой его душе, страдающей и бурной“, — мы все просто как будто обеспамятовали. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Один вдруг вскочит с места, другой вскрикнет. У кого на глазах слезы, у кого улыбка на губах. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах Самозванца:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались об'ятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. „Эван, эвое, дайте чаши!“ Явилось шампанское, и

Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь [1]. Ему было приятно наше внимание. Он начал нам, поддавая пару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью по Волге, на востроносой своей лодке, и предисловие к „Руслану и Людмиле", тогда еще публике неизвестное:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том;
И днем и ночью кот ученый
Там ходит по цепи кругом;
Идет направо—песнь заводит,
Налево—сказку говорит...

Начал рассказывать о плане для Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи на Красной площади, в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с Самозванцем, сцену, которую создал он в голове, гуляя верхом на лошади, и потом позабыл вполовину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь! Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь, так был потрясен весь наш организм.

На другой день было назначено чтение Ермака, только что конченного и привезенного

[1] Ср. в письме А. Ф. Воейкова к В. Перевощикову 22 ноября 1826 г. (Петербург): „Вчера слушал я трагедию „Борис Годунов", соч. А. С. Пушкина. Это чудо, это образец силы, ужаса высокого и великого! Русь ничего не имела подобного в драматическом роде" (и т. д.). „Русск. Архив" 1890, № 9, стр. 92.

А. Хомяковым из Парижа. Ни Хомякову читать, ни нам слушать не хотелось, но этого требовал Пушкин. Хомяков чтением приносил жертву. Ермак, разумеется, не мог произвести никакого действия после „Бориса Годунова", и только некоторые лирические места вызвали хвалу. Мы почти не слыхали его. Всякий думал свое.

Пушкин знакомился с нами со всеми ближе и ближе. Мы виделись все очень часто. Шевыреву выразил он свое удовольствие за его „Я есмь" и прочел наизусть некоторые его стихи; мне сказал любезности за повести, напечатанные в „Урании". Толки о журнале, начатые еще в 1823 или 1824 году в обществе Раича, усилились. Множество деятелей молодых, ретивых, было, так сказать, налицо, и оно сообщило Пушкину общее желание. Он выразил полную готовность принять самое живое участие. После многих переговоров редактором был назначен я. Главным помощником моим был Шевырев. Много толков было о заглавии. Решено — „Московский Вестник". Рождение его положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме, бывшем Хомякова (где ныне кондитерская Люке): Пушкин, Мицкевич, Баратынский, два брата Веневитиновы, два брата Хомяковы, два брата Киреевские, Шевырев, Титов, Мальцев, Рожалин, Раич, Рихтер, В. Оболенский, Соболевский... Нечего описывать, как весел был этот обед. Сколько тут было шуму, смеху, сколько рассказано анекдотов, планов,

предположений. Напомню один, насмешивший все собрание. Оболенский, адъюнкт греческой словесности, добрейший человек, какой только может быть, подпив за столом, подскочил после обеда к Пушкину и, взъерошивая свой хохолок—любимая его привычка—воскликнул: „Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я единица, единица, а посмотрю на вас, и мне кажется, что я—миллион. Вот вы кто!“ Все захохотали и закричали: „Миллион, миллион!“

В Москве наступило самое жаркое литературное время. Всякий день слышалось о чем-нибудь новом. Языков прислал из Дерпта свои вдохновенные стихи, славившие любовь, поэзию, молодость, вино; Денис Давыдов—с Кавказа; Баратынский издавал свои поэмы; „Горе от ума“ Грибоедова только что начало распространяться. Пушкин прочел „Пророка“, который после „Бориса“ произвел наибольшее действие, и познакомил нас с следующими главами Онегина, которого до тех пор была напечатана только первая глава. Между тем на сцене представлялись водевили Писарева с острыми его куплетами; Шаховской ставил свои комедии вместе с Кокошкиным; Щепкин работал над Мольером, и Аксаков, тогда еще не-старик, переводил ему „Скупого“; Загоскин писал „Юрия Милославского“; М. Дмитриев выступил на поприще с своими переводами из Шиллера и Гете. Последние составляли особый от нашего приход, который однако вскоре соединился с нами, или, вернее, к которому мы с Шевыревым присоединились, потому что

все наши товарищи, остававшиеся в постоянных, впрочем, сношениях, отправились в Петербург. Оппозиция Полевого в „Телеграфе“, союз его с „Северною Пчелой“ Булгарина и желчные выходки Каченовского, к которому вскоре явился на помощь Надоумко (Н. И. Надеждин), давали новую пищу. А там Дельвиг с „Северными Цветами“, Жуковский с новыми балладами, Крылов с баснями, которые выходили еще по одной, по две в год, Гнедич с „Илиадой“, Раич с „Тассом“, Павлов с лекциями о натуральной философии в университете. Вечера, живые и веселые, следовали один за другим,—у Елагиных и Киреевских за Красными воротами, у Веневитиновых, у меня, у Соболевского в доме на Дмитровке, у княгини Волконской на Тверской. В Мицкевиче открылся дар импровизации. Приехал М. И. Глинка, связанный более других с Мельгуновым и Соболевским, и присоединилась музыка.

Горько мне сознаться, что я пропустил несколько из этих драгоценных вечеров „страха ради иудейска“. Я знал о подозрении на меня за „Нищего“ [1], помещенного в „Урании“; новый председатель цензурного комитета, князь Мещерский,—сын того Мещерского, который преподал Щепкину первые уроки драматического искусства и поставил его на настоящую дорогу (он давно уже умер),—послал на меня донос, выставляя „Московский Вестник“ отголоском 14-го декабря. Мицкевич и

[1] [В этой повести было изображено одно из злоупотреблений крепостного права.]

другие филареты [1] находились под надзором полиции, да и сам Пушкин с Баратынским были не совсем еще обелены. Я, в качестве редактора журнала, боялся слишком часто показываться в обществе людей, подозрительных для правительства, и, действительно, мне пришлось бы плохо, если бы в цензурном комитете не занял, наконец, места С. Т. Аксаков; он принял к себе на цензуру „Московский Вестник", и мы с Шевыревым успокоились.

Для первой книжки Шевырев написал разговор о возможности найти единый закон для изящного и шутливую статью о правилах критики. Я начал подробным обозрением книги Эверса о древнейшем праве Руси (тогда еще не переведенной), где выразил впервые мысли о различии удельной системы от феодальной. Тогда же я начал печатать свои афоризмы, доставившие мне много насмешек.

Мы были уверены в громадном успехе; мы думали, что публика бросится за именем Пушкина, которого лучший отрывок, сцена летописателя Пимена с Григорием, должен был появиться в начале первой книжки. Но увы, мы жестоко ошиблись в своих расчетах, и

[1] [Филаретами назывались члены общества виленских студентов, которые по политическим подозрениям были исключены из университета и разосланы в разные города. Мицкевичу, Ешевскому, Дашкевичу досталась Москва, где они были приписаны на службу по разным ведомствам]. См. статью Н. С. Кутейникова „Мицкевич и виленские филареты" в „Историческом Вестнике" 1884, декабрь, стр. 754—787.

главною виной был я: несмотря на все убеждения Шевырева, во-первых, я не хотел пускать, опасаясь лишних издержек, более четырех листов в книжку до тех пор, пока не увеличится подписка, между тем как „Телеграф“ выдавал книжки в десять и двенадцать листов; во-вторых, я не хотел прилагать картинок мод, которые, по общим тогдашним понятиям, служили первою поддержкой „Телеграфа“; в-третьих, я не употребил никакого старания, чтобы привлечь и обеспечить участие князя Вяземского, который перешел окончательно к „Телеграфу“, содействовал больше всех его успеху на первых порах своими остроумными статьями и любопытными материалами и обратил читателей на его сторону; наконец, в-четвертых, „Московский Вестник“ все-таки был мой hors d'oeuvre: я не отдавался ему весь, а продолжал заниматься русскою историей и лекциями о всеобщей истории, которая была мне поручена в университете. С Шевыревым споры доходили у нас чуть не до слез, и, когда на общих собраниях сотрудников у спорщиков уже не хватало сил и горло пересыхало, запивались Кипрским вином, которого большой запас удалось нам приобрести как-то по случаю. Вино играло роль на наших вечерах, но отнюдь не до излишества, а только в меру, пока оно веселит сердце человеческое. Пушкин не отказывался иногда выпить. Один из товарищей был знаменитый знаток, и перед началом „Московского Вестника“ было у нас в моде „алеатико“, прославленное Державиным.

В марте весь наш круг был потрясен известием о внезапной кончине в Петербурге Дмитрия Веневитинова. Мы любили его всею душой. Это был юноша дивный [1]...

М. П. Погодин

[1] Ценным комментарием могут служить — письма М. Погодина к С. П. Шевыреву с введением и историко-лит. об'яснениями Н. П. Барсукова в „Русском Архиве" 1882, №№ 5, 6, а также воспоминания Шевырева о Пушкине в сборнике Л. Майкова „Пушкин. Биографические материалы и историко-литерат. очерки", СПБ., 1899. Ср. в письме Погодина М. А. Максимовичу 28 окт. 1871 года: „Но вот являются „Телеграф" и „Московский Вестник" с зародышами западничества и славянофильства. Война завязалась вскоре не на живот, а на смерть. Аксаковские субботы с Шаховским, Загоскиным, Писаревым, Дмитриевым (М. А.), Пинским, Верстовским и, наконец, Надеждиным; вечерние собрания у Елагиных с Киреевскими, Языковым, Каролиной Яниш, у Сухово-Кобылиных—с Надеждиным, Морошкиным и Раичем—делаются сосредоточием литературного движения, ареопагом печатных явлений"—„Русск. Архив" 1882, № 5, стр. 86. Ранее в сборнике „Юбилей М. А. Максимовича". Киев. 1871.

САЛОН ЗИНАИДЫ ВОЛКОНСКОЙ [1]

I

В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники [2]. Все в этом доме носило отпечаток

[1] Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского, т. VII, стр. 329—330; 328—329.

[2] По свидетельству А. Н. Муравьева, „Пушкин и Вяземский, Баратынский и Дельвиг были постоянными посетителями (салона Зинаиды Волконской). Кн. Одоевский (В. Ф.), столько же преданный музыке как и поэзии, который издавал в то время свою Мнемозину, не пропускал ни одного ее вечера; бывал тут и приятный автор отечественных романов М. Н. Загоскин; степенные Раич, Шевырев и Погодин, хотя и не любители большого света, не чуждались однако ее блистательного круга: так умела она все собирать воедино. Но был один юный даровитый поэт, вроде André Chenier, которого влекло к ней не одно лишь блистательное общество; горящий чистою, но страстною любовию, ей посвящал он звучные меланхолические свои стихи и безвременно сошел в могилу, хотя княгиня, дружная с его семейством, оказывала ему нежную приязнь. Много обещал в будущем молодой Веневитинов (Д.), и его ранняя кончина была большою утратою для поэзии". Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871; стр. 12—13; вообще об этом салоне см. стр. 11—13, здесь же рассказано, как

служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома. Слышавшим ее нельзя забыть впечатления, которое производила она своим полным и звучным контральто и одушевленною игрою в роли Танкреда, в опере Россини. Помнится и слышится еще, как она в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним пропела элегию его, положенную на музыку Геништою:

Погасло дневное светило,
На море синее вечерний пал туман.

Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению, краска вспыхивала в лице его. В нем этот детский и женский признак

по неловкости А. Н. Муравьев сломал руку колоссальной гипсовой статуи Аполлона, которая украшала театральную залу в доме Волконской, что вызвало эпиграмму Пушкина:

Лук звенит, стрела трепещет,
И клубясь издох Пифон,
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.

По словам Муравьева, Пушкин „не разобрал стихов, сейчас же написанных мною в свое оправдание на пьедестале статуи, и думал прочесть в них, что я называю себя соперником Аполлона". Муравьев ответил Пушкину тоже эпиграммой:

Как не злиться Митрофану?
Аполлон обидел нас:
Посадил он обезьяну
В первом месте на Парнас.

сильной впечатлительности был несомненно выражением внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения. Нечего и говорить, что Мицкевич с самого приезда в Москву был усердным посетителем и в числе любимейших и почетнейших гостей в доме княгини Волконской. Он посвятил ей стихотворение, известное под именем Pokoj grecki (греческая комната). При доставлении ей своих крымских сонетов приложил он польские стихи, которые сам перевел он для нее французскою прозою. Вот перевод с автографического перевода: „О поэзия, ты не искусство живописи: когда хочу живописать, для чего мысли мои не иначе могут проявиться, как сквозь слова чужеземной речи, подобно узникам, которые смотрят из-за железной решетки, скрывающей и искажающей их черты? О поэзия, ты не искусство петь, ибо чувства мои не имеют голоса, который может быть понятен; они подобны подземным потокам, которых шум никому не слышен. О поэзия неблагодарная! Ты даже не искусство писать: я написал стихи, а подношу ей одни листки. Она увидит в них знаки непостижимые, ноты музыки, которая, увы! никогда исполнена не будет".

Вспоминая всю обстановку того времени, все это движение мыслей и чувств, кажется, переносишься не в действительное минувшее, а в какую-то баснословную эпоху... [1]

П. Вяземский

[1] В 1833 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу, вспоминая о З. Волконской: „Дом ее был, как

II [1]

У княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания понедельничные; на одном из них пристали к Пушкину, чтобы прочесть, В досаде он прочел „Чернь“ и, кончив, с сердцем сказал: „В другой раз не станут просить“.

С. Шевырев

волшебный замок музыкального мира: ногою ступишь на порог—раздаются созвучия; до чего ни дотронешься—тысяча слов гармонически откликнется. Там стены пели, там мысли, чувства, разговоры, движения—все было пение“. „Остафьевский архив“, т. III, стр. 223. „Зинаида Волконская, наша Полярная Коринна“,—таково было ее популярное прозвище; ее называли также „Северной Коринной“, см. в письме Нечаева к А. А. Бестужеву от 9 ноября 1825 г. — „Русская Старина“ 1889, февраль, стр. 320. О ней см. статьи Н. А. Белозерской в „Историч. Вестнике“ 1897, № 3, 4.—М. А. Гаррис.—Зинаида Волконская и ее время. М. Изд. К. Ф. Некрасова. MCMXVI. — В бумагах Веневитинова сохранилось описание вечера 26 декабря 1826 года в честь Марии Волконской, отъезжавшей в Сибирь к мужу-декабристу. На этом вечере был и Пушкин. См. „Записки княгини Марии Николаевны Волконской“, 1914. В очерке П. Е. Щеголева на стр. 37—40, в „Записках“ ее же стр. 61. В письме Александра Серг. Норова к А. И. Кошелеву есть упоминание об одном вечере: „Вечером поехал к кн. Зинаиде, где были touts les habitués: Свечины, Дюмушель, Веневитиновы—двое, Мещерские, кн. Одоевский, кн. Вл. Голицын, Абрам (А. С. Норов) и я; пели беспрерывно Requiem Керубини; была тоска несносная“. Биография А. И. Кошелева, т. I, кн. II. Изд. О. Ф. Кошелевой. М. 1889, стр. 268.

[1]. С. Шевырев.—Воспоминания Шевырева о Пушкине, в сборнике Л. Майкова „Пушкин“, стр. 331.

В ПЕТЕРБУРГЕ 30-Х ГОДОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА ДЕЛЬВИГА [1]

У Дельвигов были назначены для приема вечера в среду и воскресенье. Эти вечера были чисто литературные. На них из литераторов всего чаще бывали А. С. Пушкин, Плетнев, князь Одоевский, писавший тогда повести в роде Гофмана, Щастный, Подолинский, барон Розен и Илличевский. Жена Плетнева, урожденная Раевская, и жена Одоевского, урожденная Ланская, также иногда бывали у Дельвигов. На этих вечерах говорили по-русски, а не по-французски, как это было тогда принято в обществе. Обработка нашего языка много обязана этим литературным собраниям. Суждения о произведениях русской и иногда иностранной литературы и о писателях меня очень занимали. Впрочем, на этих вечерах часто играли на фортепиано. Жена Дельвига, которая долго продолжала учиться музыке, хотя уже была хорошею музыкантшею, и некоторые из гостей занимались серьезною музыкою. Песни же и романсы певались непременно каждый вечер. В этом участвовал и сам Дельвиг, а особенно отличались М. Л. Яковлев и князь Эристов. Сверх того, они оба умели делать разные штуки,

[1] Барон А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, т. I, стр. 51—72, 75—76, 77, 96—97, 98—101.

фокусы, были чревовещателями и каждый раз показывали что-нибудь новенькое. В этих изобретениях особенно отличался Эристов, который, впрочем, бывал не так часто, как Яковлев; последний почти каждый день обедал у Дельвигов и проводил вечера. Он называл себя даже приказчиком Владимирской волости, так как Дельвиги жили на Владимирской улице, и, действительно, по совершенному неумению Дельвига распоряжаться хозяйством и прислугою, Яковлев часто входил в его домашние дела, за что очень не любим был людьми Дельвига, которые называли его дьячком.

Один из самых частых посетителей Дельвига в зиму 1826—1827 г. был Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта. Он был очень остроумен, писал хорошие стихи, и, не будь он братом такой знаменитости, конечно, его стихи обратили бы в то время на себя общее внимание. Лицо его белое и волосы белокурые, завитые от природы. Его наружность представляла негра, окрашенного белою краскою. Он был постоянно в дурных отношениях со своим родителями, за что Дельвиг часто его журил, говоря, что отец его хотя и пустой, но добрый человек, мать же и добрая и умная женщина. На возражение Льва Пушкина, что „мать его ни рыба, ни мясо", Дельвиг однажды, разгорячившись, что с ним случалось очень редко и к нему нисколько не шло, отвечал: „Нет, она рыба". Конечно, спор после этих слов кончился общим смехом. Лев Пушкин вел не только рассеянную, но и дурную жизнь, при чем издерживал более, чем позволяли средства.

Он любил много есть и пить вина, вследствие чего Дельвиг одно из стихотворений, написанных им вместе с Баратынским, начал следующею строфою:

Наш приятель, Пушкин Лев,
Не лишен рассудка,
И с шампанским жирный плов
И с груздями утка
Нам докажут и без слов,
Что он более здоров
Силою желудка (bis).

За этою строфою следовала строфа о поэте Федоре Николаевиче Глинке, известном тогда перелагателе в стихи псалмов царя Давида.

Затем следовали строфы о других лицах и, между прочими, о Соколове, непременном секретаре бывшей российской Академии.

В зиму же 1826—1827 г. приехал из Москвы в Петербург молодой литератор Дмитрий Владимирович Веневитинов, человек с большими дарованиями, отлично образованный и весьма красивый собою. Он был у Дельвига, как в своей семье. Его очень любили, ласкали и уважали. Он, конечно, по молодости, очень увлекался молодыми и умными дамами, за что подсмеивались над ним прямо ему в лицо, но заочно не могли нахвалиться этим молодым человеком. Я его также очень любил. По поступлении моем в военно-строительное училище путей сообщения на первой неделе великого поста в 1827 г., Дельвиг мне прислал горестное известие о неожиданной смерти Веневитинова, умершего 15 марта на 22 году от рождения.

На литературных вечерах Дельвига никогда не говорили о политике, потому что большая часть общества была занята литературою, а частью и потому, что катастрофа 14 декабря была еще очень памятна. Размножившиеся же вновь учрежденные жандармы и шпионы III Отделения собственной его величества канцелярии, в числе которых были и литераторы, не давали о ней забывать. Вообще Дельвиг избегал разговоров об этой катастрофе.

Пушкин после дозволения, данного ему в мае 1827 г., бывать в обеих столицах, приехал в первый раз в Петербург летом 1827 г., но за отсутствием Дельвига я его тогда не видал. Я его увидел в первый раз в октябре, когда он снова приехал из своего уединения, с. Михайловского.

17 октября праздновали день моих именин. Пушкин привез с собой подаренный его приятелем Вульфом череп от скелета одного из моих предков, погребенных в Риге, похищенного поэтом Языковым, в то время дерптским студентом, и вместе с ним превосходное стихотворение свое: „Череп", посвященное А. А. Дельвигу и начинающееся строфою:

Прими сей череп, Дельвиг; он
Принадлежит тебе по праву;
Тебе поведаю, барон,
Его готическую славу;

и оканчивающееся строфою:

Прими ж сей череп, Дельвиг; он
Принадлежит тебе по праву.
Обделай ты его, барон,

В благопристойную оправу.
Изделье гроба преврати
В увеселительную чашу,
Вином кипящим освяти
Да запивай уху да кашу!
Певцу Корсара подражай
И Скадинавов рой воинский
В пирах домашних воскрешай,
Или, как Гамлет Баратынский,
Над ним задумчиво мечтай;
О, жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный, иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой.

Пили за мое здоровье за обедом из этого черепа, в котором Вульф, подаривший его Пушкину, держал табак. Череп этот должен и теперь находиться у вдовы Дельвига, но едва ли он, по совету Пушкина, обделан „в благопристойную оправу“.

Известно, что все стихотворения свои Пушкин доставлял Дельвигу, от которого они были отсылаемы к шефу жандармов, генерал-ад'ютанту Бенкендорфу, а им представлялись на высочайшее усмотрение. Само собою разумеется, что старались посылать к Бенкендорфу по нескольку стихотворений зараз, чтобы не часто утруждать августейшего цензора. Стихотворения, назначенные к напечатанию в „Северных Цветах“ на 1828 г., были в октябре уже просмотрены императором, и находили неудобным посылать к нему на просмотр одно стихотворение „Череп“, которое, однако же, непременно хотели напечатать в ближайшем выпуске „Северных Цветов“. Тогда Пушкин решил подписать под стихотворением „Череп“

букву „Я“, сказав: „Никто не усомнится, что Я—Я“. Но между тем многие усомнились и приписывали это стихотворение поэту Языкову. Государь впоследствии узнал, что „Череп“ написан Пушкиным, и заявил неудовольствие, что Пушкин печатает без его цензуры. Между тем, по нежеланию обеспокоивать часто государя просмотром мелких стихотворений, Пушкин многие из своих стихотворений печатал с подписью П. или Ал. П.

Пушкин в дружеском обществе был очень приятен и ко мне с самого первого знакомства очень приветлив. Дельвиг со всеми товарищами по лицею был одинаков в обращении, но Пушкин обращался с ними разно. С Дельвигом он был вполне дружен и слушался, когда Дельвиг его удерживал от излишней картежной игры и от слишком частого посещения знати, к чему Пушкин был очень склонен. С некоторыми же из своих товарищей лицеистов, в которых Пушкин не видел ничего замечательного, и в том числе с М. Л. Яковлевым обходился несколько надменно, за что ему часто доставалось от Дельвига. Тогда Пушкин видимо на несколько времени изменял свой тон и с этими товарищами.

В эту же зиму начал ездить к Дельвигам Орест Михайлович Сомов. Живя до 14 декабря 1825 г. в одном доме с Рылеевым и на одной квартире с Александром Бестужевым, он был знаком с Дельвигом и прежде.

Выпущенный в начале 1826 г. из крепости и лишившись места секретаря Российско-американской компании, жалованьем которого он

жил, а вместе с тем и почти всего своего движимого имущества, Сомов не знал, что ему предпринять, тем более, что считал обязанностию поддерживать любовницу Александра Бестужева, на которой лет через пять женился.

Сомов никогда не служил на государственной службе и не имел чина, за что в знаменитом стихотворении Воейкова „Сумасшедший дом“ назван безмундирным. Тогда было чрезвычайною редкостью, чтобы образованный дворянин не служил. После содержания в Петропавловской крепости, конечно, он и не нашел бы нигде казенной службы. Во всяком случае, не имея чина, жалованье на этой службе он мог бы получать самое ничтожное. Он уже был известен, под псевдонимом „Порфирия Байского“, многими повестями, написанными хорошим слогом и с некоторым талантом (например, повесть под заглавием „Гайдамаки“), а потому решился заниматься исключительно литературою. Сочинением повестей, конечно, не мог он содержать себя, и единственным путем в то время для приобретения денег в литературе было поступление на службу к Николаю Ивановичу Гречу и Фаддею Венедиктовичу Булгарину, издававшим газету „Северную Пчелу“ и два журнала: „Сын Отечества“ и „Северный Архив“. Последние два впоследствии слились в один журнал.

В этих журнале и газете помещались разные нападки на Пушкина и поэтов его последователей, и между прочим в первом была помещена

длинная прескучная повесть под заглавием „Мортирин и барон Шнапс фон-Габенихтс“; под этими именами подразумевались Пушкин и барон Дельвиг. Греч и Булгарин приняли Сомова в сотрудники, как человека им весьма полезного, но, зная, до какой степени он находился в нужде, обходились с ним весьма дурно и даже обсчитывали. Наконец, терпение Сомова лопнуло, и он, оставив лагерь Греча и Булгарина, обратился к Дельвигу, от которого при малой его литературной деятельности, конечно, не мог предвидеть получения большого содержания, но был уверен в лучшем с ним обращении.

Булгарин был тогда всеми признан за шпиона, агента III Отделения собственной канцелярии. Греч часто говаривал, что Булгарин ему необходим по общей их литературной деятельности, и уверял, что к несчастию, связавшись с таким подлым человеком (что будто бы его весьма тяготит), он не может с ним расстаться. Но этим уверениям придавали мало веры, и все считали Греча также агентом III Отделения, но в несколько высшей сфере, чем Булгарина.

Сомов, в лагере Греча и Булгарина, а прежде в лагере Измайлова, писал эпиграммы и статьи против Дельвига, и потому появление его в обществе Дельвига было очень неприятно встречено этим обществом. Наружность Сомова была также не в его пользу. Вообще, постоянно чего-то опасающийся, с красными, точно заплаканными глазами, он не внушал доверия. Он не понравился и жене Дельвига.

Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагонадежного и мало способного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения.

Между тем все ошибались насчет Сомова. Он был самый добродушный человек, всею душою предавшийся Дельвигу и всему его кружку и весьма для него полезный в издании альманаха „Северные Цветы“ и впоследствии „Литературной Газеты“. Дельвиг не мог бы сам издавать „Северные Цветы“, что прежде исполнялось книгопродавцем Слениным, а тем менее „Литературную Газету“. Вскоре, однако же, все переменили мнение о Сомове. Он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Жена Дельвига и все его общество очень полюбили Сомова. Только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностию.

В тот месяц, который я провел в 1828 г. у Дельвигов, я очень часто у них видел польского поэта Мицкевича. Все были от него в восхищении. Кроме огромного поэтического таланта, он прекрасный рассказчик. Раза по три в неделю он целые вечера импровизировал разные большею частью фантастические повести в роде немецкого писателя Гофмана.

В зиму 1829—1830 г. прежнее же общество посещало Дельвигов [1].

[1] В неизданном письме С. П. Шевырева к М. П. Погодину от 26 февраля 1829 г. читаем: „Пушкин мне очень обрадовался. Он весьма ласков. Вчера мы провели с ним вечер у Дельвига. Я видел кой-какую литературную сволочь петербургскую. Сколько уродства! Как глуп Сомов! Мы с ним говорили как друзья—и он

Из новых лиц, которых я видел в эту зиму, всех замечательнее были Михаил Данилович Деларю и Сергей Абрамович Баратынский.

М. Д. Деларю вышел из Царскосельского лицея в 1829 г. и, наравне со всеми лицеистами, был предан Дельвигу и даже более других, как поэт, которого первые стихотворения напоминали музу Дельвига, и как юноша, который лицом был похож на последнего. Он очень часто бывал у Дельвига.

Пушкин, получивший в начале сентября 1826 г. дозволение пользоваться советами столичных докторов [1], не медля выехал из Михайловского в Москву, где, среди забав и торжественных приемов, прочел в первый раз свою трагедию „Борис Годунов“ и очень хлопотал

в изустном разговоре тотчас соглашается со всем, что ни скажу я, так, как и в печатном. Он глуп до крайности.—Видел я Подолинского: он все молчал. Это мальчик, вздутый местными панегиристами и Полевым. Он либо еще ребенок, либо без цемента. Пушкин говорит: „Полевой от имени человечества благодарил Подолинского за Дива и Пери, теперь не худо бы от имени вселенной побранить его за Борского“. Тут были еще какой-то краснощекий Корсак,—очень добрый и умный, кажется в своем роде доктор Спасский и еще кто-то.—Сомов бранит Булгарина и пророчит о разрыве его с Гречем: вот штука-то! К святой неделе выйдет Дельвига „Подснежник“; на барыш сделается обед для всех петербургских литераторов и выпишут, может быть, и московских“... О Пушкине на тех же вечерах см. барон Е. Розен. Ссылка на мертвых в „Сыне Отечества“ 1847 г., № 6, отд. III, стр. 13. Сообщением письма Шевырева и указанием на статью Розена я обязан И. С. Зильберштейну.

[1] Пушкин был вызван Николаем I по делу о распространении стих. „На 14-е декабря“ (т.-е. „Андрей Шенье“).

об издании нового журнала. К „Московскому Телеграфу", издававшемуся Н. А. Полевым, он не имел сочувствия, а альманахи считал пустыми сборниками без направления. О необходимости издания нового журнала Пушкин думал еще в Михайловском. Следствием этого было появление с 1827 г. журнала „Московский Вестник" под редакциею М. П. Погодина. Много усилий и увещаний употребил Пушкин на поддержание этого журнала.

Пушкин однако же недолго оставался доволен критическими статьями „Московского Вестника". Редактор его М. П. Погодин, молодой литератор и профессор истории в Московском университете, отличался тогда своеобразною резкостью выражений. Ему ничего не стоило наполнять десятки страниц пошлою бранью, не идущею к делу. Не того хотелось Пушкину. Несмотря на довольно большое число издававшихся тогда журналов и помещавшихся в некоторых из альманахов обозрений нашей словесности за минувший год, у нас не было критики, которая могла бы установить общественное мнение в литературе и в которой не было бы грубых личностей.

Сверх того русской литературой в Петербурге завладели Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин, издававшие журналы „Сын Отечества" и „Северный Архив" и газету „Северную Пчелу". Они оба употребляли всякого рода средства, чтобы не допускать новых периодических изданий и держать литературу в своих руках.

В конце 1829 г. мысль о новом органе созрела, и ее разделяли Пушкин, Жуковв-

ский, Крылов, князь Вяземский, Баратынский, Плетнев, Катенин, Дельвиг, Розен и многие другие. Так появилась мысль об издании с 1830 г. „Литературной Газеты". Весьма трудно было найти редактора для этого органа. Пушкин был постоянно в раз'ездах, Жуковский занят воспитанием наследника престола, Плетнев—обучением русской словесности наследника и в разных заведениях, князь Вяземский и Баратынский жили в Москве, Катенин—в деревне. Хотя Дельвиг, по своей лени, менее всего годился в журналисты, но пришлось остановиться на нем, с придачею ему в сотрудники Сомова. Все означенные литераторы любили Дельвига и уважали его вкус и добросовестность в суждениях о произведениях литературы. Вместе с этим надеялись, что этот новый орган послужит отпором с каждым днем увеличивающейся бессовестности Греча и Булгарина. Не трудно было однако же предвидеть, что „Литературная Газета" не будет иметь успеха. Хотя в ней обещались участвовать самые даровитые поэты и несколько даровитых прозаиков, но было очевидно, что их произведений будет недостаточно для газеты, которая должна была выходить через каждые пять дней листом большого формата, напечатанным довольно мелким шрифтом. Печатание вообще, а периодического издания в особенности, еще более затруднялось тогдашними цензурными правилами, по которым не пропускались многие слова, между прочими: республика, мятежники, о чем не сообщалось журналистам, а только цензорам.

Номера „Литературной Газеты“ цензировались в корректуре накануне их выхода. Означенные слова и многие другие вычеркивались цензором. Надо было заменить статью, в которой они заключались, другою, но некогда уже было в ночь перед выходом номера набирать новую статью. Оставалось одно средство: заменить вычеркнутые слова другими, и, таким образом, слово республика заменялось словом общество, а слово мятежник заменялось словом злодей. Случалось, по болезни Дельвига, мне заниматься корректурою, и помнится что на мою долю выпали эти замещения, так что мне пришлось произвести в дельной статье галиматью. Не легко было добыть дозволение на издание нового периодического журнала, но оно было получено через ходатайство Жуковского, и 1 января 1830 г. вышел первый номер „Литературной Газеты“, в котором первой статьей был отрывок из романа „Магнетизер“ Погорельского (псевдоним Перовского), автора романа „Монастырка“, а второю отрывок из VIII гл. „Онегина“, начинающийся стихом:

Прекрасны вы, брега Тавриды...

Дельвиг подвергался беспрерывным сатирическим выходкам тогдашних журналистов.

Впереди всех в этом отношении стоял Булгарин, с которым после 1825 г. прерваны были всякие сношения [1].

[1] Ср. однако в дневнике Второва 26 ноября 1827 года: „Я пошел во 2-м часу к барону Дельвигу. У него застал Ф. В. Булгарина и А. С. Пушкина. В бе-

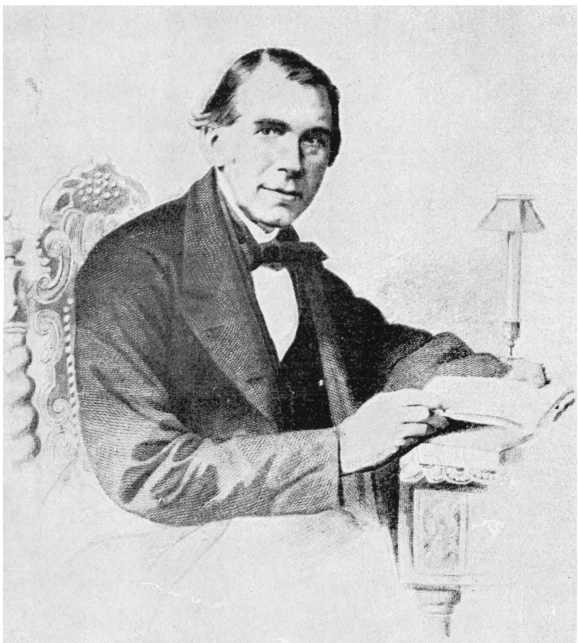
С появлением „Литературной Газеты“, в одном из первых номеров которой было сказано, что она „у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов“, брань журналистов против Дельвига усилилась. Они в этом заявлении увидели какое-то аристократическое стремление участников газеты и разразились бранью, но уже не на одного Дельвига, но и на Пушкина [1].

А. И. Дельвиг

седе с н ми я просидел до 3 часов. Последнего я желал давно видеть и увидел—маленькую белоглазую штучку, более мальчика и ветренного шалуна, чем мужа. Но его шутки, рассказы, критика—совершенно пиитические, мне не понравилось только, что он считает „дрянью“ Гнедичеву идиллию „Рыбаки“. См. М. Ф. де Пуле. Отец и сын. Опыт культурно-биографической хроники. „Русский Вестник“ 1875, № 8, стр. 597.

[1] См. статьи П. Н. Столпянского: „Пушкин“ и „Северная Пчела“ в сб. Пушкин и его современники, вып. IX — XX, XXII — XXIV, XXXI — XXXII. В. В. Гиппиус. Пушкин и журнальная полемика его времени. „Памяти А. С. Пушкина“. Сборник статей преподавателей и слушателей ист.-филологич. факультета. С.-Петерб. университета. СПБ. 1900 г. А. Г. Фомин. Пушкин и журнальный триумвират 30 годов. Сочинения А. С. Пушкина, под редакцией Венгерова, т. V. П. 1911, стр. 451—492.

И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский
и Н. И. Гнедич в 1832 г.



П. А. Плетнев.

СУББОТЫ П. А. ПЛЕТНЕВА [1]

I

У Плетнева собирался по субботам небольшой литературный кружок, и Дельвиг был постоянным субботним гостем. Кроме Дельвига, на этих вечерах бывали Пушкин, Баратынский и многие другие молодые писатели. В этих дружеских собраниях прочитывались и обсуживались все литературные новости недели, читались и разбирались собственные только что написанные стихотворения, и, таким образом совершалось взаимное литературное образование собеседников [2]. Тут были читаны все стихотворения Дельвига, из которых многие исправлялись по замечаниям слушателей. Дельвиг, в стихотворении к Плетневу, при посылке изданной им в 1829 году книжки своих стихотворений, вспоминает об этих дружеских собраниях. Вот это стихотворение:

Броженье юности унялось,
Остепенился твой поэт;
И вот ему что отстоялось
От прежних дел, от прошлых лет.
Тут все, знакомое субботам,
Когда мы жили жизнью всей
И расходились на шесть дней,
Я—снова к лени, ты—к заботам.

В. П. Гаевский.

[1] „Современник", т. XXXIX, 1853 год, отд. III. Критика, стр. 54 (Дельвиг). Ст. II. Сообщение Плетнева относится к 1819—1820 годам. Впоследствии у Плетнева были литературные среды.

[2] [Сообщено П. А. Плетневым.]

II [1]

20 марта 1831 г.

Вечером был у Плетнева. Здесь познакомился с издателем „Литературной Газеты“ (О. М.) Сомовым. Физиономия его неказиста. Разговор не обличает ни пылкости, ни остроумия. Но я не нашел в нем и той заносчивости, какою отличаются иные из его журнальных статей. Я поздно приехал и недолго пробыл у Плетнева. Разговор был общий о литературе: это был плач Иеремии над развалинами Сиона.

23 сентября

Был вечером у Плетнева. Я думал найти там А. С. Пушкина, однако его там не было. Вместо себя он прислал едкую критику на Булгарина и Греча и несколько новых стихотворений для „Северных Цветов“.

Здесь в первый раз видел я барона (А. Е.) Розена, автора нескольких весьма приятных стихотворений, в которых выражается душа, страстная к идеалам. Был неизменный наш собеседник по средам—Сомов, который теперь очень озабочен по случаю издания „Сезерных Цветов“. Я обещал ему, по его просьбе, отрывок из моего „Леона“.

10 февраля 1832 г.

Вечер провел у Плетнева. Там застал Пушкина. „Европейца“ [2] запретили. Тьфу! Да что

[1] А. В. Никитенко. „Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был“. Записки и дневник, т. I, СПБ. 1905, стр. 212, 216, 219, 220, 270, 282—283.

[2] [Московский журнал И. В. Киреевского.]

же мы, наконец, будем делать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно!

2 марта

Сегодня Пушкин рассказывал у Плетнева весьма любопытные случаи и наблюдения свои во время путешествия своего в Грузию и в Малую Азию в последнюю турецкую войну. Это заняло нас очень приятно. Пушкин участвовал в некоторых стычках с неприятелем.

10 января 1836 г.

Интересно, как Пушкин судит о Кукольнике. Однажды у Плетнева зашла речь о последнем, я был тут же. Пушкин, по обыкновению грызя ногти или яблоко—не помню, сказал:

— А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли.

Это было сказано тоном двойного аристократа: аристократа природы и положения в свете. Пушкин иногда впадает в этот тон и тогда становится крайне неприятным.

21 января 1837 г.

Вечер провел у Плетнева. Там был Пушкин: он все еще на меня дуется. Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он так мало ценит себя, как человека и поэта, и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть барином, но ведь у нас барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеман-

ный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала. А ведь он умный человек, помимо своего таланта. Он, например, сегодня много говорил дельного и, между прочим, тонкого о русском языке. Он сознавался также, что историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят печатать. Видно, что он много читал о Петре.

28 января

Важное и в высшей степени печальное происшествие для нашей литературы: Пушкин умер сегодня от раны, полученной на дуэли.

Вчера вечером был у Плетнева: от него от первого услышал об этой трагедии. В Пушкина выстрелил сперва противник его Дантес, кавалергардский офицер: пуля попала ему в живот. Пушкин, однако, успел отвечать ему выстрелом, который раздробил тому руку. Сегодня Пушкина уже нет на свете.

Подробностей всего я еще хорошо не слыхал. Одно несомненно, мы понесли горестную, невознаградимую потерю. Последние произведения Пушкина признавались некоторыми слабее прежних, но это могло быть в нем эпохою переворота, следствием внутренней революции, после которой для него мог настать период нового величия.

Бедный Пушкин! Вот чем заплатил он за право гражданства в этих аристократических салонах, где расточал свое время и дарование! Тебе следовало итти путем человечества, а не касты: сделавшись членом последней, ты уже

не мог не повиноваться законам ее. А ты был призван к высшему служению.

30 января

Какой шум, какая неурядица во мнениях о Пушкине! Это уже не одна черная заплата на ветхом рубище певца, но тысячи заплат красных, белых, черных, всех цветов и оттенков.

А. В. Никитенко

III

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР У П. А. ПЛЕТНЕВА [1]

В начале 1837 года я, будучи третьекурсным студентом С.-Петербургского университета (по филологическому факультету), получил от профессора русской словесности Петра Александровича Плетнева приглашение на литературный вечер.

Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: „Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!"—засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был

[1] „Русск. Архив" 1869, кн. X. См. также „Литературные и житейские воспоминания" (Сочинения, т. XII, изд. Маркса, 1898).

Пушкин, с которым мне до сих пор не удавалось встретиться; и как я досадовал на свою мешкотность! Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем то в роде полубога. Мы, действительно, поклонялись ему.

Петр Александрович ввел меня в гостиную и представил своей (первой) жене, уже немолодой даме, болезненного облика и очень молчаливой. В комнате, кроме нее, сидело человек семь или восемь... Все они теперь уже покойники; из всего собравшегося тогда общества—в живых я один. Правда, с тех пор прошло тридцать лет с лишком... Но в числе гостей были люди молодые.

Вот кто были эти гости. Во-первых, известный Скобелев, автор „Кремнева", впоследствии комендант С.-Петербургской крепости, всем тогдашним петербургским жителям памятная фигура, с обрубленными пальцами, смышленным, помятым, морщинистым, прямо солдатским лицом и солдатскими не совсем наивными ухватками—тертый калач, одним словом. Потом—автор „Сумасшедшего дома"—Воейков, хромоногое и как бы искалеченное, полуразрушенное существо с повадкой старинного подячего, желтым, припухлым лицом и недобрым взглядом черных крошечных глаз; потом—адъютант в жандармском мундире, белокурый плотный мужчина с разноцветными (так называемыми арлекинскими) зрачками, с подобострастным и пронзительным выражением физиономии—некто Владиславлев, издатель известного в свое время альманаха „Утренняя

Заря" (ходили слухи, что подписка на этот альманах была в некотором роде обязательная). Далее, высокий и худощавый господин в очках, с маленькой головкой, беспокойными телодвижениями и певучим носовым выговором, с виду смахивавший на статского советника немецкого происхождения — переводчик и стихотворец Карлгоф; офицер путей сообщения, с несколько болезненным темным лицом, крупными насмешливыми губами и растрепанными бакенбардами, что в то время уже считалось как бы некоторым поползновением к либерализму— переводчик Фауста Губер; худой и нескладно сложенный человек, чахоточной комплекции, с нерешительной улыбкой на губах и во взоре, с узким, но красивым и симпатическим лбом— Гребенка, враг Полевого (он на него только что написал пасквиль в роде сказки; в ней кузнечик полевой играл очень неблаговидную роль)—автор повестей и юмористических рассказов с малороссийским оттенком, в которых чуть заметно сочилась своеобразная теплая струйка; наконец, наш добрейший и незабвенный князь Одоевский. Этого описывать нечего: всякий помнит его благообразные черты, таинственный и приветливый взгляд, детски-милый смех и добродушную торжественность... В комнате находился еще один человек. Одетый в длиннополый двубортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной часовой цепочкой и шейный платочек с бантом, он сидел в уголку, скромно подобрав ноги, и изредка покашливал, торопливо поднося руку к губам. Человек этот поглядывал

кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно; в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое, русское — в роде тех лиц, которые часто встречаются у образованных самоучек из дворовых и мещан. Замечательно, что эти лица, в противность тому, что, повидимому, следовало бы ожидать, редко отличаются энергией; напротив, почти всегда носят отпечаток робкой мягкости и грустного раздумья... Это был поэт Кольцов.

С точностью не могу теперь припомнить, о чем в тот вечер шел разговор; но он не отличался ни особенной живостью, ни особенной глубиной и шириной поднимаемых вопросов. Речь касалась то литературы, то светских и служебных новостей—и только. Раза два она приняла военный и патриотический колорит, вероятно, благодаря присутствию трех мундиров. Время было тогда очень уж смирное. Правительственная сфера, особенно в Петербурге, захватывала и покоряла себе все. А между тем та эпоха останется памятной в истории нашего духовного развития... С тех пор прошло с лишком тридцать лет, но мы все еще живем под веянием и в тени того, что началось тогда; мы еще не произвели ничего равносильного. А именно: весною только что протекшего (1836) года был дан в первый раз „Ревизор", а несколько недель спустя, в феврале или марте 1837 года—„Жизнь за царя" [1].

[1] [Я находился на обоих представлениях и, сознаюсь откровенно, не понял значения того, что совершалось

Пушкин был еще жив, в полном расцвете сил, и, по всем вероятностям, ему предстояло много лет деятельности... Ходили темные слухи о некоторых превосходных произведениях, которые он берег в своем портфеле. Эти слухи побуждали любителей словесности подписываться—в ограниченном, впрочем, числе—на „Современник"; но, правду говоря, не на Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики... Марлинский все еще слыл любимейшим писателем, барон Брамбеус царствовал, „Большой выход у Сатаны" почитался верхом совершенства, плодом чуть не Вольтеровского гения, а критический отдел в „Библиотеке для чтения"—образцом остроумия и вкуса; на Кукольника взирали с надеждой и почтением, хотя и находили, что „Рука всевышнего" не могла итти в сравнение с „Торквато Тассо,— а Бенедиктова заучивали наизусть. Между прочим, в тот вечер, о котором я завел речь, Гребенка прочел по просьбе хозяина одно из последних стихотворений Бенедиктова. Время, повторяю, было смирное по духу и трескучее по внешности, и разговоры подлаживались под господствовавший тон; но таланты несомненные, сильные таланты—действительно были и оставили глубокий след. Теперь на наших гла-

перед моими глазами. В „Ревизоре" я, по крайней мере, много смеялся, как и вся публика. В „Жизни за царя" я просто скучал. Правда, голос Воробьевой (Петровой), которой я незадолго перед тем восхищался в „Семирамиде", уже надломился, а г-жа Степанова (Антонида) визжала сверхъестественно... Но музыку Глинки я все-таки должен бы был понять.]

зах совершается факт противоположный: общий уровень значительно поднялся, но таланты— и реже и слабее.

Первым из общества удалился Воейков; он еще не перешел порога комнаты, как уже Карлгоф принялся читать прерывавшимся от волнения голосом эпиграмму против него... „Поэт-идеалист и мечтатель по преимуществу", как величал себя Карлгоф, видно, не мог забыть посвященное ему и действительно жестокое четверостишие в „Сумасшедшем доме". Скобелев также скоро откланялся, истощив небогатый запас своих прибауточек. Губер начал жаловаться на цензуру. Эта тема часто вращалась в тогдашних литературных беседах... Да и как могло быть иначе! Всем известны анекдоты о „вольном духе", о „лжепророке" и т. д., но едва ли кто из теперешних людей может составить себе понятие о том, какому ежеминутному и повсеместному рабству подвергалась печатная мысль [1]. Литератор,—кто бы он ни был,—не мог не чувствовать себя чем-то в роде контрабандиста. Разговор перешел к Гоголю, который находился за границей; но Белинский тогда едва начинал свою критическую карьеру — никто еще не пытался разъяснить русской публике значения Гоголя, в тво-

[1] [Цензорские помарки доходили до каприза, до игривости; у меня долго хранился корректурный лист, на котором цензор К. вычеркнул слова: „эта девушка была как цветок" и заменил их следующими (и все теми же красными чернилами!): „эта девица походила на пышную розу".]

рениях которого оракул „Библиотеки для чтения“ видел один грязный малороссийский „жарт“. Помнится, все ограничилось тем, что Владиславлев с похвалой цитировал из „Ревизора“ фразу: „не по чину берешь!“—и при этом сделал движение рукою, как будто поймал муху; как теперь вижу взмах этой руки в голубом обшлаге—и знаменательный взгляд, которым все обменялись. Хозяин дома сказал несколько слов о Жуковском, об его переводе Ундины, который появился около того времени роскошным изданием, с рисунками—если не ошибаюсь графа Толстого; он упомянул также о другом Жуковском, весьма слабом стихотворце, недавно с громом и треском выступившем в „Библиотеке для чтения“ под псевдонимом Бернета; о графине Растопчиной, о г. Тимофееве, даже о г. Крешеве было произнесено слова два, так как они все писали стихи, а писать стихи тогда еще считалось делом важным. Плетнев стал было просить Кольцова прочесть свою последнюю „Думу“ (чуть ли не „Божий мир“), но тот чрезвычайно сконфузился и принял такой растерянный вид, что Петр Александрович не настаивал. Повторяю еще раз, на всей нашей беседе лежал оттенок скромности и смирения, она происходила в те времена, которые покойный Аполлон Григорьев прозвал допотопными. Общество еще помнило удар, обрушившийся на самых видных его представителей лет двенадцать перед тем; и из всего того, что проснулось в нем впоследствии, особенно после 55 года—ничего даже не шевелилось, а только бро-

дило глубоко, но смутно в некоторых молодых умах. Литературы в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими, столь же и более важными проявлениями их—не было, как не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы; а была словесность—и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали.

В двенадцатом часу вечера, почти после всех, я вошел в переднюю вместе с Кольцовым, которому предложил довезти его до дому—у меня были сани. Он согласился и всю дорогу покашливал и кутался в свою худую шубенку. Я его спросил, зачем он не хотел прочесть свою „Думу"... „Что же это я стал бы читать-с,—отвечал он с досадой,—тут Александр Сергеевич только что вышел, а я бы читать стал! Помилуйте-с!" Кольцов благоговел перед Пушкиным. Мне самому мой вопрос показался неуместным, и действительно: как бы этот робкий человек, с такой смиренною наружностью, стал бы из уголка декламировать:

Отец света—вечность,
Сын вечности—сила;
Дух силы - есть жизнь,
Мир жизнью кипит—и т. д.

На углу переулка, в котором он жил, он вышел из саней, торопливо застегнул полость и, все покашливая и кутаясь в шубу, потонул в морозной мгле петербургской январской ночи. Я с ним больше не встречался.

Скажу несколько слов о самом Петре Александровиче. Как профессор русской литературы, он не отличался большими сведениями; ученый багаж его был весьма легок; зато он искренно любил „свой предмет“, обладал несколько робким, но чистым и тонким вкусом и говорил просто, ясно, не без теплоты. Главное, он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен—умел заинтересовать их. Он не внушал студентам никаких преувеличенных чувств, ничего подобного тому, что возбуждал в них, например, Грановский; да и повода к тому не было—non hic erat locus... Он тоже был очень смирен, но его любили. Притом его, как человека, прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, как друга Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя, как лицо, которому Пушкин посвятил своего Онегина,—окружал в наших глазах ореол. Все мы наизусть знали стихи: „Не мысля гордый свет забавить“ и т. д.

И действительно, Петр Александрович подходил под портрет, набросанный поэтом; это не был обычный комплимент, которым так часто украшаются посвящения. Кто изучил Плетнева, не мог не признать в нем

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и красоты.

Он также принадлежал к эпохе, ныне безвозвратно прошедшей: это был наставник старого времени, словесник, не ученый, но посвоему мудрый. Кроткая тишина его обраще-

ния, его речей, его движений не мешала ему быть проницательным и даже тонким, но тонкость эта никогда не доходила до хитрости, до лукавства; да и обстоятельства так сложились, что он в хитрости не нуждался: все, что он желал,—медленно, но неотразимо как бы плыло ему в руки; и он, покидая жизнь, мог сказать, что насладился ею вполне, лучше чем вполне—в меру. Такого рода наслаждение надежнее всякого другого; древние греки не даром говорили, что последний и высший дар богов человеку—чувство меры. Эта сторона античного духа в нем отразилась, и он ей особенно сочувствовал, другие ему были закрыты. Он не обладал никаким так называемым „творческим“ талантом; и он сам хорошо это знал: главное свойство его ума—трезвая ясность—не могло изменить ему, когда дело шло о разборе собственной личности. „Красок у меня нет,—жаловался он мне однажды,—все выходит серо, и потому я не могу даже с точностью передать то, что я видел и посреди чего жил“. Для критика—в воспитательном, в отрицательном значении слова—ему недоставало энергии, огня, настойчивости, прямо говоря—мужества. Он не был рожден бойцом. Пыль и дым битвы для его гадливой и чистоплотной натуры были столь же неприятны, как и сама опасность, которой он мог подвергнуться в рядах сражавшихся. Притом его положение в обществе, его связи с двором так же отдаляли его от подобной роли—роли критика-бойца—как и собственная его натура. Оживленное созерцание, участие искреннее, незы-

блемая твердость дружеских чувств и радостное поклонение поэтическому—вот весь Плетнев. Он вполне выразился в своих малочисленных сочинениях, написанных языком образцовым, хотя немного бледным.

И. С. Тургенев

САЛОН А. О. СМИРНОВОЙ-РОССЕТИ [1]

В начале тридцатых годов драма Гюго „Эрнани“ наделала много шуму в Париже. Этот шум откликнулся и в Петербурге. В самом деле, в ней много свежей поэзии, движения и драматических нововведений, в которых, может быть, нуждалась старая французская трагедия, не Расиновская, не Вольтеровская, имевшая достоинство свое, а трагедия времен Наполеона. Стихи из нового произведения поэта переходили из уст в уста и делались поговорками. В то самое время расцвела в Петербурге одна девица [2], и все мы, более или менее, были военнопленными красавицы; кто более или менее уязвленный, но все были задеты и тронуты. Кто-то из нас прозвал смуглую южную черноокую девицу Donna Sol, главною действующею личностью испанской драмы Гюго. Жуковский, который часто любит облекать поэтическую мысль выражением шуточным и удачно пошлым, прозвал ее небесным дьяволенком. Кто хвалил ее черные глаза, иногда улыбающиеся, иногда огнестрельные; кто—стройное и маленькое ушко, эту аристократическую женскую примету, как ручка и как ножка; кто любовался ее красивою

[1] Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского, т. VIII, стр. 233—235.

[2] А. О. Россети.

А. О. Смирнова.

Н. В. Кукольник.

и своеобразною миловидностью. Иной готов был, глядя на нее, вспомнить старые, вовсе незвучные стихи Востокова и воскликнуть:

О, какая гармония
В редкий сей ансамбль влита!

И заметим мимоходом, что она очень бы смеялась этим стихам: несмотря на свое общественное положение, на светскость свою, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем. Она угадывала (более того, она верно понимала) и все высокое и все смешное. Изящное стихотворение Пушкина приводило ее в восторг. Переряженная и масляничная поэзия Курдюковой[1] находила в ней сочувственный смех. Обыкновенно женщины худо понимают плоскости и пошлости; она понимала их и радовалась им, разумеется, когда они были не плоско-плоски и не пошло-пошлы. Женщины брезгливы и в деле искусства, у них во вкусе есть своя исключительность, свой педантизм, свой чин чина почитай. Наша красавица умела постигать Рафаэля, но не отворачивалась от Теньера, ни от карикатуры Гогарта и даже Кома. Вообще увлекала она всех живостью своею, чуткостью впечатлений, остроумием, нередко поэтическим настроением. Прибавьте к этому, в противоположность, не лишенную прелести, какую-то южную ленивость, усталость. В ней было что-то от севильской женственности. Вдруг эта мнимая бесстрастность расшевелится или теплым сочувствием всему прекрасному, добро-

[1] Мятлев И. П.

му, возвышенному, или (да простят мне барыни выражение) о щ е т и н и т с я скептическим и язвительным отзывом на жизнь и на людей. Она была смесь противоречий, но эти противоречия были как музыкальные разнозвучия, которые под рукою художника сливаются в какое-то странное, но увлекательное созвучие. В ней были струны, которые откликались на все вопросы ума и на все напевы сердца. Были, может быть. струны, которые звучали пронзительно и просто неприятно, но это были звуки отдельные, обрывистые, мимолетучие. Впрочем, и эта разноголосица имеет свою раздражительную прелесть: когда сердишься на женщину—это несомненный знак, что ее любишь.

Хотя не было в чулках ее ни малейшей синей петли, она могла прослыть у некоторых а к а д е м и к о м в ч е п ц е. Сведения ее были разнообразные, чтения поучительные и серьезные, впрочем, не в ущерб романам и газетам. Даже богословские вопросы, богословские прения были для нее заманчивы. Профессор духовной академии мог быть не лишним в дамском кабинете ее, как и дипломат, как Пушкин или Гоголь, как гвардейский любезник—молодой лев петербургских салонов. Она выходила иногда в приемную комнату, где ожидали ее светские посетители, после урока греческого языка, на котором хотела изучить восточное богослужение и святых отцов [1].

[1] Неточность мемуариста отмечена одним из исследователей: Вяземский говорит о девице, расцветавшей в Петербурге в н а ч а л е 30 г о д о в, а греческий язык Ал.

Прямо от беседы с Григорием Назианзином или Иоанном Златоустом влетала она в свой салон и говорила о делах парижских с старым дипломатом, о петербургских сплетнях, не без некоторого оттенка дозволенного и всегда остроумного злословия с приятельницею, или обменивалась с одним из своих поклонников загадочными полусловами, т. е. по-английски flirtation или отношениями, как говорилось в то время в нашем кружке. Одним словом, в запасе любезности ее было если не всем сестрам по серьгам, то всем братьям по сердечной загвоздке, как сказал бы Жуковский. Молодой русский врач С. был также в числе прихваченных гвоздем. Когда говорили о ней и хвалили ее, он всегда прибавлял: „А заметьте, как она славно кушает. Это верный признак здоровой натуры и правильного пищеварения". Каждый смотрел на нее со своей точки зрения: Пушкин увлекался прелестью и умом ее, врач С. исправностью ее желудка.

Вот шуточные стихи, которые были ей поднесены:

Вы—Донна Соль, подчас и Донна Перец!
Но все нам сладостно и лакомо от вас,
И каждый мыслями и чувствами из нас
Ваш верноподданный и ваш единоверец.
Но всех счастливей будет тот,

Ос-на учила в 1849 г. (Н. Александров. А. О. Смирнова. Об ее жизни и характере. Ист.-лит. сборник. Посвящается Всев. Изм. Срезневскому. Л. 1924, стр. 309).

Кто к сердцу вашему надежный путь проложит
И радостно сказать вам может:
О, Донна Сахар! Донна Мед! [1]

П. Вяземский

[1] По словам И. С. Аксакова, скромная фрейлинская келья в 4 этаже Зимнего дворца сделалась местом постоянного сборища всех знаменитостей тогдашнего литературного мира... (Газета „Русь" 1882. № 37) Пушкин посвятил ей стихи „Ее глаза" и „В тревоге пестрой и бесплодной"; Лермонтов, И. Мятлев В. Туманский, А. Толстой, Хомяков, Растопчина также воспели ее в стихах. Гоголь читал у нее „Женитьбу". Сложные отношения были у нее с И. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным. В настоящее время ее подлинные записки подготовляются к печати. Эта публикация окончательно выяснит вопрос о степени достоверности „записок", сделанных ее дочерью, О. Н. Смирновой (изд. „Северного Вестника" 1895,1897 г.). См. „Записки, дневник, воспоминания письма" А. О. Смирновой со статьями и примеч. Л. В. Крестовой. М. 1929.

САЛОН Е. А. КАРАМЗИНОЙ

I

В доме Е. А. Карамзиной собирались литераторы и умные люди разных направлений. Тут часто бывал Блудов и своими рассказами всех занимал. Тут бывали Жуковский, Пушкин, А. И. Тургенев, Хомяков, П. Муханов, Титов и многие другие. Вечера начинались в 10 и длились до 1 и 2 часов ночи; разговор редко умолкал. Сама Карамзина была женщина умная, характера твердого и всегда ровного, сердца доброго, хотя, повидимому, с первой встречи холодного. Эти вечера были единственные в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски.

А. И. Кошелев[1]

II[2]

Самой остроумной и ученой гостиной в Петербурге была, разумеется гостиная г-жи Карамзиной, вдовы известного историка. Здесь же царствовал элемент чисто литературный, хотя и бывало также много людей светских.

[1] Записки А. И. Кошелева (1812—1883 годы). Берлин. 1884, стр. 30. Воспоминания Кошелева о салоне Карамзиной относятся к концу 20 годов (1828—1830).

[2] Воспоминания графа В. А. Соллогуба. П. 1887.

Все, что было известного и талантливого в столице, каждый вечер собиралось у Карамзиных; приемы отличались самой радушной простотой; дамы приезжали в простых платьях, на мужчинах фраки были цветные и то потому, что тогда другой одежды не носили. Но, несмотря на это, приемы эти носили отпечаток самого тонкого вкуса, самой высокопробной добропорядочности.

Я ранее обыкновенного отправился вечером к Карамзиным. У них каждый вечер собирался кружок, состоявший из цвета тогдашнего литературного и художественного мира: Глинка, Брюллов, Даргомыжский, словом, что носило известное в России имя в искусстве, прилежно посещало этот радушный, милый, высоко-эстетический дом. Едва я взошел в тот вечер в гостиную Карамзиных, Софья Карамзина стремительно бросилась ко мне навстречу, схватила мои обе руки и сказала мне взволнованным голосом:

— Ах, Владимир, послушайте, что Лермонтов написал, какая это прелесть! Заставьте сейчас его сказать вам эти стихи!

Лермонтов сидел у чайного стола; вчерашняя веселость с него „соскочила“ [1], он показался мне бледнее и задумчивее обыкновенного. Я подошел к нему и выразил ему мое желание, мое нетерпение услышать тотчас вновь сочиненные им стихи.

[1] В. Соллогуб накануне видел Лермонтова на балу И. Воронцова-Дашкова. Лермонтов говорил ему, что по возвращении из ссылки он будет издавать „толстый журнал“.

Он нехотя поднялся со своего стула.

— Да, я давно написал эту вещь,—проговорил он и подошел к окну.

Софья Карамзина, я и еще двое-трое из гостей окружили его, он оглянул нас всех беглым взглядом, потом точно задумался и медленно начал:

На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане...

И так далее. Когда он кончил, слезы потекли по его щекам, а мы, очарованные этим едва ли не самым поэтическим его произведением и редкой музыкальностью созвучий, стали горячо его хвалить.

— C'est du Pouchkine cela,—сказал кто-то из присутствующих.

— Non, c'est du Лермонтов, ce qui vaudra son Pouchkine!—вскричал я.

Лермонтов покачал головой.

— Нет, брат, далеко мне до Александра Сергеевича,—сказал он, грустно улыбнувшись,—да и времени работать мало остается, убьют меня, Владимир.

Предчувствие Лермонтова сбылось; в Петербург он больше не вернулся; но не от черкесской пули умер гениальный юноша, и на русское имя кровавым пятном легла его смерть.

В. А. Соллогуб

III.[1]

Салон Е. А. Карамзиной в течение двадцати и более лет был одним из самых привлекательных центров петербургской общественной жизни, истинным оазисом литературных и умственных интересов среди блестящего и пышного, но мало одухотворенного петербургского света. Историк Карамзин не принадлежал ни по своему происхождению, ни по состоянию к тому кругу, который принято называть высшим петербургским светом, ни к той аристократии, правда, более или менее случайной, которая, тем не менее, имеет претензию составлять обособленную касту. Однако благодаря своему таланту и своим работам Карамзин рано привлек к себе расположение императора Александра I; он был принят при дворе и стал близким человеком при императрицах Марии Федоровне и Елисавете Алексеевне; великая княгиня Екатерина Павловна питала к нему самые дружественные чувства. Он был связан тесной дружбой с Жуковским, которому впоследствии было поручено воспитание наследника, и с Вяземским, на внебрачной сестре которого он был женат. Вся литературно-образованная и культурная молодежь моего времени принадлежала к высшим слоям русского общества, и Карамзин незаметным образом, как-то само собой, сделался руководителем и центром того литературного кружка, который

[1] А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. М. 1853—1855. 1928. Стр. 69—73.

в то время являлся и наиболее аристократическим кружком. После смерти Карамзина весь этот литературный мир продолжал группироваться вокруг его вдовы; так случилось, что в скромном салоне Е. А. Карамзиной в течение более двадцати лет собиралась самая культурная и образованная часть русского общества.

Я познакомилась с этим салоном лишь в самые последние годы жизни Екатерины Андреевны, уже в то время, когда самые выдающиеся писатели, входившие в него, как Пушкин, Дашков, Баратынский, Лермонтов, сошли со сцены. Но традиции остроумной беседы и умственных интересов сохранялись попрежнему, и в этой скромной гостиной, с патриархальной обстановкой, с мебелью, обитой красным шерстяным штофом, сильно выцветшим от времени, можно было видеть самых хорошеньких и самых нарядных петербургских женщин в элегантных бальных туалетах прямо с придворного бала или пышного празднества, расположившимися на красной оттоманке за затянувшейся иногда до четырех часов утра беседой. Вельможи, дипломаты, писатели, светские львы, художники все дружески встречались на этой общей почве: здесь всегда можно было узнать самые последние политические новости, услышать интересное обсуждение вопроса дня или только что появившейся книги; отсюда люди уходили освеженные, отдохнувшие и оживленные. Трудно об'яснить, откуда исходило то обаяние, благодаря которому, как только вы переступали порог салона Карамзи-

ных, вы чувствовали себя свободнее и оживленнее, мысли становились смелей, разговор живей и остроумней. Серьезный и радушный прием Екатерины Андреевны, неизменно разливавшей чай за большим самоваром, создавал ту атмосферу доброжелательства и гостеприимства, которой мы все дышали в большой красной гостиной. Но умной и вдохновенной руководительницей и душой этого гостеприимного салона была несомненно Софья Николаевна, дочь Карамзина от его первого брака с Елизаветой Ивановной Протасовой, скончавшейся при рождении этой дочери. Перед началом вечера Софи, как опытный генерал на поле сражения и как ученый стратег, располагала большие красные кресла, а между ними легкие соломенные стулья, создавая уютные группы для собеседников; она умела устроить так, что каждый из гостей совершенно естественно и как бы случайно оказывался в той группе или рядом с тем соседом или соседкой, которые лучше всего к ним подходили. У нее в этом отношении был совершенно организаторский гений. Бедная и дорогая Софи, я как сейчас вижу, как она, подобно усердной пчелке, порхает от одной группы гостей к другой, соединяя одних, разъединяя других, подхватывая остроумное слово, анекдот, отмечая хорошенький туалет, организуя партию в карты для стариков, jeux d'ésprit для молодежи, вступая в разговор с какой-нибудь одинокой мамашей, поощряя застенчивую и скромную дебютантку, одним словом, доводя умение обходиться в обществе до степени искусства и почти добро-

детели. В Софии Николаевне общительность была страстью, но страстью совершенно невинной, потому что в этой общительности не было тени погони за личным успехом, к которому более или менее стремится всякая женщина. Софи была очень некрасива, и ей было уже сорок лет, когда я с ней познакомилась. Она никогда не была хорошенькой: крупные и грубые черты, глаза, окаймленные страшными черными бровями, мужской рост делали ее несколько похожей на переодетого женщиной Пьеро. И тем не менее под этой некрасивой оболочкой скрывалась какая-то обаятельность, какая-то женственная грация, или лучше сказать, грация мотылька; грация мотылька чувствовалась и в ее уме, который так любил перелетать от одного предмета разговора на другой и порхать по цветущим верхам мысли, но всего больше грации мотылька было в ее счастливом детском характере, умевшем горячо и глубоко наслаждаться маленькими ежедневными радостями жизни и любившем видеть, как наслаждаются ими другие. Гости собирались каждый вечер. В будни бывало человек восемь, десять, пятнадцать. По воскресеньям собрания бывали гораздо многолюднее: собиралось человек до шестидесяти. Обстановка приема была очень скромная и неизменно одна и та же. Гостиная освещалась яркой лампой, стоявшей на столе, и двумя стенными кэнкетами на противоположных концах; угощение состояло из очень крепкого чая с очень густыми сливками и хлеба с очень свежим маслом, из которых София Николаевна

умела делать необычайно тонкие тартинки, и все гости находили, что ничего не могло быть вкуснее чая, сливок и тартинок карамзинского салона.

А. Ф. Тютчева

САЛОН Е. М. ХИТРОВО [1]

I

Самой оживленной, самой „эклектической“, чтобы выразиться модным словом, петербургской гостиной была гостиная Елизаветы Михайловны Хитрово, рожденной Кутузовой. Кутузовы по рожденью не принадлежали к петербургской знати, но доблестное положение, которое занял в истории России фельдмаршал, выдвинуло их на первое место. У Кутузова было пять дочерей. Самою из них известной и самою привлекательной была, разумеется, Елизавета Михайловна Хитрово. Она никогда не была красавицей, но имела сонмище поклонников, хотя молва никогда и никого не могла назвать избранником, что в те времена была большая редкость. Елизавета Михайловна даже не отличалась особенным умом, но обладала в высшей степени светскостью, приветливостью самой изысканной и той особенной всепрощающей добротой, которая только и встречается в настоящих больших барынях. В ее салоне, кроме представителей большого света, ежедневно можно было встретить Жуковского, Пушкина, Гоголя, Нелединского-Мелецкого и двух-трех других тогдашних модных литераторов. По этому поводу молва, лю-

[1] Воспоминания графа В. А. Соллогуба. П., 1887.

бившая позлословить, выдумала следующий анекдот. Елизавета Михайловна поздно просыпалась, долго лежала в кровати и принимала избранных посетителей у себя в спальне; когда гость допускался к ней, то, поздоровавшись с хозяйкой, он, разумеется, намеревался сесть, г-жа Хитрово останавливала его: „Нет, не садитесь на это кресло, это Пушкина, — говорила она,—нет, не на диван—это место Жуковского; нет, не на этот стул—это стул Гоголя,—садитесь ко мне на кровать: это место всех! Asseyez-vous sur mon lit, c'est la place de tout le monde". У Елизаветы Михайловны были знаменитые своей красотой плечи, она по моде того времени часто их показывала и даже сильно их показывала; по этому поводу Пушкин написал следующую эпиграмму:

Лиза смолоду была
Лизой миленькой.
Лиза смолоду слыла
Лизой голенькой.
Но, увы, пора прошла.
Наша Лиза отцвела.
Не попрежнему мила,
Но попрежнему гола...

В. А. Сологуб

II [1]

В летописях петербургского общежития имя Е. М. Хитрово осталось так же незаменимо, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери

[1] Сочинения кн. П. А. Вяземского, т. VIII, стр. 493—495.

ее, графини Фикельмонт, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастие в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная—имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в двух этих салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий, был и premier Pétersbourg с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше,—эта всемирная, изустная разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь. А какая была непринужденность, терпимость, вежливая и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах! Даже при выражении спорных мнений не было и слишком кипучих прений: это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок, система free trade, приложенная к разговору. Не то что в других обществах, в которых задирчиво и стеснительно господствует запретительная система: прежде, чем выпустить свой товар, свою мысль, спра-

вляешься с тарифом; везде заставы и таможни.

В числе сердечных качеств, отличавших Елизавету Михайловну Хитрово, едва ли не первое место должно занять, что она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить не мудрено, но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого. Несчастная смерть Пушкина, окруженная печальною и загадочною обстановкою, породила много толков в петербургском обществе, она сделалась каким-то интернациональным вопросом. Вообще жалели о жертве, но были и такие, которые прибегали к обстоятельствам, облегчающим вину виновника этой смерти, и если не совершенно оправдывали его (или, правильнее, их), то были за них ходатаями. Известно, что тут замешано было и дипломатическое лицо. Тайна безымянных писем, этого пролога трагической катастрофы, еще недостаточно раз'яснена. Есть подозрения почти неопровержимые, но нет положительных юридических улик. Хотя Елизавета Михайловна по семейным связям своим и примыкала к дипломатической среде, но здесь она безусловно и исключительно была на русской стороне. В Пушкине глубоко оплакивала она друга и славу России.

Помню, что при возвращении из-за границы в Петербург, при выходе моем с парохода на берег, узнал я о недавней кончине Елизаветы

Михайловны. Грустно было первое впечатление, приветствовавшее меня на родине: не стало у меня внимательной, доброй приятельницы; вырвано главное звено, которым держалась золотая цепь, связывающая сочувственный и дружеский кружок; опустел, замер один из петербургских салонов, и так уже редких в то время.

П. А. Вяземский

У Е. КАРЛГОФ [1]

28 января 1837 года осталось памятным днем моей жизни. Я с самого детства благоговела перед литературными знаменитостями. Вышедши замуж, я познакомилась с некоторыми литераторами, но самых знаменитых еще не видела. Мой муж, который со всеми ними был близок и который находил величайшее наслаждение исполнять мои желания, обещал мне познакомить меня с ними со всеми. Приезд в Петербург партизана Давыдова, давнишнего знакомого моего мужа, дал повод сделать обед в его честь и пригласить всю литературную аристократию, которую мой муж встречал каждую субботу у Жуковского. Когда он сказал мне об этом обеде, то я пришла в неописанный восторг. Несколько дней оставалось еще до этого обеда, и я была им так занята, что каждую ночь видела его во сне с разными подробностями и изменениями.

Наконец, наступил нетерпеливо ожидаемый день. Я встала рано поутру, хлопотала, заботливо все приготовляла, придумывала, как бы устроить все в лучшем виде для принятия дорогих гостей. Оделась с большим тщанием

[1] „Русский Вестник" 1881, сентябрь, стр. 150—152. „Жизнь прожить не поле перейти",—записки неизвестной. Записки принадлежат Е. Дрaшусовой-Карлгоф.

и в 4 часа вышла в гостиную. Первый приехал Крылов. Он был чрезвычайно рассеян и до того забывал физиономии, что перепутывал своих знакомых (разумеется, не ближних) и взял привычку всех приветствовать словами: „как я давно не имел удовольствия вас видеть". Он и ко мне подошел с этою фразой, хотя видел меня в первый раз отроду, но потом спохватился и, чтобы загладить свою неловкость, наговорил мне много милого и любезного. Впоследствии мы так дружески сошлись с ним, что в отношении нас он имел память сердца и никогда не забывал ни наших приглашений, ни наших разговоров и доказал нам во многих случаях свою искреннюю приязнь. Возвращаюсь к нашему обеду. Гости приезжали один за другим. Партизан Давыдов, Плетнев, барон Розен, Бенедиктов, Тепляков, Познанский (переводчик Мицкевича) и некоторые другие. Но я ожидала главного, того, кто первый возбудил мой поэтический восторг; к нему я написала единственные стихи в моей жизни, ему я удивлялась, словом,—я ждала Пушкина, и при каждом звонке колокольчика сердце начинало сильно биться, как будто мне предстояло свидание с человеком страстно любимым. Наконец, он приехал, муж представил его мне, я вспыхнула и сказала что-то невнятное. Вслед за ним вошел Жуковский. Обед был подан. Жуковский повел меня к столу и сел возле меня. Я воображала его совсем другим. Наружность его показалась мне очень прозаическою, чтобы не сказать вульгарною, и сам он—

человеком холодным. Как ошибочно было это первое впечатление! Надобно было узнать его ближе, в чем мне впоследствии и посчастливилось, чтоб оценить, как много было в нем доброго, сердечного, поэтичного. В продолжение обеда я была не очень разговорчива; все внимание мое было устремлено на Пушкина, который сидел против меня. Он был нехорош собой: смугловат, неправильные черты лица, но нельзя было представить себе физиономии более выразительной, более оживленной, более говорящей и слышать более приятного, более гармонического голоса, как будто нарочно созданного для его стихов. Мы уже сидели за столом, как приехал князь Вяземский. Он очень извинялся, что опоздал, и был чрезвычайно любезен. Разговор был до-нельзя оживлен, ни на минуту не прекращался. Много толковали о мнимом открытии обитаемости луны. Пушкин доказывал нелепость этой выдумки, считал ее за дерзкий пуф, каким она впоследствии и оказалась, и подшучивал над легковерием тех, которые падки принимать за наличную монету всякую отважную выдумку. Так как я не спускала глаз с Пушкина, то ни одно движение его не ускользнуло от моей наблюдательности. Я заметила, между прочим, что он мало ел, беспрестанно щипал и клал в рот виноград, который в вазе стоял перед ним. После обеда я осмелилась заговорить с Пушкиным и беседовала с ним о „Современнике", который он начинал издавать и которым он был сильно занят. Потом муж мой прочел стихи Подолинского, присланные для

альманаха, который он имел намерение издать, но предположение это не осуществилось. Не знаю, были ли напечатаны эти стихотворения.

Прежде всех уехал Жуковский,—он спешил во дворец. Оставались уже немногие, когда приехал Кукольник. По какому-то случаю наше приглашение дошло до него слишком поздно, и потому он к обеду не приехал. Я была довольна, что так случилось. Литературная аристократия не жаловала Кукольника. Но мы не могли не пригласить человека, бывшего нашим коротким знакомым. Полевой, тот сам отказался присутствовать на обеде. Он был в явном разладе со всеми этими господами. Когда все раз'ехались, мы провели остаток вечера с Кукольником и Базили, автором „Письма из Греции". Они оба воспитывались в лицее князя Безбородко в Нежине и сохранили между собою товарищескую приязнь. Что ни говори, Кукольник был человек даровитый. Многочисленные его произведения, хотя скороспелые, но все носят печать таланта, и когда, бывало, он по нескольким часам импровизировал на фортепиано с чувством и увлечением, то нельзя было не убедиться, что в нем самом было много поэзии. Пушкин, впрочем, сказал, что в нем жар не поэзии, а лихорадки...

Зиму эту мы провели очень скромно—в кругу друзей и некоторых литераторов [1]. Раз в неделю продолжали принимать. В положенный

[1] Этот отрывок из „Русск. Вестника" 1881, № 10, стр. 714—716, 723—724, 732—733.

день обедали у нас самые интимные, а вечером собирались многие. В начале поста у нас был обед, замечательный в том отношении, что на нем присутствовали литераторы всех партий. Так как муж мой сам не принадлежал ни к какой партии, то и мог соединять людей разных цветов. На этом обеде между прочими был Греч, которого я не знала прежде. Он очень зло и метко острил насчет Воейкова, разговаривая с ним же самим. Злой старикашка отражал удары довольно слабо и небрежно.

На этом обеде я увидела также в первый раз нового поэта, Жуковского 2, явившегося под псевдонимом Бернета. Его четыре стихотворения, напечатанные в „Библиотеке для чтения“, многим понравились и сделали ему литературное имя. Он написал еще „Граф Мец“, нечто фантастическое, внушенное „Фаустом.“ Сам он имел довольно поэтическую наружность,—опущенные глаза, золотые очки, скромные приемы, тихий голос, но со мной он ни слова не сказал.

В начале поста Кукольник читал у нас новое свое произведение „Смерть Петра“. На чтении этом было много литераторов, но из аристократической партии только Плетнев. Чтение началось в 10 часов. О „Смерти Петра“ много говорили. Ожидание услышать что-нибудь необыкновенное не оправдалось, как это часто случается. Слышалось много громких слов, предназначавшихся для того, чтобы трогать, но не достигавших своей цели, потому что в них не было теплоты, а чувствовалась искусственность. Хорошо были переданы

только впечатление и чувствования русских при смерти Петра. У Кукольника было много мыслей, начитанности, но в нем чего-то недоставало. Ему вредили чрезмерное самолюбие и самонадеянность. В его пламенной любви к искусствам было что-то поэтичное, но его скрытность и хитрость были антипоэтичны. Он был оригинально любезен; немногих людей я слушала с таким удовольствием как его, всегда узнавала от него что-нибудь новое, особенно из области искусств, но нельзя было безусловно наслаждаться его беседой, потому что в ней было что-то надутое. После чтения пошли ужинать, что продолжалось очень долго; разговоры не умолкали. Воейков был опять предметом подшучивания, на этот раз со стороны Кукольника.

Юр. Ник. Бартенев, в доме которого я познакомилась с моим мужем, приехал на житье в Петербург, и по случаю этого мы давали обед, на котором, кроме наших друзей и обыкновенных посетителей, был еще Карл Брюллов. „Последний день Помпеи“ приводил меня в восторг, и мне приятно было познакомиться с его творцом. Маленький, полненький, с добродушным смеющимся лицом, Брюллов походил более на беззаботного помещика, нежели на великого художника; но когда говорил, особенно про искусство, сейчас заметно было, что в нем горит священный огонь.

Около этого времени был нам представлен Соколовский, которого называли нашим Сильвио Пеллико. Соколовский имел неосторожность сочинить песню нецензурного содержания и

в разгульном обществе в Москве пел ее перед бюстом императора. На него донесли, и он двухлетним заключением поплатился за свой поступок. Соколовский содержался в Динабургской крепости, в крошечной комнатке, никого не видел, даже не имел позволения выходить на воздух. К счастью, предшественник его в этой конуре был какой-то ученый, неутомимо занимавшийся, но так обрадовавшийся, когда его освободили, что убежал опрометью и оставил в тюрьме все свои книги. Почему этих книг не прибрали и оставили их в распоряжение нового узника—неизвестно. Вероятно, по презрению к такому негодному товару. Книги были все ученые, латинские и еврейские. Соколовский всегда отличался религиозным настроением и в случайности, предоставивший ему эти книги, видел перст провидения. По ним изучил он еврейский язык. Проникнутый религиозным чувством, отдаленный от всего житейского, вдохновенный высокою мыслью, он написал поэму „Альма“, исполненную религиозного восторга. Он прочел нам первую часть своей поэмы, где душа (Альма) жаждет искупителя. В том, что мы слышали, было много трогательных чувств и утешительных истин [1]. Соколовскнй был беден; ему не на что было

[1] В неизданном письме П. Каменского к Я. Неверову читаем: „Соколовский идет в ход,—наднях выйдет из цензуры его „Альма“,—это chef-d'oeuvre драмо-эпопеи. Я слышал ее во время чтения самим поэтом и унес домой душу полною неподдельного восторга—диво! Курочка-диво! еще дивнее, что удивление-то и восхищение всеобщее от 1 до 0“.

даже купить лекарства. Мне приятно было, что муж мой с радостью поделился с ним половиной денег, которые мы имели в ту минуту, и сделал это так деликатно, что мысль о полученном вспоможении не могла тяготить поэта.

В конце мая у нас был семейный праздник, на котором собралось многочисленное общество; из литераторов были: неизменный Крылов, князь Вяземский и немецкий литератор барон Зебах, саксонский chargé d'affaires в Петербурге, человек чрезвычайно симпатичный; он любил русскую литературу, научился писать и говорить по-русски, что делал con amore...

Я не говорила еще о Сенковском, с которым мы коротко сошлись, особливо с его женой. Она, не знаю за что, полюбила меня и, хотя была вдвое меня старше, подружилась со мной. Мы часто видались, иногда ездили вместе во французский театр, который построил муж ее сестры, архитектор Брюллов, брат живописца, и за это ему предоставлена была в его всегдашнее распоряжение одна из лож 1-го яруса. Ею часто пользовалась г-жа Сенковская и приглашала меня. Осип Иванович Сенковский, знаменитый барон Брамбеус, издатель „Библиотеки для чтения", был необыкновенно умен, учен и даровит, что не мешало, однако, ему шарлатанить и быть невыносимо самолюбивым и самонадеянным. Он был родом поляк, развелся с первою женой и в другой раз женился на баронессе Раль, дочери разорившегося банкира. Сенковский был очень дурен собой: на

рябом лице его были какие-то синяки, которые его безобразили; несмотря на это, он разыгрывал из себя модного джентльмена, любил вести светский разговор, к которому примешивал польскую любезность и авторские самолюбивые выходки.

Я не знала человека тщеславнее барона Брамбеуса. Непомерною роскошью жизни он приводил всех в удивление и очень был этим доволен. Квартиру нанимал прелестную в Почтамтской, великолепно ее убрал; на место печей везде поставил мраморные камины, отчего в комнатах было чрезвычайно холодно. Лестница, все окна, корзины разного рода, всевозможные горки были уставлены цветами. Садовник, доставлявший их и заботившийся о них, получал 3 000 в год. Сенковский иначе не ездил, как на четверне отличных лошадей, нанимавшихся помесячно, и таким важным барином являлся в университет читать лекции (он был профессором восточных языков). На свои вечера и обеды он приглашал только сиятельства и превосходительства, а к большинству литераторов относился пренебрежительно.

В начале нашего знакомства с Сенковским мы с мужем присутствовали на одном из этих п р е в о с х о д и т е л ь н ы х вечеров. Собрались часов в 9; гостей было довольно много, разговор не вязался, более, может, быть оттого, что все дрожали от холода — камины не могли нагреть высоких, больших комнат. Все ожидали с нетерпением чая, но, к сожалению, он не являлся. Наконец, в половине двенадцатого

Сенковский попросил в залу, где был накрыт стол с роскошным угощением. Тут был ужин, чай, варенцы, мороженое, десерт и, наконец, разносили кофе. Сенковский всегда и во всем старался отличиться и не так делать, как другие. И образ его жизни был особенный: он целые ночи напролет занимался, а днем спал [1]...

Еженедельные вечера наши продолжались попрежнему. Я не говорила еще об одном замечательном человеке, который постоянно посещал нас, об отце Иакинфе [Бичурине]. Не знаю его биографии, но знаю, что он пятнадцать лет прожил в Китае и так сроднился со страной, так полюбил ее, так изучил, что сам сделался похожим на китайца. Физиономия его решительно имела выражение, какое имеют китайцы. Он не был строгим монахом, кушал скоромное, без устали играл в карты, любил хорошее вино, веселую беседу и хотя жил в Александро-Невской лавре, но пользовался, на особых правах, большою свободой и часто возвращался домой, когда благочестивая братия шла к утренним молитвам. Я с любопытством слушала его рассказы о Китае и часто играла с ним в вист.

Наконец, от'езд наш приблизился.

Накануне у нас был прощальный вечер, на котором были наши друзья: Крылов, Комов-

[1] О Сенковском и вечерах у него см. А. В. Старчевский.—Воспоминания старого литератора, „Исторический Вестник“ 1891, август и сентябрь.

ский, Бенедиктов, Кукольник и tutti quanti. За веселым ужином, за тостами, сопровождаемыми искренними пожеланиями, мы простились с нашим петербургским житьем [1].

Е. Карлгоф-Драшусова

[1] В воспоминаниях Е. Карлгоф имеются материалы о М. Н. Загоскине (стр. 128—129), Н. А. Полевом (140—141), Бенедиктове (141—143), Башуцком (144—146), А. Ф. Воейкове (147—149). „Русский Вестник", 1881 г., сентябрь.

СРЕДЫ Н. КУКОЛЬНИКА [1]

Имя Кукольника гремело в журналах и в обществе. Он становился авторитетом, близко сошелся с Брюлловым и Глинкою и довольно равнодушно смотрел на фалангу своих поклонников, которые уже для него делались бесполезными.

Каждое чтение нового произведения оканчивалось ужином и шампанским. На этих ужинах поэт делал об'яснения своим произведениям, из которых между прочим узнали, что ц а ц а и л я л я в „Джулия Мости"—любимые слова его детства и что он решился внести их в драму, как приятное для него воспоминание. Известно, что Кукольник почти всех своих героев заставлял красноречиво пророчествовать и любил сам пророчествовать о себе на дружеских сходках.

Таким образом, разговорясь однажды о литературе и о значении Пушкина, он сказал:

Пушкин бесспорно поэт с огромным талантом, гармония и звучность его стиха удивительны, но он легкомыслен и не глубок. Он не создал ничего значительного, а если мне бог продлит жизнь, то я создам что-нибудь прочное, серьезное и, может быть, дам другое

[1] Воспоминания И. И. П а н а е в а. Изд. Academia.

направление литературе... (Передавая слышанное мною из уст поэта, я ручаюсь, конечно, только за верность мысли, а не за слова и обороты фраз).

Сближение и короткость Кукольника с Брюлловым и Глинкою, пользовавшимся уже громкою известностью после „Жизни за царя", еще более возвысило Кукольника в глазах его многочисленных поклонников. Они мечтали видеть в этой короткости какой-то разумный союз представителей живописи, музыки и поэзии и полагали, что он может иметь влияние по крайней мере на эстетическое развитие нашего общества. Едва ли Кукольник не поддерживал и не распространял эту мысль. В сущности, союз этот не имел и тени чего-нибудь серьезного. Представители трех искусств сходились только для того, чтобы весело проводить время и, разумеется, толковать между прочим о святыне искусства и вообще о высоком и прекрасном. Союз этот поддерживался некоторое время тем, что представители приятно щекотали самолюбие друг друга. Около них, как всегда около авторитетов, образовался небольшой штат угодников, шутов, исполнителей особых поручений и блюдолизов из маленьких талантиков. В числе таковых выдвигались на первом плане бесталанный художник Яненко, грубый, наглый циник, который для того только, чтобы хорошо выпить и поесть, готов был пожертвовать всем в угоду кому-либо из своих патронов, и другой—также бесталанный художник М. с льстивой и рабской натурой, всегда при-

творно-робко входивший в мастерскую Брюллова, взглядывавший на новое произведение его кисти с лицемерным благоговением, восклицавший—„недостоин, недостоин“ и выбегавший, закрывая глаза, как бы ослепленный им. К ним присоединилось несколько маленьких литературных талантиков, отчасти из тщеславной мысли прослыть друзьями гениальных, по их мнению, людей, отчасти из того, чтобы вместе с ними веселиться, пить и есть.

В это время Кукольник вместе с своим братом Платоном, управлявшим делами Новосильцева, занимал довольно большую квартиру в Фонарном переулке в доме Плюшара. Он завел у себя середы. Плюшар, мотавший тогда деньги, получаемые им с „Энциклопедического лексикона“, находился в близких отношениях к Кукольнику, Сенковскому, Булгарину и Гречу. Кукольник также сошелся очень близко с последними.

Впоследствии на этих „серединах“ (это уже было в начале сороковых годов) собиралось иногда человек до восьмидесяти. Тут не были уже исключительно любители искусства и поклонники литературы, художники и литераторы, а всякого рода весельчаки, военные и штатские, пожилые и молодые—даже игроки, аферисты и спекуляторы. Вся эта разнохарактерная ватага бестолково толпилась и шумела, бродя из комнаты в комнату. Хозяин дома кочевал среди этой толпы и останавливался на минуту перед своими гостями с каким-нибудь любезным словом. На этих середах перебывали все пишущие люди, за исключением

немногих писателей-аристократов, принадлежавших к друзьям Пушкина. Середы эти начались уже после смерти Пушкина. Одну из важных ролей на этих середах играл Булгарин, к которому хозяин дома был очень внимателен. Здесь я увидел в первый раз этого господина. Кукольник познакомил меня с ним, хотя я вовсе не просил его об этом. Короткие отношения Кукольника с Булгариным действовали неприятно на меня и на всех молодых поклонников поэта. Новое пишущее и читающее поколение этого времени все без исключения презирало Булгарина. Тот, кто печатал свои статьи в „Пчеле" или был в коротких сношениях с ее редактором, компрометировал себя в мнении молодежи. Между старым и старевшим поколением Булгарин пользовался еще большею популярностью. Можно сказать утвердительно, что Кукольник поступил нерасчетливо для своей литературной репутации, видимо склоняясь более на сторону отживавшего поколения и протягивая руку таким людям, как Булгарин.

Вся ватага гостей расходилась обыкновенно около часу; иногда Яненко или кто-нибудь из мелких литераторов, состоявших по особым поручениям при поэте, разными хитростями выживут гостей ранее. По очищении комнат накрывается ужин человек на двадцать самых интимных и продолжается до утра. За этим ужином происходили дружеские и всяческие излияния, выступала на сцену святыня искусства и раздавались вдохновенные и пророческие речи хозяина дома.

На одной из серед Кукольник часов в одиннадцать подошел ко мне, значительно мигнул и шепнул с улыбкою:

— Не уезжай! Когда разбредется вся эта шушера, останутся избранные. Вечера мои собственно начинаются тогда, когда они кончаются для них...

Кукольник указал головою на своих гостей.

— До сих пор,—прибавил он,—была только увертюра, опера начнется потом.

Надо заметить, что это происходило после „Роксоланы" и „Скопина-Шуйского", которые имели огромный успех на сцене. Усердие наше к крикам и хлопанью не уставало. К нам присоединилось еще множество офицеров различных полков—новых друзей поэта, с еще более громким голосом, чем у нас.

Хотя я продолжал быть убежден в огромном таланте Кукольника, но меня уже смущали его связи с Булгариным, Плюшаром и им подобными личностями, которым я не мог сочувствовать, его искание популярности без всякого разбора, ухаживание за людьми чиновными и значительными и еще притом прославление их между приятелями, пиры без конца, повторение тех же громких фраз и пр. Середы эти много способствовали моему разочарованию. Сомнение начало закрадываться в меня относительно признания поэта—благоволение мое к нему чуть-чуть колебалось; я уже иногда начинал посматривать на него как на простого смертного и даже осмеливался замечать иногда его комические стороны.

В таком положении я был к нему, когда он сделал мне честь, которой удостоивались немногие—удержал меня на ужин.

Мне однако это было еще очень приятно.

За ужином Кукольника в этот раз было человек пятнадцать: несколько офицеров П*** полка, Яненко, Струговщиков, переводивший Гете и издававший тогда „Художественную газету“, Каменский, интересный молодой человек, явившийся с Кавказа с повестями à la Марлинский и с солдатским Георгием в петлице. Кавказский герой одержал две победы в Петербурге: одну над Краевским, издававшим „Литературные прибавления к „Инвалиду“, который, пораженный его талантом, заплатил ему 500 рублей ассигнациями за его первую повесть; другую над дочерью Ф. П. Толстого. Остальных, присутствовавших за этим ужином, я не помню. Ужин отличался не столько с'естною, сколько винною частью. В столовой на одной стене висел портрет Кукольника-поэта, на другой его брата Платона—работы Брюллова, в великолепных рамах. Вино лилось. За шампанским Кукольник встал и, обращаясь в особенности к офицерам, поднимая бокал и протягивая с ним руку к потрету брата произнес торжественно:

— Преображенцы! за здоровье отсутствующего Платона!

Здоровье управляющего новосильцевским имением было выпито с криками.

Я сидел возле М. И. Глинки.

Глинка перед ужином был в дурном расположении духа. Он говорил мало и нехотя, гордо поднимая свою голову, и, заложив руку за жилет, важно прохаживался в толпе, б у д и р у я всех своих знакомых. Такие минуты находили на него часто. За ужином он однако мало-по-малу расходился; говорил мне о своих музыкальных планах, о своем „Руслане", над которым он тогда трудился, о будущности России (это был один из любимых его разговоров), о русском народе. Глинка полагал, что он хорошо знает народ и в случае необходимости будет уметь говорить с ним. При такого рода разговорах он обыкновенно очень одушевлялся: глаза его сверкали, он щипал руку того, с кем говорил, и беспрестанно повторял „не правда ли?.." В этот раз он исщипал мою руку до синяков.

Глинка был человек страстный, увлекающийся, настоящий поэт,—и в такие минуты он возбуждал к себе большую симпатию и увлекал многих своими фантазиями и парадоксами, потому что в его увлечениях не было ничего поддельного... надобно было только сидеть от него подальше. Но когда кто-нибудь затрагивал чуть-чуть его самолюбие или ему только казалось это, он становился нестерпимо горд, дулся, поднимался на ходули и принимал важные и пресмешные позы, вовсе не шедшие к его маленькой фигурке.

Степанов мастерски схватил комические стороны Глинки, Брюллова и Кукольника. Он представил всю жизнь их в очень злых, метких и остроумных карикатурах.

О святыне искусства за ужином Кукольника было мало речи. Он сообщил только нам, что он трудится над эпохою Петра Великого, приготовляет ряд повестей из этой эпохи, и кстати рассказал нам из нее несколько анекдотов.

После ужина все смолкли, потому что Глинка, почувствовав вдохновение, сел к фортепьяно и начал импровизировать. Кукольник стоял у фортепьяно, восклицая по временам: „дивно!“ и обращаясь к офицерам шептал, прикладывая указательный перст к губам: „слушайте, слушайте, преображенцы!“

В заключение Глинка пропел свой романс:

В крови горит огонь желанья

страстным, задыхающимся голосом, дико поводя глазами на слушателей.

Потом он повел рукою по лбу и волосам (это он часто делал в минуты волнения), встал со стула, из-за плеча бросил гордый взгляд на всех (кто из знавших Глинку не помнит этого взгляда?), прошелся по комнате, допил свой стакан, подошел ко мне улыбаясь, ущипнул меня и сказал:

— Если б Иван Акимыч воскрес и был здесь, что бы он сказал?—Михаил Иванович заморгал и начал обдергиваться:—„Глинка—новый Орфей, продолжай услаждать слух гармонией... Жизнь коротка... Мудрый, пользуйся жизнию... Добрый хозяин всегда имеет в запасе: бутылку на столе—две под столом... Разумей об этом тот, кому ведать надлежит“... —Глинка засмеялся.

— Правда, ведь так? — продолжал Глинка смеясь...

Мы разошлись часу в пятом утра [1].

И. И. Панаев

[1] А. Н. Струговщиков в своих воспоминаниях вносит значительные поправки в характеристику кружка Кукольника, сделанную И. И. Панаевым. См. „Русская Старина" 1874, апрель, стр. 702—703. „Мих. Ив. Глинка в 1839—1841 году". См. еще „Записки М. И. Глинки" в „Русск. Старине" 1870, № 4—7, 9 11 и в отд. изд. „Воспоминания П. П. Соколова—в „Историч. Вестнике" 1910, август, стр. 403. Воспоминания М. Ф. Каменской в „Историч. Вестнике" 1894, сентябрь. К. Макаров. Люди старого времени (Художник Яненко) в „Историч. Вестнике" 1894, янв. Воспоминания И. А. Арсеньева в „Историч. Вестнике" 1887, т. 27, стр. 356.

ЧЕТВЕРГИ Н. И. ГРЕЧА [1]

Я бывал в доме Н. И. Греча очень часто по утрам в рабочем его кабинете, а по четвергам на тех вечерних сборищах, известных в ту пору в городе под названием гречевых четвергов, которые были когда-то очень оживлены и на которых собиралась изрядная часть образованнейшего общества столицы. Эти четверговые сборища начали блекнуть с 1837 года, т.-е. со смерти младшего сына Греча, даровитого и прекрасного во всех отношениях семнадцатилетнего юноши Николая Николаевича, студента петербургского университета, которого я, как почти одногодку, очень, очень любил...

Дом, бывший барона Аша, в котором Греч с семейством прожил более тридцати лет, до продажи его за долги нерасчетливого и мотоватого хозяина,—внутри был расположен, как говорится, семейственно и удобно, был снабжен двумя огромнейшими залами, из которых одна так залою и именовалась, а другая была не менее, ежели не более велика, чем первая, но носила название кабинета - библиотеки, потому что все ее стены были покрыты шкафами с книгами. Одно из окон было в виде две-

[1] „Заря“, журнал учено-лит. и политический, изд. В. Кашпиревым. 1871. апр. Из воспоминаний петербургского старожила. В. Бурнашев.

ри в сад. Сад этот, как городской, был не мал и довольно густ, хотя растения в нем преуспевали скудно вследствие недостатка солнца, происходившего от громаднейшей стены брандмауера соседнего дома князя Юсупова. В этой-то зале с библиотечными шкафами, где сто или полтораста человек помещались легко и без малейшей тесноты, происходили все литературные четверговые сходки, продолжавшиеся часов с семи до двенадцати, а иногда и дольше. Из этой комнаты одна дверь была в сенцы с витою лестницею, которая вела в настоящий рабочий кабинет Греча, предлинную комнату с потолком не очень высоким, с птичьим канареечным садком, устроенным в одном из окон, с несколькими рабочими столами, покрытыми книгами, журналами, газетами и рукописями, и со столом-бюро против птичьего садка. Две, три высоких конторки в разных местах и полдюжины кресел, из которых одно, очевидно, хозяйское, так называемое вольтерово кресло или просто „вольтер"—дополняли убранство комнаты. Здесь можно было видеть Николая Ивановича совершенно по-домашнему, а именно в серой китайчатой курточке с жилетными карманами на боках и с одним побольше карманом на груди, для платка. Обыкновенно же Греч бывал при приеме гостей в черном или темнобронзового цвета фраке, а иногда в синем виц-мундире с золотыми гербовыми пуговицами, присвоенном министерству народного просвещения. Впоследствии, когда Греч числился по министерству финансов и делал свои ежегодные „действительные"

поездки в Германию, Швейцарию, Париж и Лондон [1], можно было видеть его часто совершенно очиновничившегося, в форменном фраке с зеленым бархатным воротником. Здесь, в этом рабочем кабинете, бывали у Греча все его сотрудники и вообще все те, которые имели до него дело и были принимаемы им запросто, без особенных церемоний и парадов, до которых вообще он не был охотник. В приемных комнатах иногда видели Греча и с Владимирским орденом на шее с тех пор, как четвертая степень этого ордена, полученная им за его литературные и грамматические труды еще в молодости, была заменена этою третьею. Владимирский же орден четвертой степени Греч носил только в жилетном кармане, говоря, что надевает его лишь на улице для внушения извозчикам большего уважения. Я слышал это заявление из уст Греча бесчисленное число раз. В рабочем кабинете, кроме двери из сеней, была еще одна дверь, откуда по лестнице, вследствие гречева звонка, раз по десяти в день поднимался из типографии, помещавшейся в подвальном этаже, гиппопотам в человеческом образе и в засаленном сюртуке—фактор типографии Антон Иванович Иогансон, добрейшее и вместе глупейшее существо, но порядочно знавшее свою типографскую специальность.

[1] [В отличие от своего скучного и вялого романа „Поездка в Германию“ Греч под названием „действительных“ поездок за границу—издавал свою болтовню о личных своих поездках в чужие края, при чем старался выставлять на каждом шагу свое „я“.]

Это был гречев souffre-douleur, со стоическим терпением переносивший все его выходки и нетерпеливые вспышки, более или менее резкие и оскорбительные. Здесь же, в этом рабочем кабинете, каждый вечер, принимая даже гостей по четвергам, Греч скрывался от собеседников на полчаса, чтобы внимательно просмотреть последнюю корректуру завтрашней „Пчелки", как он всегда называл свою любезную „Северную Пчелу". Однако частенько, особенно с 1834 г. и позже, Николай Иванович ленился исполнять эту обязанность и поручал ее кому-нибудь из молодых своих сотрудников, бывших тут налицо. Это было в тех случаях, когда Греч увлекался каким-нибудь рассказом, докончить который ему непременно хотелось. Частенько он давал этого рода поручение Владимиру Михайловичу Строеву, Амплию Николаевичу Очкину или Петру Ильичу Ю-чу (писавшему под псевдонимом Медведовского). Но всего чаще возлагал Греч эту скучную обязанность на меня, и я по молодости лет принимал ее, как знак особенного внимания, тогда как это было просто издательскою эксплоатацией. В эти вечера в антрактах чтения корректуры или сводки я находил время внимательно рассмотреть литографированные, пастельные, акварельные, карандашные и другие портреты, покрывавшие стены этого рабочего приюта. Из числа этих портретов, отчасти фамильных, отчасти различных знаменитостей русских и иностранных, более других замечен был мною портрет горбатого, седого, словно лунь, старичка-карлика, под которым

были две подписи: одна—„Oh, le nain!“ (Olenine) и другая—„Сей огромный сфинкс“. Глумление Греча над таким прекрасным и истинно-почтенным человеком, каков был Алексей Николаевич Оленин, директор Публичной библиотеки, друг и покровитель Крылова, тем более было неприлично и неуместно, что Греч, как не безызвестно, имел много причин совершенно иначе выражать свои чувства к Оленину, оказавшему ему немало одолжений и добра. Впрочем, нужно сказать, что подобные поступки у Греча брали свое начало не из злого сердца его, а из ветреного и непостоянного характера, имевшего свойство ради острого словца не пожалеть и отца.

Зал-библиотека был, как я уже сказал, так велик, что в нем иногда устраивалась сцена с декорациями самодельной работы гречевых сыновей, при содействии таких талантливых рисовальщиков, каковы были все братья Клодты фон-Юргенсбурги. На этой сцене разыгрывались французские водевили и ставились в огромных позолоченных рамах живые картины, преимущественно из частной жизни или из французской и английской истории.

Помню, что в эту же актерскую компанию вмешался однажды и Адольф Александрович Плюшар, в то время довольно крупный деятель в отечественной литературе и издатель „Энциклопедического лексикона“, красивый мужчина, впрочем, чересчур театрального и эффектного вида, занимавшийся до приторности своею внешностью и не пропускавший ни одного зеркала, чтоб не взглянуть в него на

свою напыщенно-величавую фигуру, смахивавшую, правду сказать, на восковую парикмахерскую вывеску. Роль, которую он в этот вечер занял в живых картинах, была ни более ни менее как роль Вильгельма Телля в тот момент, когда этот легендарный герой прицеливается в яблоко, лежащее на голове его сына. Плюшар был также в числе близких или, как говорится, „своих“ людей в доме Н. И. Греча. Но, будучи порядочно богат в то время, пока не разорил его Сенковский, разоривший перед тем и благодушного Александра Филипповича Смирдина, Плюшар не прихлебальничал у Греча подобно другим приближенным последнего, а, напротив того, сам частенько амфитрионничал Николаю Ивановичу, который страстно любил обильные, но не церемонные угощения, оканчивавшиеся общим опьянением и спичами, при чем пальма первенства принадлежала, конечно, всегда ему, как самому ловкому говоруну своей эпохи, когда застольное ораторство было у нас еще в младенчестве.

Итак, читатель, перенесемтесь в один из этих четвергов и войдем в прихожую гречева дома, за которою следует перед кабинетом-библиотекою приемная комната в два окна, дающие на двор, смежная со столовою. По четвергам приемная комната обращалась обыкновенно в прихожую или во вторую переднюю и наполнялась переносными вешалками, которые покрывались шубами, бекешами, кариками, шинелями, плащами и пр. Семь часов вечера, в зале-библиотеке уже публики довольно много, и то-и-дело входят тут новые гости, которые

слегка здороваются с сыновьями Греча и с ближайшими друзьями дома. Зала-библиотека сильно освещена кенкетами и жирандолями с восковыми свечами. На огромном столе и на пяти или шести столах поменьше, покрытых книгами, журналами и газетами, стоят зажженные канделябры. Гости отчасти пьют чай, отчасти курят (далеко однако не все и не с тем увлечением, как делается это нынче), все между собою беседуют или составляют кучки и одного кого-нибудь слушают; иные кочуют от одной группы к другой без всякой принужденности. Однако заметно, что нет души общества, нет самого хозяина, говорливого Николая Ивановича, около которого обыкновенно собирается род „веча“, слушающего своего любимого „златоуста“, как величал его, бывало, Алексей Николаевич Оленин. Греч сегодня в английском клубе на выборе новых членов, в число которых желает попасть, между прочим, Булгарин. Но вот и сам Фаддей Венедиктович [Булгарин] в черной венгерке с брандебурами восседает здесь за одним столиком с рябым и желчным Сенковским, курящим что-то в роде наргиле из довольно тонкого и длинного чубука розового дерева. Оригинален костюм Сенковского: зелено-коричневый фрак с золотыми пуговицами, пестрый шалевый жилет и светло-гороховые брюки. Толпа окружает эти две тогдашние знаменитости, и почти все окружающие ловят слова их, словно манну небесную. Около этой группы за другим столиком сидит неуклюжий, топорной работы, угловатый, сильно нюхаю-

щий табак — Нестор Васильевич Кукольник и играет в шахматы с непременным спутником Брюллова, художником Яненко, который хотя был и не без таланта, но, к сожалению, очень мало интересовался репутацией хорошего живописца и предпочитал коротать свое время в удалой жизни с друзьями, охотниками до попоек. Яненко красен как пион и лыс; он был добрый и честный малый, но не умел себя держать и слишком много позволял вольностей относительно себя какому-нибудь Булгарину, милостивцу своему Гречу. Булгарин иначе не называл его как „Пьяненко", и теперь даже, именуя его этим справедливым, но оскорбительным псевдонимом, данным ему Гречем, рассказывает про него Сенковскому, который ехидно улыбается своими белесоватыми, неприятными глазами.

— Да вот хоть бы вчера,—бурчит Булгарин,—насмешил нас Греч за ужином у него, у Нестора. Наш Пьяненко расчувствовался и вздумал говорить какой-то спич своей фабрикации, да выпив бокал шампанского, кажется, чуть ли не тридцать первый, опрокинул этот тридцать первый пустой бокал себе на лысину и кричит, обращаясь к Гречу: „Так ведь, так, Николай Иванович? Надо пить до капли и опоражнивать бокалы на голове своей". „Согласен,—сказал ему Греч,—да только лучше вливать в желудок, а не переливать, как ты теперь, из пустого в порожнее". Ха! ха! ха! Из пустого в порожнее! Ведь понятно: из пустого бокала в порожнюю голову Пьяненки!.. Ха! ха! ха!

— Оно, конечно, Гречем сказано было довольно остренько и ловко, потому что Николай Иванович мастер на всякую остроту,—сказал Яненко, продолжая игру с Кукольником,— но тебе, Фаддей Фиглярин [1], до Гречева ума далеко, как до неба высоко, и остается только потешаться его острословием, которое мы с тобой не всегда и разжуем, брат. А вот, милостивый государь, Фаддей Венедиктович г. Булгарин, соблаговолите нам об'яснить, что это за история вышла у вашей милости с книжником и фарисеем Лисенковым? Он, говорят, об'явил в газетах, что у него можно иметь литографированный портрет знаменитого французского сыщика Видока, а как кто спросит, он сует не Видока портрет, а ваш. Любопытная историйка!..

— Анафема этот Лисенков,—сердито захрипел с обычным заиканьем и повторением слов Булгарин, обращаясь к Сенковскому,—действительно удрал этакую глупейшую штуку; но я принял уже меры, и завтра ни одного экземпляра моих портретов у него не будет, и от него отберут подписку, чтоб он не покупал и не продавал других экземпляров.

Некоторые из находившихся в зале, услышав про эту проделку, рассмеялись, другие же сделали вид, из угождения Булгарину, будто находят действие книгопродавца чуть-чуть не богоотступным, собственно потому, что он дерзнул восстать против Булгарина, этого

[1] Фиглярным прозвал Булгарина П. А. Вяземский.

знаменитого журналиста, который в ту пору обычным своим хриплым голосом рассказывал каждому встречному и поперечному: „Можете себе представить: из всех газет государь одну только мою Пчелку читать изволит (я это положительно знаю) и отзывается обо мне, что я король Гостиного двора, le roi du Gostinoy dvor".

Вся эта знаменитость Булгарина, ожидавшего в этот вечер с нетерпением результатов своего избрания в английском клубе, не помешала однако одному малорослому белокурому офицеру, повидимому кавалеристу, судя по белесоватым, длинным, вниз спадавшим усам его [1], который постукивал о пол ножнами сабли и молодецки побрякивал шпорами, обратиться к Булгарину с вопросом; „Скажите, пожалуйста, Фаддей Венедиктович, что это была недавно за история, когда вы в одно время с Николаем Ивановичем Гречем и с Александром Федоровичем Воейковым сидели на трех разных гауптвахтах, и, говорят, ваша теща приехала на ту гауптвахту, где был Воейков, и у них произошла презабавная сцена, кончившаяся как-то трагикомически для вашей почтенной тещи".

Офицер, произносивший эту речь, был не кто иной, как барон Розен, издатель нескольких альманахов, автор невозможных стихов и водянисто-мистических повестей, считавший однако себя чуть не Клопштоком, Виландом, Шилле-

[1] [В то время усы носили только кавалеристы. да и то не тяжелой, а легкой кавалерии.]

ром и Байроном. В последнее время он занят был фабрикацией либретто в стихах для создававшейся Глинкою первой русской оперы „Жизнь за царя". В. А. Жуковский, отрекомендовавший Розена М. И. Глинке в качестве либреттиста, часто в насмешку говаривал, что у Розена по карманам были разложены вперед заготовленные стихи, и Глинке стоило сказать,—какого сорта, то есть размера, ему нужно и сколько нужно стихов, и Розен вынимал столько каждого сорта, сколько следовало, и каждый сорт из особенного кармана. Впрочем, лифляндский барон Федор Федорович Розен, ротмистр какого-то армейского гусарского полка и старший ад'ютант инспекторского департамента, был добрый и честный человек, благородный, услужливый, но фанатик, нервозный и капризный иногда как светская дамочка. Он скептически относился к литературной и гражданской деятельности Булгарина и всегда, когда последний об'являл, что он в своей субботней „Всякой всячине" ругнет какое-нибудь из произведений барона, барон обращался к Н. И. Гречу, которого также не очень жаловал, и просил обыкновенно его о защите своим немецко-русским акцентом, но речью чисто русскою без малейшего германизма. Вот что мне не раз случалось слышать из отзывов Розена о Булгарине: „Пожалуйста, скажите этому вашему Булгарину, что я при первой встрече сломаю стул об его голову".—„Только, пожалуйста, не одним из моих стульев, любезнейший барон,—подхватывал забавник Греч.—Я только что

обзавелся новою мебелью". Но как бы то ни было, а дело в том, что еще ни разу Булгарин не позволил себе манкировать чем бы то ни было вспыльчивому остзейскому барону, и барон на основании этой своей неприкосновенности постоянно держал себя очень без чинов с Булгариным. Это видно и из того нескромного вопроса, какой он теперь предложил Булгарину о его теще, тогда как известно было хорошо, что эта яга-баба прискакала ошибкою на ту гауптвахту, где был Воейков, и что при этой встрече бешеный Воейков пустил в ход против этой мегеры свой костыль. Само собою разумеется, воспоминание об этом обстоятельстве не могло быть сладко Булгарину. К тому же он в этот момент находился под влиянием ожидания, чем решится судьба его избрания в члены столь самостоятельного клуба, который перед тем осмелился забаллотировать даже военного министра—графа (впоследствии князя) Чернышова, о чем в городе было с три короба толков. Все это, вместе с недавним намеком Яненко, изрядно поразозлило Булгарина, и он сказал Розену с нескрытою раздраженностью:

— Ежели вам рассказывал про это друг ваш Воейков, то оставайтесь в полном веровании к словам его, а меня оставьте в покое.

— Мне нечего оставлять вас, г. Булгарин, в покое,—запищал нараспев Розен,—я люблю, чтоб мне давали ответ, когда я спрашиваю о чем-нибудь, или я ведь офицер моего государя!..—И при этом он постучал бренчащими ножными сабли.

— Ну, извольте, г. барон, извольте, я отвечаю вам: пусть все, что про гауптвахтное происшествие врал вам Воейков, да будет в понятиях ваших истинною правдой. Но позвольте и мне вас, г. барон, спросить: правду ли говорят в городе, будто вы для будущей оперы Михаила Ивановича Глинки пишете либретто и в это либретто вводите стихи в таком роде:

Так ты для земного житья,
Грядущая женка моя!

— Ха! ха! ха! Грядущая женка! Ха! ха! ха!—задыхаясь хохотал Булгарин.

Сенковский ехидно улыбался, поправляя пепел в своей стамбулке, а некоторые из предстоявших и составлявших придворный штат Булгарина расхохотались в угоду ему и назло восприимчивому и нервозному барону.

Барон глубоко почувствовал уязвление, потому что ничто так его не терзало, как мысль, что кто-нибудь может признать стихи его тем, что они есть, т. е. весьма плохими. А тут дерзко хохочет ненавистный Булгарин, злобно ухмыляется мефистофель Сенковский и заливается в восторге плюгавенький маленький фельетонист В. В. В., т. е. Владимир Михайлович Строев, предерзкая, но даровитая личность, которую Воейков в своем знаменитом „Доме сумасшедших“ назвал: „Греча левый глаз с бельмом“. Все это вместе вывело бедного барона-пииту из рубежей приличия, и он,

подбоченясь фертом, позволил себе сказать, глядя в упор на Булгарина:

Двойной присягою играя,
Подлец в двойную цель попал:
Он Польшу спас от негодяя
И русских братством запятнал!..

Булгарина передернуло, Сенковский как-то с'ежился, Строев мигом улетучился в верхний кабинет. Но Булгарин не долго думал, тотчас знал, чем победить барона—начал плакать и доплакался до того, что добрый, благодушный барон был растроган и уже готов был извиниться перед Фаддеем, как вдруг вбегает сын Греча, Алексей Николаевич, держа в руках записочку, в которой написано: „Скорее, Алеша, скажи Фаддею, что в клубе он выбран е д и н о г л а с н о!" Булгарин пришел в восхищение и заговорил с Сенковским по-польски, вероятно, о своем торжестве. Вслед за этим явился сам Греч, которому сыновья и другие близкие люди успели уже сообщить о том, что было между Булгариным и гостями. На это Греч с досадою сказал: „Проклятый лях! Никогда без моих помочей ходить не умеет, оставь только одного, непременно напакостит". С этими еще словами на устах Греч подошел к группе, в которой сидели в разных позах Сенковский, Булгарин, Кукольник, Яненко и стояли барон Розен, Карлгоф, Ю-ч, Очкин, краснолицый толстяк Яковлев, Наркиз Иванович Атрешков и еще человек десять разных других лиц.

— Ну, что, Греч, благодетель и учитель, я выбран единогласно?—спрашивал с беспокойным восторгом Булгарин.

— Единогласно!..—отвечал Греч, как-то лукаво смеясь, потому что он всегда в каждом разговоре с Булгариным словно камень держал за пазухой и старался как-нибудь да позадеть, хватаясь за всякий случай, чтобы посбить ему его польской спеси.

— Как же единогласно?—продолжал спрашивать Булгарин, уже не совсем довольный тем усмешливым видом, какой имел Греч.

— Да так, как бывает единогласие или одногласие,—шутил Греч,—дело в том, что ты имел один избирательный голос—мой. Как же после этого не единогласный выбор?

Яненко и барон Розен, а с ним и некоторые другие захохотали, Булгарин же надулся и стал собираться домой.

— Куда ты, Фаддей,—продолжал восклицать Греч,—куда, зачем? Я никого теперь отсюда не выпущу; все должны быть на местах: я ожидаю знаменитого и драгоценного гостя Александра Сергеевича Пушкина. Он в клубе доканчивает партию и сейчас будет сюда. Мы все его встретим, как следует встретить первого русского поэта. Эй, вы, мои рынды,—обращаясь к сыновьям,—Алеша, Коля! Бегите к тетке и скажите, чтоб заморозили шампанского и чтоб она не поскупилась прислать нам сюда пока полдюжины, а потом и добавила бы!

Не взирая на все эти приготовления или, может быть, именно по причине их Булгарин старался удалиться и искал свою шапку, меж-

ду тем как Греч его удерживал. Булгарин приглашал Сенковского ехать вместе, говоря, что он его подвезет в Почтамтскую, где тогда жил Сенковский. Но прославившийся уже своим печатным гаерством в эту пору барон Брамбеус с злою усмешкою, но решительно сказал, что ему нечего б е г а т ь от Пушкина и что, напротив, он рад его видеть, потому что ему надо с ним перекинуть несколько слов насчет одного его стихотворения, которое Смирдину, во что бы то ни стало, хочется „сдуру" приобрести для журнала.

Среди этих толков, равно как сборов Булгарина на утечку и неумолкаемой болтовни Греча о выборах в английском клубе, вдруг неожиданно и неприметно вошел в комнату небольшого роста господин, с длинными, курчавыми, растрепанными темнорусыми волосами, с бледно-темноватым лицом, окаймленным огромными бакенбардами, падавшими вниз. Господин этот был в коричневом сюртуке и держал мягкую измятую шляпу в левой руке. В лице его было что-то необыкновенное, будто напоминавшее наружность мулата: нос несколько приплющенный, губы очень красные и широкие, а обнаруженные веселою улыбкою зубы—белизны необыкновенной. То был Александр Сергеевич Пушкин, которого ожидал Греч, намеревавшийся сделать ему овацию и не успевший в этом. Однако, чтоб поправить эту неудачу, Греч, как только увидел Пушкина, тотчас велел подавать шампанское, которое явилось на нескольких подносах, в множестве бокалов. Греч и все, которые только

могли добраться, чокались с Пушкиным. К нему тотчас подошел знакомый ему по Жуковскому барон Розен, и Пушкин перекинул с ним несколько интимных слов. Булгарина Греч арестовал, отняв у него его шапку, и сказал Пушкину: „А вот, Александр Сергеевич, мой Булгарин вздумал было от вас уходить на утечку. Но не тут-то было: я его арестовал и никак не выпущу, пока не достигну того, чтобы Косичкин (псевдоним Пушкина в полемике с Булгариным) и Фиглярин (псевдоним Булгарина, данный ему Пушкиным) не прекратили недостойную их распрю, совершаемую ими, право, на потеху райка русской читающей публики".

„Я—Пушкин,—сказал Пушкин, немножко нахмурясь,—а г. Булгарин—г. Булгарин, и в частном быту мы ничего не имеем общего с Косичкиным и Фигляриным, почему ни Пушкин, ни г. Булгарин не могут давать, даже под влиянием этого превосходного шампанского, заверения в том, что до них не касается. Mais tranchons la-dessous et qu'il n'en soit plus question, или я убегу. А вот что за причина, что Фаддей Венедиктович (кажется, так?) хотел от меня бежать? Я, кажется, не так страшен, особенно господину Булгарину; он, я думаю, не трусливого десятка, и про то, вероятно, хорошо ведают те различные знамена, под которыми он воевал. Напротив, я ничего не имею к Фаддею Венедиктовичу неприязненного; доказательством тому, между прочим, служит то, что я еще сегодня купил его портрет, очень, очень схожий, продавае-

мый—представьте себе, господа,—книгопродавцем Лисенковым за портрет Видока. Ох, уж эти мне спекуляторы-книгопродавцы: страсть из всего извлекать какую бы то ни было выгодишку. Да еще я очень рад, что повстречал теперь Фаддея Венедиктовича: мне нужно некоторое пояснение; я для одного нового московского журнала принялся писать мемуары, в которых кое-какую роль будет играть Орест Михайлович Сомов, так хотелось бы знать подробности мнимого его арестования после 14 декабря и освобождения. Все это, кажется, хорошо известно Фаддею Венедиктовичу [1]?"

Заметив угрожавшие Булгарину опасности из начавшихся шутливо-злобных заявлений Пушкина, Греч поспешил возвратить литературному Созию своему его шапку и стал даже стараться о скорейшем его удалении, при чем, чтоб половчее замять весь этот возникший скандал, принялся представлять Пушкину то того, то другого из числа бывших тут преимущественно молодых писателей. В том числе

[1] [В то время ходило о Булгарине много анекдотов; но особенно замечателен был тот, что известный в двадцатых годах литератор О. М. Сомов, печатавший в альманахе „Полярная Звезда" свои статьи под псевдонимом „Порфирия Байского", желая подшутить над Булгариным, явился к нему, будто бежавший из Петропавловской крепости арестант, прося Булгарина спасти его. Рассказывали, что Булгарин запер Сомова в своем кабинете и сам удалился для принятия мер к спасению приятеля и сотрудника в газете. Через час явилась полиция, которая убедилась в мистификации. Однако рассказывали также, что мистификация эта Сомову не обошлась даром, потому что он за эту неуместную шутку был посажен на трое суток в крепость.]

он представил и меня. Чрезвычайная моя юность, девственная свежесть и вообще тип мальчика-пансионера и только по покрою платья взрослого человека изумили Пушкина, и он спросил Греча: „Неужели этот мальчик сам написал ту бойкую анекдотическую биографию знаменитого табачного фабриканта Жукова, которая недавно была напечатана в вашей газете?“ Потом Греч повел Александра Сергеевича по всем комнатам, чтобы показать ему свой дом и свое семейство. Среди всего этого Булгарин уехал, а Сенковский остался и в отсутствие Пушкина беседовал с Кукольником, который говорил ему, что Пушкин не любит его, Кукольника, будто за успех его новой драмы „Рука всевышнего“ и что молва Пушкину приписывает известное четверостишие, ходившее в ту пору по рукам.

— Какое четверостишие?—спросил с лукавою улыбкою Сенковский, словно ничего не знавший об этих стишках.

— Да то, которое теперь у всего города на языке,—сказал с неохотою Кукольник.

— Я, видно, не принадлежу к городу, потому что не знаю этих стихов,—настаивал Сенковский,—скажите-ка их, Нестор Васильевич!

Волею-неволею угловатый Кукольник должен был прочесть эти стихи, действительно летавшие тогда по всему городу. И он вполголоса пробормотал:

Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого задушила!

Когда Пушкин с Гречем возвратились в зал-кабинет, явилось снова шампанское, и опять Греч с Пушкиным чокался, и Пушкин, чокнувшись с Сенковским, сказал ему вполголоса по-французски (Пушкин, по роду своего воспитания, часто и охотно употреблял французский язык в разговоре даже с соотечественниками) несколько слов, и они удалились в один уголок за плюшевым трельяжем для интимного разговора.

Пока Пушкин и Сенковский беседовали в уголке, Греч, которого не только страсть, а какая-то словно болезнь беспрестанно дергала острить насчет всех и всякого, подмигивая тем, которые около него сидели и стояли, сказал: „Плохо, плохо приходится карману почтеннейшего Александра Филипповича (то есть Смирдина), этого нашего российского Ладвока!“—Потом, предаваясь расположению говорить о себе, он не вытерпел и сказал: „А нельзя отнять и от Пушкина большого эпиграмматического дарования. Да вот хоть бы на-днях. Это было на новосельи Смирдина. Обед был на славу: Смирдин, знаете, ничего в этом не смыслит; я, разумеется, велел ему отсчитать в обеденный бюджет необходимую сумму и вошел в сношение с любезнейшим Дюмэ [1]. Само собою разумеется, обед вышел на славу, прелесть! Нам с Булгариным привелось сидеть так, что между нами сидел цензор Василий Николаевич Семенов, старый лицеист, почти однокашник Александра Сергеевича.

[1] [Знаменитый ресторан того времени в Большой Морской.]

Пушкин на этот раз был как-то особенно в ударе, болтал без умолку, острил преловко и хохотал до упаду. Вдруг, заметив, что Семенов сидит между нами, двумя журналистами, которые, правду сказать, за то, что не дают никому спуску, слывут в публике за разбойников, крикнул с противоположной стороны стола, обращаясь к Семенову: „Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе". Слова эти тотчас были всеми поняты, я хохотал, разумеется, громче всех, аплодировал и посылал летучие поцелуи Пушкину, который кричал мне: „Вы, Николай Иванович, не сердитєсь?.." Я отвечал ему громко: „Я был бы непростительно глуп, ежели бы сердился за эту милую шутку, которая нашему брату журналисту вовсе и не обидна, потому что нам то и дело, что приходится разбойничать по общим понятиям публики, то есть лаяться, острить, отбиваться, нападать, даже хищничать. Я понимаю значение журналиста и никогда эпитетом разбойника не обижусь". Я старался обо всем этом говорить как можно больше, чтоб успокоить Булгарина, который пришел в совершенное нравственное расстройство и задыхался от бешенства".

С течением времени многим из посетителей четвергов порядочно надоела их обстановка [1]...

В. Бурнашов

[1] О четвергах Греча см. еще в „Русском Вестнике" 1875, № 8, стр. 557. Для характеристики взаимоотношений Н. И. Греча с рядом упомянутых здесь лиц см. его „Записки о моей жизни", П. 1886, особенно гл. XII.

ПЯТНИЦЫ А. Ф. ВОЕИКОВА [1]

Вечером, особенно по пятницам, в ожидании гостей, комнаты были с некоторым тщанием прибраны и сильно освещены многими кенкетами, разумеется, масляными, потому что в то время лет за 35—40 перед сим и понятия не было о керосине, вошедшем у нас в употребление не больше как каких-нибудь 15, много 20 лет. Кроме кенкетов, горели в канделябрах, расставленных по разным столам, калетовские свечи, начинавшие заменять восковые и сальные. Обоняние по пятницам здесь также не поражалось всеми теми неприятными запахами, какими атмосфера этих самых комнат была наполнена по утрам. По вечерам, и особенно по пятничным вечерам, калмыкообразный казачок, примазанный маслом и поопрятнее одетый, разносил довольно часто по комнатам дымящуюся плиту, на которую то и дело что подливал лоделаванд, правда, довольно второстепенного качества; а на всех кафельных печах, белых с синими узорами, расставлены были так называемые „монашенки“, курительные свечи на грошах. Иногда же воейковская экономка распоряжалась ставить эти куритель-

[1] „Русский Вестник“ 1871, № 9. Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания. Петербургский старожил В. Бурнашов. Окончание статьи в ноябрьской книжке.

ные свечи на стаканы с водой, покрытые листками бумаги, и в воду проваливались обгоревшие углевые свечки, утратившие, конечно, свой аромат, но сохранявшие однако свою пирамидальную форму, почему снова могли быть продаваемы с некоторою уступкой неопытным покупателям. Эти ароматы смешивались обыкновенно еще и с табачным запахом, потому что многие из гостей курили или турецкий, или вакштаф, или и больше всего входивший тогда „жуков", сделавшийся особенно модным после моей статьи в „Северной Пчеле" с анекдотивною биографией табачного фабриканта Василия Григорьевича Жукова, фабрику которого на Фонтанке между Чернышӗвым и Семеновским мостами посетил, вследствие этой статьи, великий князь Михаил Павлович, большой табако-куритель, а за ним и весь петербургский beau monde. Впрочем, некоторые юноши, посещавшие в те времена гостиную А. Ф. Воейкова по пятницам, наполненную табачным дымом, не взирая на частое отворяние форточек, покуривали тогда соломенные пахитосы, так как о папиросах, явившихся у нас в сороковых годах, еще никто в Петербурге и понятия не имел.

В парадном кабинете Воейкова было на стене несколько портретов как царей и цариц, так различных военных, гражданских и литературных знаменитостей, между которыми, то есть особенно последними, виднее всех были портреты Карамзина, Жуковского и Пушкина. Последний, казалось, был тут помещен позднее всех и отличался особенною свежестью...

В числе всех этих портретов несколько в стороне был портрет самого хозяина, А. Ф. Воейкова, исполненный довольно искусно масляными красками; но тут он изображен как бы в нумере дома сумасшедших, за решоткой, в полосатом халате и меховой шапке. Наверху надпись: „Дом сумасшедших, отд. III, № 27“. Перед ним лист бумаги со следующими четырьмя стихами:

Вот Воейков, что бранился,
Век с Булгариным возился,
Честь свою тем запятнал
И в безумный дом попал.

Когда кто-нибудь из новых посетителей Воейкова останавливался перед этим портретом, сатирообразный Александр Федорович, заметив такое внимание нового своего гостя, говорил ему, как это случилось и со мною:

— А другие мои стихи на старикашку Воейкова вы, батенька, знаете?

— Нет-с, не знаю, Александр Федорович,— сказал я.

И тогда Воейков прочитал мне наизусть из своего „Дома сумасшедших“, столь известного многим, но тогда мне, однако, знакомого лишь понаслышке:

Тот Воейков, что Делиля
Столь безбожно исказил
И терзать хотел Эмиля
И Виргилию грозил,—
Должен быть, как сумасшедший,
Вовсе заперт в желтый дом,
Темя все обрить поспешней
И тереть почаще льдом.

Когда Воейков кончил чтение своих стихов, за которые я его благодарил, в комнату вошла личность, поразившая меня своим костюмом и вообще своею наружностию. То был плотный, дебелый, коренастый русский бородач, остриженный в скобку, с лицом кротким и с тихою улыбкой на лице, одетый в такой кафтан зеленого цвета, который назывался „жалованным", весь в золотых галунах по груди, рукавам, полам и подолу, с поясом из золотых кистей и с такими же кистями на всех застежках. При виде этого золотого человека Воейков очень обрадовался и вскричал: „А! русский Борнс! Федор Никифорович, как я рад тебя видеть!" И он обнимал и целовал почтенного русского бородача. А бородач, в свою очередь, благодарил Александра Федоровича за полученный им от российской Академии этот почетный золотой кафтан и пожалованную ему серебряную медаль на Анненской ленте. То и другое, повидимому, очень радовало русского человека, который оказался нашим поэтом-самоучкой Федором Никифоровичем Слепушкиным (род. в Ярославской губ. в 1783, а умер в Рыбацком селе близ Петербурга во время второй холеры в 1848 году). В те времена стихотворения Слепушкина многим нравились и породили ему подражателей в крестьянах Суханове и Алипанове, о которых теперь едва ли много кто и помнит-то.

— Я вот только сегодня,— говорил Слепушкин,—приехал из Рыбацкого и тотчас поспешил к моим покровителям: был у Павла Пе-

тровича Свиньина и у Бориса Михайловича Федорова да в обязанность себе вменил и к вам, Александр Федорович, явиться, и не с пустыми руками.

— Прекрасно, прекрасно, дорогой кум, — восклицал Воейков.—А что, как поживает мой крестник?

— Отлично-с: все маткину титьку сосет, шельмец такой,—отвечал самодовольно Слепушкин и при этом представил Воейкову свое новое поэтическое детище.

Воейков тотчас вскинул очки на лоб и, взяв лист, весь исписанный, поданный ему Слепушкиным, стал читать:

РАССКАЗ СБИТЕНЩИКА

Извозчик, саечник, столяр,
Обручник, плотник и маляр,
Все господа мастеровые
За чай—и локти по столу,
Кричат: „Подай ка ты „П ц о л у“!

— Ха, ха, ха!—хохотал Воейков. —П ц о л у! П ц о л у!

Затем он прочел всю пиесу, стихов в сотню, и закончил повторением раза два особенно понравившихся ему стихов:

„Романы—люди, а не книги“,
Толкует пожилой бочар:
„Всех лучше книга—„П т и ц а Ж а р“!

— Умно, остро, типично, вылитая природа, прелесть!—восклицал Воейков и, подозвав казачка, велел подать себе свой портфель, куда

он погрузил это свое новое благоприобретение, говоря: — Завтра же отвезу в типографию для следующего моего нумера. Спасибо, спасибо, Федор Никифорович, спасибо. „А нам статеечку, дай бог здоровья вам“,—как изволит всегда выражаться насчет даровых статеек Николай Иванович Греч.

Воейкову, с легкой руки Слепушкина, счастливилось в этот вечер, потому что он получил с дюжину различных даровых статей и статеек — оригинальных и переводных, стихотворных и прозаических. Впрочем, ведь это не в первый раз, потому что у него уж так было заведено, что почти никто из пишущей братии не пил его чая со сливками или лимоном, или ромом, или красным вином и не ел его булочных печений, калачей, саек и ужинных блюд совершенно даром: все что-нибудь да давали, хоть омоним, шараду, энигму, логогриф или тому подобное. К тому же Воейков имел порядочные связи и знакомства, посредством которых очень многим юношам доставлял служебную карьеру более или менее порядочную, а эти юноши отвечали ему массой своих статеек, напечатание которых с их именем, по их мнению, взносило их прямо на Парнас и на Геликон (тогда так выражались все журналы и все журналисты кроме Полевого и Сенковского, которые первые стали осмеивать эту страсть к мифологии). Сомнительно, чтобы начальники этих юношей, стремившихся на Геликон и ленившихся во-время посещать департаменты и канцелярии, были очень благодарны Александру Федоровичу за

эти его рекомендации вдохновенных канцеляристов. К числу таких юношей-дарителей принадлежал один купеческий сынок, владелец каменного дома в три этажа в Караванной, который не только не получал гонорария, но еще за напечатание своих переводных повестей с французского и с английского и своих оригинальных стишонков прикладывал в пользу редактора разные подарки,—в роде ящика бордоского чернослива, вестфальского окорока, фунта рязановских конфет, бурака зернистой икры, пуда сахара в головах и пр. и пр., благо у него была фруктово-колониальная лавка в Круглом рынке. Затем и чествовать любил же Воейков своего щедрого сотрудника, сделавшегося у него чем-то в роде его домашнего секретаря и который в этот вечер, помнится, доставил Александру Федоровичу целую кипу прозы и стихов, при чем, однако, Воейков сказал белокурому, бледнолицему, альбиносообразному юноше:

— Только, любезнейший, чур не щедриться много для Пьянчужкина, сиречь для Бестужева-Рюмина.

— Я ему-с, Александр Федорович,—говорил пожимаясь и конфузясь юноша,—я-с ему посылаю самые мои что ни есть оборыши и всегда с графинчиком коньячка-с.

Между тем обычные пятничные посетители начали появляться один за другим, и все с какими-нибудь литературными дарами, более или менее приятными. В числе таких посетителей были некоторые мне знакомые по вечерам Греча, по сходкам в редакции „Северного

Меркурия", по книжным магазинам, где я с ними встречался, но много было и таких, которых я видел в первый раз в жизни. С иными из последних Воейков знакомил меня, с другими же не находил нужным знакомить; но нельзя было мне не заметить, что эти господа перешептывались с хозяином дома и что предметом их перешептывания тогда был я, как новый пятничный посетитель.

Большой диван в гостиной был занят несколькими лицами, другие сидели в креслах вокруг стола, уставленного чашками и стаканами с чаем; многие сидели на стульях около небольших столиков и также упражнялись в чаепитии, которое иным приходилось так по вкусу, что эти господа выпивали, сколько я мог заметить, по полдюжине и более стаканов, уничтожая при этом массу сухарей, булок, саек и калачей, словно личности, не обедавшие суток двое. К числу таких принадлежал мой знакомец поэт Александр Николаевич Глебов, имевший привычку беседовать с вами не иначе, как держа вас за пуговицу фрака или сюртука, делая какие-то дикие конвульсивные гримасы. Сам Александр Федорович сидел обыкновенно в вольтеровском кресле, крытом алым полинялым сафьяном, при чем в своем огромном черном парике, грызя набалдашник костыля или чеша ногтями язык, имел вид какого-то асмодея, бросавшего через стекла золотых очков взгляды направо и налево подходившим к нему гостям, с которыми здоровался преимущественно восклицаниями: „С наслаждением прочел я статью вашу в „Альцио-

не“ барона Егора Федоровича (т. е. Розена). Прелесть, прелесть! Божественно!“ или: „Лисенков [1] обещал мне приобрести 500 экземпляров вашей замечательной брошюры против „Московского Телеграфа“, или: „Молю богов о ниспослании на вас всех даров Аполлона“, или даже: „Ты гневаешься, Зевс, значит ты не прав!“ или: „Ай! моська, знать она сильна, что лает на слона!—сказал бы кто-нибудь, а наша моська вышла сущий лев. Браво! браво!“ и т. д. и т. д., все в разных формах, но почти все с той же монотонною завывающею интонацией, ему свойственной. Для весьма немногих, как например, для высокого-превысокого седого генерала в инженерном морском мундире, историографа флота Берха, Воейков вставал и выходил до половины комнаты. Капитана гвардии и старшего ад'ютанта гвардейского корпуса Вильгельма Ивановича Карлгофа Воейков принимал сидя, восклицая то: „Помилуй бог, как хороша ваша последняя повесть в „Невском Альманахе“, или: „Не грешно ли вам было бросить ваши прелестные стихи в помойную яму „Северного Меркурия“, или: „В ту пятницу вы нас отсутствием своим в печаль и грусть повергли“ и пр. и пр. Но вместе с производством г. Карлгофа в полковники и в особенности после того, как он женился на богатой тамбовской девице Елизавете Алексеевне Ошаниной и стал жить по-барски, Воейков выбегал, ковыляя, принимать

[1] [Книгопродавец того времени, сильно тогда торговавший в Б. Садовой, в доме пажеского корпуса.]

его в другую даже комнату, как он принимал знаменитого тогдашнего идиллиста Владимира Ивановича Панаева, карьера которого начинала очень ясно обозначаться, и еще переводчика Байроновской „Паризины“ (с французского, впрочем, языка) Василия Евграфовича Вердеревского, начинавшего тогда уже очень богатеть, благодаря должности правителя канцелярии комиссариатского департамента военного министерства. Это тот самый Вердеревский, которому, 35 лет спустя после того, как я его видал на воейковских пятницах и на гречевых четвергах в качестве quasi-литератора, суждено было в Нижнем-Новгороде на эшафоте подвергнуться по суду лишению прав состояния и ссылке в Сибирь. Достойно внимания, что тот же самый Карлгоф, выше и превосходнее которого Воейков, казалось, никого не знал, в 1837—1838 годах сделался предметом ненависти того же Воейкова вследствие каких-то отношений, кажется, вследствие каких-то денежных счетов, в которых Воейков оказался неисправным к Карлгофу. Как бы то ни было, но в 1838 году „Дом сумасшедших“ дополнился стихами:

Вот кадетом заклейменный
Меценат, Карлгоф поэт,
В общем мненьи зачерненный [1]
И Булгарина клеврет [2]!
Худ, мизерен, стиснут с вида,
Сухощав душой своей,

[1] [Вероятно после размолвки с Воейковым.]
[2] [Совершенная ложь.]

Последние два стиха решительно не для печати и отвратительно грязны. Подобные выходки бросают густую тень на память Воейкова.

Внимание Воейкова привлек к себе показавшийся на пороге статный белокурый офицер в гвардейском ад'ютантском сюртуке. То был капитан Лукьянович, ад'ютант знаменитого русского Баярда, генерала Карла Ивановича Бистрома, автор „Истории турецкой войны 1828—1829 годов“, принимавший более или менее деятельное участие своими дельными статьями в журналах и альманахах того времени. Воейков был с ним очень учтив и внимателен, расхваливая с обычным своим пафосом его книгу и вообще все то, что в то время принадлежало перу г. Лукьяновича. Но среди всех этих любезностей Воейков заметил-таки в этот раз своему почтенному гостю:

— А грех вам, Николай Андреевич, вы меня чарочкой обнесли, отдав Бестужеву ваши несколько строк с хохлацким юмором о холере. Это премило!

И при этом Александр Федорович достал новый нумер „Северного Меркурия“ и, передав его автору статьи, просил прочесть для всех. Автор прочел следующее:

— Що це за холера така? Чи ты ей бачив?—спросил один хохол своего земляка, недавно возвратившегося с Дона из заработков. — Чув, —отвечал тот.—Яка ж вона?—спросил снова первый.—Кажут: жинка в червоных чоботах, ходе по води да все оха!

— Необыкновенно просто, верно и мило!— восклицал Воейков.

— Схвачено с натуры,—раздался чей-то голос.

— Читая эти строчки, я словно переношусь в мою милую Полтавщину,—заметил преимущественно молчаливый и сосредоточенный поэт-юноша Подолинский, который в эту пору издал уже две свои поэмы, „Борский“ и „Нищий“, независимо от бесчисленного множества мелких стихотворений, наполнявших собою журналы и альманахи.

Так как журналец Бестужева был уже на сцене, то Воейков нашел нужным сказать Вильгельму Ивановичу Карлгофу:

— Вы также, Вильгельм Иванович, даете статьи ваши в изрядном количестве Бестужеву, а между тем смотрите-ка, как этот неблагодарный пасквилянт позволяет себе относиться к вашей новой прелестной повести „София“.

— Я читал отчет Бестужева о „Невском Альманахе“,—сказал Карлгоф, пуская клубы дыма из своей стамбулки,—и, признаюсь, не заметил там ничего для себя обидного.

— Помилуйте,—вопил Воейков,—как же это не обидно? Читайте: „На странице 109-й сказано: „Граф Линин в 26 лет отроду смотрел на жизнь, как на давно известную и следственно скучную книгу“. Например, Гомерова „Илиада“ давным давно известная книга, но следует ли из сего, что она скучна?“

— Это, действительно, обмолвка у меня, и я вполне ее сознаю,—объяснял Карлгоф,—почему и не считаю себя вправе претендовать на рецензента, исполнившего этим замечанием свою обязанность.

— Еще вот на какие штучки пускается этот Бестужев,—снова привязывается Воейков.—Вон он напечатал какое-то письмо к себе от себя же, то есть от Марфы Власьевны Томской, служащей ему псевдонимом. В письме этом различные напоминания издателю этого листка за его неисправный выход и убеждение поправиться как-нибудь. Вот ответ в стихах:

Все свято исполнить я вам обещаю
И ваших статей ожидаю.

— Куда как это тонко и остроумно!

Замечательно, что все выстрелы Воейкова против „Северного Меркурия“ оставались в гостиной без ответа и никем почти не развивались. На это была та простая причина, что все личности, наполнявшие гостиную Воейкова, помещали статьи свои в „Северном Меркурии“ и в „Гирлянде“ и ежели не посещали М. А. Бестужева-Рюмина по причине его уже чересчур циничного образа жизни и вообще быта, то посещали, напротив, очень часто его хорошего приятеля и настоящего издателя „Гирлянды“ Николая Александровича Татищева, который в тех же местах жил, то есть где-то около Знаменской, и жил очень комфортабельно, как человек богатый, светский, приличный, хотя постоянно страдавший физически. Он говаривал, что любит Бестужева за его доброе и незлобивое сердце, но весьма не одобряет в нем его беспорядочности и унизительной страсти к горячим напиткам. У Н. А. Татищева сходок и сборищ, в роде воейковских, не бывало; но затем каждый вечер, когда хо-

зяин изящной и обширной квартиры бывал дома,—а он почти никуда и никогда по хилости не выезжал,—то в его поместительном кабинете всегда можно было встретить двух-трех из тогдашних сотрудников журналов и вкладчиков альманахов. Перед окончанием вечера общество переходило в столовую, отделанную в готическом вкусе, и тут подавался такой ужин, который по изяществу и дороговизне никак не мог итти в сравнение со скромными и всегда почти плохо сервированными ужинами Воейкова. Довольно понятно, что весьма немногие, не посещавшие г. Татищева и не знакомые с ним, каковы были из числа гостей Воейкова: Борис Михайлович Федоров, г. Олин, товарищ его Вас. Прох. Никонов и, наконец, некто г. Пасынков,—персонаж довольно плотной корпуленции, с своеобразною отрывистою дикцией и какою-то задыхающеюся интонацией [1],—относились далеко не любезно к „Северному Меркурию“ и к „Гирлянде“, а в особенности к их издателю. Г. Олин, ма-

[1] [Я никогда не знал близко этого господина; но лет за 35-40 перед сим памятна была ходившая по рукам и едва ли не напечатанная в „Меркурии“ дерзкая эпиграмма Бестужева-Рюмина, основанная на каламбурном смысле фамилии, носимой господином Пасынковым, а именно:

Он чести пасынок, а пошлости сынок.

Чтобы громко об'являть такие вещи, надо быть уверенным в их безошибочности, но г. Бестужев-Рюмин оправдывался тем, что „пьяному море по колено“. Сколько известно, г. Пасынков отвечал только в воейковских журналах, называя Бестужева „Пьянюшкиным“, а журнал его „Меркурий“ —„вором“.]

ленький, субтильненький человечек, довольно щепетильный и говорящий с некоторым увлечением, в то время издавал газетку „Колокольчик“, о котором в „Северном Меркурии“ было сказано:

Хотя разбит, хотя не звучен,
Но, ах! как он несносно скучен,
Когда велением судьбин
Своим однообразным звоном
Он за безжалостным Хароном
Ослов мычащих стадо мчит
И для ушей их дребезжит.

Г. Олин был переводчик Байронова „Корсара“ и сочинитель и издатель великого множества различных книжек, книг и книжонок. Деньгами для издания „Колокольчика“ ему помогал повсюду его сопровождавший молодой купеческий сын Никонов, бледный, белобрысый, как маймист, и отличавшийся необыкновенною неловкостью. Впрочем, человек добрый и честный, насколько он действовал самостоятельно, но, к сожалению, самостоятельности-то он, бедняга, никакой не имел. Хотя он находился под опекой, но денег у него было немало, и он ими порядочно сорил. Он напечатал свою нелепейшую повесть „Новая бедная Лиза“, за напечатание которой в своем журнальце с него взял Бестужев-Рюмин, пользуясь его непроницательностью, 500 р. ассигн. В это время успели уверить Никонова, что несравненно лучше самому издавать газету, чем платить другому журналисту за печатание у него своих повестей. Никонов уразумел прелесть издательства и охотно сделался издате-

лем „Колокольчика“, редакцией которого занимался г. Олин, беспрестанно печатавший там чепуху, сочиняемую несчастным издателем. Можно себе вообразить, как шла эта газета и что такое был этот „Колокольчик“.

Большая часть воейковского общества, состоя из участников двух противоборствующих лагерей, не могла громить Бестужева даже в угоду Воейкову, и Воейков, понимая это, только старался, как мы уже видели, возбуждать отдельные личности против свого врага.

С некоторыми из гостей Воейкова мы уже знакомы, других же вы вовсе не знаете, почему теперь же сообщу вам о них все, что знаю и что помню.

Аладьин (Егор Васильевич), издатель в течение многих лет „Невского Альманаха“ и потом „Петербургского Вестника“—журнала, не имевшего успеха. Наружность его была весьма непрезентабельная: коротенький, толстоватенький человек, с бурым, одутловатым лицом, с сваливающимися на глаза русыми волосами. Речь не изящная, отрывистая, не ясная, выражения далеко не отборные. Он мастер был ежегодно выпрашивать у литераторов прозаические и поэтические статьи для своего „Невского Альманаха“ и искусен в том, чтобы повыгоднее издать книжку „Альманаха“ и потом еще выгоднее продать ее отчасти публике, а главное разным милостивцам. Он был родом курчанин и в Курске при каком-то тамошнем губернаторе начал свое служебное поприще. С 1824 года он появился в Петербурге

и, увлеченный блестящим тогдашним успехом альманахов—„Полярная Звезда“ Бестужева и Рылеева и „Северные Цветы“ барона Дельвига и Сомова, он предпринял свой „Невский Альманах“, долгое время доставлявший ему средства к более или менее сносной жизни. В ту пору, когда Аладьин сначала был покровительствуем, а потом почему-то преследуем Воейковым, ему удалось произвести еще другую довольно крупную спекуляцию, а именно, приобретя расположение бывшего тогда смоленским губернатором известного нашего драматического писателя Хмельницкого, он получил от последнего безвозмездное право издания в свою собственность всех, сколько их было, его театральных, довольно милых пиес, из числа которых знаменитая комедия в стихах „Воздушные замки“ и доныне считается недурною театральною пиеской. Аладьин об'явил об издании такого собрания под названием: „Театр Николая Хмельницкого“. Изданию назначена была цена 20, а с пересылкой 22 руб. ассигн. Подписку Аладьин открыл бойкую и ловкую, пустив ее не только через книжную торговлю, но в домах своих милостивцев—сановников и купцов, а также при посредстве протекции во всех почтовых конторах. Об'явление о подписке было состряпано довольно метко и, между прочим, снабжено следующими стишками Хмельницкого:

Чины вернее Ипокрены
Нас в Академию ведут,
И кто в чинах, тот мигом в члены,
А стихотворцы вечно ждут.

Зато, поразобравши строго
Академический причет,—
Превосходительных в нем много,
А в превосходных недочет.

Подписка кипела, и несколько тысяч подписчиков прислали Егору Васильевичу Аладьину свою крупную лепту. Но Аладьин, собрав деньги, книги не издавал. Жалобы сыпались. Носился слух, что при этом г. Аладьин изволил очень мило шутить с теми, которые его на его квартире (угол Невского и Литейной, дом Давыдова) отыскивали и атаковывали. Он через прислугу свою не сказывался дома; но иногда случалось, что прислуги не было в наличности, и тогда владелец-де сам принимал претендателей и, разыгрывая роль лакея, об'являл, что,—так по крайней мере рассказывали,—барин уехал в Царское или в Гатчину, или что барин лежит болен, а раз даже будто бы уверял сам одного настойчивого господина, что издатель „Театра Хмельницкого" умер и вчера на Смоленском кладбище погребен. Однако, наконец, сам Николай Иванович Хмельницкий не на шутку стал приступать к Аладьину о необходимости удовлетворить публику изданием обещанного собрания его пиес. Чем же кончилось? Кончилось тем, что за все поплатился добродушный Николай Иванович Хмельницкий, принявший на себя издержки издания, поручив однако уже эту операцию другому лицу, от которого мы и узнали все эти курьезные подробности. Сам Аладьин, сколько мне известно, ничего не писал. Впрочем, извините, в первой на 1825 год книжке

„Невского Альманаха“ была напечатана написанная вяло, канцелярским языком его повесть, извлеченная из материала, имевшего великолепный сюжет. Это было следственное дело по поводу преступления, совершенного в 1823 году курским дворянином Ширковым, убившим молодую девушку, не отвечавшую на его страсть, тем более предосудительную, что он был довольно стар, девушка же эта была подруга его взрослой дочери-невесты. Аладьин не сумел искусно воспользоваться хорошим материалом и, как дурной ваятель, из куска каррарского мрамора произвел вместо изящной статуи уродливого истукана.

Резкую противоположность с Аладьиным представлял в гостиной Воейкова и на многочисленных вечерах Греча скромный, кроткий, тихий, приветливый, крайне деликатный во всех своих поступках Константин Петрович Масальский, автор весьма многих русских исторических романов и стихотворной повести: „Терпи, казак, атаманом будешь“. Эту повестушку, с претензиями на что-то особенно теплое и сердечное, нынче едва ли кто из настоящего поколения знает; но в начале тридцатых годов она имела такой успех, что, напечатанная в количестве 1 200 экземпляров, разошлась в две недели и потом в течение одного года выдержала два издания в несравненно большем числе экземпляров, так что ее разошлось в России не менее 10 000 экземпляров в течение одного года. Константин Петрович Масальский воспитывался в благородном университетском пансионе, а служил постоянно в го-

сударственной канцелярии. Он имел тип очень приличного министерского чиновника, с формами необыкновенно мягкими, кроткими, учтивыми, но без вкрадчивости и заискивания, которых был чужд. Он знал несколько иностранных языков и, между прочим, в совершенстве испанский язык, с какого и перевел мастерски творение бессмертного Сервантеса „Дон-Кихот". Масальский отличался движениями чрезвычайно систематическими и скорее медленными, чем проворными. Он был невелик ростом, приятной наружности, с тонким продолговатым носом à la Henri IV и с густыми каштановыми котлетообразными бакенбардами прежней формы, то есть покрывавшими полосой щеки от висков к губам. Говорил он весьма негромко, никогда не спорил и на литературных сходках, где сплетня царила, он углублялся с трубкой в уголок, где вполголоса беседовал с кем-нибудь из тех посетителей сходки, с которым беседа могла быть для него приятной. Полевой сильно нападал на все то, что выходило из-под пера Масальского; но Масальский уклонялся от личной полемики, предоставляя защиту свою журналистам, которых однако снабжал иногда материалами, необходимыми для антикритики. Им создано слово „бранелогия", принятое „Северною Пчелой" для определения страсти к полемике между журналами.

Владимир Андреевич Владиславлев, уланский офицер, перешедший потом старшим ад'ютантом в корпус жандармов и пользовавшийся особым расположением Воейкова, человек до-

вольно богатый по жене, урожденной Калагеорги. У него были назначенные дни, вечера, ужины и обеды. Он писал в прозе повестушки и военные воспоминания, довольно вялые. Владиславлев замечателен изданием в течение многих лет изящного альманаха „Утренняя Заря“, виньетки и картинки которого исполнялись в Лондоне и были истинно хороши. Между этими картинками замечательны были в особенности портреты петербургских и московских красавиц из высшего общества. Приложение это значительно возвышало цену издания г. Владиславлева, которое, впрочем, расходилось тысячами экземпляров искусственным образом, главным образом благодаря письмам графа Бенкендорфа, просившего всех губернаторов и городских голов распространять это издание, так как половина сбора назначалась в пользу благотворительных целей. Масса требований на „Утреннюю Зарю“, продававшуюся по 10 р. экземпляр, была громадна. Благодаря „Утренней Заре“ Владиславлев с каждым годом все улучшал и улучшал свое положение да и прослыл литератором, находясь постоянно в обществе Воейкова, славившего его во всю ивановскую, а потом пользуясь приязнью Кукольника и всей братии этого общества.

Владимир Григорьевич Бенедиктов. О его поэтических достоинствах нечего распространяться, потому что они, поднятые высоко партией в свое время, были строго оценены критикой Полевого, на которого за эту и за многие его другие правды поднималась ужас-

нейшая оппозиционная буря, кончившаяся однако мыльными пузырями, как и вся шутливая и высокопарная поэзия. Ежели о поэте, как личности, судить по его произведениям, то можно бы было представить себе Бенедиктова величественным, красивым и горделивым мужем, с открытым большим челом, с густыми кудрями темных волос, грациозно закинутых назад, с головой смело поднятою, с глазами, устремленными глубоко вдаль, с движениями смелыми и повелительными, с поступью плавною, с речью звучною, серебристою, музыкальною. Действительность же представляет человека плохо сложенного, с длинным туловищем и короткими ногами, роста ниже среднего. Прибавьте к этому голову с белокуро-рыжеватыми, примазанными волосами и зачесанными на висках крупными закорючками; лицо рябоватое, бледно-гемороидального цвета, с красноватыми пятнами, и беловато-светлосерые глаза, окруженные плойкой морщинок. Не знаю, как впоследствии являлся почтенный Владимир Григорьевич, но в тридцатых и последующих, еще до пятидесятого года, я иначе нигде, где только его видал, не встречал, как в форменном фраке министерства финансов, с орденом или даже с орденами на шее и в левой петлице, при широком и неуклюжем черном атласном галстуке, весь склад и тип, от движения до голоса, министерского чиновника времен былых. Во всей внешности г. Бенедиктова никогда не было нисколько не только поэтичности, но даже малейшего оттенка, свойственного человеку, которому сколько-нибудь при-

Н. И. Греч.

А. Ф. Воейков.

суще вдохновение. Г. Бенедиктов принадлежал к кукольниковскому братству и постоянно посещал Нестора Васильевича, который в своем интимном кружке носил название или кличку „Епископа“, бог знает почему. В этом обществе впоследствии стал являться Полевой, сдружившийся с Кукольником из крайности и нужды, когда он принужден был горькими обстоятельствами оставить Москву. Здесь у Кукольника Полевой встречал Бенедиктова и, казалось, таял от восторга, слушая громогласные стихотворения форменного поэта.

Трилунный—был псевдоним некоего г. Струйского, писавшего в журналах и альманахах очень много прозой и стихами, иногда довольно мило. Он издавал и отдельные сочинения под своим постоянным псевдонимом. „Северная Пчела“, снисходительная к самым дрянным посредственностям, проявляла строгость к Трилунному, в котором она, бог знает почему, отвергала не только поэтическое дарование, но даже и всякую литературную способность, что было несправедливо. Г. Струйский был человек довольно достаточный, принадлежал к хорошему обществу, имел приличные формы; но со всем тем напускал ли он на себя, или нет, а только он отличался какими-то странными манерами, благодаря которым его легко можно было принять за сумасшедшего или по крайней мере за исступленного, за меланхолика, вообще за человека вне нормы. Движения его были часто излишне порывисты, он являл примеры странной рассеянности в туалете своем, щеголеватом, но небрежном, при чем

иногда не по сезону он носил шинель с меховым воротником в ту пору, когда все драпировались легкими плащами по причине июльской жары. Он был некрасив, бледно-желто-коричневого цвета имел лицо, глаза закрывались нависшими широчайшими бровями, волосы щетинились, очки никогда не снимались с его мутных глаз. Вообще, он казался молодым стариком.

Леопольд Иванович Брандт, носивший всегда светло-синий фрак с белыми пуговицами ведомства путей сообщения, всегда с золотою табакеркой и фуляровым платком в левой руке. Речь наставительная и самовосхвалительная, движения медленные и плавные, усмешка, старающаяся быть остроумною и глубокомысленною. Слыл литератором, потому что печатал в журналах различные статейки довольно отрицательных качеств и издал какой-то роман. Он являлся постоянно, словно на службу, к Гречу по четвергам, к Воейкову по пятницам и к Кукольнику по субботам.

Василий Николаевич Щастный, родом литвин, служил в государственной канцелярии, писал довольно много изрядных стихов в альманахах; но услуга его в литературе русской состоит в том, что он перевел на русский язык очень успешно поэму знаменитого польского поэта Мицкевича „Фарис“, которую в его переводе, истинно изящном, можно не без удовольствия прочесть и нынче даже в наш непоэтический век. Г. Щастный был довольно приятный и спокойный молодой человек, тогда лет двадцати пяти с небольшим.

Михаил Алексеевич Яковлев. Это был строгий и страшный для театрального мира критик-рецензент „Северной Пчелы“. Он писал очень ловко и верно, хотя, служа в министерстве иностранных дел, иногда должен был смягчать правоту своих приговоров артистам и в особенности артисткам, имевшим своих покровителей между аристократами. Яковлев получил образование в Петропавловской немецкой школе и был сыном русского купца, торговавшего под Думой серебряными изделиями, почему некоторые журнальные наездники, находившие возможными все средства для своих отпарирований, позволяли себе пошлые шуточки и насчет происхождения автора статей с подписью М. Я. Яковлева выводили на сцену неоднократно. Я помню какой-то водевиль, где он являлся под именем Мишутки Яшуткина и был вылитый оригинал. Не помню только, кто его представлял тогда, кажется, Марковецкий или Рязанцев. Та же корпуленция, более чем плотная, то же огненно-кирпиче-красное лицо, с очками в черепаховой оправе, тот же черный сюртук, черный жилет по горло и с беленькими форменными пуговичками и то же отсутствие всякого наружного признака белья, чем отличался костюм почтенного Михаила Алексеевича. Он был давнишним сотрудником „Северной Пчелы“, платившей ему только креслами в театрах за его статьи. Воейков окружал его учтивым вниманием и был с ним на самой лучшей ноге, что не мешало Воейкову при нем ругать Булгарина, а Яковлеву хохотать при этих выходках, точно доходивших до смешного.

Лука Михайлович Якубович, веселый разбитной малый, круглолицый, румяный, кудрявый, отставной какой-то офицер, печатавший немало статеек в стихах и в прозе, из которых некоторые были недурны. Это был нечто в роде взрослого enfant terrible, наивный, беззаботный, всегда имевший в запасе своей памяти разного рода новости журнального дела. Он, кажется, посвящал большую часть своего дня на собирание известий по книжным лавкам, кондитерским, трактирам и типографиям, почему новости эти нередко переходили в оттенок сплетни, а сплетня, как я уже сказал прежде, царила в воейковской гостиной, где надо было соблюдать изрядную осторожность, чтобы не сделаться ее жертвой или игралищем...

В. Бурнашев [1]

[1] Воспоминания В. П. Бурнашева о Грече и Булгарине встретили в печати немало возражений (перечень их см. в „Обзоре записок, дневников"... сост. С. Минцловым, вып. 2 и 3, Новгород, 1912, стр. 97), вызвали даже со стороны М. Пыляева след. четверостишие:

Не удивляюсь Бурнашеву,
Что подсунул ложь Каткову,
Но удивляюсь я Каткову,
Как поверил Бурнашеву.

Но мы выключили те места его мемуаров, где допущено явное неправдоподобие (о Пушкине у Булгарина и проч.). О самом мемуаристе есть любопытный этюд Н. Лескова—„Первенец богемы в России"—в „Истор. Вестнике" 1888, т. XXXII (тут автобиография В. П. Бурнашева). „Воспоминания" В. Бурнашева вышли в М. в 1873 г.

В МОСКВЕ 30–50-Х ГОДОВ

КРУЖОК А. И. ГЕРЦЕНА [1]

Славное было время, события неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда, Бельгия вспыхнула, трон короля-гражданина качался, какое-то горячее революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы, все снова сделалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы все принимали за чистые деньги.

Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описание Гейне, услышавшего на Гельголанде, „что великий языческий Пан умер". Тут нет поддельного жара; Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы восемнадцати.

Мы следили шаг за шагом, за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком; мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется, радикальных, и хранили у себя их портреты от Манюэля и

[1] „Былое и думы".

Бенжамена Констана до Дюпон-де-Лера и Армана Кареля.

Нас было пятеро сначала, тут мы встретились с Пассеком (Вадимом).

Собирались мы попрежнему всего чаще у Огарева. Больной отец его переехал на житье в свое пензенское имение. Он жил один в нижнем этаже их дома у Никитских ворот. Квартира его была недалеко от университета, и в нее особенно всех тянуло. В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собою сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незаметно сердцем организма.

Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула...

...Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной истории, которая осталась бы на совести, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится без исключения ко всем нашим друзьям.

Были у нас платонические мечтатели и разочарованные юноши в семнадцать лет. Вадим даже писал драму, в которой хотел представить „страшный опыт своего изжитого сердца". Драма эта начиналась так: „Сад—вдали дом—окна освещены—буря—никого нет—калитка не заперта, она хлопает и скрипит".

— Сверх калитки и сада есть действующие лица?—спросил я у Вадима.

И Вадим, несколько огорченный, сказал мне:

— Ты все дурачишься! Это не шутка, а быль моего сердца; если так, я читать не стану,—и стал читать.

Были и вовсе не платонические шалости, даже такие, которые оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлых интриг, губящих женщину и унижающих мужчину, не было содержанок (даже не было и этого подлого слова). Покойный, безопасный, прозаический, мещанский разврат, разврат по контракту, миновал наш круг.

Стало быть, вы допускаете худший, продажный разврат?

— Не я, а вы! То есть не вы—вы, а вы—все. Он так прочно покоится на общественном устройстве, что ему не нужно моей инвеституры.

Общие вопросы, гражданская экзальтация спасали нас; и не только они, но сильно развитой научный и художественный интерес. Они, как зажженная бумага, выжигали сальные пятна.

Время, следовавшее за усмирением польского восстания, быстро воспитывало. Мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно, теории наши становились нам подозрительны.

Детский либерализм 1826 года, сложившийся мало-по-малу в то французское воззрение, которое проповедывали Лафайет и Бенжамен Констан, пел Беранже,—терял для нас, после гибели Польши, свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодежи, и в ее числе Вадим, бросились на глубокое и серьезное изучение русской истории. Другая — в изучение немецкой философии.

Мы с Огаревым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтоб скоро поступиться ими. Вера в беранжеровскую застольную революцию была потрясена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в нестеровской летописи, ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга.

Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процесс. Они поразили нас.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смеялись над отцом Анфантеном и над его апостолами; время иного признания наступает для этих предтеч социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мещанского мира эти восторженные юноши с своими неразрезными жилетами, с отрощенными бородами. Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей, хотевший их судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религии.

С одной стороны, освобождение женщины, призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею, как с равным.

С другой—оправдание, искупление плоти, Réhabilitation de la chair!

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми, мир здо-

ровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно-чистый. Много издевались над свободой женщины, над признанием прав плоти, придавая словам этим смысл грязный и пошлый; наше монашески-развратное воображение боится плоти, боится женщины. Религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты—на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало в свою очередь и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез.

Какое мужество надо было иметь, чтоб произнести всенародно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении.

Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный революцией, но закрепленный, перешитый и упроченный мещанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он хотел судить отщепенцев на основании своего тайно соглашенного лицемерия, а люди эти обличили его. Их обвиняли в отступничестве от христианства, а они указывали над головой судьи завешенную икону после революции 1830 года. Их обвиняли в оправдании чувственности, а они спросили у судьи, целомудренно ли он живет?

Новый мир толкался в дверь, наши души наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм

лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном.

Удобо-впечатлимые, искренне молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду— через море!

А. И. Герцен

КРУЖОК Н. В. СТАНКЕВИЧА [1]

I

У Станкевича собирались каждый день дружные с ним студенты его курса и, кроме них, вышедшие прежде некоторые его товарищи, из которых замечательнее других Ключников; в первый раз также видел я там Петрова (санскритолога) и Белинского. Кружок Станкевича был замечательное явление в умственной истории нашего общества... В этом кружке вырабатывалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир,— воззрение большею частью отрицательное. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма, все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое высказывалось в кружке Станкевича, быть может, впервые, как мнение целого общества людей. Как всегда бывает, отрицание лжи доводило и здесь до односторонности, но, надобно отдать справедливость, односторонность

[1] К. С. Аксаков. Воспоминание студентства 1832—1835 годов. С.-Пб. 1911. Стр 17—20. Первоначально было напечатано в газете „День“ за 1862 год, №№ 39, 40.

эта не была крайняя, была искреняя; нападение на претензию, иногда даже и там, где ее не было, — не переходило само в претензию, как это часто бывает и как это было в других кружках. Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ей похвалами. Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, еще со многим не уравнявшийся, я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с самых малых лет. Но видя постоянный умственный интерес в этом обществе, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка и решительно каждый вечер проводил там.

Кружок Станкевича, в который, как сказал я, входили и другие молодые люди, отличался самостоятельностью мнения, свободною от всякого авторитета; позднее эта свобода перешла в буйное отрицание авторитета, выразившееся в критических статьях Белинского, — следовательно перестала быть свободною, а, напротив, стала отрицательным рабством. Но тогда это было не так. Односторонность и несправедливость были и тогда, происходя, как невольное следствие, от излишества стремления, но это не было раз принятою оппозициею, которая есть дело вовсе не мудреное. Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко,—и что всего заме-

чательнее, кружок этот, будучи свободомыслен, не любил ни фрондерства, ни либеральничанья, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее всего; даже, вообще, политическая сторона занимала его мало; мысль же о каких-нибудь кольцах тайных обществ и пр. была ему смешна, как жалкая комедия. Очевидно, что этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины. Это стремление, . осуществляясь иногда односторонне, было само в себе справедливо и есть явление вполне русское. Насмешливость и иногда горькая шутка часто звучали в этих студенческих беседах. Такой кружок не мог быть увлечен никаким авторитетом. Определяя этот кружок, я определяю всего более Станкевича, именем которого, по справедливости, называю кружок. Стройное существо его духа удерживало его друзей от того легкого рабского отрицания, к которому человек так охотно бежит от свободы, и когда Станкевич уехал за-границу, — быстро развилась в друзьях его вся ложь односторонности, и кружок представил обыкновенное явление крайней исключительности. Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензии, и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин и Бакунин, должны были ему уступать. В существе его не было односторонности: искус-

ство, красота, изящество много для него значили. Он имел сильное значение в своем кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признававших его превосходство, было проникнуто свободною любовью, без всякого чувства зависимости. Скажу еще, что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайних безжизненных и бездушных выводов мысли, а Белинский еще воздерживал при нем свои буйные хулы. Хотя значение церкви не раскрылось еще Станкевичу, по крайней мере до от'езда его за границу, но церковь и еще семья были для него святыней, на которую он не позволял при себе кидаться. Станкевич был нежный сын. Кружок Станкевича продолжался и по выходе его и друзей его из университета; он имел свой ход и свое значение в обществе.

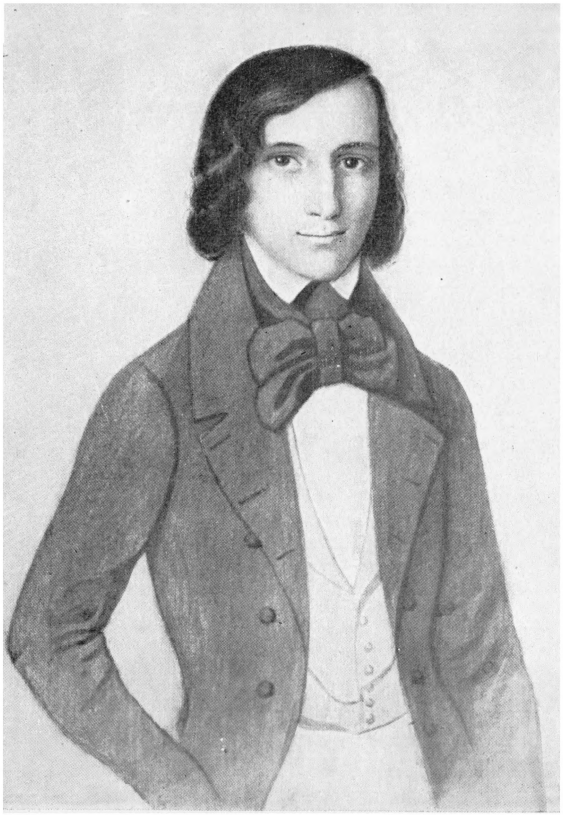
К. С. Аксаков

II [1]

... Круг молодых людей, составившийся около Огарева, не был наш прежний круг. Только двое из старых друзей, кроме нас, были налицо. Тон, интересы, занятия—все изменилось. Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом гегелевской философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений.

Станкевич, один из праздных людей, ничего не совершивших, был первый после-

[1] А. И. Герцен. „Былое и думы".



Н. В. Станкевич.

А. И. Герцен.

дователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен — из него вышла целая фаланга ученых литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский.

До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руками и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой последние следы взаимного непониманья, был Грановский; но когда я приехал в Москву, он еще был в Берлине, а бедный Станкевич потухал на берегах Lago di Como лет двадцати семи.

Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич естественно должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был „победный венок", выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтоб надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направление совер-

шенно противоположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как русский дух переработал Гегелево учение и как наша живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое. Но в начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать против текста за дух, против отвлечений за жизнь.

Новые знакомые приняли меня так, как принимают эмигрантов и старых бойцов, людей, выходящих из тюрем, возвращающихся из плена или ссылки, с почетным снисхождением, с готовностью принять в свой союз, но с тем вместе не уступая ничего, а намекая на то, что они сегодня, а мы уже вчера, и требуя безусловного принятия феноменологии и логики Гегеля и притом по их толкованию.

Толковали же они об них беспрестанно; нет параграфа во всех трех частях логики, в двух эстетики, энциклопедии и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении „перехватывающего духа“, принимали за обиды мнения об „абсолютной личности и о ее по-себе бытии“. Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней.

Молодые философы приняли какой-то условный язык, они не переводили на русский, а перекладывали целиком, да еще для большей

легкости оставляя все латинские слова in crudo, давая им православные окончания и семь русских падежей.

Я имею право это сказать потому, что, увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же, да еще удивлялся, что известный астроном Перевощиков называл это „птичьим языком". Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: „Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоишущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте".

Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и понимание; отношение к жизни, к действительности, сделалось школьное, книжное; это было то ученое понимание простых вещей, над которыми так гениально смеялся Гете в своем разговоре Мефистофеля с студентом. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной, алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но опре-

делял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывающаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку, к „гемюту“ или к „трагическому в сердце“...

То же в искусстве. Знание Гете, особенно второй части „Фауста“ (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, о Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как „Всемогущество божие“, „Атлас“. Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое.

Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гете об'ективен, но что его об'ективность суб'ективна, тогда как Шиллер поэт суб'ективный, но его суб'ективность об'ективна и vice versa, все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться.

Философская фраза, наделавшая всего больше вреда, и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: „все действительное разумно“, была иначе высказанное начало до-

статочной причины и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии, тем что некогда были слова Павла: „Нет власти, как от бога". Но если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции — чистая тавтология; но тавтология или нет, она прямо вела к признанию предержащих властей, к тому, чтоб человек сложил руки,—этого-то и хотели берлинские буддисты. Как такое воззрение ни было противоположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московские гегельянцы.

Белинский, самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, проповедывал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и несамобытные; в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

— Знаете ли, что с вашей точки зрения,— сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, вы можете доказать, что самодержавие, под которым мы живем, разумно.

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел мне Бородинскую годовщину Пушкина.

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, об'яснить, заговорить, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую назвал „Бородинской годовщиной".

Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин, хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, — его революционный такт толкал его в другую сторону. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми.

Середь этой междоусобицы я увидел необходимость ex ipsa fonte libere и серьезно занялся Гегелем. Я думаю даже, что человек, не переживший феноменологии Гегеля и противоречий общественной экономии Прудона, не перешедший через этот горн и этот закал, не полон, не современен.

Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей; таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая „бранденбургские ворота". Философия Гегеля—алгебра революции; она необыкновенно освобо-

ждает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя.

Через несколько месяцев после от'езда Белинского в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна—он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец, он натянул своими письмами свидание. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я, мы не были большие дипломаты,—в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о бородинской годовщине. Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне:

— Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... Ваша взяла: три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на-днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться?—Это автор статьи о бородинской годовщине?—спросил его на ухо офицер. – Да. — Нет, покорно благодарю,—сухо ответил он.—Я слышал все и не мог вытерпеть, я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: Вы благородный человек, я вас уважаю... Чего же вам больше?

С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.

Белинский, как и следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное, plus royalistes que le roi — они с мужеством несчастия старались отстаивать свои теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия.

Все люди дельные и живые перешли на сторону Белинского, только упорные формалисты и педанты отдалились; одни из них дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес и сами потерялись без вести. Другие сделались православными славянофилами.

Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию. Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой-как пережившего 1825 г. в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева, является выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто подымаясь до поэтического воодушевления. Разбираемая книга служила ему, по большей части, материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему до-

статочен стих: „Родные люди вот какие“ в Онегине, чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. Кто не помнит его статьи о „Тарантасе“, о „Параше“ Тургенева, о Державине, о Мочалове и Гамлете? Какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем, так катаньем, не анти-критикой, так доносом. Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяние их дорогие з а д у ш е в н ы е мысли, их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую Анненской лентой.

Как же они за это его и ненавидели!

Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли „Отечественные Записки“; тяжелый номер рвали из рук в руки: „Есть Белинского статья?“ „Есть“,—и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, у в а ж е н и й как не бывало.

Не даром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте: „Когда же

к нам, у меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу".

Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе или в очень многочисленном.

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура! Да, это был сильный боец: он не умел проповедывать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он нехорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла. Бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!

Притесняемый денежно литературными подрядчиками, притесняемый нравственно цензурой, окруженный в Петербурге людьми мало симпатичными, снедаемый болезнию, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был до дикости застенчив и иногда недели целые

проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещущие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей...

...Лишения и страдания скоро совсем подточили болезненный организм Белинского. Лицо его, особенно мышцы около губ, печально остановившийся взор равно говорили о сильной работе духа и быстром разложении тела.

В последний раз я видел его в Париже осенью 1847 г.; он был очень плох, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергия и ярко светилась своим догорающим огнем. В такую минуту написал он свое письмо к Гоголю.

Весть о февральской революции еще застала его в живых; он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро!

А. И. Герцен

КРУЖКИ ЗАПАДНИКОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ [1]

I

Здесь считаю уместным поговорить несколько обстоятельно о нашем кружке. Он составился не искусственно — не с предварительно определенною какою-либо целью, а естественно, сам собою, без всяких предвзятых мыслей и видов. Люди, одушевленные одинаковыми чувствами к науке и к своей стране, движимые потребностью не попугаями повторять, что говорится там — где-то на Западе, а мыслить и жить самобытно, и связанные взаимною дружбою и пребыванием в одном и том же городе—в древней столице—в сердце России,—эти люди видались ежедневно, обсуживали сообща возникавшие вопросы, делили друг с другом и общественные радости (которых было очень мало) и общественное горе (которого было в избытке), и таким образом, незаметно даже для самих участников, составился кружок единодушный и единомысленный. Он составился так незаметно, что нельзя даже приблизительно определить года его нарождения. Он имел влияние спервa слабое, а потом все более и более действенное не только в ли-

[1] Записки А. И. Кошелева, Берлин, 1884.

тературе, но и в общественной, даже политической жизни России; а потому некоторые сведения о людях, его составлявших, и, вообще, о направлении этого кружка будут, думаю, не лишними, и тем более, что эти люди, как отдельно так и в совокупности, подвергались разным упрекам, насмешкам, клеветам и обвинениям, которых они нимало не заслуживали и которые главнейше исходили из того, что вообще мало знали эти личности, не понимали или не хотели понять их убеждений и даже нередко умышленно представляли последние в извращенном виде.

Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бы бесследно с лица земли, если бы в числе его участников не было одного человека, замечательного по своему уму и характеру, по своим разнородным способностям и знаниям и в особенности по своей самобытности и устойчивости, т. е. если бы не было Алексея Степановича Хомякова. Он не был специалистом ни по какой части, но все его интересовало, всем он занимался, все было ему более или менее известно и встречало в нем искреннее сочувствие. Всякий специалист, беседуя с ним, мог думать, что его именно часть в особенности изучена Алексеем Степановичем. Хомяков мог с полною справедливостью о себе сказать: nihil humanum a me alienum puto. Обширности его сведений особенно помогала, кроме необыкновенной живости ума, способность читать чрезвычайно быстро и сохранять в памяти навсегда все им прочитанное...

Вторым деятелем в нашем кружке был Иван Васильевич Киреевский. Он был очень умен и даровит, но самобытности и самостоятельности было в нем мало, и он легко увлекался то в ту, то в другую сторону. Он перебывал локкистом, спинозистом, кантистом, шеллингистом, даже гегельянцем; он доходил в своем неверии даже до отрицания необходимости существования бога; а впоследствии он сделался не только православным, но даже приверженцем „Добротолюбия“ [1]. С Хомяковым у Киреевского были всегдашние нескончаемые споры: сперва Киреевский находил, что Хомяков чересчур церковен, что он недостаточно ценил европейскую цивилизацию и что он хотел нас нарядить в зипуны и обуть в лапти; впоследствии Киреевский упрекал Хомякова в излишнем рационализме и в недостатке чувства в делах веры. Прения эти были чрезвычайно полезны как для них самих, так и для нас, более или менее принимавших в них участие. Эти беседы продолжались далеко за полночь и часто прекращались только утром, когда уже рассветало. Они оба друг друга высоко ценили, глубоко уважали и горячо любили.

Другими собеседниками нашими были М. П. Погодин, С. П. Шевырев, П. В. Киреевский и некоторые другие лица. Первые двое никогда вполне не разделяли мнения Хомякова, находивши, особенно в первые годы,

[1] [Известное сочинение Василия Великого, составленное для руководства монахам.]

что по духовным делам он слишком протестантствовал и что русскую историю он переделывал по-своему, находил в ней то, чего там не было, и влагал в нее свои измышления. Впрочем, впоследствии времени произошло некоторое сближение в мнениях Погодина и Шевырева с убеждениями так называемых славянофилов.—П. В. Киреевский весь был предан изучению русского коренного быта, с любовию и жаром собирал русские народные песни, не щадил на это ни трудов, ни издержек и принимал деятельное участие в прениях только тогда, когда они касались любимых его предметов.

Впоследствии вступили в наш кружок две замечательные личности: Константин Сергеевич Аксаков и Юрий Федорович Самарин. Оба они были очень умны и даровиты, и хотя они были чрезвычайно дружны, однако свойства их ума и дарований были совершенно различны. В первом преобладали чувство и воображение: он страстно любил русский народ, русскую историю, русский язык и делал в двух последних поразительные, светоносные открытия. Правда, часто он впадал в крайности, и мысли, самые верные в основе, становились в его устах парадоксами; но любовь, которою все у него одушевлялось, приобретала ему друзей и последователей и усиливала его влияние в обществе и особенно на женщин. Ю. Ф. Самарин действовал совершенно иными орудиями: у него по преимуществу преобладали критика, логика и диалектика. Тружеником был он примерным: во

всю жизнь он учился; никакие трудности и работы его не устрашали; своим железным терпением он все преодолевал. Он действовал сильно и в литературе и в общественной, даже политической жизни; он приобретал много ценителей и почитателей, но мало приверженцев и друзей. Оба они глубоко уважали Хомякова, высоко ценили его деятельность и признавали себя постоянно и охотно его учениками. Они принимали в наших беседах самое живое участие и вскоре сделались в нашем кружке первостепенными деятелями. Не могу здесь не упомянуть об Иване Сергеевиче Аксакове, тогда только вышедшем в отставку, поселившемся в Москве и начинавшем с нами все более и более сближаться. Тогда он был чистым и ярым западником, и брат его Константин постоянно жаловался на его западничество.

Сообщая сведения об этом кружке, нельзя не упомянуть о людях, более или менее принимавших участие в наших беседах, хотя они вовсе не разделяли наших общих убеждений. Такими были — Чаадаев, Грановский, Герцен, Н. Ф. Павлов и некоторые другие умные и замечательные люди. Чаадаев охотно бывал на наших вечерних собраниях, но он особенно любил, чтобы его посещали по понедельникам утром. Тут происходили горячие богословские и исторические споры; Чаадаев постоянно доказывал превосходство католичества над прочими вероисповеданиями и неминуемое и близкое его над ними торжество. Не менее настойчиво Чаадаев утвер-

ждал, что русская история пуста и бессмысленна и что единственный путь спасения для нас есть безусловное и полнейшее приобщение к европейской цивилизации. Легко себе вообразить, что такие мнения не оставались без сильных возражений со стороны Хомякова, и споры были столь же жаркие, сколько и продолжительные.—С Герценом прения были более философские и политические. Начинались они всегда очень дружелюбно и спокойно, но часто кончались настоящими словесными дуэлями: борцы горячились и расставались с неприятными чувствами друг против друга. Грановский, Н. Ф. Павлов и другие усердно поддерживали Герцена [1].

А. И. Кошелев

II [2]

Возвратившись из Новгорода в Москву, я застал оба стана на барьере. Славяне были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после

[1] Необходимым дополнением к воспоминаниям А. И. Кошелева служат главы XXIX и XXX, часть IV, „Былое и думы" Герцена; статья П. В. Анненкова—Замечательное десятилетие—в его „Литературных воспоминаниях" (изд Academia); Воспоминания И. И. Панаева (изд. Academia); сочинения П. Вяземского—т. VIII, стр. 284—5, 288—292.

[2] „Былое и думы".

киевского периода, и умеренными жирондистами, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, выходившее всегда два месяца позже, но все же выходившее. При главном корпусе состояли православные гегельянцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и пр. и пр.

Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве. Вообще Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие; критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с которым бывало в Англии или во Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир, и в нем одном действительно совершался глухо и полусловами протест против гнета.

В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности.

Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин, где до нас декабристы давали тон, где смеялся Грибоедов, где М. Ф. Орлов

и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и тост, который все знали; где Редкин выводил логически личного бога, ad majorem gloriam Hegely, где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью, где все помнили Бакунина и Станкевича, где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воска, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген; где Боткин и Крюков пантеистически наслаждались рассказами М. С. Щепкина, и куда, наконец, иногда падал, как конгревова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало [1].

[1] Ср. в письме Ю. Самарина 1840 года: „было много споров. Главные схватки: a) Шевырева с Крюковым о том, можно ли молиться богу Гегеля! Шевырев подрезан с ног славно. b) Шевырева с Редкиным о первобытном состоянии человека. Редкин спорил прекрасно. Шевырев прикрыл постыдное отступление криками и общими местами, но он должен был погибнуть совершенно, если бы не вмешался (М. А.) Дмитриев и не отвлек Редкина. c) Спор Редкина с Дмитриевым о том же. Дмитриев мистик несносный; вздумал в споре философском приводить тексты, и спор дошел было до лич-

Москва сороковых годов принимала деятельное участие за мурмолки и против них; барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалея только, что Аксаков с л и ш к о м славянин, а Грановский недостаточно патриот.

Споры возобновлялись на всех литературных и не литературных вечерах, на которых мы встречались, — а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной.

Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на

ностей. d) Наконец, мой спор с Орловым, вздумавшим излагать мне какую-то свою систему. И удалось мне, смиренному Давиду, повалить грозного Голиафа!.. Мне нужно вас видеть до воскресной сходки". Сочинения, т. XII, стр. 21. В письме 1835 г. одного из участников московских кружков читаем: „Мы собираемся по пятницам у Свербеевых, по воскресениям—у Киреевского, иногда по четвергам—у Кошелевых и время от времени у Баратынского. Два, три раза в неделю мы все в сборе, дамы—непременные участницы наших бесед, и мы проводим время как нельзя веселее: Хомяков спорит, Киреевский поучает, Кошелев рассказывает, Баратынский поэтизирует, Чаадаев проповедует или возводит о ч и к н е б у, Герке дурачится, Мещерский молчит, мы остальные слушаем". Биография А. И. К о ш е л е в а, т. I, кн. II, стр. 227—228.

кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой [1].

А. И. Герцен

[1] Следует дополнить список московских гостиных, где встречалась дворянская интеллигенция, указав, напр., на дома Н. Мельгунова, М. Н. Загоскина, Сушкова, Ховриных, Сенявиных. См. Ю. Самарин. Сочинения, т. XII, стр. 36, 39, 43; в автобиографии Я. Неверова, опубликованной мной в „Вестнике Воспитания" 1915, сент., стр. 115; С. М. Загоскин. „Воспоминания"— „Историч. Вестник" 1900, № 1, стр. 75--76; № 2, стр. 526—527.

САЛОН А. П. ЕЛАГИНОЙ [1]

С тридцатых годов и до нового царствования дом и салон Авдотьи Петровны Елагиной были одним из наиболее любимых и посещаемых средоточий русских литературных и научных деятелей. Все, что было в Москве интеллигентного, просвещенного и талантливого, с'езжалось сюда по воскресеньям. Приезжавшие в Москву знаменитости, русские и иностранцы, являлись в салон Елагиных. В нем преобладало славянофильское направление, но это не мешало постоянно посещать вечера Елагиных людям самых различных верований до тех пор, пока литературные партии не разделились на два неприязненных лагеря - славянофилов и западников, что случилось в половине сороковых годов. Блестящие московские салоны и кружки того времени служили выражением господствовавших в русской интеллигенции литературных направлений, научных и философских взглядов. Это известно всем и каждому. Менее известны, но не менее важны были значение и роль этих кружков и салонов в другом отношении, — именно как школа для начинающих молодых людей: здесь они воспитывались и приготовлялись к последующей литературной и научной деятельности. Вводи-

[1] Собрание сочинений К. Д. Кавелина, т. III, СПБ. 1899, стр. 1120—1127.

мые в замечательно образованные семейства добротой и радушием хозяев—юноши, только что сошедшие со студенческой скамейки, получали доступ в лучшее общество, где им было хорошо и свободно благодаря удивительной простоте и непринужденности, царившей в доме и на вечерах. Здесь они встречались и знакомились со всем, что тогда было выдающегося в русской литературе и науке, прислушивались к спорам и мнениям, сами принимали в них участие и мало-по-малу укреплялись в любви к литературным и научным занятиям. К числу молодых людей, воспитавшихся таким образом в доме и салоне Авдотьи Петровны Елагиной, принадлежали: Дмитрий Александрович Валуев, слишком рано умерший для науки, А. Н. Попов, М. А. Стахович, позднее трое Бакуниных, братья эмигранта, художник Мамонов и другие. Все они были приняты в семействе Елагиных на самой дружеской ноге,—Валуев даже жил в их доме — и вынесли из него самые лучшие, самые дорогие воспоминания. Пишущий эти строки испытал на себе всю обаятельную прелесть и все благородное влияние этой среды в золотые дни студенчества; ей он обязан направлением всей своей последующей жизни и лучшими воспоминаниями. С любовью, глубоким почтением и благодарностью возвращается он мыслями к этой счастливой поре своей молодости, и со всеми его воспоминаниями из того времени неразрывно связана светлая, благородная, прекрасная личность Авдотьи Петровны Елагиной, которая всегда относилась к не-

му и другим начинающим юношам с бесконечной добротой, с неистощимым вниманием и участием. Такой же благодатной средой был для нас салон Свербеевых, открывшийся, кажется, несколько позднее, чем у Авдотьи Петровны. В сороковых годах он уже был в полном блеске [1].

Кто не участвовал сам в московских кружках того времени, тот не может составить себе и понятия о том, как в них жилось хорошо, несмотря на печальную обстановку извне. В этих кружках жизнь била полным, радостным ключом.

С 1835 года в салоне Елагиных появились новые лица, некоторые из молодых профессоров Московского университета, недавно возвратившихся из-за границы и вдохнувших в университет новую жизнь. То было время его процветания и небывалого блеска. В 1838 году с Елагиными познакомился Гоголь [2], а в сороковых годах салон Авдотьи Петровны стали посещать Герцен, Ю. Ф. Самарин, Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Константин Сергеевич,

[1] См. „Дневник Елизаветы Ивановны Поповой". П. 1911. О пятницах Свербеевых в середине 30 годов есть упоминания в письмах Е. М. Языковой к брату. „Искусство", 1928, кн. 1—2, стр. 158, 160, 167; о вечерах в 40-х годах читаем, напр., в письме Ю. Самарина к К. Аксакову (зима 1840—1841): „вчера у Свербеевых дело зашло о Шиллере и т. п.", „вчера вечером кончил я чтение моих писем об Остзейском крае у Свербеева" (октябрь 1848 г.). См. сочинения Ю. Ф. Самарина. М. 1911, т. XII, стр. 23, 201.

[2] Гоголь читал здесь первые главы „Мертвых душ".

Н. П. Огарев, Н. М. Сатин. Не называем прежних постоянных посетителей и членов кружка, живших в Москве [1], и приезжих русских и иностранцев.

Авдотья Петровна не была писательницей, но участвовала в движении и развитии русской литературы и русской мысли более, чем многие писатели и ученые по ремеслу. Она не единственный у нас пример в этом роде. Кто заподозрит громадную роль в нашем развитии Грановского, перебирая два тощих тома его статей, или Николая Станкевича, который ничего после себя не оставил, кроме писем? Чтоб оценить ее влияние на нашу литературу, довольно вспомнить, что Жуковский читал ей свои произведения в рукописи и уничтожал или переделывал их по ее замечаниям [2]. Покойная показывала мне одну из таких рукописей—толстую тетрадь, испещренную могильными крестами, которые Жуковский ставил подле стихов, исключенных вследствие замечаний покойной. К сожалению я не могу сказать, какие именно стихотворения Жуковского прошли через такую переделку и все ли ей подвергались.

Авдотья Петровна много переводила с иностранных языков, но значительная часть этих

[1] Хомяков прочел зимой 1838 или 1839 г. свою статью „О старом и новом“, вызвавшую статью И. В. Киреевского „В ответ А. С. Хомякову“, где решались историч. проблемы в том освещении, которое в 40-х годах было названо славянофильским.

[2] У Елагиной в конце 20-х годов бывал Пушкин (после написания „Бориса Годунова“); встречались Вяземский, И. Дмитриев, А. Тургенев и др.

переводов, вследствие разных случайностей, не были напечатаны.

Основательно знакомая со всеми важнейшими европейскими литературами, не исключая новейших, за которыми следила до самой смерти, Авдотья Петровна особенно любила однако старинную французскую литературу. Любимыми ее писателями остались Расин, Жан-Жак Руссо, Бернарден де Сен-Пьер, Массильон, Фенелон.

Покойная до самой кончины имела живой, ясный и веселый ум. Ее записки к знакомым и близким, писанные года за два до смерти, поражают твердостью почерка, свежестью оборотов и стиля. Трогательно было видеть, как ветхая днями Авдотья Петровна не переставала заниматься чтением, переводами, живописью, рукоделием.

Не было собеседницы более интересной, остроумной и приятной. В разговоре с Авдотьей Петровной можно было проводить часы, не замечая, как идет время. Живость, веселость, добродушие, при огромной начитанности, тонкой наблюдательности, при ее личном знакомстве с массою интереснейших личностей и событий, прошедших перед нею в течение долгой жизни, и ко всему этому удивительная память все это придавало ее беседе невыразимую прелесть. Все, кто знал и посещал ее, испытали на себе ее доброту и внимательность. Авдотья Петровна спешила на помощь всякому, часто даже вовсе незнакомому, кто только в ней нуждался. Поразительные при-

меры этой черты ее характера рассказываются ее родными и близкими.

Покойная всю свою жизнь сохранила основные характерные черты того времени, когда воспитывалась и сложилась. Литературные, художественные, религиозно-нравственные интересы преобладали в ней над всеми прочими; политические и общественные вопросы отражались в ее уме и сердце своей гуманитарной и литературно-эстетической стороной. Такова была складка того поколения, к которому принадлежала покойная Авдотья Петровна, и этому направлению она осталась верной до последних дней жизни [1].

К. Д. Кавелин

[1] См. еще „Русск. Архив" 1894, № 2, стр. 218; „Русск. Архив" 1877, II, стр. 483—495; „Русск. Архив" 1886, № 3, письма А. П. Елагиной к А. Н. Попову.

У М. Ф. ОРЛОВА [1]

У М. Ф. Орлова был обед. Все гости были в сборе, когда взошел холодно кланяясь человек, которого оригинальная наружность, красивая и самобытно резкая, должна была каждого остановить на себе. Орлов взял меня за руку и представил; это был Чаадаев. Я мало помню об этой первой встрече, мне было не до него; он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол. После обеда Раевская, мать Орловой, сказала мне: „Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали!“ — „А вы думаете, — сказал Чаадаев, — что нынче еще есть молодые люди?“ Вот все, что осталось у меня в памяти.

Возвратившись в Москву, я сблизился с ним, и с тех пор до от'езда мы были с ним в самых лучших отношениях.

Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фоне московской high life. Я любил смотреть на него середь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас; лета не исказили стройного стана его, он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он

[1] „Былое и думы“.

молчал, как будто из воску или из мрамора, „чело как череп голый", серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть; потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах страсть под ледяной корой. Потом опять умолк, опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал его. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения [1].

А. И. Герцен

[1] О П. Я. Чаадаеве см. сочинения П. А. Вяземского, т. VIII, стр. 287 — 289.

ПОНЕДЕЛЬНИКИ ЧААДАЕВА [1]

С 1827 по 1856 г. Чаадаев прожил безвыездно в Москве и около 25 лет на одной квартире в Новой Басманной, в доме почетного гражданина Шульца, принадлежавшем прежде близкому ему семейству Левашовых. Живя на одном месте, он до того сделался рабом своих комфортабельных привычек, что все эти 30 лет ни разу не мог решиться провести ночь вне города, хотя многие из его родных и друзей радушно и настойчиво приглашали его в свои подмосковные, придумывая всевозможные удобства для такой легкой поездки и желая доставить хозяину дома возможность перекрасить на его квартире полы и стены и поправить к осени печи. Ему и самому очень хотелось проехаться и освежиться деревенским воздухом, но привычка брала над ним верх.

Тридцать лет сряду в обветшалой своей квартире из трех небольших комнат принимал он у себя еженедельно своих многочисленных знакомых, сперва вечером по средам, потом утром по понедельникам, и любил, чтобы его в эти дни не забывали. Вся Москва, как гово-

[1] Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799—1826). Т. II, М. 1899, стр. 404—406.

рится фигурально, знала, любила, уважала Чаадаева, снисходила к его слабостям, даже ласкала в нем эти слабости. Кто бы ни проезжал через город из людей замечательных, давний знакомец посещал его, незнакомый спешил с ним знакомиться. Кюстин, Могень (Mauguin), Мармье, Миркур, Мериме, Лист, Берлиоз, Гакстгаузен—все у него перебывали. Конечно, Чаадаев сам заискивал знакомства с известными чем-либо иностранными путешественниками и заботился, чтобы их у него видели; не менее старался он сближаться и с русскими литературными и другими знаменитостями. Я помню, как давно уже ленивый и необщительный Гоголь, еще до появления своих „Мертвых душ", приехал в одну середу вечером к Чаадаеву. Долго на это он не решался, сколько ни упрашивали общие приятели упрямого малоросса; наконец, он приехал и, почти не обращая никакого внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать и потом, прохрапев весь вечер, очнулся, пробормотал два-три слова в извинение и тут же уехал. Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения, и, конечно, оно вспоминалось ему при чтении Гоголя, а может быть, и при суждении о его произведениях [1]. Обыкновенно Чаадаев бывал самым ласковым и внимательным хозяином своих гостей и у себя давал более

[1] [Сличи письма его к кн. Вяземскому о Гоголе, „Р. Арх." 1866 г., стр. 1088. Примеч. П. Б(артенева).]

говорить и рассуждать посетителям, нежели говорил и спорил сам, хотя был очень словоохотен и по временам жаркий спорщик [1].

Д. Свербеев

[1] Чаадаев жил во флигеле дома Левашевых. В самом доме Левашевых часто бывали писатели, профессора и друг. представители культурной Москвы. По воспоминанию А. И. Дельвига, там бывали поэт И. И. Дмитриев (у которого ранее также были литературные собрания, о чем писал М. Погодин в газете „Русский" 1868, № 7, 8, 11 — „Вечера у И. И. Дмитриева" — и П. А. Вяземский в VII томе полного собрания соч., стр. 158 — 167), М. Ф. Орлов, А. Н. Раевский, Е. Баратынский, М. А. Дмитриев, Н. Х. Кетчер, П. Я. Чаадаев и мн. др. („Мои воспоминания", т. I, стр. 171—181). О Е. Г. Левашевой и о собраниях у нее в связи с об'явлением П. Я. Чаадаева, как автора „Философического письма", сумасшедшим интересные подробности в донесении жандармского полковника Перфильева (Мих. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826 — 1855 гг. Изд. 2, СПБ., 1909, стр. 423—424).

П. Я. Чаадаев.

А. П. Елагина.

СУББОТЫ С. Т. АКСАКОВА [1]

В 1832 году, кажется, весною, когда мы жили в доме Слепцова [2] на Сивцевом Вражке, Погодин привез ко мне в первый раз и совершенно неожиданно Николая Васильевича Гоголя. „Вечера на хуторе близ Диканьки" были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими. Я прочел впрочем Диканьку нечаянно: я получил ее из книжной лавки, вместе с другими книгами, для чтения вслух моей жене, по случаю ее нездоровья. Можно себе представить нашу радость при таком сюрпризе. Не вдруг узнали мы настоящее имя сочинителя; но Погодин ездил зачем-то в Петербург, узнал там, кто такой был „Рудый Панько", познакомился с ним и привез нам известие, что Диканьку написал Гоголь-Яновский. Итак это имя было уже нам известно и драгоценно.

По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров в кабинете моем, находившемся в мезонине, играл я в карты в четверной бостон, а человека три не игравших сидели около стола. В комнате было жарко, а

[1] Собрание сочинений С. Т. Аксакова.—П., 1910, т. IV. „История моего знакомства с Гоголем", стр. 347 и др.

[2] [И. С. Аксаковым прибавлено: „в Афанасьевском переулке".]

некоторые, в том числе и я, сидели без фраков. Вдруг Погодин без всякого предуведомления вошел в комнату с неизвестным мне очень молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: „Вот вам Николай Васильевич Гоголь!“ Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук [1], бормоча пустые слова пошлых рекомендаций. Во всякое другое время я не так бы встретил Гоголя. Все мои гости (тут были П. Г. Фролов, М. М. Пинский и М. С. Щепкин—прочих не помню) тоже как-то озадачились и молчали. Прием был не то что холодный, но конфузный. Игра на время прекратилась, но Гоголь и Погодин упросили меня продолжать игру, потому что заменить меня было некому. Скоро, однако, прибежал Константин [2], бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Я очень обрадовался и рассеянно продолжал игру, прислушиваясь одним ухом к словам Гоголя; но он говорил тихо, и я ничего не слыхал.

Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую [3] физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была пре-

[1] [Вместо „бросился надевать сюртук“ у И. С. Аксакова „прекратил игру“.]

[2] К. С. Аксаков.

[3] [И. С. Аксаков: особую.]

тензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой. У нас остались портреты, изображающие его в тогдашнем виде, подаренные впоследствии Константину самим Гоголем. К сожалению, я совершенно не помню моих разговором с Гоголем в первое наше свидание; но помню, что я часто заговаривал с ним. Через час он ушел, сказав, что побывает у меня на-днях, как-нибудь пораньше утром, и попросит сводить его к Загоскину, с которым ему очень хотелось познакомиться и который жил очень близко от меня. Константин тоже не помнит своих разговоров с ним, кроме того, что Гоголь сказал про себя, что он был прежде толстяк, а теперь болен; но помнит, что он держал себя неприветливо, небрежно и как-то свысока, чего, разумеется, не было, но могло так показаться. Ему не понравились манеры Гоголя, который произвел на всех без исключения невыгодное, несимпатичное впечатление. Отдать визит Гоголю не было возможности, потому что не знали, где он остановился: Гоголь не хотел этого сказать.

1839. Янв.

В субботу обедал у нас Гоголь с другими гостями; в том числе были Самарин и Григорий Толстой, давнишний мой знакомый и товарищ по театру, который жил в Симбирске и приехал в Москву на короткое время и которому очень хотелось увидать и познакомиться с Гоголем. Гоголь приехал к обеду несколькими минутами ранее обыкновенного и ска-

зал, что он пригласил ко мне обедать незнакомого мне гостя, графа Владимира Соллогуба. Если бы это сделал кто-нибудь другой из моих приятелей, то я бы был этим недоволен; но все приятное для Гоголя — было и для меня приятно. Дело состояло в том, что Соллогуб был в Москве проездом, давно не видался с Гоголем, в этот же вечер уезжал в Петербург и желал пробыть с ним несколько времени вместе. Гоголь, не понимавший неприличия этого поступка и не знавший, может быть, что Соллогуб, как человек, мне не понравится, пригласил его отобедать у нас. Через несколько минут вошел Толстой и сказал, что Соллогуб стоит в лакейской [1] и что ему совестно войти. Я вышел к нему и принял его ласково и нецеремонно. Гоголь опять делал макароны и был очень весел и забавен. Соллогуб держал себя очень скромно, ел за троих и не позволял себе никаких выходок, которые могли бы назваться неучтивостью по нашим понятиям и которыми он очень известен в так называемом большом кругу. С этого дня Гоголь уже обыкновенно по субботам приготовлял макароны. Он приходил к нам почти всякий день и обедал раза три в неделю, но всегда являлся неожиданно. В это время мы узнали, что Гоголь очень много работал, но сам он ничего о том не говорил. Он приходил к нам отдыхать от своих творческих трудов, поговорить вздор, пошутить, поиграть на бильярде, на котором, разумеется, играть совершенно

[1] [И. С. Аксаков: в передней.]

не умел; но Константину удавалось иногда затягивать его в серьезные разговоры об искусстве вообще. Я мало помню таких разговоров, но заключаю о них по письмам Константина, которые он писал около 20 января к Вере [1] в Курск и к Мише в Петербург. Вот что он говорит в одном своем письме: „Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю важность этого человека и всю мелкость людей, его не понимающих. Что это за художник! Как полезно с ним проводить время! Как уясняет он взгляд в мир искусства! Недавно я написал письмо об этом к Мише, серьезное и важное, которое вылилось у меня из души“.

В это время приехал Панов из деревни. Он вполне понимал и ценил Гоголя. Разумеется, мы сейчас их познакомили, и Панов привязался всей своей любящею душою к великому художнику. Он скоро доказал свою привязанность убедительным образом.

Так шло время до возвращения Ольги Семеновны с Верой и с Соничкой Самборской из Обояни. Они воротились, кажется, 2 или 3 февраля, вероятно в субботу, потому что у нас обедал Гоголь и много гостей. Достоверно, что во время их отсутствия, продолжавшегося ровно месяц, Гоголь нам ничего не читал, но когда начал он читать „Мертвые души“, т. е. которого именно числа, — письменных доказательств нет. Легко может быть, что он читал один или два раза по возвраще-

[1] В. С. Аксакова.

нии нашем из Петербурга, от 23 декабря до 2 января, потому что в письмах Веры к Машеньке Карташевской есть известие от 14 февраля, что мы слышали уже итальянскую его повесть (Анунциату) и что 6 марта Гоголь прочел нам уже 4-ю главу „Мертвых душ". 8 марта при многих гостях совершенно неожиданно для нас об'явил Гоголь, что хочет читать. Разумеется, все пришли в восхищение от такого известия, и все соединились в гостиной. Гоголь сел за боковой круглый стол, вынул какую-то тетрадку, вдруг икнул и, опустив бумагу, сказал, как он об'елся грибков. Это было начало комической сцены, которую он нам и прочел. Он начал чтение до такой степени натурально, что ни один из присутствующих не догадался, что слышит сочинение. Впрочем, не только начало, но и вся сцена была точно так же читана естественно и превосходно. После этого, в одну из суббот, он прочел 5-ю главу, а 17 апреля, тоже в в субботу, он прочел нам перед самой заутреней светлого воскресенья в маленьком моем кабинете 6-ю главу, в которой создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг. При этом чтении был Армфельд, приехавший просто поиграть со мной в пикет до заутрени, и Панов, который приехал в то время, когда уже Гоголь читал, и, чтобы не помешать этому чтению, он сидел у двери другого моего кабинетца. Панов пришел в упоение и тут же решился пожертвовать всеми своими расчетами и ехать вместе с Гоголем в Италию. Я уже говорил о том, как нужен был товарищ

Гоголю и что он напрасно искал его. После чтения мы все отправились в Кремль, чтобы услышать на площади первый удар колокола Ивана Великого. Похристосовавшись после заутрени с Гоголем, Панов сказал ему, что едет с ним в Италию, чему Гоголь чрезвычайно обрадовался.

С. Т. Аксаков

КРУЖОК АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА [1]

Казалось, трудно было бы так близко свести на долгие годы две таких противоположных личности, как моя и Григорьева. Между тем нас соединяло самое живое чувство общего бытия и врожденных интересов.

Связывающим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались упиться всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Ипокрену.

Начать с того, что Александр Иванович (отец Аполлона) сам склонен был к стихотворству и написал комедию, из которой отрывки нередко декламировал с жестами; но Аполлон видимо стыдился грубого и безграмотного произведения отцовской музы. Зато сам он с величайшим одушевлением декламировал свою драму в стихах под названием „Вадим Нижегородский". Помню, как надев шлафрок на опашку, вроде простонародного кафтана, он, войдя в дверь нашего кабинета, бросался на пол, восклицая:

О, земля моя родимая,
Край отчизны, снова вижу вас!..
Уж три года протекли с тех пор,
Как расстался я с отечеством.
И те три года за целый век
Показались мне, несчастному.

[1] А. А. Фет. „Ранние годы моей жизни". М. 1893, стр. 150—157, 160—161, 170, 172, 192—193.

Конечно, в то время я еще не был в силах видеть все неуклюжее пустозвонство этих мертворожденных фраз; но что это не ладно, я тотчас почувствовал и старался внушить это и Григорьеву. Так родилась эпиграмма:

Григорьев, музами водим,
Налил чернил на сор бумажный
И вопиет с осанкой важной:
Вострепещите! мой Вадим.

Писал Аполлон и лирические стихотворения, выражавшие отчаяние юноши по случаю отсутствия в нем поэтического таланта.

„Я не поэт, о, боже мой!"—восклицал он,—

Зачем же злобно так смеялись,
Так ядовито насмехались
Судьба и люди надо мной?

По этим стихам надо было бы ожидать в Аполлоне зависти к моим стихотворным попыткам. Но у меня никогда не было такого ревностного поклонника и собирателя моих стихотворных набросков, как Аполлон. Вскорости после моего помещения у них в доме моя желтая тетрадка заменена была тетрадью, тщательно переписанною рукой Аполлона.

Бывали случаи, когда мое вдохновение воплощало переживаемую нами сообща тоскливую пустоту жизни. Сидя за одним столом в течение долгих зимних вечеров, мы научились понимать друг друга на полуслове, причем отрывочные слова, лишенные всякого значения для постороннего, приносили нам с собою це-

лую картину и связанное с ними знакомое ощущение.

— Помилуй, братец,—восклицал Аполлон,— чего стоит эта печка, этот стол с нагоревшей свечею, эти замерзлые окна! Ведь это от тоски пропасть надо!

И вот появилось мое стихотворение

Не ворчи, мой кот-мурлыка...

долго приводившее Григорьева в восторг. Чуток он был на это, как Эолова арфа.

Помню, в какое восхищение приводило его маленькое стихотворение: „Кот поет, глаза прищуря", над которым он только восклицал:— „Боже мой, какой счастливец этот кот и какой несчастный мальчик!"

Аполлон в совершенстве владел французским языком и литературой, и при нашей встрече я застал его погруженного в Notre Dame de Paris и драмы Виктора Гюго. Но главным в то время идолом Аполлона был Ламартин. Последнее обстоятельство было выше сил моих. Несмотря на увлечение, с которым я сам перевел „Озеро" Ламартина, я стал фактически, чтением вслух убеждать Григорьева в невозможной прозаичности бесконечных стихов Ламартина и довел Григорьева до того, что он стал бояться чтения Ламартина, как фрейлины Анны Иоанновны боялись чтения Тредьяковского. Зато как описать восторг мой, когда после лекции, на которой Ив. Ив. Давыдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова, я побежал в лавку за этой книжкой?!

— Что стоит Бенедиктов?—спросил я приказчика.

— Пять рублей,—да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет.

Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с Аполлоном с упоением завывали при ее чтении. Но, поддаваясь байроновско-французскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэта-мыслителя Шиллера, но, главное, поэта об'ективной правды Гете. Талантливый Григорьев сразу убедился, что без немецкого языка серьезное образование невозможно, и, при своей способности, прямо садился читать немцев, спрашивая у меня незнакомые слова и обороты. Через полгода Аполлон редко уже прибегал к моему оракулу, а затем стал самостоятельно читать философские книги, начиная с Гегеля, которого учение, распространяемое московскими юридическими профессорами с Редкиным и Крыловым во главе, составляло главнейший интерес частных бесед студентов между собою. Об этих беседах нельзя не вспомянуть, так как настоящим заглавием их должно быть—Аполлон Григорьев. Как это сделалось, трудно рассказать по порядку; но дело в том, что со временем, по крайней мере через воскресенье, на наших мирных антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества. Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету, зять помощника попечителя Голохвастова — Ал. Вл. Новосильцев, всегда милый, остроумный и ори-

гинальный. Своим голосом, переходящим в высокий фальцет, он утверждал, что московский университет построен по трем идеям: тюрьмы, казармы и скотного двора, и его шурин приставлен к нему в качестве скотника. Приходил постоянно записывавший лекции и находивший еще время давать уроки будущий историограф С. М. Соловьев. Он, по тогдашнему времени, был чрезвычайно начитан и, располагая карманными деньгами, неоднократно выручал меня из беды, давая десять рублей взаймы. Являлся веселый, иронический князь Влад. Ал. Черкасский, с своим прихихикиванием через зубы, выдающейся вперед нижней челюстью. Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чая, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками. А между тем в небольших комнатах стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха. При этом ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов. Возникали одни отвлеченные и общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию.

— Позвольте, господа,—восклицал добродушный Н. М. Орлов,—доказать вам бытие божие математическим путем. Это неопровержимо.

Но не нашлось охотников убедиться в неопровержимости этих доказательств.

— Конечно,—кричал светский и юркий Жихарев, — Полонский несомненный талант. Но мы, господа, непростительно проходим мимо такой поэтической личности, как Кастарев:

Земная жизнь могла здесь быть случайной,
Но не случайна мысль души живой.

— Кажется, господа, стихи эти не требуют сторонней похвалы.

— Натянутость мысли, — говорит прихихикивая Черкасский, — не всегда бывает признаком ее глубины, а иногда прикрывает совершенно противоположное качество.

— Это противоположное, — пищит своим фальцетом Новосильцев, — имеет несколько степеней: il y a des sots simples, des sots graves et des sots superfins.

Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского. Я любил встречать его у нас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут налету...

Появлялся чрезвычайно прилежный и сдержанный С. С. Иванов, впоследствии товарищ попечителя московского университета. С великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый К. Д. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка.

Приходил к нам и весьма способный и энергичный, Шекспиру и в особенности Байрону преданный Студицкий. Жаль, что в настоящее время я не помню ни одного из прево-

сходных его стихотворных переводов еврейских мелодий Байрона. Вынужденный тоже давать уроки, он всем выхвалял поэтический талант одного из своих учеников, помнится, Карелина. Из приводимых Студицким стихов юноши, в которых говорится о противоположности чувств, возбуждаемых в нем окружающим его буйством жизни, я помню только четыре стиха:

Как часто, внимая их песням разгульным,
Один я меж всеми молчу,
Как часто, внимая словам богохульным,
Тихонько молиться хочу.

Надо отдать справедливость старикам Григорьевым, что они были чрезвычайно щедры на все развлечения, которые могли, по их мнению, помогать развитию сына.

С переходом на второй курс университетские занятия более специализировались. Юристы еще более подпали под влияние профессора Редкина, и имя Гегеля до того стало популярным на нашем верху, что сопровождавший по временам нас в театр слуга Иван, выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при раз'езде вместо: „Коляску Григорьева!"—„Коляску Гегеля!" С той поры в доме говорили о нем, как об Иване Гегеле. Не помню, кто из товарищей подарил Аполлону Григорьеву портрет Гегеля, и однажды до крайности прилежный Чистяков, заходивший иногда к нам, упирая один в другой указательные пальцы своих рук и расшатывая их в этом виде, показывал

воочию, как борются „суб'ект“ с „об'ектом“.

Между обычными посетителями григорьевского мезонина стал появляться неистощимый рассказчик и юморист, однокурсник и товарищ Григорьева — Ник. Антонович Ратынский, сын помещика Орловской губернии, Дмитровского уезда; он, кажется, не получал от отца никакого содержания и вынужден был давать уроки.

В нашей с Григорьевым духовной атмосфере произошла значительная перемена. Мало-помалу идеалы Ламартина сошли со сцены, и место их, для меня по крайней мере, заняли Шиллер и главное Байрон, которого Каин совершенно сводил меня с ума. Однажды наш профессор русской словесности С. П. Шевырев познакомил нас со стихотворениями Лермонтова, а затем и с появившимся тогда „Героем нашего времени“. Напрасно старался бы я воспроизвести могучее впечатление, произведенное на нас этим чисто лермонтовским романом.

Когда мы вполне насытились им, его выпросил у нас зашедший к вечернему чаю Чистяков, уверявший, что он сделает на романе обертку и возвратит его в полной сохранности.

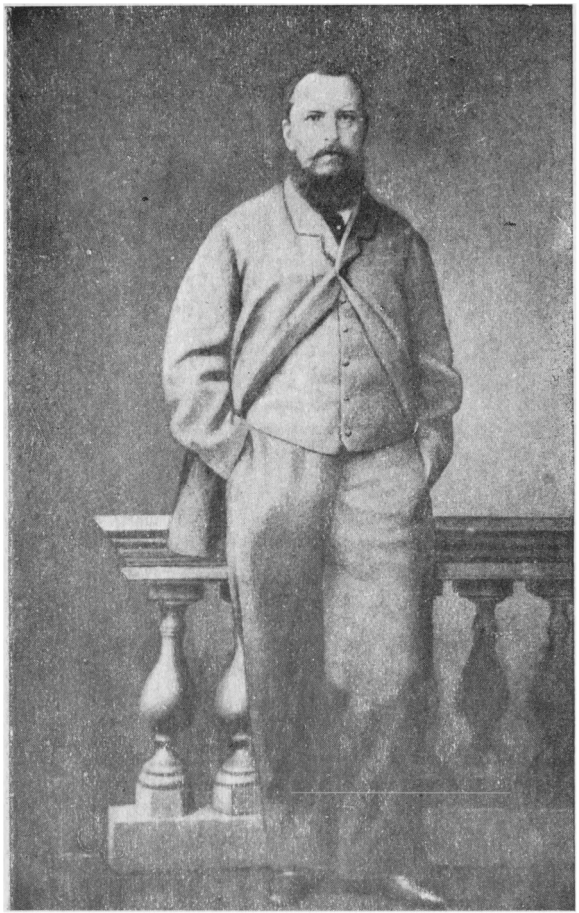
— Ну, что, Чистяков, как тебе понравился роман? — спросил Григорьев возвращавшего книжку.

— Надо ехать в Пятигорск, — отвечал последний,—там бывают замечательные приключения.

К упоению Байроном и Лермонтовым присоединилось страшное увлечение стихами Гейне [1].

А. А. Фет

[1] Дополнительные материалы о кружке А. Григорьева: a) Я. Полонский. „Мои студенческие воспоминания". „Ежемесячные литер. приложения" к „Ниве" 1898, декабрь. Здесь автор вносит поправку в воспоминания Фета, утверждавшего, что в беседах участников кружка не было „ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов": „Мы все были идеалистами (пишет Полонский), т. е. мечтали об освобождении крестьян"; b) Записки С. М. Соловьева. П. 1914; c) „Русские Пропилеи". Т. I. Собрал и приготовил к печати М. Гершензон М. 1915; (здесь записка Н. М. Орлова, написанная „по просьбе Григорьева"; общая характеристика кружка на стр. 210 — 213 и предисловие к „Забытым стихотворениям" Я. Полонского (сборник „Подземные ключи", изд. кн. Н. Мансыревым в 1842 году, со стихотв. Фета, Полонского, Карелина, двоих Мансыревых — Ф. и Н.); d) „Новые Пропилеи". Под ред. М. О. Гершензона, Т. I, 1923. (Я. Полонский. Письма к Н. М. Орлову; e) Ап. А. Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. Влад. Княжнина, П., 1917 (на стр. 338—339 в письме Я. Полонского к А. А. Фету от 14 авг. 1889 — ценные воспоминания о настроениях и идейных возбуждениях кружка).



А. А. Григорьев.

Каролина Павлова.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОФЕЙНЯ ПЕЧКИНА [1]

I

Знающим историю литератур французской и английской известно, какое значение некоторые кофейные, основанные в Париже и Лондоне, имели в жизни авторов и в их деятельности. Сначала цель их была специальная, что видно из названия (кофейная), но вскоре они стали сборным местом артистов и писателей, почему и получили эпитет „литературных“ (cafés litteraires). Возникали они, преимущественно, по соседству с театром, потому что актеры нуждались в каком-нибудь притоне перед репетициями и после репетиций, чтобы потолковать о достоинствах и недостатках новопоставляемых пьес. Так первую кофейную в Париже основал сицилиец Прокопий в XVII в.— Café Procope. Вскоре к артистам присоединились литераторы, сначала те, у которых были какие-нибудь отношения к театру, например, авторы пиес, при постановке их на сцену. Приходили они не столько для питья кофе, сколько для того, чтобы узнавать всякого рода новости и самим сообщать их, посудить о вчерашнем спектакле, оценить хорошие или дурные

[1] „Русская Старина“ 1886, апр., стр. 181—187. „Литературная кофейня в Москве в 1830 — 1840 гг.“ Воспоминания А. Д. Галахова.

стороны исполнителей. Там же играли в шахматы и шашки. Café Procope существовала долгое время и видела в числе своих посетителей Беллуа, Ж. Ж. Руссо, Пирона Дидро. В Лондоне славилась кофейная Вилля, прозванная Café des beaux esprits. Это был сборный пункт молодых, начинающих свое поприще поэтов, студентов, окончивших или оканчивающих курс науки, и других любителей слова. Здесь, в классический период английской литературы, господствовал Драйден. Посетители почтительно теснились вокруг его кресла, стоявшего летом подле балкона, а зимой у камина. Как властитель письмен, как установитель изящного вкуса, судил и рядил он, при глубоком внимании слушателей, новые произведения литературы. Кого удостоивал он словом, тот считал себя счастливым. Щепотка табаку, предложенная им из его собственной табакерки, почти равнялась патенту на звание академика.

И у нас в тридцатых годах явилась в Москве кофейная, получившая тоже название и характер „литературной", благодаря некоторым обстоятельствам. Помещалась она в центре города, неподалеку от Театральной площади с одной стороны и еще ближе от трактира Печкина с другой. Основателем ее был некто Иван Артамонович Бажанов (или Баженов), известный единственно тем, что знаменитый трагик Мочалов женился на его дочери и терпеть не мог своего тестя. Помещение кофейной состояло всего-на-всего из пяти комнат: двух побольше—залы и биллиардной, двух по-

меньше, куда удалялись посетители для разговоров или закусок, и приемной, где снималась верхняя одежда. Кроме кофе и чая, можно было получать порциями завтрак и обед из московского трактира (Печкина), соединявшегося с кофейной особым проходом. Другими приманками служили биллиард — для любителей этой игры, газета „Северная Пчела" и журналы—„Библиотека для чтения", „Отечественные Записки", „Московский Наблюдатель" и др. — для любителей литературных новостей. Обычные посетители делились на утренних, дообеденных, вечерних и послеобеденных. Я принадлежал к числу первых, потому что компания тогда была интереснее. Собирались артисты и преподаватели, из которых иные сотрудничали в журналах—петербургских или московских. Тех и других сближал двоякий интерес—театральный и литературный. Если тогда было еще немало театралов из числа лиц, преданных литературе, то и меж артистов находились искренно интересовавшиеся литературой. Достаточно указать на Щепкина и Ленского. Первый вращался в кругу профессоров и писателей, был принимаем, как свой человек, у Гоголя, С. Т. Аксакова, Грановского. Беседою с ними он насколько это возможно развивал себя и образовывался. Второй, обладая самым скудным сценическим дарованием, выходил, однако ж, по образованию из ряда своих товарищей: он хорошо знал французский язык и отлично перелагал с него водевили и другие драматические пиесы; кроме того, бойко владел пером в том сатирическом

и эротическом роде, в каком известны у нас Соболевский и Щербина. Часто можно было встретить ранним утром Мочалова. По какой-то застенчивости, даже дикости, нередко свойственной тем гениальным талантам, которые при отсутствии надлежащей воспитательной дисциплины вели распущенный образ жизни и не хотели подчиняться никакому регулированию, он не входил в зал, где уже были посетители, а садился у столика в передней комнате, против буфета, наскоро выпивал чашку кофе и затем торопливо удалялся, как бы боясь, чтобы кто-нибудь не завел с ним разговора. Вот Ленский—другое дело: он был, как говорится теперь, „завсегдатаем" в кофейной, нередко с утра оставаясь там до начала спектакля, а иногда и до поздней ночи, если в спектакле не участвовал. Кроме поименованных артистов, часто бывали Живокини, Орлов, Бантышев, Садовский, Самарин. Из литературно-учительского кружка чаще других являлись: профессор Рулье, Н. Х. Кетчер, Межевич, Артемьев (Петр Иванович), прозванный „злословом", и ваш покорный слуга. Заходили иногда Белинский, М. Н. Катков и Герцен, но редко. Одно время часто посещал кофейную Бакунин, именно в 1838 году, когда печатались его философские статьи в „Московском Наблюдателе", издававшемся Белинским. Однажды зашел вместе со мной в нее П. Н. Кудрявцев, но ему, как человеку сдержанному и деликатному, не понравилось навязчивое запанибратство обычных посетителей.

— Странные они люди!—говорил он потом.— Видят меня в первый раз, и уж каждый навязывается чуть не в родню — хочет быть или дядей или кузеном.

Беседы и суждения, всегда более или менее горячие, переходившие в нескончаемый спор, становились еще более оживленными или, пожалуй, шумными при выходе новой книжки ежемесячного журнала, при каком-либо газетном фельетоне, субботнем в „Северной Пчеле“, или по поводу новой пиесы, появления известных сценических субъектов, напр., итальянских оперных певцов, представлений Рашели, приезда из Петербурга трагика Каратыгина и балерины Адриановой. В последнем случае сильно разыгрывался наш московский патриотизм: мы ни за что не хотели дать в обиду нашего любимца Мочалова и нашу любимую, грациозную танцовщицу Санковскую (старшую). Оба разряда посетителей—артисты и литераторы — были заинтересованы, каждый по своему, разговором: первые должны были выслушивать мнения о качестве выполнения ими ролей; вторые—преимущественно журнальные сотрудники, в свою очередь, внимали отзывам артистов о своих театральных рецензиях, большею частью безыменных. И слава богу, что не было под ними подписи автора en toutes lettres! А то ему пришлось бы тяжело выдерживать грубые и резкие осуждения своего отзыва за неверность или пристрастие, или, еще хуже, за непонимание того, о чем он взялся толковать. Дело, впрочем, не обходилось без неприятностей. Так, Межевич был обозван

подлецом за резкую статью о Козловском, бездарном трагике, а Аполлону Григорьеву сильно досталось бы от Ленского, раздраженного его статейкой в „Литературных прибавлениях“ к „Инвалиду“ о плохой игре в какой-то пиесе, если бы он не прибегнул к первому попавшемуся ему средству — свалить ответственность на меня, так как его сокращенная подпись под статьей — к счастью или несчастью для меня — по начальным буквам имени и фамилии была одинакова с моей (А. Г.). Зато уж что и вытерпел рецензент, когда ложь открылась!

Самые журналы возбуждали частые споры, так как читатели их делились уже тогда на литературные партии, различно смотревшие на направление, содержание и другие особенности периодической прессы. Одни предпочитали „Библиотеку для чтения“ за брамбеусовское остроумие и за выбор статей, преимущественно относившихся к положительным знаниям; другие, напротив, отдавали преимущество „Отечественным Запискам“ и „Московскому Наблюдателю“, как изданиям более серьезным, имевшим благонамеренную цель. Единственная в то время частная газета „Северная Пчела“, отталкивавшая от себя известный круг читателей фельетонами Булгарина, другому кругу именно за эти фельетоны и нравилась по доступности их содержания, по легкости и понятности изложения, по остротам и шуточкам, по плавности и гладкости языка. Напротив, язык ученых статей вызвал насмешки своими новыми терминами. Особенно над философ-

ской статьей Бакунина в „Московском Наблюдателе", т. е. над ее внешней стороной, а не над смыслом, Ленский изощрял свое остроумие. Распив с собеседниками бутылки две-три шампанского, на что он был великий мастер — он восхвалял их бывшее содержание, а теперь,— говорил он печально, вертя в руках пустую,—

С чем тебя сравняю я,
В „Наблюдателе Московском"
Философская статья?

Ленский принадлежал к числу тех личностей, которые не сознают своего настоящего призвания, а ищут его там, где его нет и не бывало. Бог дал ему способность писать остроумные драматические пиесы да сатирические стихотворения на случай, а он все мечтал видеть в себе сценический талант. Выслушивая похвалы, как водевилист, он неодобрительно и как-то печально качал головою: „Что мне в этом?—говорил он.—Для меня это дело второстепенное; я актер—вот моя главная профессия, а не авторство. Мне и фамилию дали другую за то, что я хорошо сыграл в театральной школе роль Ленского"[1]. Но именно для сценического искусства у него не было средств— ни внутренних, ни внешних: ни выразительного лица, ни гибкой дикции, ни умения проявлять разнообразные чувства. Он не мог отрешаться от себя самого, становиться другим человеком,—он всегда был Ленским. Маломальски удовлетворительная игра оказывалась слу-

[1] [Настоящая его фамилия—Воробьев.]

чайностью, неожиданною для него самого. Была, впрочем, одна роль, которую он исполнял безупречно—роль Молчалина: это был истый Молчалин и по лицу, и по голосу, и по противной угодливости, и по столь же противному самоуничижению. Лучшего Молчалина я не видел уже потом.

Но зато Ленский принадлежал к интереснейшим посетителям кофейной, если только был в духе и если притом беседа оживлялась шампанским. Тогда остроты и каламбуры сыпались одни за другими и заставляли собеседников хохотать до слез. Но совершенно иным существом являлся он, когда что-нибудь возбуждало его неудовольствие: он становился раздражительным, капризным, невыносимым. Трудно было угомонить его. Только двое умели его обуздывать: товарищ его по театру, комик Живокини, и Н. Х. Кетчер. Того и другого он побаивался. Первый, зная что ему не по силам состязаться с Ленским игрою слов, прибегал к другому оружию, которым владел мастерски — к буфонству, и тем переводил публику на свою сторону: все помирали со смеху от его уморительных выходок. Противник его, хотя и более образованный и остроумный, по самолюбию и раздражению начинал конфузиться, терялся, плохо отражал удары, видимо отступал и должен был замолчать. Это-то и было нужно Живокини: „Что?—говорил он.—Прикусил язычок! Видишь—моя взяла! Я тебя одолел, втоптал в грязь, уничтожил. Где тебе со мной тягаться? Пошел вон!“ Другого противника, Н. Х. Кетчера, рассердить было

трудно. Хотя он по своему темпераменту говорил и спорил громко, но всегда просто, без всякого самолюбия, сохраняя всегда хорошее расположение духа, которое выражалось хохотом или, вернее, грохотом столько же гомерическим, сколько и добродушным. Летом, в самые жаркие дни, Кетчер, являясь в кофейную утром часов в одиннадцать, спрашивал себе на завтрак две неизменные порции: порцию мороженого и порцию ветчины. Все удивлялись таким блюдам или, по крайней мере, порядку, в каком одно блюдо следовало за другим.

— Чему же вы, господа, удивляетесь?—спрашивал бывший в то время Герцен.—Разве вы не видите, что Кетчер—отличный хозяин: он сначала набьет свой погреб льдом, а потом начнет класть в него с'естное.

Зная откровенность и прямоту Кетчера, Ленский иногда старался задабривать его, для чего и прибегал к известному ораторскому средству — возбуждению благорасположения (captatio benevolentiae): начинал, например, хвалить переводы Кетчера шекспировских пиес. Выслушав серьезно похвалу, Кетчер однажды ответил стихами Сумарокова:

Мне то не похвала, когда невежда хвалит.

Разумеется, все засмеялись, и больше всех сам Кетчер. Но Ленский нашелся и тотчас отвечал:

Когда ж—скажите мне—вас умные хвалили?
Не помню что-то я.

А. Д. Галахов

II [1]

Мои студенческие воспоминания сороковых годов были бы неполны без упоминания кофейни Печкина. Подыматься в нее в бельэтаж с Воскресенской площади приходилось по неширокой и крутой лестнице, выходившей вверху в небольшую комнату с двумя или тремя столиками около окошек. У ближайшего к балюстраде лестницы столика можно было ежедневно с утра и до вечера видеть густоволосого и белого, как лунь, небольшого старика, сидящего спиною к балюстраде и лежащего большею частию на краю стола лбом, подпертым кулак на кулак.

Старик этот, никогда не встававший с места, был известный всем посетителям Калмык. Рассказывали, что он был в свое время приобретен какою-то старухсй-барыней, и когда последняя умерла бездетной, то, оставшись бесприютным, занял в добрый час свое место в печкинской кофейне.

Посетители знали только, что он очень стар, и не забывали его своим вниманием. Сам же Калмык, страдая вероятно от болезненных припадков, давал о себе знать, приподымая голову с кулаков и испуская громкое восклицание: ох-ох-ох! Сколько раз, сидя в одной из соседних комнат, я слыхал, как тот или другой посетитель, позвонив слугу, говорил: „Дай Калмыку солянки“ или: „Дай Калмыку стакан чаю“. Вкусив присланное, Калмык, про-

[1] А. А. Фет. „Ранние годы моей жизни“. М., 1893, стр. 219—222.

стонав: ох-ох-ох!—безмолвно снова опускался на кулаки.

Прямо против лестницы дверь вела в более просторную комнату, из которой вправо был ход в биллиардную, окруженную со всех сторон мягкими диванами. В эти комнаты я заглядывал очень редко, но зато следует поговорить о небольшой комнате вправо от передней Калмыка и небольшом кабинете, отделенном от этой комнаты аркою. Комнату эту можно было по справедливости считать некоторым центром московской науки и искусства. Там стоял стол с шахматами, за которым можно было в известные часы встретить профессора Дмитрия Матвеевича Перевощикова в состязании с персианином или армянином, носившим название Кирюши. Как теперь помню кудрявую, черную, с едва заметной проседью, голову этого восточного человека, сидящего в суконном черном архалуке с разрезными рукавами у шахматного стола против Перевощикова. Вероятно, Кирюша был весьма сильный шахматный игрок, чем только и можно об'яснить постоянную игру с ним Перевощикова. Сочувствуя с своей стороны знаменитому астроному, Кирюша и в отсутствие своего партнера, стараясь усилить значение какой-либо вещи, выразительно прибавлял: „Тут нужно матэматык".

Заглядывал в кофейню и Т. Н. Грановский. Подобно Перевощикову, завсегдатаем кофейни был М. С. Щепкин, к которому попеременно подходили то Ленский, то только что начинавший играть Садовский, на которо-

го Щепкин смотрел, как на своего любимого ученика. Помню, как однажды на слова Садовского, что Н. Н. вчера сидел в третьем ряду кресел, Щепкин сказал: „Вот когда ты никого не будешь видеть из сидящих в театре, тогда ты начнешь хорошо играть“.

Не менее постоянным посетителем кофейни бывал уже в то время почтенный Д. А. Галахов, которого хрестоматия появилась около того времени. Однажды он вошел в кофейню в мундирном фраке со словами:

—Я только что от графа Строганова, который сказал мне: „Я вас вызвал, чтобы заметить, что вы в своей хрестоматии поместили стихотворения Фета, не зная, может быть, что он еще студент“.—„Ваше сиятельство,—отвечал я,—я выбирал стихотворения, заслуживающие, по моему мнению, быть помещенными в хрестоматии, и, виноват, не обращал внимания на положение автора“.

Из биллиардной порою приходил красивый брюнет, восторгавший нас своим бархатным тенором, неподражаемый „Торопка“ — Бантышев. И этого Щепкин не оставлял своим вкрадчиво-любезным наставлением.

Кто знает, сколько кофейня Печкина разнесла по Руси истинной любви к науке и искусству. Не знаю подлинно, кому принадлежала пародия на „Двенадцать спящих дев“, изображающая кофейню Печкина. Мне удалось слышать ее не более двух раз, и потому я могу на нее скорее намекнуть, чем передать ее в настоящее время. Говорилось в ней о бренности всего великого на земле:

И прошло много лет,
И кофейни уж нет...
. . . . . .
Но в двенадцать часов...
На биллиарде гремят шары...
И на лестницу лезет Калмык.
Ленский пьян и румян,
Ленский держит стакан,
Ухмыляется Ленского лик.

Стихи эти едва ли не принадлежат Клюшникову.

А. А. Фет

III [1]

Литературный дух так царил в кофейной Печкина, что, когда посетитель спрашивал журнал, половой не просто подавал книгу, а указывал на интересную статью и говорил:

— Извольте вот прочитать статейку, Евгений Николаевич (Эдельсон) одобряют-с!

Эту фразу полового поместил Островский (без намека только на Эдельсона) в своей комедии „Доходное место“, в III действии в трактире [2].

Помню я полового Алексея, всегда прислуживавшего в той комнате, где ужинал Садовский и его поклонники. Бедный Алексей не ложился спать ранее 4 часов утра, когда, наконец, подымался и уходил Садовский.

Сколько есть полных юмора прелестных рассказов у Горбунова о зимних сценах в ко-

[1] А. А. Стахович. „Клочки воспоминаний“. М. 1904, стр. 155 — 157.

[2] Те же нравы царили в трактире „Британия“ против университета.

фейной Печкина и летних у Яра. Передам рассказ Садовского, касающийся „Горя от ума". Ежели половые этой кофейной были такими ценителями литературы, понятно, она не была чужда и самому содержателю кофейной. Раз глава заведения ужинал с актером Максиным, и у них зашел литературный спор о „Горе от ума", т. е. был ли в связи Молчалин с Софьей, или нет. Трактирщик утверждал, что связь существовала.

— Нет!—возражает Максин.

— Как нет? Да что ж он делает у ней в спальне-то до самого утра?

— На флейте играет,—отвечает артист-идеалист.

— Да, играет...

В эту минуту входят в залу Островский и Садовский. Кому же лучше решить литературный спор, как не первому драматургу, и трактирщик огорошивает только что вошедшего писателя, не знавшего, о чем велась горячая беседа, словами:

— Александр Николаевич, живет Молчалин с Софьей али нет?

— Господа,—ответил подумав Островский,— допустим, что был грех, но вспомните, ведь Софья благородная девушка, дочь управляющего казенным местом, а ведь это генерал... право лучше помолчать, чем распространять эти слухи.

Встает со слезами на глазах (при литературном споре много выпито было и коньяку) Максин, протягивает Островскому руку и, пожимая его руку, с чувством говорит:

— Благородно, Александр Николаевич, благородно!

В низенькой комнате у Печкина прочел мне Садовский „Короля Лира“; не знаю, как играл эту роль Пров Михайлович, я не видел его в Лире, но читал он эту трагедию превосходно [1].

А. Стахович

[1] См. еще „Отрывки из воспоминаний“ И. Ф. Горбунова (Полное собр. соч., изд. А. Маркса. т. II, стр. 392—393). Печкинская кофейня (или „Железный трактир“) изображена в романе В. А. Вонлярлярского „Магистр“ (1852) и в романе А. Ф. Писемского „Масоны“ (1880).

САЛОН КАРОЛИНЫ ПАВЛОВОЙ [1]

I

В числе тогдашних литературных кружков Москвы можно упомянуть еще о кружке Павловых, Николая Филипповича и Каролины Карловны, состоявшем по преимуществу из славянофилов, но где были и западники.

Николай Филиппович был человек замечательный, талантливый, видавший виды, но живший как-то так, что у него постоянно все расстраивалось, а не устраивалось. По своим размашистым приемам, по страсти к картам, он мог проиграть в самое короткое время— Россию, несколько домов, деревню, большой капитал... Происхождение его покрыто туманом. Где он и как учился — неизвестно, но кое-чему выучился, между прочим французскому языку, на котором говорил изредка. Знал и понимал Шекспира и главных немецких поэтов, но, кажется, не в подлиннике.

По-русски знал очень хорошо, довольно писал. Повести его: „Миллион", „Ятаган", „Аукцион", „Иленины" (в 1830-тых и 1840-вых годах) в свое время сильно читались и даже переведены на немецкий язык, одна [Аукцион]—

[1] Н. В. Берг. „Посмертные записки". „Русск. Старина" 1891, февраль, стр. 262—265.

на польский; он даже мог бы сделаться прямо замечательным русским писателем и критиком (лучшая критика его—разбор пьесы гр. Соллогуба: „Чиновник"), если бы... не зеленый стол. За этим столом он прокутил все свои таланты, проиграл свое и своего семейства счастие... даже двух семейств.

Жить можно было хорошо. Давать обеды, литературные вечера, до которых хозяйка была смертная охотница, во-первых, как литератор, во-вторых, на этих литературных вечерах читались непременно ее произведения. Читал обыкновенно кто-нибудь из друзей, например, Константин или Иван Аксаковы. Автор, т. е. Каролина Карловна—сидела в это время на особом высоком кресле с подножием в виде лодочки, чтобы плавающие вокруг полуботы и бриги огибали мысом и не беспокоили гички царицы.

Произведения госпожи Павловой имели некоторое достоинство, но никогда не были такими, чтоб их долго помнить. Но сама госпожа Павлова постоянно думала, что она пишет как русский поэт-мужчина. Во всяком случае, русский стих этой немки был гораздо совершеннее стиха русской барыни Ростопчиной.

Павлов, когда читали стихи его супруги, обыкновенно стоял подле ее стула, опустив в землю глаза—как бы слушая и соображая. Он никогда ни одним словом и ни одним движением не изменил в этом отношении себе, но без всякого сомнения отлично понимал настоящее значение стихов своей Каролины Карловны.

Так спокойно и приятно текла их жизнь. Конечно, было много таких, которые даже завидовали такой жизни... Вдруг налетели тучи... [1].

Н. В. Берг

II [2]

У Павловых, на Рождественском бульваре, все, начиная от роскошного входа с парадным швейцаром и до большого хозяйского кабинета с пылающим камином, говорило если не о роскоши, то по крайней мере о широком довольстве.

Находя во всю жизнь большое удовольствие читать избранным свои стихи, я постоянно считал публичное их чтение чем-то нескромным, чтобы не сказать профанацией. Вот почему я всегда старался притти к Кар. Карл. Павловой, пока в кабинете не появлялось сторонних гостей. Тогда по просьбе моей она мне читала свое последнее стихотворение, и я с наслаждением выслушивал ее одобрение моему. Затем мало-по-малу прибывали гости, между которыми я в первый и последний раз был представлен не меньшей в свое время знаменитости М. Н. Загоскину. За столом, за которым сама хозяйка разливала чай и появлялись редкие еще в то время мелкие печенья, сходились по временам А. Г. Герцен и Т. Н. Грановский. Трудно себе представить более остро-

[1] Дальше мемуарист рассказывает о семейных неурядицах, аресте Павлова и т. д.

[2] А. А. Фет. „Ранние годы моей жизни". М. 1893, стр. 213—214.

умного и забавного собеседника, чем Герцен. Помню, что, увлеченный, вероятно, его примером, Тимофей Николаевич, которым в то время бредили московские барыни, в свою очередь рассказал, своим особенным невозмутимым тоном с пришепетыванием, анекдот об одном лице, державшем у него экзамен из истории для получения права домашнего учителя.

— Видя, что человек и одет-то бедно,—говорил Грановский,—я решился быть до крайности снисходительным и подумал: „бог с ним, пусть получит кусок хлеба. Что бы спросить полегче?"—подумал я да и говорю: Не можете ли мне что-нибудь сказать о Петре?—Петр,—заговорил он,—был великий государь, великий полководец и великий законодатель.—Не можете ли указать на какое-либо из его деяний?—Петр разбил,—был ответ.—Не можете ли сказать, кого он разбил при Полтаве? Он подумал, подумал и сказал:—Батыя. Я удивился.—Кто же, по вашему мнению, был Батый? Он подумал, подумал и сказал: Протестант.—Мне остается спросить вас: что такое, по вашему мнению, протестант?—Всякий не исповедующий православную греко-российскую церковь.—Извините,—сказал я,—я не могу поставить вам больше единицы.—Если вы недовольны и таким знанием,—сказал он уходя,—то я и не знаю, чего вы требуете.

Помню, что однажды у Павловых я встретил весьма благообразного иностранного немецкого графа, который, вероятно узнав, что я говорю по-немецки, не взирая на свои почтенные лета, подсел ко мне и с видимым удо-

вольствием стал на чужбине говорить о родной литературе. Услыхав мои восторженные отзывы о Шиллере, граф сказал: „Вполне понимаю ваш восторг, молодой человек, но вспомните мои слова: придет время, когда Шиллер уже не будет удовлетворять вас, и предметом неизменного удивления и наслаждения станет Гете". Сколько раз пришлось мне вспомнить эти слова [1].

А. А. Фет

[1] Салон К. Павловой имел более серьезный характер, сравнительно с известными в печати описаниями его. У нее бывали представители французской общественности, напр., Могень (Mauguin), которому А. Хомяков и Ю. Самарин сообщали материалы о положении России; у нее встречались Хомяков, К. Аксаков, Ю. Самарин и др. В письме Ю. Самарина к К. С. Аксакову от 1841 года указывается, о чем вел беседы молодой славянофил с поэтессой Павловой: „Говорили о Фаусте, о французах, о Занде, о бессмертии души, о Гегеле, о любви и проч. Она прочла мне несколько отрывков из недавно вышедшей Философии Ламене в 3 частях, толстых и полновесных... Говорили мы также и очень долго о бессмертии души, о сотворении мира, потом перешли к Шевыреву... Читала мне несколько новых стихов, очень хороших" и т. д. Сочинения Ю. Ф. Самарина, т. XII, М. 1911, стр. 24. В дневнике Ю. Самарина (1841 год) читаем: „Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых. Лермонтов угадал меня. Я не скрывался. Помню последний вечер у Павловых. К нему приставала Каролина Карловна Павлова. Он уехал грустный" и т. д.—стр. 56 (т. XII). См. также статью П. Б(артенева) о К. К. Павловой в „Русск. Архиве" 1894, № 1, стр. 119—123.

ПОНЕДЕЛЬНИКИ Ф. Н. ГЛИНКИ [1]

I

Домик Федора Николаевича Глинки в Москве стоял на Садовой улице невдалеке от Спасских казарм. Домик этот имел на улицу 5 окон, был окрашен серою краскою, а перед домиком, как против всех домов по Садовой, был палисадник, наполненный кустами и большими деревьями, за которыми он прятался от глаз проходивших по тротуару со всеми своими пятью окнами.

Гостиная этого домика занимала весь фасад его, т. е. все пять окон, и была убрана со вкусом и изяществом. Плющ, цветы, за которыми стыдливо скрывалась статуэтка из каррарского мрамора Венеры Медицейской; бронзовые часы, столовые лампы красовались, украшенные абажурами... Спокойная и изящная мебель, столик с инкрустацией, на котором лежали разные журналы, альманахи и вновь вышедшие брошюры,—все было на своем месте, все было кстати, все было мило и удобно.

На литературные вечера съезжались, как мне помнится, по понедельникам; сама хозяйка Авдотья Михайловна, всегда бывшая одета в платья с открытыми плечами, с короткими ру-

[1] Сочинения Вас. Вас. Селиванова, т. I, Владимир, 1901, стр. 124—126. См. еще стр. 121—124.

кавами, а седые ее волосы были завиты в тербушены. Как сам хозяин, так и все гости не иначе являлись на вечера, как во фраках, белых галстуках и белых перчатках. Военные в мундирах, а барыни-гостьи в платьях с открытыми воротами и короткими рукавами.

На вечера эти преимущественно собирались любители литературы, т. е. всякая пишущая братия и художники. Между литераторами, учеными и художниками много встречалось личностей уже известных. Но не менее того встречалось талантов и непризнанных, имена которых были известны только хозяину и хозяйке, и то иногда по докладу лакея о приехавших.

Около дивана, где сидела хозяйка и барыни гостьи, собирался кружок, и по просьбе хозяина кто-нибудь читал или замечательную газетную статейку, подававшую повод к разговорам, или какое-нибудь свое стихотворение. Вот, например, студент Берг говорит отрывок из какой-то своей поэмы или остроумное подражание Данту—его аду, и все слушают со вниманием, хвалят и жалеют, что отрывок очень мал, что продолжение он забыл, а написанного на бумаге он не взял и пр.

У дивана во все время чтения на маленькой низенькой табуретке сидел высокий молодой человек с красивым лицом, с черными кудрями на голове и белым широким лбом. Слушая он наклонился головою на руку, упиравшуюся локтем на колено, и „с печатью думы на челе“ слушал чтение.

— Не доставит ли нам удовольствие г-н N, я забыл имя и отчество,—сказал хозяин, об-

ращаясь к господину с печатью думы на челе,—он, кажется, принес нам что-то прочесть.

И господин N встает, идет и садится на тот стул, где сидел Берг. Вынимает из бокового кармана тетрадь, тетрадь во весь лист, и начинает читать поэму под названием „Петергоф". Прочел строфу, прочел другую, третью, десятую, пятнадцатую, двадцатую...—конца нет и дребедень страшная. Некоторые, более нетерпеливые слушатели вышли в кабинет, я тоже не выдержал и пошел, за мною пошел Рабус и, входя в кабинет, сказал:

— Сколько терпения нужно Федору Николаевичу слушать подобный вздор.

Услыхав от пришедших в кабинет, что чтение поэмы окончилось, я снова пошел в гостиную и сел, ожидая нового чтения. И действительно, место чтеца не осталось праздным, и кто-то уже сидел на нем и разбирал принесенную в кармане тетрадку.

В это время входит человек и докладывает Федору Николаевичу, что приехал поэт.

— Какой поэт, как фамилия?

— Приказал сказать только, поэт!

— Не знаю, кто же это?—Проси.

Человек вышел, и немного спустя в гостиную вошел какой-то белобрысый офицер в артиллерийском мундире,—вероятно тоже из числа непризнанных талантов.

Между тем гостиная все более и более наполняется гостями и хозяин предлагает мужчинам пойти в кабинет; в кабинете было несравненно свободнее,—но ни сигар, ни трубок никто не курит. Дом очень мал. В кабинете

начинались и споры и разговоры, и вечер всегда кончался ужином, не роскошно, но прекрасно поданным и со вкусом. Несмотря на маленькую натяжку в одежде, все ехали с удовольствием в маленький домик Федора Николаевича и увозили из него домой всегда спокойное, всегда какое-то тихо-отрадное впечатление.

В. В. Селиванов

II [1]

В 1840-х годах Глинки (как их обыкновенно звали) завели у себя литературные вечера по понедельникам, куда созывали преимущественно писателей прежнего времени, людей солидных и серьезного направления. Из молодых (в конце 1840-х годов) попал туда один лишь я и еще переводчик с разных языков Федор Богданович Миллер — через близкого своего приятеля, такого же немца, как и сам, старого забытого художника Карла Ивановича Рабуса, неизменного участника вечеров Глинки. Он, впрочем, имел и свои дни, четверги, и свой кружок, преимущественно артистический.

От понедельников Глинок несло некоторою затхлостью, они не давали новому поколению ничего ровно или очень мало. Я пошел потому, что имел с ранних лет страсть сближаться со всем, что было хоть когда-нибудь замечательно, рассматривать внимательно всякие раз-

[1] „Русск. Старина", 1891, февраль, стр. 246—247.

валины... Притом нельзя сказать, чтобы Глинки не давали для молодежи ничего ровно: они были хорошие и верные ценители всего изящного. „Об'ехать на кривой" нельзя было ни старика ни старуху.

Главными посетителями вечеров Глинки были: сенатор М. А. Дмитриев, древний поэт, прославленный эпиграммой Пушкина: „Михайла Дмитриев умре". Потом: переводчик „Освобожденного Иерусалима" Раич; художник Рабус и его неизменный спутник Миллер, кое-когда директор оружейной палаты А. Ф. Вельтман, его хорошая знакомая Е. И. Крутникова (впоследствии его жена), М. Н. Лихонин — поклонник немецкой, английской и испанской литературы и, отчасти, переводчик (более всего немецких поэтов, плохими стихами), покровительница всех поэтов и художников, богатая вдова ген. Карлгоф, везде искавшая себе мужа. Бывал изредка любопытный старикашка Сангрен, начальник тайной полиции при Александре I во время войн его с Наполеоном. Он рассказывал много всяких курьезов про знаменитую эпоху. Врал или нет—кто его знает. Какую именно роль играл Сангрен у Глинок, можно или нельзя его было вытурить декабристу, оставшемуся в подозрении у правительства—бог весть... Сангрен, впрочем, заглядывал также и к Дмитриеву и Рабусу. В других домах я его не видел.

Федор Николаевич был тогда еще крепыш, живой, маленький человек без усов и бороды, но с черными бакенбардами и густыми, тоже черными с проседью волосами, у которых он

поправлял поминутно височки. Маленькая круглая головка его была как будто приплюснута сильным ударом в темя. Щеки были вечно розовые. Все лицо розовое. Черные глазки вечно смеялись. Говорил он несколько картавя и никогда не мог быть спокойным: все в нем и сам он ходил ходенем. Поговорит тут, бежит в другую сторону—там опять говорит и поправляет височки... Читал он редко. Это были дни торжественные для его поклонников, которые относились к нему, как к настоящему, но непризнанному поэту. Читая, Федор Николаевич никогда не садился, а стоял перед столом, обратясь лицом к главным слушателям, сидевшим на диване и боковых креслах. Сзади были тоже слушатели, помещавшиеся в разных углах комнаты. Наиболее желательным предметом чтения для поклонников бывала поэма духовного содержания: „Божественная капля“, написанная что-то давно и много раз исправлявшаяся и дополнявшаяся. Целой этой поэмы, кажется, не слыхал никто, или очень немногие из старых приятелей хозяина. Новые удовлетворялись отрывками и не выражали никогда желания услышать все, а если и выражали, то не очень искренно. Мне случилось слышать два небольших отрывка, где были местами хорошие стихи, но только стихи; содержание меня не занимало. Я даже его путем не понимал.

Прозой Федор Николаевич читал при мне только один отрывок: воспоминание о каком-то бое с французами под Москвой. Тут говорилось кратко и о Москве и об ее значении

для русского народа и России. Автор сравнивал ее с кудрявой старопечатной буквой и, кажется, думал, что это сравнение оригинально и удачно. Заметив, что его как будто не все надлежащим образом услышали, что до этой буквы, он приостанавливался, поглядывал кругом, поправлял височки и повторял: „Она красуется в наших летописях, как кудрявая старопечатная буква"...

Читал он постоянно старину,—написанное бог весть когда [1]. Нового, повидимому, ничего не производилось. Авдотья Павловна тоже читала старые свои переводы из Шиллера. Мне случилось слышать „Колокол" и „Кубок". Другие читала редко. Литературные понедельники Глинок обходились большею частью без литературы. Посидят, потолкуют о том, о сем, напьются чаю, иногда поужинают на нескольких небольших столиках в той же зальце, где происходили чтения и беседы—и расходятся часу в первом [2].

Н. В. Берг

[1] Есть указание, что Ф. Глинка читал в октябре 1848 г. „Таинственную каплю" на вечере у П. Вяземского (Известия 2-го отд. рус. яз. и словесности 1903, т. 8, кн. 2, стр. 100).

[2] См. о вечерах Глинки любопытные страницы в „Воспоминаниях Е. Ф. Юнге" (стр. 50—54).

ЧЕТВЕРГИ А. Ф. ВЕЛЬТМАНА [1]

Четверги Вельтмана, с которым я познакомился у Глинок, были также простые вечерние собрания друзей и знакомых хозяина и хозяйки, где аккуратно всякий раз бывал некий Владимир Петрович Горчаков, не князь, а простой Горчаков, сослуживец Вельтмана по генеральному штабу нашей южной армии в кампании 1828—1929 годов, приятель Пушкина, один из его „собутыльников", когда Пушкин жил в изгнании у новороссийского губернатора Инзова. Горчаков сам немного писал прозой, но все, что он решился огласить, было путанно, вяло, бесталанно. В сущности, был человек добрый, честный и не глупый. Все его любили. Еще на четвергах Вельтмана бывали: Лихонин, Рабус, Миллер, Загоскин (который изредка читал отрывки из ненапечатанных романов), два брата жены Вельтмана, статский и военный, генерал Менгден с женою (тоже сослуживец хозяина по южной армии 1828—1829 гг.), М. А. Дмитриев, Погодин, изредка заглядывал из своей ссылки тайком Американец-Толстой. Кроме того, бывали экстраординарные гости: Коссович, Островский, какие-то малоизвестные сенаторы и генералы... Из изве-

[1] „Русская Старина" 1891, февраль, стр. 247—252.

стных сенаторов бывал Казначеев, который вывел в люди феодосийского цирюльника (?) Айвазовского, быв тогда в Феодосии видным лицом.

Сам Вельтман был человек в высшей степени милый и симпатичный, с открытой физиономией, как-то оригинально вскакивал с дивана при появлении всякого гостя, бежал к нему навстречу, раскрыв об'ятия, усаживал, заводил беседу. Был, что называется, душа человек. В нем, сверх литературного, известного всем читателям тех времен (преимущественно москвичам) таланта, таились еще и другие, скрытые от публики, таланты: он делал очень искусно из алебастра копии небольших античных статуй, умел сообщать им бронзовый, серебряный, золотой и всякие другие цвета. Иногда его копию отличить от настоящей статуи, от оригинала, было очень трудно. Он играл довольно искусно на гитаре и еще на каком-то изобретенном им инструменте, название которого я не помню. Ум его был в постоянной работе: он все что-нибудь выдумывал, открывал. Выдумал однажды светильник без всякого фитиля; горело на кончике загнутой немного в верхнем конце тонкой стеклянной трубки одно масло (деревянное или прованское). Этот изобретенный им светильник он назвал „альма“. Такие „альма“ всегда горели у него в кабинете, штуки три-четыре, требуя, конечно, немного горючего материалу, но и немного принося пользы. Очень трудно сказать, сколько бы таких „альм“ потребовалось на освещение хоть са-

мой небольшой комнаты. Возился он одно время немало над изобретением саней, которые бы не знали, что такое московские ухабы—и уверял знакомых, будто бы изобрел такие волшебные сани, и показывал несколько бумажных моделей разной величины, которые возил по ухабам из картонной бумаги, но... никто не убеждался, что такие сани в натуральную величину на ухабах Столешниковского, Газетного и тому подобных переулков не будут бить под конец зимы, а временами и выбрасывать пассажиров на мостовую, как всякие другие.

Наконец, Вельтман любил чертить карты с изображением древних славянских земель; рисовал, перерисовывал, издавал... опять перерисовывал и опять издавал. При этом следовал всякий раз об'яснительный текст,—иногда весьма увесистый том. Воображение его было самое необузданное, упрямое, смело скакавшее через всякие пропасти, которые других устрашили бы, но не было такой пропасти, которая устрашила бы почтеннейшего Александра Фомича. Кажется, никто не пускался в серьезные критические исследования этой, в большинстве случаев, ужаснейшей чепухи. На словах с Вельтманом спорить было трудно: он никого не слушал и верил, как в бога, в непреложность и непогрешимость своих открытий. Раз он мне сказал, что печатает новый перевод „Слова о полку Игореве", где многое переделал. Между прочим, для него стало ясным, что Боян, упоминаемый там, вовсе не Боян, а Ян, а приставка „бо" есть

не что иное, как союз. Сколько я ни спорил, что союз „бо“ таким образом употреблен при имени быть не может, он остался при своем: „Помилуйте, это ясно, как день... И какой там Боян! Никакого Бояна в те времена не было, а был Ян вещий!“ Так и напечатал.

Из самых серьезных изданий Вельтмана лучшее—это „Древности российского государства“, изданные казною in folio с превосходными хромолитографическими рисунками (Федора Григорьевича Солнцева) в ограниченном количестве экземпляров. Все, что из этих экземпляров было послано на лондонскую выставку (1851)—куплено в один день.

Жена Вельтмана (primo voto Крутникова) была женщина поэтическая, с романтическими наклонностями, провела первую молодость в Одессе, много раз любила, многим нравилась (между прочим поэту Подолинскому), писала недурно прозой—и на этом пути сошлась с Вельтманом еще при жизни его первой жены, родом молдаванки.

Как жена Вельтмана, она значительно поддерживала давно заведенные ими четверги, сообщала им то, что может сообщить образованная изящная женщина, видавшая виды. Один Александр Фомич едва ли бы с ними сладил.

Жили они скромно, но весьма прилично, в большой квартире директора оружейной палаты, у Покрова, в Левшине. Все комнаты, особенно кабинет хозяина, представляли смесь Востока с Западом: персидские ковры на всяком шагу; чубуки с янтарями, оттоманы, кар-

тины с изображениями битв южных славян с турками. Сам Вельтман привез из похода в Турцию кое-какие восточные привычки: курил с утра до ночи дорогой турецкий табак из деланных черешневых и жестяных чубуков. В повестях своих часто касался Востока или полу-Востока: Молдавии, Бессарабии... [1]

Н. В. Берг

[1] См. о Вельтмане на литерат. вечере у Ф. Ф. Кокошкина в „Литерат. встречах и знакомствах“ А. Милюкова, стр. 23.

Авдотья и Федор Глинки.

А. Ф. Вельтман.

КРУЖОК «МОЛОДОЙ РЕДАКЦИИ „МОСКВИТЯНИНА“»

I [1]

Гостеприимные двери Ап. Ал. Григорьева радушно отворялись каждое воскресенье. Молодая редакция „Москвитянина“ бывала вся налицо: А. Н. Островский, Т. И. Филиппов, Е. Н. Эдельсон, Б. Н. Алмазов, очень остроумно полемизировавший в то время в „Москвитянине“ с „Современником“ под псевдонимом Ераста Благонравова. Шли разговоры и споры о предметах важных, прочитывались авторами новые их произведения. Так, Б. Н. в описываемое мною время в первый раз прочитал свое стихотворение „Крестоносцы“; Ал. Ант. Потехин, только что выступивший на литературное поприще свою драму „Суд людской—не божий“; А. Ф. Писемский, ехавший из Костромы в Петербург на службу, устно изложил план задуманного им романа „Тысяча душ“. За душу хватала русская песня в неподражаемом исполнении Т. И. Филиппова, ходенем ходила гитара в руках М. А. Стаховича, сплошной смех раздавался в зале от рассказов Садовского, Римом веяло от итальянских песенок Рамазанова.

[1] И. Ф. Горбунов, полное собрание сочинений т. II, стр. 380, изд. А. Ф. Маркса.

Бывали на этих собраниях: Алексей Степанович Хомяков, Никита Ив. Крылов, Карл Францевич Рулье. Из музыкально-артистического мира: А. И. Дюбюк, И. К. Фришман, певец Бантышев и др. Не пренебрегал этот кружок и диким сыном степей, кровным цыганом Антоном Сергеевичем, необыкновенным гитаристом, и купцом „из русских“ Михаилом Ефремовичем Соболевым, голос которого не уступал певцу Марио.

Чуть не каждый день Александр Николаевич уезжал куда-нибудь читать свою новую пьесу. Толков и разговоров о ней по Москве было много...

И. Ф. Горбунов

II [1]

Разбираясь в воспоминаниях о прожитом и проверяя свои давние наблюдения над виденным, слышанным и испытанным, уверенно приходишь к заключению, что единственно любовь к народу руководила всеми мыслями и деяниями того московского литературного кружка, которому посвящены эти строки. Живыми, как бы и сейчас наглядно действующими являются усиленные заботы и работы, дружные и совместные, всего кружка, уже успевшего оставить „Москвитянин“ и возрасти численностью от вновь примкнувших добровольцев. На пер-

[1] А. Н. Островский (По моим воспоминаниям). С. В. Максимов. Драматич. сочинения А. Н. Островского. Т. I. Изд. т-ва „Просвещение“.

вом плане и на видном месте стояла русская народная песня. Она прежде всего и напрашивается на воспоминания наши.

Русские народные песни в компании молодых московских писателей очень долгое время пользовались особым почетом. Хороших безыскусственных исполнителей, умевших передавать их голосом, без выкрутов и завитков, разыскивали всюду, не гнушаясь грязных, но шумливых и веселых трактиров и нисходя до погребков, где пристраивались добровольцы из мастеров пения и виртуозов игры на инструментах. Здесь услаждали они издавна праздных любителей из купечества.

— Делай, делай! — раздавались поощрительные возгласы загулявших и разгулявшихся, от которых, в награду и поощрение певцов и музыкантов, следовало угощение сладкими водками, денежные награды, наконец, об'ятия и поцелуи.

— Выпьем еще плоскодонную рюмочку. Ведь пьешь?

— Пью все, окромя купоросного масла.

— Повторим по рюмочке для верности глаза.

— Давай ему еще этого самого монплезиру.

— Наливай нам разгонную,—и т. д.

Т. И. Филиппов в одном из последних своих писем к Горбунову вспоминает о подобном веселом заведении у Каменного моста:

„Николка рыжий — гитарист, Алексей с торбаном: водку запивал квасом, потому что никакой закуски желудок уже не принимал. А был артист и „венгерку“ на торбане играл так, что и до сих пор помню“.

Будучи сам превосходным исполнителем народных песен и в то же время ученым исследователем и знатоком отечественной поэзии, он придавал своим выразительным художественным исполнением высокую ценность всем этим перлам родного творчества, отыскивал и пел наиболее типичные или самые редкие, полузабытые или совсем исчезающие из народного обращения.

Вспоминая товарищеские сходки у Аполлона Григорьева с неподдельным искренним увлечением, Горбунов записал про себя на память: „За душу захватывала русская песня в натуральном исполнении Т. И. Филиппова; ходенем ходила гитара в руках М. А. Стаховича; сплошной смех раздавался в зале от рассказов Садовского; Римом веяло от итальянских песенок Рамазанова".

Действительно, над всеми певцами изяществом и точностью исполнения главенствовал Тертий Иванович и был непобедим. Бесплодно силились соперничать с ним два земляка-друга: М. А. Стахович и П. И. Якушкин, приставшие со своими орловскими песнями, верно передаваемыми по говору и мотивам. Первый, впрочем, восполнял недостатки в пении искусною игрою на гитаре и был неподражаем в пляске, а Якушкин, зная огромное количество песен, напевы их, своим крикливым раскатистым голосом не умел передавать верно и очень многие путал. Самого А. Н. Островского г-жа Воронова засчитала в певца, свидетельствуя, что он недурно пел. Она умела аккомпанировать; у нее нашлись знакомые ему ро-

мансы, и он никогда не отказывался петь, когда его просили.

В числе последних выделялся разысканный в погребке на Тверской (угол Университетского переулка) приказчик, торговавший на отчете,— М. Е. Соболев, ярославец родом, владевший что называется серебряным голосом: высоким, звучным и чистым тенором, ловко и умело приготовленным к заунывным деревенским песням. Стремился он, впрочем, доморощенным вкусом к чувствительнейшим романсам и ариям из опер, в виду увлечения знаменитым и несравненным театральным певцом Бантышевым. Впрочем, Соболев умел уловить только быстрый и разудалый переход от арии в „Аскольдовой могиле" к песенке: „Чарочки по столику похаживают". В песенке Торопки: „Близко города Славянска" — Соболев немного походил на Бантышева; в исполнении „Размолодчиков", „Не белых снегов во чистом поле" и „Вспомни, любезная, мою прежнюю любовь" — имел соперника только в одном Т. И. Филиппове. Слушать его сходились и такие мастера пения, как старик цыган, родной брат Матрены, восхищавшей Пушкина, — старик купеческой осанки, знавший много старинных былин (я со слов его записал нигде не напечатанную про Алешу Поповича,—прекрасную). А заходил он сюда, между прочим, выпить самодельной мадерцы бутылочку и закусить ее, на условный московский вкус, либо мятным пряничком, либо винной ягодой. Видывали здесь и Ивана Васильевича, известного и в Петербурге содержателя самого лучшего хора (в страхе, сми-

рении и целомудрии), почтенного и всеми уважаемого человека, который и в компании Островского пользовался должным вниманием и любовью. Здесь же, в погребке, нередко заседал театральный певец Климовский, пением которого один любитель восхитился до того, что назначил ему ежегодную пенсию и проч.

Во всяком случае, этот погребок Зайцева (по вывесочной надписи: Zeizow) был своего рода клубом. Для посетителей из любителей пения предоставлено было особое помещение наверху, над погребком, в виде довольно просторной залы. Насколько же не признавали его отделением кабачка, доказал один из посетителей известный художник, не задумавшийся нарисовать на стене мастерски углем свой портрет, который бережно потом охранялся, конечно, служа в то же время и некоторой рекламой.

Вскоре клубным местом приятельских свиданий сделался, по заветному обычаю, общему всей Москве, московский трактир Гурина, или лучше — то его отделение, которое издавна называлось — Печкинской кофейной — и имело отдельные кабинеты.

Увлечение кружка Островского или „Молодой редакции „Москвитянина" русскою песней, может быть, имело прямым или косвенным источником движение в эту сторону славянофилов, во главе с П. В. Киреевским, примыкавших также своими симпатиями к погодинскому журналу. С другой стороны, тем не менее, перлы народного творчества здесь по-

лучали живое художественное толкование. Песня оживала не в мертвых записях, а в своих цельных образах. Тут уже вовсе не требовалось сухих комментариев, которыми, вскоре по выходе в свет сборника Киреевского, совершенно затемнили ее истинный, глубокий смысл, а ненужными и неуместными мудрствованиями умалили и ее высокую ценность. Тоже увлечение кружка производило и другие благотворные влияния и, между прочим, на творчество современных поэтов. Наиболее талантливый из них, примкнувший несколько позднее (бывший в то время инспектором 2-й московской гимназии на Разгуляе), Лев Александрович Мей, успевший создать прелестные лирические произведения на восточные мотивы, преимущественно еврейские, на библейские темы, евангельские события и события из римской жизни, решительно переменил строй своей лиры, перейдя на родную отечественную почву. Здесь он сразу нашел себе новые, вдохновляющие мотивы, которые до той поры были ему мало или вовсе неизвестны. С несомненною искренностью, судя по силе выражения и образов, в своей превосходной запевке: „Ох, пора тебе на волю, песня русская, благовестная, победная, раздольная, непогодою-невзгодою повитая, во крови, в слезах крещеная-омытая“,—он показал, насколько была сильна его решимость разорвать связи со старым и налаженным и насколько было беззаветно и бесповоротно отречение.

Известное право, как бы своего рода патент, требовалось, конечно, для того, чтоб обратить

на себя внимание кого-либо из членов кружка и быть сюда представленным и затем допущенным. Вспоминаю про эту молодежь, которая окружила А. Н. Островского, удачно была им подобрана, а между собою успела спеться так, что умела подцветить досужие часы работников мысли и слова, когда они, для обмена мнениями и для развлечений, собирались у Островского, у Григорьева, у Евг. Эдельсона. Брат последнего, Аркадий, представил своего товарища по рязанской гимназии, Колюбакина. Этот прихватил с собою Мальцева и т. д. Образовалась, таким образом, небольшая компания живой и веселой молодежи в составе 4—5 человек, прозванная шутливым образом „оглашенных“. Бродяжною или праздною она не была: либо училась, либо служила и, привлеченная притягательною силою литературного светила, составилась из самых усердных и горячих его поклонников. Благодарная за допуск и счастливая исключительностью своего положения, она, в свою очередь и в меру наличных сил и способностей, желала и умела послужить кружку избранных хотя бы веселостью, вообще неразлучною с молодостью. Сам хозяин добродушно и искренно увлекался шаловливыми, остроумными и находчивыми шутками Мальцева; заливался детским, визгливым хохотком своим смешливый Писемский; приходил в обычный восторг, проявлявшийся громким откровенным смехом, легко увлекавшийся Ап. Григорьев. Подхваченные здесь песенки и романсы выносились в нашу студенческую семью, где и

распевались те из них, как, например, „Спи, моя Яцента", которые наиболее отвечали молодому настроению и резвому задору.

Живой и всегда неизменно веселый, с явным оттенком беззаботного характера и открытой души, „Костя" Мальцев необычайною подвижностью нервной природы успел выделиться из всех прочих. Он с неподражаемым мастерством умел представлять сцену молящейся старухи. Стоило ему лишь накинуть на свою курчавую голову носовой платок, подвязав его под подбородком, вытянуть этот подбородок, изменить морщинами свое красивое лицо с правильными чертами, — и подобие семидесятилетней шепелявой и беззубой старухи было изумительно и по сходству и по быстроте превращения. Она расположилась молиться, усердно накладывая широкие кресты на лоб и плечи, но вдруг и неожиданно привязалась чужая и злая собака. Старуха молится, собака теребит ее за подол и намеревается укусить за ногу. Одна лает, другая ворчит на нее и отмахивается, не забывая, в то же время, шепелявить молитвенные слова. Собака, наконец, добилась своего—укусила, старуха своего—больно ударила ногой в морду. В одно время и собака визжит от боли, и старуха от той же причины вскрикивает. И вой, и крик, перемешаясь, сливаются, пока изумительный артист не оставит места представления и не удалится, прихрамывая. Еще забавнее была эта же сцена, когда она разыгрывалась вдвоем с Колюбакиным и вызывала гомерический смех их же обоих; сцена, представляющая стадо, которое

гонит пастух с поля, и животные, большие и малые, с изумительным сходством подавали голоса. В москворецкой бане у Каменного моста шустрый Костя, вбегая в раздевальную, раз заржал жеребенком. Банщик Иван Мироныч Антонов, маленький ростом, говоривший фальцетом и отборными книжными словами, на шалость Мальцева заметил тем выражением, которым воспользовался Ал. Ник. в одной из своих комедий: „малодушеством занимается". На помощь Мальцеву являлись либо И. Е. Турчанинов, либо „Межевой", либо иные досужие и умелые рассказчики. Первый — Иван Егорыч — числился в драматической труппе Малого театра, неизменный и постоянный спутник Островского, сблизившийся с ним и приятный ему по одной общей страсти. Оба были страстные и замечательные рыболовы, особенно в мудреном способе на удочку, для чего уезжали они на знаменитые карасями пруды подмосковных сел Коломенского и Царицына. Иван Егорыч придумал изображать на своем лице и всей фигурой старую истасканную шубу. Некто весельчак и чудак, служивший землемером, а в компании известный под названием Межевого и Николая последнего[1], охотно

[1] [Это был Николай Ягужинский, доброхотно пристроивший себя в бессменные ординарцы Александра Николаевича. Будучи человеком весьма неглупым, очень любил выпить и служил предметом постоянных шуток всего кружка. Особенно забавен он был, когда приступал к выпивке, как бы к какому священному действию: любовался хмельной влагой, прикидывая на свет, гладил с ласковыми приговорами стеклянную посуду и пр.

во всякое время уморительно представлял утку, и т. д... Мелкие рассказы и забавные сцены не переставали чередоваться одна за другою, вперегонку и соревнование, пока не появился Иван Федорович Горбунов, заставивший всех прочих или стушеваться, или совсем замолчать. Осталось им перенимать его сцены, с большею или меньшею удачею ему подражать и, во всяком случае, распространять о нем молву и помогать укреплению его славы. Как компетентные (отчасти) судьи, эти его предместники были первыми его приятелями и восторженными поклонниками. Мальцев, например, вскоре покинул старуху, как только Горбунов воспользовался той же природною подвижностью своих лицевых мускулов и успел создать классического и неумирающего генерала Дитятина [1]. Колюбакина, богато одаренного от природы разнородным дарованием и обещавшего сделаться серьезным артистом-комиком, в компании веселой молодежи Гурбунов уже не нашел.

Однажды он залился горькими искренними слезами, когда, шутки ради, один из свидетелей этой забавной игры, притворившийся спящим, подменил водку водой.]

[1] [Сохранился портрет его в этом виде. Под форменной каской сурово смотрит измятое морщинами (без всякой гримировки и иных искусственных средств) лицо этого добродушного человека, болтливого и находчивого в ответах на самые неожиданные, странные, иногда и глупые нередко вопросы. Этого сподвижника 12-го года, к слову сказать, Горбунов, замечательный каллиграф и рисовальщик, умел прекрасно зарисовывать своим бойким карандашем. Портрет снят в Саратове известным в свое время по Волге фотографом Муренко. Садовский, например, в своих письмах к Горбунову обращался всегда с титулом превосходительства и пр.]

Немалое наслаждение доставляли нам неслыханные комические рассказы собственного сочинения Колюбакина, которые потом высоко оценены были компанией Островского. Особенное же удовольствие испытывали мы от его прелестного голоса. А насколько мы этим увлекались, вот и ясное доказательство. Проходим однажды мимо церкви Сергия в Пушкарях, куда собирался народ поглазеть на купеческую свадьбу. Протолкались и мы в церковь, в самый перед. Переговорив с дьячком и приняв благословление священника, Колюбакин уже стоял слева, спереди аналоя, и держал перед собою поднятую по общим приемам книгу „Апостол", придерживая пальцем то место, где ему надо было читать. Когда кончилось венчание и мы двинулись к выходу, седенький старичок придержал нашего „Ваничку" за капюшон шинели и сказал:

— Ивану Антоновичу и в молодых его летах ни в жисть так бы не сделать, как вышло у вас, милостивый государь. Очень вам за все это благодарны: прочитали и чувствительно и деликатно, без крику. Позвольте вам поклониться „лобанчиком".

И совал Колюбакину в руку французский золотой с изображением головы. Монета, конечно, заготовлена им была для игры среди прочих свадебных забав и утех — для игры в трынку (в „три листка", она же и „подкаретная"). Уподобление же чтения Апостола относилось к тогдашнему протодьякону митрополита Филарета, докрикивавшему уже последние свои могучие басовые ноты.

Еще лучше и, можно смело сказать, с художественным мастерством читал Колюбакин гоголевские комедии, в особенности „Тяжбу“; сам Садовский отдавал ему преимущество перед своим чтением, и с этим согласны были все прочие. Такое-то мастерство, заявленное нашим другом на несказанную радость и гордость нашу, между прочим, по дошедшим слухам, заинтересовало Островского. Привел к нему милого и любимого товарища Арк. Эдельсон, а через него уже устроилась и первая наша встреча с знаменитым писателем. Не для ответного визита, а уже прямо с целью готового отозваться на зов человека, который пришелся по душе, и еще лишний раз полюбоваться им в его товарищеской семье, Александр Николаевич Островский пришел к нам на чердачок, на Спиридоновку.

Посмотреть на его ясные очи мы настроились торжественно и радостно; нервно, хлопотливо и суетливо готовились мы к встрече его. Вымели комнатку, прибрали постели, побрились, вычистили самовар, собрали целый капитал суммою выше пяти рублей на угощение, в котором к бутылке дроздовки прибавлена была еще бутылка мадеры. Думали было на оставшуюся сдачу купить монашенок и покурить ими, но Колюбакин отклонил: дорогой гость сам курил жуковский табак и, помнится, носил его при себе в кисете. Давно мы уже бегали по трактирам с исключительною целью добиться книжки „Москвитянина“, где была напечатана комедия „Свои люди — сочтемся“. Ни протекция половых, Семена и Кузьмы, ни

переход в московский железный трактир, где также выписывались все журналы, не помогли нашей неутолимой жажде. Понапрасну мы с'ели много пирогов в 25 копеек ассигн. и выпили несколько пар чаю, пока добились книжки для прочтения второпях, так как настороженные половые стояли, что называется, над душой, выжидая, когда будет отложена книжка в сторону—схватить и унести ее к более почетному и уважаемому посетителю. Насладившись торопливым чтением, мы как будто совсем не читали, узнали ее совершенно вновь, когда Колюбакин принес от Евг. Ник. Эдельсона эту комедию и своим мастерским чтением протолковал ее нам во всю художественную силу в рельефно выраженных красотах ее.

На покинутое Гоголем добровольно и вакантное место выступил достойный последователь и прямой наследник его, с выработанным новым взглядом на русскую жизнь и русского человека, с особенным преимуществом знатока великорусского народного быта и его, несомненно, верных и до тонкости изученных национальных свойств, а в особенности отечественного языка в изумительном совершенстве.

Перед нами в'яве уже об'явилось новое, вспыхнувшее ярким блеском светило, и с трепетным чувством благоговения смотрели мы на него, всматривались во все черты его умного лица, прислушивались к звукам его голоса, который казался нам музыкально-мелодичным, и ловили каждое слово.

На первый взгляд А. Н. показался нам, судя по внешнему виду, замкнутым, как будто

даже суровым, но, вглядевшись, мы заметили, что каждая черта лица резко обозначена, хотя вместе с тем и дышала жизнью. Верхняя часть лица, в особенности, показалась нам привлекательною и изящною. Но лишь только развернулся Колюбакин, куда эта вся черствость взгляда скрылась. Глаза сделались ласковыми, исчезло величавое выражение всего лица и заметная на нем легкая складка лукавого юмора— уступила теперь добродушному и открытому смеху. Эта быстрая смена впечатлений в подвижных и живых чертах лица, выражавшаяся неожиданным переходом от задумчивого к открытому и веселому выражению, всегда была поразительна. Мы приняли это в свидетельство, что под обманчивой и призрачной невозмутимостью и при видимой солидности в движениях скрывалась тонкая чувствительность и хранились источники беспредельной нежности, иначе бы он так мягко и ласково не улыбался и не был бы так очаровательно прост. Белокурый, стройный и даже, как и мы все, малые и приниженные,—застенчивый, он и общим обворожительным видом и всею фигурой совершенно победил нас, расположив в свою пользу до последней степени.

Впоследствии и вскоре Островский поспешил доказать и многоразличными фактами убедить всех нас в том, что он был поистине нравственно сильным человеком, и эта сила соединялась в нем со скромностью, нежностью, привлекательностью. Кроткая натура его обладала способностью огромного влияния на окружающих. Никогда ни один мыслящий человек

не сближался с ним, не почувствовав всей силы этого передового человека. Он действовал, вдохновлял, оживлял, поощряя тех, кто подлежал его влиянию и избранию. Дружба его умножала нравственные средства, подкрепляла нас в наших намерениях, возвышала и облагораживала наши цели и давала возможность действовать с большою способностью в собственных делах и с большой пользой для других.

При таких высоких свойствах Островского приблизившиеся к нему уже не отставали от него, пребывая верными ему до конца. Вглядываясь во всех окружавших его и близко стоявших к нему и вспоминая каждого в лицо и по имени, вижу не один десяток таких, которые, как звенья в цепи, как плетешок в хороводе, цепляясь один за другого, тянулись сюда неудержимо. Все твердо знали, что здесь почувствуют они себя самих в наивысшем нравственном довольстве, утешенными и успокоенными.

По невольному тяготению и сродству душ, все наличные художественные силы Москвы находились естественнным образом в тесном сближении с литературным кружком „Молодой редакции „Москвитянина", начиная с музыкальных художников, каковы: Николай Рубинштейн и Дютш, и кончая художниками в собственном значении, каковы: профессор школы живописи и ваяния Рамазанов и художник Боклевский (скончавшийся в Москве в 1897 г.).

Петр Михайлович Боклевский к самому началу литературной известности Островского успел вернуться из-за границы, куда ездил для

Е. П. Ростопчина.

Е. А. Салиас-де-Турнемир.

изучения школ живописи (преимущественно испанской) по окончании полного университетского курса. С'ездил он не только в Италию, но и в Испанию, счастливцем для тех времен строжайших запретов на выезд, осложненных большими хлопотами и усиленных дороговизною заграничных паспортов. Когда выросла слава Островского, Боклевский явился к нему на помощь, как истолкователь художественных красот во всеоружии опыта и силы. Испробовав их в блестящих, всем известных рисунках бойким мастерским карандашом типов „Мертвых душ" и других произведений Гоголя, — Петр Михайлович с такою же любовью и с таким же точно проникновением в суть творческого замысла изобразил типы из комедии „Бедность не порок". Они пленили Тургенева в оригинале до такой степени, что он добровольно вызвался дать им ход и заботливо хлопотал об издании рисунков у петербургских издателей.

Это сближение передовых людей московской интеллигенции в особенный кружок (отдельно от профессорского) если и произошло оттого, что по случайному совпадению все были „ровесниками", т. е. ровнями по годам, то, с другой стороны, скреплению его главнейшим образом содействовало другое важное обстоятельство: все они безусловно были „сверстниками": сплоченность союза облегчалась тем, что подошли друг к другу под лад и подстать. Тем не менее, мягкой и любящей, снисходительной и уступчивой натуре А. Н. Островского значительною долею обязан был этот

кружок тем, что дружно вел свое дело и не расходился долгое время, несмотря на замечательное разнообразие составных элементов. В московском разобщенном обществе, охотно и ярко пред'являвшем наклонность к уединению и отчуждению от того, что находится вне сферы личных коммерческих интересов, уже одна эта возможность сближения составляет немалую заслугу. Быть же связующим звеном в таком разнохарактерном сборе видимо не подходящих лиц, в каком поставили Александра Николаевича случайные обстоятельства, — это уже нечто, выходящее из ряда всеобщих обычных явлений. Уральский казак [1] и торговец из оптового склада Ильинских рядов, знаменитый виртуоз, не имевший себе соперников в Москве и разделявший славу с Антоном Рубинштейном и его братом Николаем, и рядом кимровский мужичек—бывший сапожник; учитель чистописания и рисования и известные критики эстетики; землемер и актеры—все об'единены и согласованы, все, под одним знаменем служения изящному и любви к народу исполняют честный долг перед дорогой и святой родиной.

С. В. Максимов

III [2]

Погодин устроил у себя в саду (кажется весною 1854 г.) прощальный обед Щепкину, уезжавшему в Париж, как говорили, по при-

[1] Писатель Железнов, автор „Уральцев" (1858—59).

[2] Московские воспоминания Н. В. Берга (1845—1855), „Русск. Старина" 1884, июнь, стр. 616—648.

глашению знаменитой Рашели[1], с которой он сошелся в бытность ее в Москве, в начале пятидесятых годов (1852—1853 гг.), где она дала около тридцати представлений в Большом театре. Народу на обеде собралось много. Были даже и такие, кто Погодина не жаловал. Из выдающихся славянофилов явились: Киреевские, Хомяков, Кошелев, Аксаковы... С другой, супротивной стороны ярче всех выступал Грановский. Так называемая „Молодая редакция „Москвитянина"—кружок, к которому принадлежали: Островский, Григорьев, Мей, Эдельсон, Рамазанов, Садовский, Филиппов... был весь.

Рамазанов имел в это время зуб против членов комиссии, которая занималась делами училища живописи и ваяния и куда принадлежали: Хомяков, Кошелев, Павлов и другие московские граждане, обладавшие более или менее хорошими средствами. Как и когда образовалась эта комиссия—автору неизвестно, но без нее ничего серьезного в училище не предпринималось. Она присутствовала на годичных испытаниях училища; от нее зависело присуждение тех или других наград отличившимся воспитанникам по представлению их профессоров. Иногда комиссия вовсе отказывала в наградах. Рамазанов постоянно выражал неудовольствие на решения этого ареопага. По его мнению, лица, составлявшие комиссию, были ничего не смыслившие в искусстве

[1] О ней „Русск. Старина" 1884, октябрь, гл. VII, в воспоминаниях того же Берга.

невежды, неучи, зазнавшиеся богатые баре, и более ничего.

Незадолго перед упомянутым обедом комиссия забраковала работы художников, представленные Рамазановым к довольно крупным наградам. В особенности он хлопотал о молодом скульпторе Иванове, выставившем статую: „Мальчик обливается водой из шайки". Рамазанов находил, что ему следует выдать по крайней мере 300 рублей. Комиссия полагала, что и ста рублей было бы много. Громче всех ораторствовал Хомяков, считавшийся наиболее компетентным судьею в художествах, так как он часто бывал за границей, видел все знаменитые галлереи Рима, Флоренции, Тосканы, Парижа, Лондона, Дрездена, Вены, Мюнхена и многих других городов; кроме того был поэт, весьма чтимый славянофилами.

И вдруг этого-то оратора, управлявшего решениями комиссии, Рамазанов увидел в саду Погодина уже под конец обеда, когда речи и тосты кончились, шампанское все было выпито, обедавшие образовали группы в главной аллее, каждая беседовала о чем случится: в одной группе слушали потешные рассказы Садовского о Наполеоне, о татарине, о пьянице, ловившем муху, с теми добавлениями, которые в комнатах рассказывались не часто...

Кружок, собравшийся около Хомякова, вспоминал о Гоголе, который неизбежно праздновал свои именины в тех самых аллеях, когда бывал в Москве. Толковали об артистах, игравших главные роли в его комедиях—между про-

чим, и о виновнике прекрасного оживленного обеда, едущего в гости к великой Рашели— зацепляли тут же и Рашель, ее московские спектакли...

Нужно было, чтоб вдруг налетела дикая туча и смутила безмятежное настроение беседующих: подошел Рамазанов, едва державшийся на ногах, и, стоя за спиной Хомякова, стал крутить обеими руками плащ и отпускать такие фразы: „Туда же судья! Решает художественные вопросы, ничего не смысля!.. Козлиную бороду отростил и думает о себе бог знает что! Вот я тебе выдергаю эту бороду, и тогда узнаешь, как решать художественные вопросы“ [1].

Хомяков показывал вид, что ничего не слышит, и продолжал разговаривать с близстоящими. Но дальние в избежание пущего скандала поспешили устранить Рамазанова: увели его под руки и уговорили уехать [2].

Н. В. Берг

IV [3]

По субботам часть нашего кружка собиралась у Константина Александровича Булгакова, сына московского почт-директора, внука знаменитого Якова Ивановича Булгакова, екатерининского посла, который

[1] [Записано слово в слово. Были фразы еще резче...]

[2] О собраниях у Погодина см. „Из воспоминаний“ Д. Погодина в „Историч. Вестнике“ 1892, апрель (здесь же, на стр. 38—39 о собраниях у А. Хомякова).

[3] И. Ф. Горбунов. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 395—397.

был заключен в Константинополе в Семибашенный замок. Конст. Алекс. был отставной гвардеец. В Петербурге ходили целые легенды об его шалостях, на которые тогдашнее начальство, даже сам великий князь Михаил Павлович смотрели снисходительно. Я не буду о них рассказывать здесь, не буду поминать грехи его юности и неведения. Больной телом (он не мог ходить и передвигался по комнате в кресле на колесах), но бодрый и здоровый духом, отлично образованный, прекрасный рисовальщик, музыкант, без голоса обаятельно передававший суть страстных романсов Глинки, он заставлял любить и жалеть себя; любить—за необыкновенно доброе сердце, жалеть—за растрату богом данных ему даров. В Петербурге по художественной части он принадлежал к обществу Брюллова, Глинки, Кукольника и Яненко или, как он выражался, к обществу „невоздержанных“.

Он жил вместе со своим отцом в почтамте. Стены небольшого кабинета его были сплошь увешаны портретами бывших и настоящих его друзей; стояли небольшое пианино, диван, стол и несколько стульев. Садовский посещал его чуть не каждый день, а Максин иногда пребывал у него от зари и до зари: придет, справится о здоровье и уйдет; потом опять появится, опять уйдет и так целый день.

Субботние посетители назывались „субботниками“. Для них был заведен альбом, в котором они, при поступлении в субботники, собственноручно вписывали свои фамилии (у меня один альбом сохранился). Князь Петр Андреевич Вяземский значится в числе

субботников. Проездом через Москву он бывал у Булгакова. М. Н. Логинов, остроумный Борис Алмазов, Рамазанов и Дюбюк были постоянными субботниками и оставили в альбоме много стихов. Каждый из субботников непременно должен был что-нибудь написать в альбом. Вечера были веселые. Живой, остроумный разговор, музыка, пение и застольные беседы часто до утра. Нередко Михаил Семенович Щепкин являлся сюда что-нибудь прочитать.

Большим утешением для общества служил Максин. Иногда он среди оживленного разговора вдруг задавал вопрос, совершенно не вытекающий из темы беседы. Например:

— Карл Францевич Рулье вчера в кофейне говорил—какой-то Фейербах написал замечательное сочинение, сколько я мог понять, против религии...

— Ну, а тебе что за дело?—спокойно замечал Булгаков.

— Странно, как цензура могла пропустить,— важно отвечал Максин.

— А вас религия, Петр Алексеевич, интересует?

— И очень даже!

Прерванный разговор продолжался снова.

Во время музыки или чтения Максин становился в важную позу, делал серьезную мину и являл из себя вид знатока, прерывая иногда чтение замечанием.

Кончается вечер. Сонный лакей Мардарий провожает гостей, и в „субботник“ заносятся следующие стихи (Б. Н. Алмазова):

У Щученко в доме,
В час заката звезд,
В память по Содоме
Был великий с'езд.

Трезвый и степенный
Собирался люд,
Был тут Келль почтенный,
Максин и Шервуд.

Петя Безобразов
И толстяк Борис
И Борис Алмазов —
Все перепились.

Логинов Михайла
Капли не брал в рот,
Видно он...
Потихоньку пьет.

А Алмазов Борька
И Садовский Пров
Водки самой горькой
Выпили полштоф.

Костя ключ от шкафа
Часто доставал,
И изделья Яффа
Пил и одобрял.

Максин от коньяку
Вовсе не был пьян—
Спиртового лаку
Требовал стакан..

Михаил Ефремыч,
Русский соловей,
Врачевал их немочь
Песенкой своей.

И под звуки арий,
Отягчен вином,
Между тем Мардарий
Спал глубоким сном.

Очень жаль, что стихи из „субботника“, как имеющие частный характер, не могут быть напечатаны, а есть прекрасные [1].

И. Ф. Горбунов

[1] О вечерах К. Булгакова см. у П. А. Вяземского в полном собр. сочинений, т. VII, стр. 190.

САЛОН Е. РОСТОПЧИНОЙ [1]

Ростопчины, рассчитывая поселиться в Москве прочно, купили на Садовой, в приходе Ермолая, известный всей Москве дом Н е б о л ь с и н ы х, лежавший глубоко во дворе, с примыкавшим к нему довольно большим садом, дом обширный, поместительный, но всего в два этажа. Графиня поселилась внизу, отделав по своему вкусу анфиладу пяти-шести комнат, где расставлена была, по ее же вкусу, старая петербургская ее мебель: изящные диваны, кушетки, кресла, стулья, козетки разных величин и форм—по стенам, налево от входных дверей и посередине. Маленькие шкапчики, столики, шифоньерки, полки и полочки с дорогим старинным фарфором по стенам, направо, у окон. Комната с камином и будуар графини были отделаны с большим вниманием, чем прочие. В будуаре можно было засмотреться на разные предметы роскоши, туалетные безделушки, пахнувшие сотнями и тысячами. Весьма ценная рояль (на которой в Петербурге игрывали знаменитейшие виртуозы Европы) помещалась в одной из комнат, ближайших к выходу. Разумеется, везде были постланы богатые ковры.

[1] Графиня Ростопчина в Москве (Отрывок из воспоминаний). Н. В. Б е р г. „Историч. Вестник“ 1893, март, стр. 695 и др.

Граф занял верхнюю половину дома, тоже отделав ее по своему вкусу довольно просто, но комфортабельно. В том же этаже помещались наследственная картинная галлерея и библиотека. Там и обедали, в своем ли кругу (состоявшем из мужа, жены, трех человек детей, с гувернерами и гувернантками), или с добавлением кое-каких гостей. Живописец из художественной школы, живший у Ростопчиных на полном их содержании единственно для рисования Наполеона I в карикатурных видах, обедал особо.

Средства Ростопчиных в то время были еще в надлежащем порядке. Можно было бросать деньги, и граф бросал бог видит куда и на что. Ни балов, ни вечеров и многолюдных с'ездов граф не любил. Графиня не смела... Жили они относительно довольно скромно. Граф проводил утро преимущественно у себя дома. Временами к нему заглядывали кое-какие приятели и знакомые по английскому клубу, где он был членом: коннозаводчики, любители троек, цыган, балета, добрых закусок.

Графиня принимала на своей половине с в о и х гостей, обыкновенно вечером: пили чай, играли на фортепьянах, беседовали. Гостями были светские дамы и мужчины высшего круга, большею частью молодые и красивые. Графиня сама показывалась кое-когда на балах разных графов, князей и высоких сановников. Она была тогда еще довольно молода, довольно стройна, могла нравиться. Литература, с год или с два пребывания Ростопчиных в Белокаменной, была отодвинута на второй план или

даже еще подальше. Появился, впрочем, в „Москвитянине“ 1849 года букет довольно милых стихотворений, видимо „прежнего времени“, где рассказывалось об от'езде на Кавказ одного молодого воина, о его чувствах, о чувствах той, которая осталась сокрушаться и плакать... Подписи не было. Автора угадали только избранные.

Светская, ветреная жизнь графини, весьма похожая на петербургскую, потрясена была одним неожиданным для нее прозаическим обстоятельством: графиню вывел обер-полицеймейстер Лужин с одного придворного бала, на который она неосторожно явилась, пользуясь старыми петербургскими правами и полагая, что *все забыто* [1]. Граф счел себя обиженным в лице жены и отказался участвовать в большом маскараде, который давал город государю в новом Александровском дворце, тогда только что отстроенном, и где граф, как московский дворянин и представитель старой громкой фамилии, должен был изображать в длинной процессии областей и городов—город Москву, в виде боярина XIV столетия. Был сшит уже и богатый костюм и заброшен.

Жизнь Ростопчиных изменилась, особенно жизнь графини: она заперлась у себя дома. Выезды на светские балы прекратились. Салоны ее стали пусты. Случилось, что в это самое время один из пожилых поэтов Москвы,

[1] Имеется в виду эпизод из петербургской жизни поэтессы в связи с ее стих. „Насильственный брак“, в котором власть несколько запоздало увидела политический намек на взаимоотношения России и Польши.

человек раздраженный против властей, написал против генерал-губернатора, графа Закревского, резкие стихи. Они быстро распространились по городу, и все говорили, что это написала Ростопчина [1]. Генерал-губернатор на первых порах верил тому. Нужно было поправлять отношения, внезапно охладевшие. Графиня измучилась... тут ей пришло на мысль ухватиться, ради своего спасения и успокоения, за литературу: познакомиться с местными литераторами и завести у себя „литературные вечера" по субботам, в воспоминание петербургских „суббот".

В Москве было в то время два литературных кружка: славянофилы, собиравшиеся у Хомякова, Аксакова (Сергея Тимофеевича, отца Константина и Ивана Сергеевичей), Кошелева, Киреевского, Елагиных, и так называемая „Молодая редакция „Москвитянина", только что начавшая формироваться. Она состояла главным образом из недавних студентов московского университета. Другие учебные заведения давали там небольшой процент. Тут были талантливые люди: Мей, Григорьев, Калошин, Эдельсон, Филиппов, Писемский, Рамазанов...

Славянофилы держались особо, знали почти только друг друга. „Молодая редакция „Москвитянина" знала в городе очень многих, не брезговала никем. Ближе всего были к ней

[1] Автором стихотворения был Н. Ф. Павлов. См. сборник политической лирики „Красный декабрь", составленный Н. Бродским и В. Львовым-Рогачевским, стр. 34.

некоторые артисты сцены: Садовский, Васильев, Максин, Турчанинов...

Графиня долго не знала, что ей делать: из каких литераторов составить кружок для своих „литературных вечеров по субботам“,—кружок удобный, приличный, нескучный. К славянофилам сердце ее не лежало вовсе. На них смотрело тогдашнее общество иронически, поднимало насмех народные их одежды: поддевки, зипуны, красные рубахи с косым воротом, мурмолки; правительство с ними не ладило. Да и то сказать: для литературных вечеров светской дамы они, как люди серьезные, дорожившие своим временем, не годились: соскучились бы в неделю—и баста ездить. Графиня более или менее угадывала такой конец...

О другом кружке, о „Молодой редакции „Москвитянина“ и связанных с нею неразрывными узами разнообразных личностях города, ходили не очень благовидные слухи, что это—„беспросыпные кутилы, пребывающие большую часть дня в нагольных тулупах, не то в рубашках, ненавидящие фраков и перчаток, пьющие простое вино из штофов и полуштофов и закусывающие соленым огурцом“. Как их вычистить, сделать такими, чтоб они могли без зазору, не смущая в графской передней прислуги, показываться время от времени в изящных салонах изящной аристократки? Говорили еще в обществе, что они—„бирюки“, редко выползающие на свет божий из своих нор самого невероятного свойства, но незнакомых будто бы вовсе с половой щеткой. Что бывает иногда накидано на полу такого жилища, такой сор и грязь,

которые потом неизвестно куда исчезают,— этого ни в сказке не рассказать, ни пером не описать! Если приходил бирюк к бирюку и засиживался до ночи, для него стлалась на полу перина и потом долго, долго лежала, никем не убираемая, и никого из бирюков это не смущало. Бывали такие случаи, где два-три бирюка сходились у кого-нибудь; для каждого устраивалась на полу постель; бирюки ложились, разговаривали, и так проходила неделя, а иногда и две: бирюки не расходились—им было нескучно и удобно... Платье у бирюков бывало будто бы зачастую общее.

Такие ходили слухи. Графиня задумывалась. Литературные вечера не устраивались...

Разрешению вопроса помогло следующее обстоятельство: Островский написал комедию Банкрут. Все, знающие дело, ахнули. Вся интеллигенция Москвы заговорила об этой пиесе, как о чем-то чрезвычайном, как бы... небывалом. Наиболее всего поражал в ней язык московских купцов, впервые выступивший в нашей литературе с такою живостию, яркостию и силою. Но, кроме языка, и самый купеческий быт, способы мышления и жизненные приемы этого сословия нарисованы были могучею, широкою кистью... как бы опытного художника, о существовании которого никто не знал; никто не видал его постепенного развития, разных мелких, робких, отроческих статей. Сразу явилось мужественное произведение, совершилось нечто вроде чуда! Слава Островского, как драматического писателя, родилась и выросла в один день. Все стремились

слушать новое произведение; все слушая им восхищались; потом бегали и трубили по городу; всякому оно было понятно, было свое, родное... всякий невольно чувствовал его красоты.

Михаил Петрович Погодин, этот примиряющий центр всех партий, у кого на скромных его вечерах на Девичьем поле, на обедах, которые сочинялись в саду (если это можно летом и в хорошую погоду) по разным случаям и мотивам, сходились всевозможные московские кружки и даже люди, друг с другом, а иногда и с самим хозяином в жизни не ладившие: славянофилы, западники университет, артисты театра, молодость, старость—Погодин решился устроить у себя чтение „новой комедии", о которой столько все говорили. Трудность, и не малая, была лишь в том, чтобы „достать автора", познакомиться с ним без лишних церемоний, без визитов, прямо—„с корабля на бал"!

Михаил Петрович поручил уладить это дело одному товарищу Островского по воспитанию. Островский обещал приехать и читать. Дело было о масляной (1849 г.). Хозяин затеи придрался к этому и звал разных своих знакомых „на блины". В числе приглашенных были: Гоголь, Хомяков, Шевырев, актер Щепкин, некоторая часть „Молодой редакции „Москвитянина" (кто был поближе к Островскому) и Ростопчина. Были люди, кто хотел больше видеть автора „Насильственного брака", чем слушать новую комедию...

Островский явился ранее других, с толстой тетрадью, одетый во фраке. Графиня приехала

(как кто-то сейчас же заметил: в одиночных санях в одну лошадь), когда уже набралось довольно народу в верхнем помещении дома. Одета она была очень просто. Все глаза смотрели только на нее, и, кажется, всем она понравилась. Большинство присутствующих видело ее тут в первый раз. Погодин сейчас же представил ей всю свою „молодежь". Графиня осматривала представленных очень внимательно. Потом все уселись на самой невзыскательной мебели хозяйского кабинета: трех кушетках и нескольких стульях и креслах. Иным пришлось лепиться на подоконниках или даже просто стоять. Островский поместился в левом углу, у окон, и едва начал читать, как невидимо и неслышно ни для кого подкрался коридором Гоголь и стал в дверях, прислонившись правым плечем к притолке, и так оставался во все время чтения.

Пьеса произвела на всех присутствующих сильное впечатление. Все акты были выслушаны с самым полным вниманием, без одобрений, в мертвой тишине. Разумеется, было два-три отдыха. По окончании чтения главные лица ринулись кучей благодарить автора.

Мне вздумалось подойти к Гоголю и спросить его мнение о пьесе. Он сказал, что „при несомненном и большом таланте автора проглядывают неопытность, юность в технике дела. Необходимо, чтобы такой-то акт (он его назвал цифрой) был покороче, а такой-то подлиннее. Все это он узнает впоследствии, может быть, очень скоро узнает, но пока не имеет об этом ни малейшего понятия. Пишет, как

талант самородок, с плеча, не оглядываясь и руководствуясь только вдохновением. А это не годится и невозможно. Техника—другое вдохновение; вдохновение тогда, когда нет вдохновения!.. Но талант, решительный талант".

Графиня говорила с автором Банкрута более, чем с кем-нибудь, и просила его бывать у нее по субботам вечером. Такие же приглашения получили и еще несколько лиц, бывших тогда у Погодина, и сам Погодин. Так возникли „субботы Ростопчиной", сначала посещаемые весьма небольшим кружком литераторов и артистов, но потом стало являться их больше и больше, как местных, так и приезжих. Завязь кружка составляли Островский, Мей, Филиппов, Эдельсон, до некоторой степени—скульптор Рамазанов; артисты сцены: Щепкин и Самарин. Кое-когда заглядывали: писатель прежних времен Н. Ф. Павлов, С. А. Соболевский, только что воротившийся тогда из продолжительных странствий за границей, bon vivant со средствами, когда-то друг Пушкина и Мицкевича, произносивший поминутно острые эпиграммы; натуралист Северцов, ученый, несносный оригинал; Ю. Н. Бартенев, говоривший особым языком, в большинстве случаев человек скучный; графиня его недолюбливала; далее, Бегичев, светский, красивый вертопрах, любивший возиться с литераторами и актерами. Он привел к графине писателя немудрых свойств Вонлярлярского, странствовавшего по Востоку и стрелявшего в Африке львов с известным зуавским офицером Жюль Жераром.

Из петербургских писателей и артистов мелькали: Григорович, Тургенев, Майков... Из дам бывали преимущественно: супруга московского вице-губернатора Новосильцова (которую по оригинальному ее имени в городе называли просто „Меропа"), разбитная барыня Рябинина и др.

Из иностранцев у графини показывались во время пребывания в Москве: Лист, Шульгоф, Марио, Рашель, Виардо-Гарсия, Фанни Эльслер. Рашель была предметом исключительного обожания графини: место, где она сиживала в гостиной, закладывалось подушкой, и никто не смел на него сесть. Кто-то раз, не зная ничего об этих чудесах, хотел было плюхнуть и уже устранил подушку; графиня бросилась, положила подушку на прежнее место и сказала: „Тут нельзя сидеть: тут вчера сидело божество!"

Для Фанни Эльслер устроен был Ростопчиными в одном из верхних покоев пышный завтрак, вроде обеда. Она приехала в таких кружевах, которые долго не давали спать хозяйке... У Ростопчиных была абонирована ложа на все ее представления, где сиживал временами и граф, говоривший очень серьезно своим знакомым, что он „потому ездит смотреть на Фанни Эльслер, что она более, чем кто-либо, напоминает совершенством своего телосложения арабскую кобылу".

Погодин долго не показывался на субботах Ростопчиной. Его принесло, как нарочно, тогда, когда у графини между разными гостями была и Фанни-Эльслер. Он посидел несколько ми-

нут, посмотрел, выпил чашку чаю и невидимо скрылся. Потом, кажется, ни разу не был. Вечер Ростопчиной, который Михаилу Петровичу случилось видеть и на котором по преимуществу говорили по-французски для знаменитой гостьи, показался ему так мало похож на русские литературные вечера, что повторять этих неопределенных спектаклей он уже не хотел.

На самом деле эти вечера и без иностранных гостей заключали в себе очень немного литературных элементов: пили чай, изредка ужинали и болтали о разных разностях: о замечательных спектаклях, о жизни выдающихся чем-нибудь русских и иностранцев (так Григорович рассказал однажды весьма игривую историю из заграничных похождений известного богача Анатолия Демидова); о светских интригах и романах прежнего и настоящего времени. Зацепляли иногда и литературные приключения. Были случаи, когда кто-нибудь рассказывал свое чем-нибудь замечательное прошлое. Такие рассказы Щепкина были всегда чрезвычайно занимательны, да и рассказывал он превосходно, как бы читал по книге. Многое, впрочем, рассказывал он сотый раз. Литературные чтения устраивались очень редко Они состояли обыкновенно из новых произведений самой хозяйки, большею частью длинных-предлинных романов и драм, наводивших на слушателей непомерную скуку. Графиня была в этом случае беспощадна— прослушай непременно все, а не отрывок! Авторское самолюбие, предположение, что

все, что она напишет — занимательно, мешали ей видеть, как иные во время ее чтения зевают...

Один из позднейших знакомых Ростопчиной, поэт Щербина, находившийся в Москве в конце сороковых годов, послал в один из тогдашних петербургских юмористических листков карикатуру с изображением „литературного вечера у Ростопчиной", где она читает что-то на одном конце стола, обложившись книгами. Иные томы лежат даже на полу около кресла: все это предполагается прочесть залпом без отдыху! Кругом—наиболее известные посетители суббот графини. Все—портреты. Подпись гласит: „Чтобы чтение вполне удалось и никто не ушел, не послушав пьесы, приняты надежные меры". Этими надежными мерами были два огромных бульдога, лежащие у запертых дверей [1]. К ним идет Щербина—и останавливается, так как бульдоги оказывают беспокойство. Такие печатные оглашения в разных видах он делал время от времени для того, чтоб и самому тут порисоваться. Он имел замечательный поэтический талант, выразившийся, впрочем, в одних мелочах: в элегиях, иногда на греческий лад, и эпиграммах, из которых были иные остры и забавны, но всегда с пересолом, с неверным освещением предмета, с подкладкой зависти и раздражения против всего света, а потому они смешили немногих. Островский назван был в одной эпи-

[1] [У графини было в самом деле два огромных бульдога, самого кроткого свойства. Один назывался Сладкий.]

грамме „гостинодворский Коцебу". Рифма к этому—„в погребу"... Более всех из молодых литераторов Щербина преследовал почему-то Гербеля и Данилевского. Гербель, как военный человек, все собирался его бить. Самой колкой эпиграммой, из направленных против него, считалась переделка известной Загадки:

Что редко видит царь, пастух то зрит всегда,
А Гербель не видал от века никогда?
Ответ: Себе подобного!

Из прозаических рассказов Щербины, в том же юмористическом духе, известна более всего „Просьба семинариста" и несколько так называемых автором акафистов. Из последних часто слышались акафисты—Авдотье Павловне Глинке (жене бывшего ад'ютанта графа Милорадовича в 1835 году, Федора Николаевича Глинки, автора „Божественной капли" и многих других стихотворений и статей в прозе) и В. П. Боткину.

О Данилевском Щербина рассказывал довольно забавно на словах (всякий раз добавляя или убавляя), как он „сидел в Петропавловской крепости и разговаривал с государем, пришедшим к нему в маске", как „ездил в Курск, познакомился с губернатором, осматривал вместе с ним город, посетил театр и так смутил актеров, что пришлось спустить занавес и прекратить представление". Были рассказы и о многих других.

И такими рассказами наполнялись иногда субботы Ростопчиной.

Пристав поневоле к кружку „Москвитянина", Щербина чувствовал себя в нем как-то „не по себе", был чем-то чуждым, лишним, ни с кем не вязался. Когда устраивался у кого-нибудь вечер по поводу чтения новой пьесы (чаще всего собирались у Островского слушать его новые пьесы), Щербина никогда не приглашался. Должно быть, ему стало под конец холодно и жутко в Москве: он перебрался в Петербург, долго бедствовал, давал уроки русской словесности, наконец, достал себе там какое-то местечко и поправил свои дела изданием „Пчелы", книги для народа.

Бывали у графини посетители на один раз: представиться, посмотреть на автора „Насильственного брака" и исчезнуть, а потом рассказывать знакомым, что он „бывает на вечерах графини Ростопчиной, что там очень мило и весело"[1]...

Н. В. Берг

[1] Частью повторяясь, частью сообщая новые подробности, тот же автор рассказал о салоне Ростопчиной в „Русск. Старине" 1891, февраль, стр. 252—262 („Посмертные записки Н. В. Берга"). См. также „Воспоминания" С. М. Загоскина, „Историч. Вестник" 1900, апрель, стр. 63—64. Из воспоминаний Д. М. Погодина, „Историч. Вестник" 1892, апрель, стр. 52—55. „Правда о моей бабушке" (отрывок из воспоминаний М. О. Ростопчиной) в „Историч. Вестнике", т. 95, янв.—апрель. „Воспоминания" А. В. Мещерского в „Русск. Архиве" 1900, № 12.

САЛОН Е. А. САЛИАС [1]

Поздней осенью 1851 г. (И. С.) Тургенев, проезжая в Петербург, пробыл в Москве несколько времени и виделся со мною не раз и познакомил меня с графиней Салиас, в доме которой я потом встречал Кудрявцева, Грановского, М. Н. Каткова, П. М. Леонтьева, Е. М. Феоктистова, графиню Ростопчину, Щербину, В. П. Боткина и раза два видел автора „Свадьбы Кречинского", Сухово-Кобылина. Это был тогда очень смуглый и очень красивый брюнет, собою видный, рослый, с чрезвычайно энергичным выражением лица. Он мне очень понравился.

Напротив того, В. П. Боткин, которого письмами об Италии я еще года за два до этого восхищался, читая их в „Современнике", пришелся мне вовсе не по сердцу.

Около того же времени, в 52-м или 53-м году, я написал отрывок „Зимнее утро в помещичьей опустелой усадьбе"; он современем стал 1-й главой моего большого романа „Подлипки", который я напечатал в 61-м году, почти десять лет спустя.

[1] К. Леонтьев. Собрание сочинений. Т. IX, Воспоминания (1831—1868). П. Стр. 103, 127—128, 133—134.

Я помню, встал я раз зимою довольно рано; комнаты у меня были тихие, отдаленные и хорошие. Мне стало очень грустно и очень хорошо. Я вспомнил о своем родном Кудинове, в котором я давно уже не был; кажется, вообразил себе, что я там один-одинешенек... И мне захотелось туда смотреть „на бледную вечернюю зарю, умирающую за зимним поредевшим садом"... Я затворил внутренние ставни в окнах, чтобы легче забыть и город, и все на свете; велел слуге сварить поскорее побольше шоколаду и купить несколько хороших сигар.

Сел и написал этот отрывок. На другой же день, кажется, свез его к графине Салиас, с которой давно уже познакомил меня Тургенев. Там были Щербина и Кудрявцев и, конечно, Феоктистов.

Я прочел.

— Quel magnifique tableau de genre!—воскликнула графиня.—Лучшие из русских поэтов не постыдились бы подписать под этим имя свое.

Кудрявцев и Щербина тоже хвалили. Феоктистов всегда удивлялся ранней зрелости моих описаний.

Что касается до меня собственно, то я,вспоминая об этой зимней картине, вспоминаю также и слова Каткова, сказанные им мне гораздо позднее:

— Что ж такое теплота? Теплота в душе и останется, а на бумаге не выйдет!

Мне теперь это описание не нравится. Если находишь, что описания Тургенева верх совер-

шенства, то и мое ничуть не хуже. Но в том и дело, что о б а х у ж е.

Описания хороши или очень величавые, неопределенные, как бы носящие духоподобно (таковы описания в Чайльд-Гарольде), или краткие, мимоходом, наивные.

Мое зимнее утро и все почти описания Тургенева грубо-реальны, хотя и были согреты очень искренним чувством Другое дело также простые, мужественные описания старика Аксакова в „Хронике"!

Тут нет тех фальшивых звуков, взвизгиваний реализма, которыми богат Тургенев и которыми платил дань и я... увы... под влиянием его и других...

Например: „Собака, вспуганная незнакомыми посетителями, вся в з'е р о ш и л а с ь о т ужаса и гнева и преследует быстро убегающие сани"... Фу! как скверно! Это я писал. Это зовется „реализм".

Итак, все продолжали меня хвалить и ободрять.

Краевский писал мне из Петербурга чуть не почтительное письмо и говорил: „Пишите больше! Вы не имеете права зарывать ваш талант в землю".

Катков, который тогда не был еще в славе и издавал „Ведомости" на казенный лад, тоже очень хорошо принимал меня, когда я приходил к нему за советами, и, я помню раз, провожая меня на лестницу, подавал мне сам шинель.

Имел ли я, неопытный юноша, право тогда, или не имел, после всего этого поверить серьезно в мое призвание?

В эту же зиму (53 го года, если не ошибаюсь) наследник и Орлов выхлопотали прощение Тургеневу, и ему позволено было возвратиться в столицу Он рассказывал, что madame Смирнова („черноокая Россети") и Блудов вредили ему. За что—я помню, но здесь долго рассказывать.

Тургенев приехал в Москву... Я узнал, что он сидит у madame Салиас, и поехал прямо туда. Там, кроме него и, конечно, Феоктистова, был этот набитый дурак—Валентин Корш. Корш все время молчал и смотрел на Тургенева из угла со священным ужасом.

Тургенев был в темно-зеленом бархатном сюртуке. Очень весел и насмешлив... Рассказывал про Орел, декламировал стихи Фета, которого он очень любил, острил, даже представлял кое-кого в лицах.

В рассказах его про Орел я помню многое, что отозвалось года через два в повестях его „Два приятеля" и „Затишье".

Мне ужасно он нравился; все в нем и у него было крупно. Я никогда не завидовал ему, а всегда любовался им... Пришлось, однако, и его пожалеть на минуту.

Полулежа на диване у madame Салиас и в какой-то львиной позе потрясая своими кудрями, он сказал вот что:

— Главное дело для писателя—это уметь во время слезть с седла. Садиться на коня ему трудно, страшно, он не умеет. Потом он овладеет и конем и собой. Ему легко. Но потом приходит время более трудное, чем приступ; как понять, что пора сойти со сцены с достоинством?

— Я не говорю,—продолжал он,—о таких ничтожных фотографах, как мой приятель Панаев, а лишь о тех людях, у которых есть хотя немного художественности, например, о Писемском, Гончарове, о себе. Он мне ужасно нравится за то, что он меня терпеть не может и бранит мои вещи за многое очень основательно. Ни от меня, ни от Писемского, ни от Гончарова он нового слова не дождется. Его могут сказать только двое молодых людей, от которых можно много ожидать... Лев Толстой и вот этот.

И, не меняя своей барской позы, он указал на меня просто пальцем.

Я даже не покраснел и принял это лишь как должное.

Тургенев продолжал утверждать, что ни он, ни Писемский, ни другие, им подобные, уже ничего больше хорошего не скажут [1].

К. Леонтьев

[1] В письме А. И. Тургенева 11 января 1843 есть упоминание об этом салоне: „Графиня Салиас-Турнемир (Сухово-Кобылина) собрала весь блестящий мир; я любезничал с незнакомыми почти до двух утра!"

Подробности в „Воспоминаниях" К. Н. Бестужева-Рюмина 1900, стр. 28—33 и у Е. А. Салиаса („Историч. Вестник", 1898 янв., стр. 90—92). Ср. также в романе Лескова „Некуда" едкие странички о салоне маркизы К. Г. де-Бараль.

КРУЖОК П. Н. РЫБНИКОВА [1]

I

В конце сентября месяца (1856 года) разнеслась весть, что профессор Кудрявцев вторично уезжает за границу на довольно продолжительное время. Пошли толки и сожаления. Огорчались особенно те из нас, кому не удалось еще побывать на лекциях его. „Грановского не пришлось услышать,—роптали студенты,—пожалуй, что и лекций Кудрявцева не придется послушать. Возвратится ли он из чужих краев? Говорят, что он недолговечен".

С Кудрявцевым мы были знакомы только по его статьям, которые печатались в „Русском Вестнике" (1856). Мы тогда зачитывались вообще всеми статьями, помещавшимися в этом либеральном журнале, и особенно любили читать статьи „Политического отдела", которым заведывал П. Кудрявцев.

Когда Кудрявцев выехал из Москвы, то мы узнали, что ему был устроен прощальный обед на Рождественке, в квартире Н. Ф. Павлова; что на обеде говорились речи; что одна из речей была произнесена студентом историко-

[1] Воспоминания о студенческой жизни. М. 1899 („Из московских студенческих воспоминаний Ильи Петровича Деркачева", стр. 227—232).

филологического факультета Рыбниковым. Речь его почему-то понравилась студентам, которые списывали ее охотно себе на память.

Павел Рыбников, студент, 25 лет от роду, происходил из купеческой семьи и воспитывался в 3-й московской гимназии. Он был довольно стройного сложения и с лица даже благообразен. Рыбникова знали уже многие из студентов. А незнавшие его искали знакомства с ним, стараясь попасть к нему на вечер, где можно было встретиться с литературными знаменитостями (Аксаковыми, Хомяковым и др.). Кроме того, там же можно было достать хорошие книги для чтения. А жажда к чтению у нас была непреодолимая.

Само собою разумеется, что всякий, попавший в „рыбниковский кружок", знал чуть ли не наизусть речь его, произнесенную им перед обществом ученых людей, провожавших Кудрявцева в чужие края.

Лекции тех профессоров, которых пришлось нам слушать на первом курсе юридического факультета, нас не удовлетворяли.

Жалкая студенческая библиотека, существовавшая при университете, не могла удовлетворить нашей умственной жажды, хотя к январю месяцу 1857 г. состояло налицо 3012 сочинений, в 5736 томах, и 20 периодических изданий.

В 1856 году в студенческой библиотеке выписывались следующие журналы и газеты: „Русский Вестник", „Русская Беседа", „Le Nord".

Мы стали искать себе образования и развития вне стен своего университета, на Никольс-

ской улице, в лавочках букинистов — Кольчугина и др. Там мы рылись в разном книжном хламе, покупали журналы за старые года, вырезывали из них статьи Белинского, Чаадаева, Искандера, Салтыкова, Достоевского и других писателей; переплетали все это в отдельные книжечки, которые и истрепывались в студенческих руках. В каждом студенческом кружке была своя маленькая библиотека из таких книжек, которые наиболее удовлетворяли потребностям, накипавшим в юных горячих головах. Статьи в стихах или в прозе, в которых затрагивался крестьянский вопрос, собирались всеми с особенным старанием.

Возле студентов, у которых оказывалось наибольшее количество желанных книжек, всегда и группировалась молодежь. „Кружок Рыбникова", помещавшийся на Спиридоновке, был одним из таких, где собиралась молодежь в наибольшем количестве. В огромной комнате в известные дни и часы сходились не только студенты, но появлялись там и гвардейские офицеры из Питера, и сельские священники из глухих деревень, и духоборцы, приезжавшие в Москву из далеких окраин России, чтобы послушать красноречивого и словоохотливого Алексея Степановича Хомякова, постоянного посетителя этих вечеров. Мы, студенты, искавшие истины, сидели рядышком вдоль просторной комнаты, а перед нами в рубашке косоворотке, с поджатой под себя ногой, восседал на диване А. С. Хомяков. Вел он оживленный спор почти всегда с одним и тем же достойным противником его по слово-

извержению, со студентом Свириденко. Этот студент-медик первого курса был 29 лет. Родом из купцов, довольно тучный, так что студенческий сюртук на нем сидел нескладно. С лица был некрасив, но с языка говорлив.

Спорили Хомяков и Свириденко между собой очень красиво и достаточно горячо. Они, так сказать, играли словами и выражениями, баловались красивыми оборотами своей речи, пересыпая ее иностранными словами, вовсе для нас непонятными.

Они, видимо, старались сделать для нас, новичков, хорошее впечатление. Но мы, воспитанники захолустных гимназий, не искусившиеся еще Гегелем, не понимали их усилий. Хотя многое в речах умных и ученых людей было для нас непонятно, но мы все таки не покидали собрания и терпеливо засиживались до рассвета. Уходили мы оттуда с отуманенными головами от философских словоизвержений, но с чистыми сердцами и с верой, что мы стоим теперь в рядах передовой русской молодежи, готовой израсходовать беззаветным образом свои молодые силы на пользу родины.

Желая все-таки понять то, о чем говорилось в „рыбниковском кружке", мы, получая оттуда книги или рукописи, пережевывали неудобоваримые выражения у себя по квартирам. А чтобы лучше обсуждать прочитанное или прослушанное в „рыбниковском клубе", мы положили собираться в Леонтьевском переулке в большой комнате, примыкавшей к моему скромному помещению. Платили за сборную комнату сообща.

Собирались в этом новом кружке как студенты-крымчаки, так и молодые люди из разных мест России. Тут собирались большей частью вновь познакомившиеся между собою в аудиториях Московского университета. Знакомство завязывалось на почве освободительных идей и общей готовности послужить делу народного образования.

Готовясь сделаться народными учителями, мы стали строго следить за собственными поступками, а также и за поступками своих товарищей по университету. Таким образом, вот как зародилось увлечение самобичеванием и изобличением. Отсюда и вытекло стремление к осуществлению рукописного журнала, который и стал выходить позднее под названием „Изобличитель" [1].

И. П. Деркачев

[1] В кружке видную роль играл А. Козлов. Алексей Ник. Веселовский сообщил интересную характеристику его на переломе 60 годов.

„Некрасивый, желтоволосый, с мочальной бородой (которая, говорят, в старости превратилась в длиннейшую белую бороду патриарха), А. А. Козлов и даром слова как будто не обладал, но от этого умного, убежденного и, главное, уверенного в себе человека несомненно шел ток, которому мало кто мог противостоять,— особенно женщины. Был ли он „анархистом"? Конечно, нет; но преимущественно в области нравственных понятий, семейного, брачного строя, свободы привязанностей и союзов — он обладал базаровской смелостью до Базарова. Его освобождающие, разрушительные теории очаровывали женский слух. Студентом он неудачно женился на какой-то, кажется, прислуге, но когда в помещичьей семье, где он одно время был учителем, его речей заслушалась молодая девушка, он позвал ее с собой да

II [1]

Из рапорта московского обер-полицеймейстера генерал-губернатору Закревскому.

10 июня 1858 года

... Из купеческих детей студент московского университета Павел Рыбников, ныне окончивший курс с отличным успехом, с 14 ноября минувшего года четыре месяца нанимал квартиру Арбатской части, 5 квартала, в доме Майковой... В это время постоянно с вечера по вторникам бывали у него разного рода посе-

так и прожил с нею, невенчанный, всю жизнь. В свое время на них указывали в Москве, как на образец счастливого свободного союза, и Козлов с своей подругой, очень неглупой подстать к нему, был в интеллигентных кругах лицом заметным... Конечно, его новаторство и проповедь обновления и переустройства не ограничивались семейным или женским вопросом. Обще-социалистическая окраска его воззрений несомненна, и тут приходится указать на успех его диалектики не у одних женщин. Увлеченный им богатый землевладелец из купцов, помнится, Хлебников, придумал для его обеспечения дать ему место главного управляющего и хотел итти еще дальше на этом пути, но внезапно умер. Словом, тогдашний Козлов рисуется мне, на большом расстоянии, представителем сильно поднявшейся социально-критической мысли; с ним вместе шли и другие люди (например, братья Орфано). Были в Москве и другие кружки, где общественные вопросы изучались превыше всего,— напр., кружок, в котором главным лицом был здравствующий ныне известный статистик В. И. Покровский". См. А. Е. Грузинский. П. Н. Рыбников. Биографический очерк. М. 1909 (здесь библиография темы о „вертепниках"). Из воспоминаний Д. М. Погодина. „Историч. Вестник" 1892, апрель, стр. 39—40.

[1] М. Клевенский. „Вертепники" (Оттиск из журнала „Каторга и ссылка" 1928).

тители, из которых одни приезжали в экипажах, а другие приходили пешком и просиживали за полночь. Посетители эти преимущественно были учащиеся и получившие образование в университете. Из них известны следующие: занимающиеся в школе межевых топографов преподаванием русского языка Алексей Козлов и географии Иван Рассадин, студенты: Власьев, Свириденко, Котляревский и Николай Потехин, занимающийся обучением музыке в домах Андреев и принадлежащие к обществу так называемых славянофилов Константин Аксаков и отставной штаб-ротмистр Хомяков. Всех посетителей, несмотря на квартиру Рыбникова, состоявшую из одной комнаты, иногда бывало до 20 и более; замечательнее же были обладающие более других даром слова Свириденко, Власьев и Козлов, а первенствовал Рыбников. Собрания эти назывались неизвестно почему-то вертепом, а бывавшие там вертепниками, которые называют себя социалистами. Тут будто бы Рыбников читал какие-то свои переводы, читались сочинения в рукописях и, сверх того, сочинения, издаваемые за границею Герценом. Кроме Хомякова и Аксакова, все общество, бывшее у Рыбникова, проникнуто духом атеизма и безначалия; в этом духе происходили тут иногда суждения и прения преимущественно о настоящем быте государства, потребности восстановления личности каждого подданного империи, как человека, недостаточности образования русских и недостатке в порядке государствен-

ного управления. Эти собрания прекратились, когда Рыбников стал жить в своем семействе, при матери... Бывали, впрочем, и тут у Рыбникова посетители, а именно: окончивший курс в университете Иван Рассадин, окончивший курс в семинарии Сергей Федоров Добротворский, ученик школы живописи и ваяния Сократ Кожевников и студент князь Кугушев, но они приходили к Рыбникову по утрам и не засиживались у него. Сам же Рыбников, проживший доставшийся от отца капитал до 15 или 20 тысяч рублей [1] и привыкший к рассеянной жизни, очень мало бывал дома, ходил по трактирам, посещал подле него жившего Хомякова, генерала Тучкова..., полковника Орфанова [2], а больше всего Козлова, у которого с 14 по 30 мая ночевал пять раз и с которым в то время перечитывал и поправлял какой-то перевод Козлова о неграх...

Вообще Рыбников и Козлов образа мыслей весьма вольного, при разговорах о политических предметах рассуждают, что в России следует сравнять все сословия, учредить все должности по выборам общества, а не по определению от правительства, изменить по духу времени все законы государства и применить

[1] [Повидимому, это сообщение совершенно не соответствует действительности: по воспоминаниям сестры Рыбникова, он принужден был давать уроки с младших классов гимназии, — так как пошатнулись дела семьи после смерти отца.]

[2] [Не Орфанова, а Орфано. Рыбников, очевидно, ходил к его сыновьям, Александру и Алексею Герасимовичам.]

систему держав западных; в обществе студентов они носят название вольных мыслителей, сеющих семена правды и истины, и что они приверженцы идей и мыслей Герцена, которого почитают с подобострастием и называют мучеником за отчизну.

Однажды заметили Рыбникову, Козлову и Власьеву, что их вертеп должен разориться во время каникул в университете; тогда кто-то из них заметил: если они уедут из Москвы, то везде будут сеять свои убеждения и что почва вдали свежее здешней.

Собиравшиеся у Рыбникова лица, кроме немногих, состояния ограниченного и иногда терпят большую нужду в деньгах. Посещающий трактир Барсова вышепоименованный Андреев долго поджидал иногда своих товарищей, чтобы напиться чаю или пообедать на чужой счет, и, не дождавшись их, уходил, не требуя ничего в трактире, а Козлов, получивший часть жалованья вперед, недавно продавал свое зимнее платье. Но чтобы общество Рыбникова пользовалось покровительством Солдатенкова и других богатых раскольников, этого, по собранным до сего времени сведениям, не подтверждается.

В ПЕТЕРБУРГЕ 40—50-х ГОДОВ

САЛОН В. Ф. ОДОЕВСКОГО [1]

I

С тех пор как Одоевский начал жить в Петербурге своим хозяйством, открылись у него вечера однажды в неделю, где собирались его друзья и знакомые—литераторы, ученые, музыканты, чиновники. Это было оригинальное сборище людей разнородных, часто даже между собою неприязненных, но почему-либо замечательных. Все они на нейтральной земле чувствовали себя совершенно свободными и относились друг к другу без всяких стеснений. Здесь сходились веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими сузившимися глазками, толстый путешественник, тяжелый немец — барон Шиллинг, возвратившийся из Сибири, и живая, миловидная графиня Ростопчина, Глинка и профессор химии Гесс, Лермонтов и неуклюжий, но многознающий археолог Сахаров. Крылов, Жуковский и Вяземский были постоянными посетителями. Здесь впервые явился на сцену

[1] В память о князе В. Ф. Одоевском. Заседание Общества любителей российской словесности 13 апреля 1869. М. 1869, стр. 56—58 (здесь на стр. 96—97 интересная характеристика салона Одоевского в 30-х годах в воспоминании В. Соллогуба).

большого света и Гоголь, встреченный Одоевским на первых порах с дружеским участием. Беспристрастная личность хозяина действовала на гостей, которые становились и добрее и снисходительнее друг к другу.

Музыка оставалась любимым предметом его занятий, трудов и бесед, и было с кем ему делить свои мысли об этом дорогом для него искусстве: Глинка был самым близким к нему человеком, граф Михаил Юрьевич Виельгорский, брат его граф Матвей Юрьевич, Даргомыжский, а после Серов, знатоки, любители и сочинители были постоянными собеседниками. „Жизнь за царя" разыграна вся в его кабинете, „Руслан и Людмила" также.

М. П. Погодин

II [1]

В 1833 г. князь Владимир Одоевский, уже известный писатель, принимал у себя каждую субботу после театра. Притти к нему прежде 11 часов было рано. Он занимал в Машковом переулке (на углу Большой Миллионной) скромный флигелек, но тем не менее у него все было на большую ногу, внушительно. Общество проводило вечер в двух маленьких комнатках и только к концу переходило в верхний этаж, в львиную пещеру, то есть в пространную библиотеку князя. Княгиня, величественно восседая перед большим серебряным

[1] „Приключения лифляндца в Петербурге". Неизвестного сочинителя. „Русский Архив" 1878, № 4, стр. 440—445.

самоваром, сама разливала чай, тогда как в других домах его разносили лакеи совсем уже готовый. Ее называли la belle Créole [1], так как она цветом лица похожа была на креолку и некогда славилась красотою. Она была сестра сенатора Ланского, бывшего впоследствии министром. У Одоевского часто бывали Пушкин, Жуковский, поэт князь Вяземский, драматург князь Шаховской, в насмешку называвшийся le père de la comédie [2], далее Замятин (будущий министр юстиции), Блудов, молодые члены французского посольства. Из дам особенно обращали на себя внимание красавица Замятина, графиня Лаваль, старая и страшно безобразная, и нетерпящая света княгиня Голицына, Princesse Nocturne [3], как ее называли, потому что она обращала ночь в день и вставала не раньше полуночи. Она носила всегда платья резких цветов, слыла ученою и, говорят, вела переписку с парижскими академиками по математическим вопросам. Мне она казалась просто скучным синим чулком. Во время пребывания Бальзака в Петербурге в 1845 году она, не будучи с ним знакома, послала за ним в полночь карету с приглашением к себе. Я случайно находился в то время у Бальзака, который очень этим оскорбился, и я всеми силами старался успокоить его, поставляя ему на вид все странности старухи. Бальзак написал ей: „У нас, ми-

[1] [Прекрасная креолка.]
[2] [Отец комедии.]
[3] [Ночная княгиня.] См. у П. А. Вяземского описание ее салона (Сочинения, т. VIII, стр. 378—384).

лостивая государыня, посылают только за врачами, да и то за теми, с которыми знакомы. Я не врач". Подпись и ничего более. В негодовании Бальзак ударял кулаком по столу и восклицал: „Чего мне после этого ждать впереди!"

У князя Одоевского я встретился с земляком фон-Вегезаком, рижским уроженцем, которого за его наружность называли бароном. Он служил под начальством Лаваля в министерстве иностранных дел и впоследствии был министром-резидентом в ганзейских городах. Тут можно было встретить также Дантеса, красивого кавалергардского офицера, от руки которого впоследствии пал Пушкин. Гордый своими успехами между дамами, он был воплощенная спесь. Гораздо скромнее и проще держал себя молодой римлянин, друг Григория Волконского, учитель пения Чиабатта, ослепительной красоты Антиноева голова. Он женился на богачке и потерялся для нас во внутренних губерниях империи. По красоте Дантес не мог итти в сравнение с Чиабаттой, но он носил мундир, а мундир надо всем брал тогда верх!

Однажды вечером в ноябре 1833 г. я пришел к Одоевскому слишком рано. Княгиня была одна и величественно восседала перед своим самоваром, разговор не клеился. В этом доме человечество подразделялось на князя, княгиню, княжну—и затем уже остальное человечество. Вдруг—никогда этого не забуду—входит дама, стройная как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то

время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал—incessu dea patebat [1]. Благородные, античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком. Князь Григорий подошел ко мне, шепнул на ухо: „Не годится слишком на нее засматриваться". В этом доме не существовало общего всем другим домам и всегда тягостного обычая представлять гостей друг другу. Раз введенный сюда считался как бы знакомым со всеми и так и держал себя. Это весьма удобно. Уходят не прощаясь и входят с легким поклоном, как будто виделись 10 минут тому назад. Мне захотелось посидеть по крайней мере около Пушкина. Я собрался с духом и сел около него. К моему удивлению, он заговорил со мной очень ласково: должно быть был в хорошем расположении духа. Гофмана фантастические сказки в это самое время были переведены в Париже на французский язык и, благодаря этому обстоятельству, сделались известны в Петербурге. Тут во всем главную роль играл Париж. Пушкин только и говорил что про Гофмана; недаром же он и написал „Пиковую даму" в подражание Гофману, но в более изящном вкусе.

Гофмана я знал наизусть, ведь мы в Риге в счастливые юношеские годы почти молились на него. Наш разговор был оживлен и продолжался долго; я был в ударе и чувствовал,

[1] [Когда она появилась, то казалось, что видишь богиню.]

что говорил как книга. „Одоевский пишет тоже фантастические пьесы“,—сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно: „Sa pensée malheuresement n'a pas de sexe“ [1], и Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов: такова была его манера улыбаться. „Что такое вы сказали?—спросил меня князь Григорий.—Чему он засмеялся?“ Слова, сказанные мною, впоследствии распространились в публике; я должен был бы сказать себе: si tacuisses, philosophus mansisses [2], но я был молод.

Наверху в библиотеке у Одоевского сидел худощавый господин в черном фраке, застегнутый на все пуговицы, со звездою на каждой стороне груди. Я слышал от Бартоломея, что настоящая сторона для звезды левая, хотя бы их имелось и две. Черный господин напомнил мне магнетизера в Гофмане. Он рассуждал о полемике между Савиньи и Гансом по вопросу о possesio [3], сделавшейся известною благодаря только что прибывшей из Парижа книге Лерминье: „Introduction à l'histoire de droit“ [4], поверхностной, но написанной увлекательным слогом. И все же опять Париж! Черный господин продолжал ораторствовать. Пушкин бросал на него нетерпеливые взгляды,—ему очевидно все это страшно надоело. Я испросил себе слова только потому (как я скромно прибавил), что слушал в Берлине лекции Савиньи и Ганса.

[1] [К несчастью, мысль его не имеет пола.]
[2] [Если бы смолчал, остался бы философом.]
[3] [Владение.]
[4] [Введение в историю права.]

Я попал в свою сферу и изложил дело ясно и общедоступно, что не составляет большой заслуги для студента дерптского университета. Черный господин поднялся с места и прямо подошел ко мне. „Я принимаю по четвергам,— сказал он,—и буду очень рад видеть вас у себя. Я Дегай". Это приглашение имело для меня важные последствия. До сих пор тяжба моя заставляла меня не раз понапрасну стучаться у дверей его: он оставался для меня невидимкой, он, директор министерства юстиции. Дегай тотчас же определил меня на службу, что было моим самым горячим желанием, ибо Петербург мне полюбился.

Итак, косвенным образом я обязан князю Одоевскому, что поступил на службу. Его звали: Monmorancy russe (русский Монморанси) по древности его рода. Он был ученый музыкант и в игре превосходил меня значительно. Бахова музыка была ему как своя. На Фильдов лад играл он превосходно, прямо читая ноты...

В. В. Ленц

III [1]

У кн. Одоевского в ту эпоху по понедельникам собирался цвет петербургского литературного круга, те самые лица, которых впоследствии преимущественно прозвали „людьми сороковых годов". Это не были ни конспираторы, ни безумные поклонники республикан-

[1] Воспоминания Юрия Арнольда. Выпуск II М., 1892. Стр. 198—223.

скому фантому, даже не пустые крикуны à la Репетилов с братьей. Разговоры шли наибольшей частью о последних явлениях литературы, преимущественно отечественной. Но затрогивались и другие вопросы, и среди этих вечеров не одна только, бывало, идея возникала и обсуживалась, которая в последующие годы получила свое осуществление; довольно указать на идею, напр., о женских гимназиях и об обществах посещения бедных.

В течение последних четырех лет, что я не видал князя Владимира Федоровича (т. е. с 1836 по 1840 год), он, кажется, немножечко будто поздоровел, т. е. на щеках появился легонький румянец, но зато как будто и постарел. А лет ему, должно быть, тогда было не более тридцати семи. Роста был Одоевский среднего, в плечах не широкий, вообще видом из слабеньких, и держался не довольно прямо, с головою несколько поникшею, словно от усталости. Руки и ноги у него были, как говорится, породистые: маленькие и узкие. Лицо его подходило под тип известных старых портретов великих князей Владимиро-Московских из старшей отрасли Рюриковичей, за изъятием выражения спокойной энергии; тот же широкий, большой лоб, прямой нос и небольшой рот с пухлыми, добродушно улыбающимися губами; только темно-коричневые, почти с черным отливом волосы были гладкие, и в особенности у висков. Глаза голубо-серые, умные, но не довольно спокойные, скорее робкие, почти боязливо и рассеянно глядящие. Мне всегда казалось, будто князь не был бы в состоянии

пристально смотреть на какой-либо предмет. Соответственно тому и в плавной, но несколько торопливой речи его звучала все какая-то нотка нерешительности, несамоуверенности. Тембр его тенорового голоса сам по себе был приятный, ласкающий, но вследствие отсутствия всяких оттенков речь его, когда он долго говорил, порождала иногда в слушателе некоторое утомление, чему, конечно, много способствовала упомянутая нотка торопливой речи. И странно: эти боязливо-беспокойные взгляды, эта нерешительная речь вовсе не шли к его всегда ровному характеру, основными чертами которого были редкая примерная честность и прямота души, неограниченная сердечная доброта и ангельское терпение. Следовательно, упомянутая выше нерешительность и боязливость должны были иметь иные источники, и это так и оказалось. Князь Одоевский просто поражал нас иногда необыкновенной, словно энциклопедической разнородностью и пространностью научных своих познаний: не было, кажется, ни единого научного предмета, с которым более или менее он бы не был знаком. Относительно новых языков, так положительно известно, что кроме русского языка, которым он, как всем известно, владел до классической тонкости, — он свободно не только читал, но и говорил и писал по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-английски и испански. Равно он был превосходным знатоком церковно-славянского наречия и далеко не был несведущим в латинском, в древне-греческом и кажется даже в древне-еврейском языках. Весьма

естественно, что приобретение такой массы познаний потребовало неимоверно усиленного труда и ненормального напряжения не только интеллектуальных, но и физических сил, а это неминуемо должно было возродить сильное расстройство всей нервной системы. И действительно, Одоевский постоянно страдал и лечился от нервных припадков, в особенности от мигрени [1]. Вот одна из причин упомянутых выше явлений во внешности Владимира Федоровича. Другая же причина истекала из чрезмерной разнородности его познаний. Стараясь добиться энциклопедической учености, он не сосредоточивался ни на каком определенном по преимуществу предмете, и, вбирая в свою память все вновь да вновь массу разнороднейших знаний по чужим толкованиям и воззрениям, он не успевал установить себе самостоятельные убеждения ни в каком из этих знаний. И единственно только Одоевский, несмотря на удивления достойные, редкие его природные способности, напр., в литературе и музыке, не сделался самобытным, ярко выдающимся деятелем, а остановился в рядах лишь последователей других предшествовавших самостоятельных писателей и музыкантов [2].

[1] [Он весьма часто и сильно подвергался последним страданиям и для того постоянно носил при себе флакон с гофманским эфиром.]

[2] [Напр., в литературе подражал он формам и фантастическим сюжетам немецкого романиста Э. Амедея Гофмана, а в музыке Баху и Мендельсону. Первого, т. е. Гофмана, Одоевский до того излюбил, что в подражание ему и он также завел у себя любимцем большого чер-

Но ради необычайно высоких душевных качеств князя Одоевского невозможно было не любить его, равно как ради его редкой эрудиции и ради совершенно бескорыстной, горячей его преданности наукам, поэзии и искусствам всякий невольно должен был отдавать ему дань искреннего и полного уважения.

Когда я в первый раз явился en tenue toute conforme [1] к Владимиру Федоровичу на вечернее собрание, мне сначала, конечно, было не совсем ловко: я никого не знал из всей этой довольно многочисленной компании. Княгине, правда, был я представлен ее супругом при первом моем (денном) визите; но что касалось других уже собравшихся посетителей, то я должен был довольствоваться тем (от чего я, однако же, в деревне успел уже отвыкнуть), что лакей, отворивший мне дверь в залу, громко произнес: „Г. Арнольд". Обоюдные представления производились только в интимном кругу, или в экстренных случаях, если высшее по званию лицо само пожелает, либо милостиво разрешает.

Само собою разумеется, что я прежде всего подошел к хозяйке дома засвидетельствовать

ного кота, наименованного им так же, как кот Гофмана, „Katter Murr" (котом Мурр), который, во все то время, пока Одоевский занимался, лежал на его коленях или сидел перед ним на столе. Не раз, приходивши к князю в дообеденное время, заставал я его няньчившегося с своим „котом Мурром". Мне рассказывали, будто как из-за этого подражания писателю Гофману, так равно из-за постоянного лечения себя гофманским эфиром Пушкин прозвал Одоевского „Гофманскою каплею".]

[1] [Одетый совершенно сообразно с случаем].

должное „высокопочитание со стороны всепокорнейшего ее слуги“ в виде самого этикетного реверанса. Ее сиятельство удостоили меня милостивым легоньким наклонением головы, но ручки своей протянуть не изволили: это в переводе с мистериозного языка великосветского церемониала значило: „Mesdames et messieurs, ça appartient à la roture et pire même, c'est un homme de rien; ça ne vous regarde donc nullement“ [1].

Я же, не подав ни малейшего вида, что я сведущ в этой китайщине, скорчил еще более сладкую мину и поклонился еще отборнее этим членам того общества, которое, называя само себя „хорошим“, нередко выказывало и еще выказывает себя далеко не хорошим. Но, улыбаясь им, я думал: „Господа и госпожи! да я сюда и вовсе не для вас явился. Je me fiche pas mal de vous [2]. Не вы есть то „хорошее“ общество, которое я без сомнения найду в соседней комнате“.

Тут же вышел сам князь очень приветливо мне навстречу и, пожав мне руку, повел меня в другую комнату, где ласково отрекомендовал: „Композитор Светланы“. А затем, обратившись к сидевшему вблизи на турецком диване молодому капитану генерального штаба, сказал: „Cher m-r Scalon, je vous prie, prenez soin du jeune homme“. Молодой офицер (повидимому одних со мною лет) подал мне руку

[1] [Господа и госпожи, это вот принадлежит к простолюдию, хуже даже, человек ничтожный; это вот следовательно никак вас не касается.]

[2] [Ни на что даже вы мне не нужны.]

и пригласил сесть рядом с ним. Прежде чем опуститься на оттоманку, я взглянул на занимавшего другой угол сидения: это был Белинский, и я ему поклонился. Он так же, как и Скалон, любезно протянул мне руку и прибавил: „Мы с вами, кажется, уже встречались?“ — Я ему напомнил, что это было у Кони на обеде по случаю основания „Пантеона“ [1].

Вокруг стола, посреди комнаты, сидели в креслах сам хозяин и несколько мужчин средних лет. Скалон мне их назвал, это были: известный своими эпиграммами и дружбою с Пушкиным князь Петр Андреевич Вяземский; профессор С.-Петербургского университета Петр Александрович Плетнев, также один из друзей великого поэта и преемник его по редакторству журнала „Современник“; камергер Иван Петрович Мятлев и Андрей Александрович Краевский, редактор „Отечественных Записок“. Сидело тут еще двое или трое, имен которых я не помню; это, вероятно, были невинные поклонники деятелям отечественной литературы.

В продолжение этой же зимы увидел я на вечерах у кн. Одоевского и других еще литературных деятелей, напр. Василия Андреевича Жуковского, затем университетского моего товарища графа Владимира Александровича Соллогуба, молодого писателя малорусских повестей Евгения

[1] Об этом см. главу XXXII воспоминаний Арнольда (выпуск II).

Павловича Гребенку, выступившего впоследствии преимущественно в качестве музыкального фельетониста (под псевдонимом „Ростислава“) Феофила Матвеевича Толстого [1].

По собственному желанию Жуковского, кн. Одоевский представил меня маститому поэту, который весьма приветливо подал мне руку и пригласил меня побывать у него. Этим драгоценным для меня позволением воспользовался я, конечно, с восторгом и в течение зимнего сезона 1840—41 годов был три раза у Василия Андреевича [2]. Во второй раз по предварительно им высказанному желанию привез я ему экземпляр изданной при „Пантеоне“ моей музыки к его „Светлане“ и должен был ему проиграть, а где и пропеть ее. До этого времени я, как само собою разумеется, прежде не имел случая встречать где-либо знаменитого „певца во стане русских воинов“; но у отца моего была изданная художником Г. К. Гиппиусом в начале двенадцатых годов „Галлерея знаменитых мужей России“. Это была коллекция портретов (в настоящую величину) превосходной литографической работы. Между ними были портреты также Карамзина и Жу-

[1] [Музыкальные фельетоны „Ростислава“ появились в „Северной Пчеле“ (с 1852 г.); в „С.-Петербургских Ведомостях“ (с 1855 г.); опять в „Северной Пчеле“ (с 1863 г.) и в „Journal de S-t Petersbourg“ (до 1876 года). Как литератор он издал романы и повести: „Капитан Толди“, „Три возраста“ и др., в которых он проявил себя последователем жанра Марлинского.]

[2] [Жуковский жил тогда на Невском проспекте в доме как раз насупротив Малой Морской.]

ковского. Последнему в то время, когда Гиппиус его срисовал, было лет уже под сорок; но на литографическом портрете он является далеко более молодым, с лицом несколько продолговатым и сухощавым, с большими, огненной жизни исполненными глазами и с густыми, волнистыми, свободно слева направо перекинутыми волосами. На широком лбе лежат следы глубоких дум; около губ парит меланхолическая и в то же время гордая улыбка. И вот шестнадцатью или семнадцатью годами позже увидел я, наконец, самого поэта; на тот портрет, однако же, он уже не походил. Самое лицо-то пополнено; черты лица просветлели и румянец бодрой старости играл на щеках; обнаженный лоб, обрамленный только с боков подстриженными, к вискам гладко причесанными, слегка уже поседевшими волосами, показался мне более высоким и широким, но вместо следов бурных дум на этом лбе царила величественная тишина поэта-философа; в глазах светились душевный мир и истинное благодушие, а улыбка, парящая на губах, выражала вместо гордости—теплую приветливость; вместо меланхолии—сердечное довольствие счастливого семьянина.

Когда я внезапно покинул дерптский университет, Соллогуб окончил третий семестр, и ему тогда было 18 лет. С тех пор прошло ровно 10 лет. Это было в четвертое либо в пятое мое посещение вечером кн. Одоевского, раз на рождественской неделе, и в двенадцатом уже часу ночи (если не позже еще), когда общая наша беседа была вдруг прер-

вана раздавшейся в передней громкой какофониею различных инструментов. Преобладало частое постукивание на детском барабане, которому вторили быстро менявшиеся, не подходившие друг к другу звуки то детской деревянной дудочки, то пискливого деревянного рожочка, то глиняной, так называемой уточки. Все вскочили: „Ah, mon dieu, qu'est ce que cet affreux tintamarre“ [1]. В это время в комнату входит мерными шагами и с невозмутимо серьезным лицом высокого роста, плечистый молодой человек в бальной одежде, обвешанный разными детскими музыкальными инструментами, на которых не перестает производить дикий свой концерт. Прервал он свою какофонию только, когда приступившие к нему дамы насильно сняли с него весь музыкальный арсенал.

— Какое варварское обхождение с великим талантом! — воскликнул Соллогуб. — Куда ж это я попал? То ли было сейчас у княгини? Там, под тенью, — mais non, — под сиянием поэтически свои ветви простирающей елки по достоинству оценили вдруг открытый во мне высокий музыкальный гений и, одарив меня восхитительными этими музыкийскими орудиями, благословили на новое, небесоподобное поприще: иди, божественный баян! Прославь себя и покоряй сердца! И вдруг,—увы!—такой афронт!

Вся эта патетическая тирада сопровождалась, конечно, общим веселым хохотом.

[1] [Ах, боже мой! Что это за отвратительный шум?]

Побалагурив еще несколько минут с дамами, Соллогуб направился в другую комнату, где находился собственно-то литературный кружок. Осмотревшись кругом, он прямо подошел ко мне и дружески протянул обе руки; мы обнялись и, сев рядом, завели разговор о давно и недавно прошедшем, о дерптской нашей студентской жизни и о том, что с каждым из нас потом случилось.

После этого мы в течение многих лет довольно часто виделись, преимущественно у кн. Одоевского и у тестя Соллогуба, у гр. Михаила Виельгорского. Бывал Владимир Александрович раза два или три и у меня, как и я у него, но семейно мы не познакомились, потому что мои средства мне того не дозволяли.

Гребенка, несмотря на свою невзрачную и некрасивую наружность, был весьма сердечный и симпатичный молодой человек. Он принадлежал к тем немногим молодым писателям повестей, которые живою, но логическою инвенциею да занимательною, но естественною простою манерою изложения выказывали истинный, а не мишурный талант. В своих повестях из быта малороссиян он обнаруживал себя достойным преемником Грицка Основьяненки (Григория Федоровича Квитки), и поистине жаль, что талант Гребенки не успел вполне развернуться: он умер тридцати шести лет в 1848 г. В то время, когда я с ним познакомился, он состоял учителем при втором кадетском корпусе.

С Феофилом Матвеевичем Толстым мы долгое время не сходились, чему оказалось много внешних причин.

С кем я скоро сошелся, но, к сожалению, столь же скоро опять разошелся, так это был Белинский; о первом я, конечно, сам все свое старание приложил; второе же случилось без моей вины. Выше уже было упомянуто, что, когда я в первый раз явился на вечер у Одоевского, то пришлось мне тотчас сесть около Белинского. Не столь давно еще пред тем случилось мне у знакомых просмотреть одну из книжек „Отечественных Записок“ (я сам не был абонирован на слишком дорогой для меня журнал); в этой книжке нашлась критическая статья о двух, в том же 1840 году без названия автора изданных книжках кн. Одоевского, из которых одна содержит перевод двух сказок немецкого писателя Эрнеста Амедея Гофмана, а другая—самостоятельное творение „Детские сказки дедушки Иринея“ [1]. В особенности понравилось мне пространное введение, в котором очень логически и здраво трактуется вопрос о воспитании детей вообще, а между прочим также о музыке, как о важном педагогическом средстве. Мне было известно, что Белинский был автор этой статьи, равно как я знал также, что в предыдущих годах он заведывал литературно и театрально-критическим отделом в „Московском Наблюдателе“, в котором мне также случалось читать некоторые критические

[1] [Кн. Одоевский подарил мне, при первом моем визите, по экземпляру каждого из этих сочинений.]

Ср. в письме И. Ф. Горбунова 1855 г „В субботу был у князя Одоевского: прямой „Дедушка Ириней“! Доброты неестественной!.. У него я познакомился с поэтом Тютчевым“... Сочинения, СПБ, т. III. 1907, стр. 527.

статьи. Вот я и сказал Белинскому, что я прочел его мысли о педагогической пользе музыки и что я совершенно разделяю его мнение. На это он ответил, что его радует слышать такой отзыв от музыканта-специалиста, и мы с ним на эту же тему проговорили весь вечер. Этот разговор сразу нас сблизил, и мы с тех пор, встречаясь у Одоевского, постоянно садились вместе. Белинский очень любил музыку и понимал и судил о сочинениях по поэтическому их содержанию, т. е. по тому, какие поэтические образы какая музыка в состоянии возродить в его же собственной фантазии. Вскоре он пригласил меня навещать его, и я в течение этой зимы бывал у него разов до пяти или шести. Виссарион Григорьевич имел-таки маленькую страсть толковать молодым писателям и артистам о своих воззрениях на поэзию и на формы ее проявления, и так как он не мог не заметить, сколь живо я интересовался этими толкованиями, то он и не скупился на свои лекции. Прежде всего требовал он от художественного творения идею, фабулу, мотив,— но идею плодотворную; фабулу естественную, логичную; мотив ясный, выразительный. А образное развертывание идеи, фабулы, мотива должно исполняться по требованиям художественной эстетики, т. е. поэт должен выказывать полное свое владение словом и метрикою, музыкант звуками и ритмикою, живописец красками и рисунками и т. д. Идею и чувство без красиво пластической техники считал он столь же мало художественным явлением, как одно лишь второе без двух первых достоинств.

Раз пришел я к Белинскому, как всегда, около полудня и застал у него гостя, на вид лет под сорок, небольшого роста, с бледным худощавым лицом, русыми густыми волосами, надо лбом хохловато подчесанными, а у висков подвернутыми, выражение лица было добродушное, но меланхолическое. Сюртук на нем черный, довольно длинный, застегнутый, воротнички туго накрахмаленные и черный довольно высокий галстук. Это был поэт Кольцов; собственно-то он был гораздо моложе, чем он казался, но от сердечного горя и от бедности он состарился раньше времени.

— Вот, Арнольд (сказал Белинский), вот у кого берите стихи для написания музыки. Если поймете его да угодите под слова, я и впрямь вас почту за истого руссака; но коли не потрафите, буду вас немцем звать, хотя бы вы там пожаловались на меня и целой сотне Бенкендорфов.

Я радостно согласился и просил назначить мне песню.

— Ну, Александр Васильевич, скажите, какую дадите вы ему песенку?—обратился Белинский к Кольцову.

Поэт-прасол, по скромной и застенчивой своей натуре, сначала сконфузился:

— Да почто же мне им еще назначать-то? Они лучше моего знают, что годится для музыки; сами выберут.

Наконец, однако же, он сказал, что любимое его произведение есть стихи: „Не шуми ты, рожь, спелым колосом".

— В нее-то всю душу свою я вылил!—прибавил он, и глаза у него невольно покрылись влагою [1].

Белинский прочел мне эти стихи; он знал, кажется, напамять все сочинения Кольцова. Читать же Виссарион Григорьевич так превосходно их прочел, что, записывая наскоро стихи под его декламацию, я тут же и вдохновился основной идеею мелодии и пригласил обоих к себе через день, чтобы послушать мое произведение. Когда в назначенный день и час Белинский с Кольцовым пришли ко мне, то не только самый романс был совсем разработан как следует, но я успел даже изготовить перебеленную рукопись с надписью: „Высокопочитаемому поэту от музыкопевца на память". Само собою разумеется, что я должен был пропеть мой романс. Кольцов, прослезившись, благодарил несколько раз, а Белинский, пожав мне крепко руку, сказал:

— По кличке хотя вы и немец, а душа-то впрямь у вас русская! Рублем подарили! Спасибо вам и за него и за меня!

Этот день был зенитом нашей дружбы, в марте же месяце ей предстоял уже неожиданный конец. Пред самым этим днем попался мне, у тех же знакомых, где я прочел в „Отечественных Записках" разбор книг Одоевского, другой еще выпуск того же журнала (из весенних книжек 1840 года), в котором я нашел критическую статью по поводу второго издания

[1] [Эти стихотворения Кольцов написал на смерть своей невесты.]

(1839 года) комедии А. С. Грибоедова „Горе от ума". Белинский, указывая на некоторые места, находит в них (где на самом деле, а где и более воображаемо, т. е. с некоторою натяжкою) несообразности и пустое резонерство и противоставит этому творению другую комедию, а именно „Ревизор" Н. В. Гоголя, как образцовое во всех отношениях и ни малейшим укоризнам не подлежащее, вполне гениальное и вполне художественное произведение, стараясь доказывать, не без некоторых софизмов, что,—кажущиеся только другим несообразностями и утрировками,—все, без исключения, ситуации, действия и речи лиц в „Ревизоре"—как нельзя более нормальны, правдивы и логичны. Когда после того мы встретились на вечере у кн. Одоевского и я ему сообщил, что читал эту статью, то первое его слово было:

— Ну, что ж? Вы, конечно, со мною согласны?

Я ответил, что не совсем; что, по моему воззрению, нельзя просто-на-просто установить вообще параллель между этими двумя произведениями, и что еще менее того следует быть против одного до самих мелочей взыскательными, а к другому, с явным пристрастием, быть слишком снисходительным. К величайшему моему испугу, Белинский страшно рассердился и, насилу удерживаясь от возвышения голоса, разругал меня так, что я не знал, куда деваться. Наконец, он вскочил, схватил шляпу и ушел. На следующий сезон я его более не встречал на вечерах у Одоевского. Мне крайне

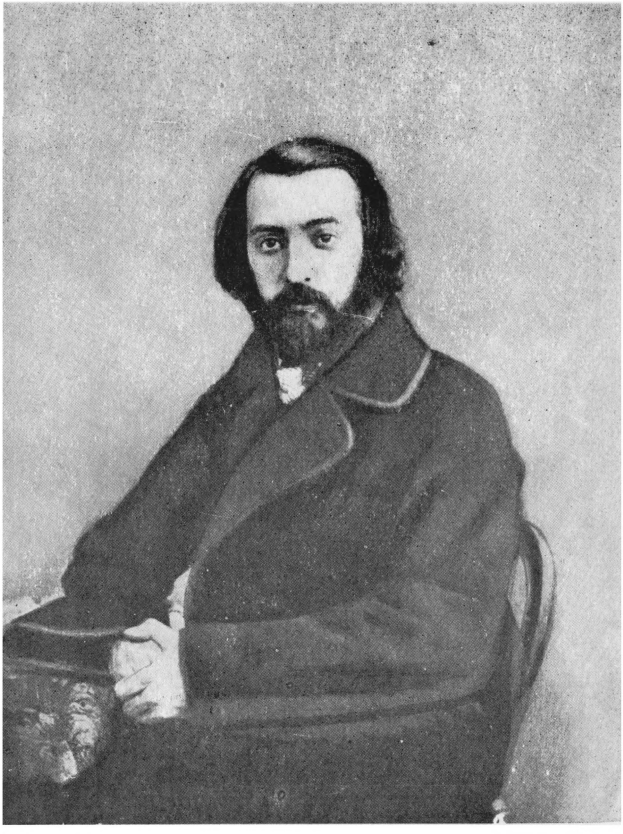
жаль было, что наша, повидимому, столь прочная entente cordiale [1] так скоро и так неприятно прервалась.

Большею частью посетители вечеров кн. Одоевского размещались где кому удобнее, отдельными группами, и в частных разговорах обменивались своими мыслями и воззрениями. Но бывали также случаи, где какой-нибудь ненароком затронутый или a priori предвещанный предмет возбуждал общий интерес всех присутствующих. Таких случаев было немало, преимущественно до исхода сороковых годов; всех и не припомнишь через полвека, да и не все представляют особенный интерес для нынешнего поколения. Три случая, однако же, оставили довольно глубокие следы в моей памяти.

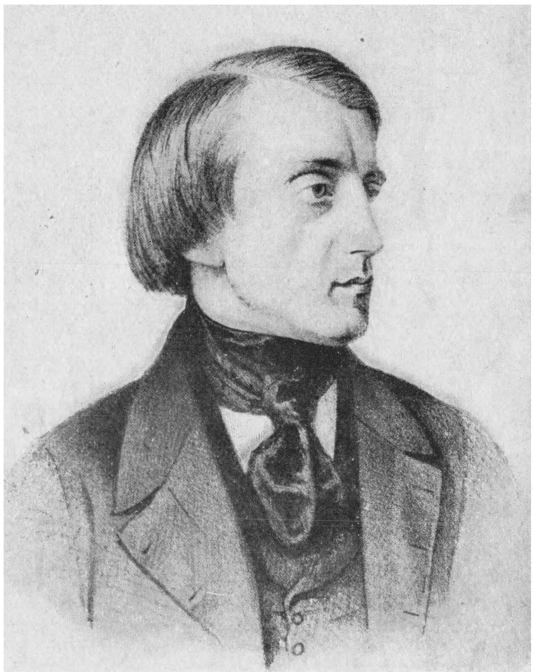
Не помню я, кто именно в один из декабрьских понедельников 1840 года привез известие, что „старуха Арсеньева подала на высочайшее имя весьма трогательное прошение о помиловании ее внука Лермонтова и об обратном его переводе в гвардию". Завязался, конечно, общий и довольно оживленный диспут о том, какое решение воспоследует со стороны государя императора. Были тут и оптимисты, и пессимисты: первые указали на то, что Лермонтов был ведь уже раз помилован и что Арсеньева женщина энергичная да готовая на всякие пожертвования для достижения своей цели, а вследствие того наберет себе массу

[1] [Сердечное согласие мыслей.]

сильнейших заступников и защитниц, ergo— результатом неминуемо должно воспоследовать помилование. С своей же стороны пессимисты гораздо основательнее возражали: во-первых, что вторичная высылка Лермонтова на Кавказ, при переводе на сей раз уже не в прежний нижегородский драгунский, а в какой-то пехотный полк, находящийся в самом отдаленнейшем и опаснейшем пункте всей военной нашей позиции, доказывает, что государь император считает второй поступок Лермонтова гораздо предосудительнее первого; во-вторых, что тут вмешаны политические отношения к другой державе, так как Лермонтов имел дуэль с сыном французского посла, и в-третьих, что по двум первым причинам неумолимыми противниками помилованию неминуемо должны оказаться с дисциплинарной стороны великий князь Михаил Павлович, как командир гвардейского корпуса, а с политической стороны канцлер граф Нессельроде, как министр иностранных дел. Прения длились необыкновенно долго, тем более что тут вмешались барыни и даже преимущественно завладели диспутом. Я соскучился и незаметно улизнул. На прошение г-жи Арсеньевой, как и надобно было ожидать, воспоследовал отказ, но особою милостью государь император разрешил Лермонтову трехмесячный отпуск, с дозволением провести это время у своей бабушки в Петербурге. Услышав про этот исход дела, я надеялся когда-нибудь встретить Лермонтова у кн. Одоевского, но ошибся в своем ожидании: Лермонтов ни на одном из литературных



П. Н. Рыбников.



В. Г. Белинский.

вечеров князя ни разу не показывался. Осенью же того же 1841 года пришло с Кавказа известие, что Лермонтов был убит на дуэли.

На одном из вечеров января месяца 1841 г. Иван Петрович Мятлев читал из рукописи только что оконченную, прелестную свою юмористическую поэму: „Путевые впечатления мадам де-Курдюковой". Сколько психологической правды в этой вещице, сколько тонко схваченных верных черт из нрава, из привычек и воззрений русской степной провинциалки с претензиями на аристократизм! И какая художественность в легкости и элегантности литературной отделки! Хохочешь поневоле от всей души, а тривиально-банального стиха нигде не встречаешь!

Вы, нынешние... нутка!

Читал же И. П. Мятлев очень хорошо, с явными признаками истинного сценичного комизма. Вообще, надобно заметить, что в старину почти все образованные люди более или менее хорошо читали, потому что с малолетства уже нас тому обучали. В Петербурге таковыми уроками занимался артист императорских театров Брянский; а в Москве (буде память не обманывает) Щепкин и Репин.

Ю. Арнольд

КРУЖОК БЕЛИНСКОГО [1]

Месяцев одиннадцать, которые я провел тут [2], были из счастливейших в моей жизни, и этим счастьем я обязан кружку, в который попал, и в особенности главе этого кружка—Белинскому. Он имел на меня и на всех нас чарующее действие. Это было нечто гораздо больше оценки ума, обаяния таланта,—нет, это было действие человека, который не только шел далеко впереди нас ясным пониманием стремлений и потребностей того мыслящего меньшинства, к которому мы принадлежали, не только освещал и указывал нам путь, но всем своим существом жил для тех идей и стремлений, которые жили во всех нас, отдавался им страстно, наполнял ими свою жизнь. Прибавьте к этому гражданскую, политическую и всякую безупречность, беспощадность к самому себе при большом самолюбии, и вы поймете, почему этот человек царил в кружке самодержавно. Мы понимали, что он в своих суждениях часто бывал неправ, увлекался страстью далеко за пределы истины; мы знали, что сведения его (кроме русской литературы и ее истории) были

[1] Собрание сочинений Кавелина, т. III, СБП, 1899 г., стр. 1085—1092.

[2] Кавелин поселился вместе с Н. Н. Тютчевым и Кульчицким весной 1842 года.

не очень-то густы; мы видели, что Белинский часто поступал как ребенок, как ребенок капризничал, малодушествовал и увлекался, и между собою подтрунивали над ним. Но все это исчезало перед подавляющим авторитетом великого таланта, страстной благороднейшей гражданской мысли и чистой личности без пятна,—личности, которой нельзя было подкупить ничем, даже ловкой игрой на струне самолюбия. Белинского в нашем кружке не только нежно любили и уважали, но и побаивались. Каждый прятал гниль, которую носил в своей душе, как можно подальше. Беда, если она попадала на глаза Белинскому: он ее выворачивал тотчас же напоказ всем и неумолимо, язвительно преследовал несчастного дни и недели, не келейно, а соборне, пред всем кружком, на каждом шагу. Известно, что и себя он тоже не щадил. Панаеву немало доставалось за его суетливость, мне за „прекраснодушие“ и за славянофильские наклонности, которые в то время были очень сильны. Влияние Белинского на мое нравственное и умственное воспитание за этот период моей жизни было неизмеримо, и оно никогда не изгладится из моей памяти. Я его боготворил, благоговел перед ним. Его влияние поставило много честных и честно думающих людей на Руси. Многие, побывавши под сильным его влиянием, сделали меньше гадостей, чем могли бы сделать по естественному влечению.

Я упомянул о кружке. Он в то время состоял из следующих лиц: Панаева, женатого, у которого мы иногда собирались; это

был самый богатый и самый фешенебельный член кружка; Мих. Алекс. Языков—остряк, хромой и забавный господин, смешивший нас своими шутками и комическими выходками; Ив. Ильич Маслов, прозванный Тургеневым „прекрасной нумидиянкой". Маслов служил секретарем коменданта Петропавловской крепости ген. Скобелева, был у него другом дома и сообщал вести и рассказы о том, что говорилось и делалось в крепости. При Николае Павловиче это было и интересно и очень не бесполезно знать. И. С. Тургенев (за несколько лет до „Хоря и Калиныча"). Белинский тогда очень благоволил к Тургеневу и восхищался до небес его „Парашей", за несколько стихов отрицательного и демонического свойства (Белинский особенно восторгался стихом, где говорится о хохоте сатаны, и даже, помнится, привел этот стих в одной из своих критических статей). Некрасов к нам не ходил тогда, а бывал у Белинского. Краевский был тогда большой литературный и журнальный барин и с нами обращался немножко свысока и у нас не бывал. Остается еще назвать В. П. Боткина, который водился с нами во время проезда из Москвы за границу и своей комической свадьбы, в которой все мы принимали участие в качестве свидетелей и друзей [1]. Наконец, проездом же из-за границы в Москву был у меня и у Белинского Катков, но не на приятельской ноге.

[1] Подробности см. „Былое и думы" Герцена, глава „Базиль и Арманс".

Белинский говорил об нем, что он пузырь, надутый самолюбием и готовый ежеминутно лопнуть.

Как мы проводили время и что происходило в нашем капельном кружке, это легко представит себе всякий, кто знаком хоть понаслышке с молодыми литературными кружками тридцатых и сороковых годов. Аристократическим изяществом людей с достатком все мы, кроме Панаева и Тургенева, не отличались. Аристократические салоны и литературные тузы были нам известны только по имени. Но весело нам было очень, насколько можно было веселиться при отвратительной тогдашней обстановке сверху и кругом. Каждый литературный кружок, в том числе и наш, был тогда похож на секту, в которую новые члены принимались трудно, по испытании и рекомендации. Мы мечтали о лучшем будущем, не формулируя положительно, какими оно должно быть, жадно собирали все анекдоты, слухи и рассказы, из которых прямо или косвенно следовало (или должно было следовать), что апокалипсический зверь недолго провоеводствует, также жадно и зорко следили за всяким проявлением в слове или печати мыслей и стремлений, которыми были преисполнены. Каждый месяц приносил нам новинку—статью, а иногда и больше,—Белинского, которую читали и перечитывали. Жорж Занд и французская литература были нашим евангелием. За событиями политическими в Европе мы следили внимательно, но нельзя сказать, чтоб с большим толком и настоящим пониманием.

Взаимные отношения членов кружка были самые дружеские, тесные, интимные. Камертон им давал Белинский. Шуткам и остроумиям, часто очень не остроумным, не было конца; запевалой почти всегда был Белинский, особенно усердно и любовно глумившийся надо мной (Н. Тютчева он уважал). Кульчицкому тоже доставалось; его обзывали „гадюкой". Я получил от Белинского постоянное название „молодой глуздырь" (встречается в новгородских былинах). Споры и серьезные разговоры не велись методически, а всегда перемежались и смешивались с остротами и шутками.

В эпоху, которую описываю,—талант, нравственная физиономия и образ мыслей Белинского сложились окончательно и достигли своего апогея. Никаких колебаний и шатаний из стороны в сторону не было. Его симпатии клонились к стороне Франции, а не Германии или Англии. Его идеалы были нравственно-социальные более, чем политические. Политической программы ни у кого в тогдашних кружках не было. К тогдашнему нашему status quo Белинский относился отрицательно на всех путях и ненавидел панславизм во всех его направлениях и со всеми его идеалами, чутко схватывая, что эти идеалы—пережитое прошедшее, которое и привело к печальному настоящему. Ненависть и любовь его одинаково выражались страстно, подчас ребячески, с чудовищными преувеличениями, но в которых всегда лежала верная, светлая и глубокая мысль, которую мы понимали. Раз как-то в споре Белинский с яростью об'явил, что чер-

ногорцев надо вырезать всех до последнего. Другой раз, по поводу какой-то книги, романа или стихов, где поминались русские шлемы, латы, доспехи, он напечатал коротенькую рецензию, в которой говорил, что ничего этого никто не видал, а все знают лапти, мочалы, рогожи и палки. Враги Белинского пользовались этими страстными выходками и отчасти умышленно, отчасти по тупоте не хотели или не умели понять того, что он говорил или хотел сказать. После положительная сторона его ненавистей и отрицания выступила яснее. Говорят, что за границей он страшно тосковал и стремился назад. В Москве, в одном разговоре с Грановским, при котором я присутствовал, Белинский даже выражал славянофильскую мысль, что Россия лучше сумеет разрешить социальный вопрос и покончить с капиталами и собственностью, чем Европа. Но Белинский ясно понимал, что тогдашнее положение наше с ног до головы не нормальное, что правительство идет само не зная куда и когда-нибудь расшибет себе башку о стену. Здесь будет кстати сказать, что Белинский не любил поляков и с необыкновенным своим чутьем, далеко опережавшим время, прозревал в них узких провинциалов. Ему особенно не нравилось в поляках то, что они считают Варшаву наравне с Парижем, Мицкевича — наравне с Гете, что послушать их,—их политики, поэты, художники, философы за пояс заткнут европейские светила. Эта черта, т. е. провинциальность, недавно подмеченная и разоблаченная Драгомановым у галичан и разных западных славян, не ускольз-

нула от зоркого глаза Белинского в поляках. Белинский вменял русским в особенное достоинство, что они трезвы умом, не таращатся, относятся к себе отрицательно и что им нечего охранять. Петра Великого он боготворил.

— Пишите скорей его историю,—говаривал Белинский,—пройдет сто лет, и никто не поверит, что Петр не миф, а историческая действительность.

Из периода времени, который описываю, сохранилась в моей памяти еще одна черта Белинского, которую не могу пройти мимо. К концу моего пребывания в Петербурге до московской профессуры сюда приехал Рубини, с которого началась здешняя итальянская опера. Наш кружок бросился с жадностью на эту новинку. Раз как-то давалась „Лучия де-Ламермур". Мы были в ложе: Панаевы, Тютчев, Белинский и я (других не помню). В известной патетической сцене горького упрека героя оперы своей возлюбленной Белинский был глубоко потрясен, насилу сдержал слезы и назвал Рубини—великим актером. Об'ективной цены этот отзыв не имеет никакой, но он характеризует и Белинского и время. Наше полное музыкальное невежество об'ясняет, каким образом ничтожная пьеса могла так глубоко подействовать на Белинского и вызвать то горькое чувство, которое лежало в душе каждого в то время. Оно об'ясняет и огромный успех Лермонтова и Некрасова,—гораздо больше, чем их действительные поэтические достоинства.

Наконец, в 1843 году я оставил Петербург почти с таким же сожалением, с каким оставлял Москву, чтобы переехать в Петербург. К кружку, к Белинскому я привязался всей душой. Связи с ним после того никогда не прерывались. С Белинским они еще укрепились дружбой с Герценом, Грановским, Кетчером, Е. Коршем и другими членами московского кружка, которого Белинский был членом [1].

К. Д. Кавелин

[1] Ценные подробности о Белинском сороковых годов см. у И. И. Панаева „Литературные воспоминания“ (изд. Academia).

КРУЖОК И. И. ПАНАЕВА [1]

Дом Ив. Ив. Панаева был сосредоточием передового литературного кружка того времени. Это сосредоточие являлось, главным образом, следствием притягательной силы, которой обладал Белинский, и характера Ив. Ив., искренно, горячо и бескорыстно преданного литературе, а равно и приветливости его, как хозяина дома.

Ив. Ив. и Белинский были искренними друзьями, причем дружбу Ив. Ив. можно было сравнить с восторженной любовью, подобной той, какую питают к женщинам.

Но в чем заключалась притягательная сила Белинского,—это вопрос весьма не безынтересный.

Белинский в действительности не обладал ни особенными знаниями, ни начитанностью, не знал даже иностранных языков, а между тем он приобрел небывалый ни прежде, ни после него авторитет как среди созидавшегося тогда свежего литературного круга, так и среди интеллигентной, читающей публики.

Не столько ум и логика обусловили его силу, сколько совокупность их с нравственными его качествами. Это был рыцарь, сражающийся

[1] Воспоминания Валериана Александровича Панаева, „Русская Старина“ 1901 г., сентябрь, стр. 481—505.

за правду и истину. Это был палач всего искусственного, деланного, фальшивого, неискреннего, всяких компромиссов и всякой неправды, где бы таковая ни являлась. При этом он обладал громадным талантом, редким эстетическим чувством, страстной энергией, жгучим словом, горячею возвышенною душою, восторженностью и теплейшим, деликатнейшим и отзывчивым сердцем во всем. Словом сказать, его можно назвать: могучий критик-поэт.

По моему глубокому убеждению, в перечисленных-то мною свойствах и заключалась притягательная сила Белинского. Я знал Белинского в течение девяти лет до дня его смерти и во все это время я не подметил в нем ни одной черточки, которая показывала бы, что он признает за собою необыкновенную силу и влияние на других. Он так был естествен во всем, что можно с уверенностью сказать, что ему и в голову не приходило анализировать главные причины своего влияния, которыми и не помышлял кичиться. Если бы он подметил в себе эту кичливость, то, конечно, казнил бы сам себя.

Мы можем гордиться немалым числом являвшихся в нашем отечестве великих литературных талантов, как Державин, Фонвизин, Грибоедов, Достоевский, Некрасов, Тургенев, Толстой, Григорович, Гончаров, и великих гениев, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов; но мы имели одного великого критика — Белинского.

Значение Белинского и влияние его на литературу громадно; но это влияние до сих пор

еще не оценено должным образом. Все, что подлежит развитию,—требует питания. Зерно, попавшее на хорошую почву, хотя и даст росток, но затем погибает. Чтобы он развился, надо питать его или пересадить на хорошую почву и уничтожить растущий около него бурьян, который иначе заглушит росток. Достоевский, Некрасов, Тургенев, Толстой, Григорович, Гончаров и Ив. Ив. Панаев суть дети Белинского, его вскормленники.

В 1842 году Ив. Ив. Панаев жил у Аничкина моста в доме Лопатина. В том же доме жил и Белинский. По субботам у Ив. Ив. собирались литераторы, а также прилепившиеся к литературе и, вообще, знакомые. Из числа литераторов помню князя Одоевского, Соболевского, Башуцкого, которые бывали редко; графа Соллогуба, бывавшего довольно часто; А. А. Комарова, воспитателя юношества и преподавателя русской словесности в военно-учебных и других заведениях; Вас. Петр. Боткина, когда он бывал в Петербурге; Кетчера, переводчика Шекспира, пока он не возвратился в Москву; Анненкова, впоследствии издателя сочинений Пушкина; Бранта, писавшего великолепные повести и романы, который несколько лет спустя был изображен карикатурой в литературном сборнике, приложенном к „Современнику“ 1849 г., в виде Наполеона I, потому что претендовал на некоторое с ним сходство.

Из знакомых Ив. Ив. помню Ник. Петр. Боткина, брата Василия Петровича; Маркевича, который не занимался еще тогда лите-

ратурой; А. С. Комарова, инженера, профессора в институте путей сообщения; офицера московского полка Булгакова, известного в то время всем своим остроумием и оригинальными шутками; молодых красавцев: лейб-гусара Полторацкого, царско-сельского кирасира Ольховского и морского флигель-ад'ютанта Колзакова и затем полковников литературы: Маслова, Кульчицкого, Тютчева и друга Ив. Ив.—М. А. Языкова; последние были постоянными посетителями суббот.

В скором времени кто-то привез Ив. Ив. из Парижа краткую историю революции конца прошедшего столетия, о которой русское общество, за исключением тех немногих лиц, которым случалось бывать за границей, не имело никакого сколько-нибудь верного представления; даже литературный мир пребывал в этом отношении в неведении, так как абсолютно ни одно историческое сочинение, относящееся к этой эпохе, не было допущено в продаже в России.

Кроме означенной истории, Ив. Ив. доставлялась газета „Moniteur Universel“ того времени, конечно, далеко не в полном составе, но все-таки имелось множество нумеров, относящихся до более важных моментов революции. В эти нумера были завернуты разные предметы, вывезенные из-за границы, и, таким образом, они и очутились в Петербурге.

Когда Ив. Ив. имел уже в руках поименованные источники, у него тотчас же родилась мысль перевести для Белинского историю ре-

волюции, вставляя для полноты выборки из „Moniteur Universel". Он сообщил Белинскому, что будет читать по субботам все, что успеет перевести и скомпилировать за неделю. С тех пор характер этих суббот изменился; все интересующиеся вопросом стали собираться раньше, чтобы успеть прослушать чтение до прихода менее интимных лиц, которым, впрочем, так или сяк давали почувствовать, что посещение их не совсем во-время, и в конце концов посещение этих людей сделалось гораздо реже.

К концу зимы перевод Ив. Ив. подходил тоже к концу, и вот к одному вечеру он приготовил перевод знаменитой речи Робеспьера о „Существе высшем", дословно помещенный в „Moniteur Universel". Замечу здесь, что впоследствии я не встретил ни в одном из обширных сочинений о революции полного текста означенной речи. Даже в громадной специальной истории Робеспьера, сочинения Hamel'a, обнимающей более 2 000 стр., означенная речь помещена отрывками, а не дословно, причем выброшены некоторые выражения, не понравившиеся, повидимому, автору.

Упомянутая речь Робеспьера произвела на Белинского и на всех слушателей поражающее впечатление своим содержанием, совершенно неожиданным для нас. В тот же вечер я упросил Ив. Ив. дать мне списать прочитанную им речь. Ив. Ив. согласился с тем, чтобы я завтра же до обеда доставил ее обратно. Речь была так велика, что пришлось переписывать ее, вследствие данного краткого срока, втроем; принялись за это—я, мой брат и товарищ

Кусаков. Я сохранил эти листки до сих пор [1].

Перед своею смертью Ив. Ив. отдал мне на память всю составленную им для Белинского компиляцию французской революции, обнимающую пять лет, с 1789 г. по 1794 г., которая и хранится ныне у меня. Эта рукопись могла бы составить книгу до двадцати печатных листов. Кроме этого, Ив. Ив. передал мне и разные другие переводы, делавшиеся им для Белинского, из Леру, Жорж Занда и других писателей, которые тоже сохранились отчасти у меня.

Пусть же поставит себе читатель вопрос: какова же была привязанность и любовь к Белинскому у людей, его знавших, чтобы человек не праздный, а сам для себя трудящийся, посвятил почти полгода бескорыстного труда для того только, чтобы дать возможность Белинскому ознакомиться с тем, что в его роли писателя-критика ему нужно было знать.

Итак, известный небольшой кружок здесь в Петербурге ознакомился еще в начале 1843 года дословно с знаменитою речью Робеспьера, тогда как я впоследствии встречал множество французов, даже из мира писателей, которые хотя и слыхали о ней и об ее содержании, но самой речи не читали.

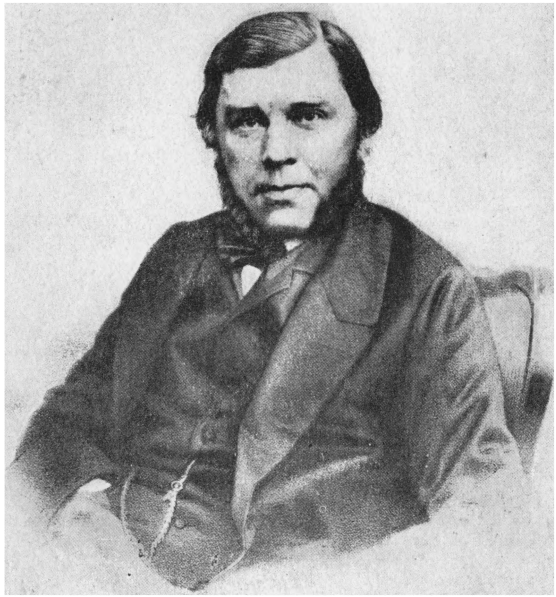
Вскоре появился у Ив. Ив. Панаева—Иван Сергеевич Тургенев. В это время он только что напечатал свою первую поэму „Параша".

[1] Подробности об этих чтениях в VII главе „Литературных воспоминаний" И. И. Панаева (изд. Academia).

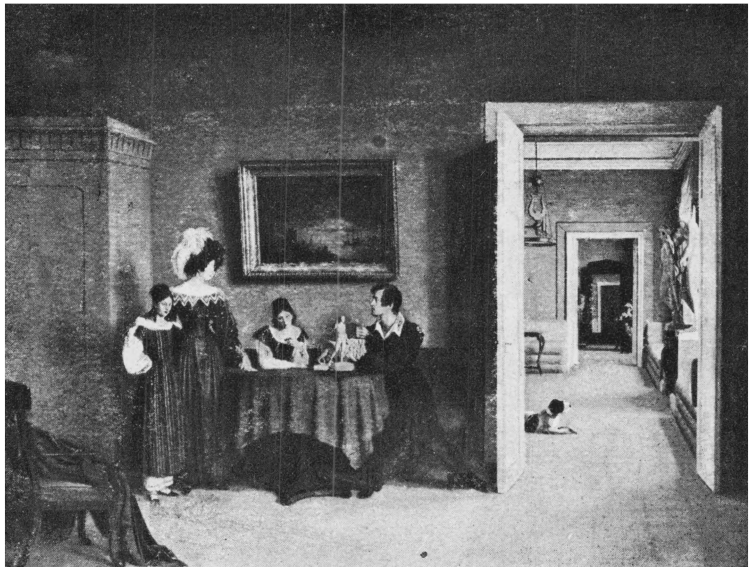
По внешности Тургенев был очень представительный молодой человек, большого роста, весьма приятной наружности, с особенно мягкими глазами, характеризовавшими его лицо. Он принадлежал к родовитой, богатой семье, получил блестящее образование, побывал уже за границей и посещал высший круг. Помню, как теперь, что я увидал Тургенева у Ив. Ив. первый раз приехавшим после светских визитов и одетым в синий фрак с золотыми пуговицами, изображающими львиные головы, в светлых клетчатых панталонах, в белом жилете и в цветном галстуке. Такого рода была в то время мода.

Вообще в Тургеневе заметна была еще тогда ходульность, а также замечалось желание рисоваться, отсутствие искреннего жара и, тем более, пыла. Во всем была сдержанность, но выступала одна черта—это пренебрежение ко всему, что отзывалось Россией, условий жизни которой он, видимо, не понимал, не знал и в них не вдумывался. Заметно было еще в разговорах самое поверхностное отношение в беседах по вопросам, ни на чем твердо не останавливающимся, нечто вроде порхания или фланерства мыслей.

В то время и Евгений Онегин Пушкина служил образцом для молодых людей, находившихся в условиях, подобных тем, в которых находился Тургенев, и потому весьма натурально, что он желал походить на героя пушкинской поэмы. Многие старались ломать из себя Онегиных, но они являлись по преимуществу карикатурными, чего никак нельзя было



В. А. Соллогуб.



Ф. Толстой. Семья художника.

приписать Тургеневу. В нем было столько общего по всем условиям с Онегиным, что его можно было признать за родного брата пушкинского героя.

Вследствие высказанных мною особенностей характера будет понятно, что Тургенев смотрел на всех свысока, и в манерах его обращения с людьми было заметно вначале некоторое фатовство. Это, конечно, не могло нравиться тому кружку, где он появился, и Белинский, по природной своей прямоте не терпящий ничего деланного и искусственного, стал без церемонии замечать Тургеневу при всяком подходящем случае о том, что могло коробить присутствующих, конечно, если не было при этом не интимных людей.

Вот, например, эпизод, случившийся со мною. Но прежде изложения этого эпизода я должен сказать, что в литературном кружке, собиравшемся у Ив. Ив., все, за исключением Белинского, смотрели на людей, носящих эполеты, с явным предубеждением. Один Лермонтов не мог разрушить в этом кружке предвзятого предубеждения. Коль скоро офицер,—значит неразвитой человек, не знаком с философией, т. е. с наукой. Разговоры о философии и науке подымал преимущественно В. П. Боткин. Он начитался Гегеля и еще кое-чего и в виду того, что другие были мало знакомы с тем, чего начитался Боткин, он придавал себе вид мыслителя, и ему многие в то время верили на слово.

— Наука, батюшка, наука,—повторял он на каждом шагу.— Без нее нельзя ступить ни шагу ни в искусстве, ни в литературе.

Он был положительно смешон своею напыщенностью знания будто бы философских истин. Вообще разговоры о науке, возбуждаемые Боткиным, представляли отчасти комическую сторону кружка. О какой науке рассуждали в нем, это остается „темной водой во облацех". Итак, офицеры рассматривались в кружке как люди, которым не могут быть доступны таинства науки, которую однако никто из кружка не мог формулировать хотя бы малейшей черточкой.

Тургенев, посещая Ив. Ив., где не раз встречал меня, причем никогда не только не здоровался, но и не кланялся мне, несмотря на мои близкие отношения к хозяину дома. По всей вероятности Белинский подметил это. Я был в то время очень молодым офицером.

Однажды я находился у Ив. Ив., где был и Белинский. Во время своих разговоров он любил ходить по комнате. Я сидел. Белинский остановился передо мною и что-то говорил. В это время пришел Тургенев, подошел к Белинскому, поздоровался с ним, стоя глаз-на-глаз передо мною, но не поклонился мне. Белинский тотчас же взял Тургенева под руку, прошелся с ним раза два по комнате и опять остановился передо мной, продолжая держать Тургенева под руку.

Знаете ли вы, Тургенев, кто это сидит?

Тургенев вставил монокль в глаз, взглянул на меня с высоты и выразил на своем лице недоумение.

— Знайте же, Иван Сергеевич, это сидит Остап! да! Остап!

Затем Белинский повернулся и отошел. В то время Тарас Бульба чрезвычайно высоко ценился как в обществе, так и в литературном мире, и будет, конечно, цениться еще долгое время. Более деликатно, более умно и более находчиво нельзя было поступить, как поступил Белинский. С тех пор Тургенев не только здоровался со мною, но сделался весьма предупредительным при встречах и стал вступать в разговоры.

Приблизительно к тому же времени относится и увлечение Белинского карточной игрой. Втянули его в эту игру Каптер и Кульчицкий.

Белинский, как человек увлекающийся, увлекся этой игрой и, по выходе ежемесячно в свет нумера „Отечественных Записок", несколько дней с азартом предавался карточной игре, которая являлась отдохновением мысли, что совершенно верно для людей постоянно трудящихся.

Когда я застал первый раз Белинского за зеленым столом, то ужасно удивился этому. Затем по субботам у Ив. Ив. Белинский всякий раз играл в преферанс. Постоянными его партнерами были: Кульчицкий, Тютчев и Маслов; иногда по необходимости заменяли их Ив. Ив. и Языков, которые тоже не имели никакого призвания к игре, как и Белинский, и все они обучались еще игре в преферанс.

По поводу карточной игры я приведу один курьезный эпизод. Однажды Тургенев, заставши компанию за игрой, сказал:

— Что вам за охота играть в скучный преферанс; если хотите, я вам покажу преинте-

ресную игру квинтич, в которой могут принять участие по желанию все здесь присутствующие, только надо иметь не менее четырех колод и даже более, смотря по числу играющих. Мы будем играть по маленькой и назначим куш в 10 копеек.

В предложенной Тургеневым игре приняли участие человек 10, если не более.

После первого пробного тура без денег для ознакомления с игрой, тотчас же назначили первоначальный куш в 10 коп., при первой же раздаче по одной карте, так что всякий получивший эту карту, хотя бы найдя ее неудобной для дальнейшей покупки и бросил ее, был уже обязан заплатить 10 копеек.

Но после первого тура настоящей игры некоторые проиграли уже десятки рублей. Игра приняла серьезный оборот, и в скором времени пошли куши в 100 рублей и достигли 200 рублей. И когда в одну из следующих сдач двум лицам пришел счет по 15, и дошедши до 200 рублей один из них об'явил 400 рублей, то все опомнились, запротестовали, сказали, что дальше 200 рублей итти соперников не допустят, и пригласили их вскрыть карты.

Играли долго, чуть не до утра, Белинский был в проигрыше более 100 рублей. Он игры не прекращал, а выигравшим бросить игру было, конечно, неловко. Белинский проиграл в общей сложности с лишком 200 рублей. Он вскочил и, вынув сторублевую бумажку, сказал:

— Довольно, больше со мною денег нет, заплачу послезавтра.

Затем, схватив шапку, обратился к Тургеневу:

— Ну, спасибо вам, Иван Сергеевич, за вечерок; как же вы, не зная характера игры, вздумали обучать ей? Кто же мог знать, что куш в 10 копеек обратится в сотни рублей и мог обратиться в тысячи, если бы мы не спохватились во-время?

С этими словами Белинский ушел в сильном волнении.

Вечер этот произвел на всех удручающее впечатление. Все знали, что проигрыш Белинского в 200 рублей равнялся жалованью за месяц, получаемому им от А. А. Краевского, и что других источников для жизни он не имел и был уже в это время женат.

Тургенев был страшно сконфужен случившейся бедой по его инициативе. Все стояли молча, никто не мог еще собраться с мыслями. Вдруг легендарный миротворец всего кружка М. А. Языков сказал:

— Что, голубчики, не веселы, что вы головушки повесили? Все можно легко поправить, стоит лишь Белинскому отыграться.

Слова эти, как молния, пролетели в ушах всех, и Тургенев немедленно пригласил всех присутствующих обедать к нему на послезавтра с тем, чтобы после обеда сыграть в квинтич. Все тотчас же сообразили, что таким образом по характеру игры всякий может проиграть столько, сколько сам приблизительно в выигрыше, и проиграть именно Белинскому.

Понятно, что Тургенев через день пригласил к обеду Белинского, которому, конечно, не было сообщено о предстоящей игре.

Иван Сергеевич жил тогда с своим братом, следовательно, у них было домашнее хозяйство. После обеда мы сели играть в квинтич без Белинского, который не хотел играть, но, наконец, его уговорили.

Таким образом Белинский мог отыграть приблизительно весь свой проигрыш, не получив ни малейшего сознания о том, что играющие действовали умышленно. Этот заговор остался, конечно, тайной навсегда.

Весной 1844 года субботы у Ив. Ив. прекратились, и он задумал ехать за границу.

Зиму 1845 года Ив. Ив. провел за границей и, вернувшись оттуда, поехал в деревню, откуда прибыл в Петербург уже осенью того же года. Тогда опять начали собираться у него литераторы и знакомые. В это время появились три новые литературные личности, а именно: Некрасов, Достоевский и Григорович. Среди знакомых появилось новое для литературного кружка лицо: Григорий Михайлович Толстой, которого я знал с детства. Это был образованнейший человек и в полном смысле джентльмен как в жизни, так и по характеру и по манерам. Толстой проводил постоянно время за границей, где и познакомился с ним Ив. Ив. Он только что приехал оттуда и жил некоторое время в Петербурге до от'езда в свою деревню Новоспасское, Казанской губернии, Лаишевского уезда, куда и пригласил на лето Ив. Ив. с женой, а также Некрасова, для дивной охоты на дупелей, которые водились в неисчислимом количестве в окрестностях означенной деревни. Во время

пребывания в этой деревне Ив. Ив. решал вопрос об издании „Современника“ и заключил по этому делу союз с Некрасовым.

В это время Некрасов готовил уже издание „Петербургского сборника“, в котором должен был быть помещен первый роман Достоевского „Бедные люди“. Белинский, Некрасов и Григорович знали уже этот роман по рукописи, и Ив. Ив. устроил вечер исключительно для прочтения еще рукописи этого произведения другим литераторам и знакомым.

Я присутствовал на этом чтении; читал сам Достоевский, тогда человек конфузливый, но его чтение произвело на всех потрясающее впечатление.

Я очень мало знал Достоевского. Быть может не более десятка раз встретился я с ним, и никакого серьезного разговора вести с ним не случилось. Он скоро перестал бывать у Ив. Ив., вышел какой-то разлад, в котором последний не был ни в чем виноват. Причину разлада приписывали Тургеневу, и если я не ошибаюсь, то враждебность между этими двумя писателями продолжалась до конца их жизни [1].

Итак, я не имею никаких данных для того, чтобы вывести какое-либо заключение о Достоевском из моих личных к нему отношений. Одно только можно было заметить даже в то короткое время, когда он посещал Ив. Ив., что Достоевский был очень раздражителен и щекотлив.

В пятидесятых годах появлялся у Ив. Ив. изредка Фет. Я ничего не могу сказать о нем,

[1] См. воспоминания Д. В. Григоровича (изд. Academia).

разве только то, что он был тучный человек. А как он попал в звание замечательного поэта, это загадка, которую пускай разгадывает критика. Общий жанр его творений очень ловко пародировал Ив. Ив. в своих „Записках нового поэта".

Впоследствии появились у Ив. Ив. Дружинин и Дудышкин. Это были тоже люди умные, образованные и весьма приятные [1].

В. А. Панаев

[1] См. еще Воспоминания П. П. Соколова в „Истор. Вестнике" 1910, август, стр. 410—411.

САЛОН В. А. СОЛЛОГУБА [1]

Граф Михаил Юрьевич Виельгорский был один из первых и самых любимых русских меценатов; все этому в нем способствовало: большое состояние, огромные связи, высокое, так сказать, совершенно выходящее из ряда общего положение, которое он занимал при дворе, тонкое понимание искусства, наконец, его блестящее и вместе с тем очень серьезное образование и самый добрый и простой нрав. Совершенным противоречием ему являлась его жена, рожденная герцогиня Луиза Бирон. Это была женщина гордости недоступной, странно как-то сочетавшейся с самым искренним христианским уничижением... У графа Михаила Юрьевича раза два, три в неделю собирались не только известные писатели, музыканты и живописцы, но также и актеры, и начинающие карьеру газетчики (что в те времена было нелегкой задачей), и даже просто всякого рода неизвестные людишки, которыми Виельгорский, как истый барин, никогда не брезгал. Все эти господа приходили на собственный Виельгорского под'езд (на Михайловской площади, дом ныне принадлежащий кондитеру Кочкурову), и графиня Виельгорская не только не знала

[1] Воспоминания графа В. А. Соллогуба.—СБП, 188[illegible] г.

о их присутствии в ее доме, но даже не ведала о существовании многих из них. Часто Виельгорский на короткое время покидал своих гостей, уезжал во дворец или на какой-нибудь прием одного из посланников или министров, но скоро возвращался, снимал свой мундир, звезды, с особенным удовольствием облекался в бархатный, довольно потертый сюртук и принимался играть на биллиарде с каким-нибудь затрапезным Самсоновым. Но этот образ жизни—или, скорее, резкость приемов—родителей моей жены несколько изменился со дня нашей свадьбы. Мы жили у них же в доме, на особенной, для нас ими отделанной квартире. Мы с женою завтракали и обедали у Виельгорских; в остальное же время сохраняли совершенную независимость в нашем образе жизни, много принимали у себя, и эти два элемента — светский и артистический — у нас соединялись в одно целое, в то время редкое и особенно привлекательное.

У меня по вечерам собирались самые разнородные гости; в комнате, находившейся за моим кабинетом и прозванной мной „зверинцем“, так как в ней помещались люди, не решавшиеся не только сидеть в гостиной, но даже входить в мой кабинет, куда, однако, дамы редко заглядывали,—в этой комнате часто можно было видеть сидящих рядом на низеньком диванчике председателя государственного совета графа Блудова и г. Сахарова, одного из умнейших и ученейших в России людей, но постоянно летом и зимой облеченного в длиннополый сюртук горохового цвета с не-

брежно повязанным на шее галстуком, что для модных гостиных являлось не совсем удобным.

Федор Иванович Тютчев был одним из усерднейших посетителей моих вечеров; он сидел в гостиной на диване, окруженный очарованными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на моем веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова точно жемчужины небрежно скатывались с его уст. Он был едва ли не самым светским человеком в России, но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны, как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шуршанье дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких женщин. Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам: он собою был дурен, небрежно одет, неуклюж и рассеян; но все, все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать, все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева; я думаю, что главною прелестью Тютчева в этом случае было то, что рассказы его и замечания „coulaient de source“, как говорят французы: в них не было ничего приготовленного, выученного, придуманного. Соперник его по салонным успехам, князь Вяземский, хотя обладал редкой привлекательностью, но никогда не славился этой простотой обаятельности, которой отличался ум Тютчева. У меня в то время собирались все тузы русской литературы. Я уже назвал

Тютчева, Вяземского и Гоголя; кроме них, часто посещал меня добрейший и всеми любимый князь Одоевский, Некрасов, Панаев, которого повести были в большой моде в то время, Бенедиктов, Писемский. Изредка в зверинце появлялась высокая фигура молодого Тургенева; сухопарый и юркий Григорович был у нас в доме как свой, также и Болеслав Маркевич. Один, всего один раз мне удалось затащить к себе Достоевского. Вот как я с ним познакомился.

В 1845 или 1846 году я прочел в одном из тогдашних изданий повесть, озаглавленную „Бедные люди". Такой оригинальный талант сказывался в ней, такая простота и сила, что повесть эта привела меня в восторг. Прочитавши ее, я тотчас же отправился к издателю журнала, кажется, Андрею Александровичу Краевскому, осведомиться об авторе; он назвал мне Достоевского и дал мне его адрес. Я сейчас же к нему поехал и нашел в маленькой квартире на одной из отдаленных петербургских улиц, кажется на Песках, молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми рукавами. Когда я себя назвал и выразил ему в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивленное впечатление, которое на меня произвела его повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось, он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в ком-

нате старенькое, старомодное кресло. Я сел, и мы разговорились; правду сказать, говорил больше я—этим я всегда грешил. Достоевский скромно отвечал на мои вопросы, скромно и даже уклончиво. Я тотчас увидел, что это натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная. Просидев у него минут двадцать, я поднялся и пригласил его поехать ко мне запросто пообедать.

Достоевский просто испугался.

— Нет, граф, простите меня, — промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки,—но, право, я в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться...

— Да кто вам говорит о большом свете, любезнейший Федор Михайлович,—мы с женой действительно принадлежим к большому свету, ездим туда, но к себе его не пускаем!

Достоевский рассмеялся, но остался непреклонным и только месяца два спустя решился однажды появиться в моем зверинце. Но скоро наступил 1848 год, он оказался замешанным в деле Петрашевского и был сослан в Сибирь, в каторжные работы. Остальное читатели уже знают.

Я уже сказал, что, кроме моих собратьев и других артистов, у меня бывало на вечерах множество людей сановных, придворных и светских; их привлекало, во-первых, то, что они могли вблизи посмотреть на это в те времена диковинное явление—„русских литераторов“, им по их воспитанию на иностранный лад совершенно чуждое, но в особенности

потому, что я устроил эти вечера единственно в виду того, чтобы собирать у себя именно этих писателей, живописцев, музыкантов, издателей тогдашних газет и журналов и вообще людей, близко связанных и с родным и с иностранным искусством, и потому нисколько не желал, чтобы люди чисто светские бывали на этих вечерах. Этого, разумеется, было достаточно, чтобы „весь Петербург" стремился ко мне. Теперь мне часто становится смешно, когда я вспоминаю все ухищрения, употребляемые в то время некоторыми дипломатами, убеленными сединами сановниками, словом, цветом тогдашнего петербургского общества, чтобы попасть ко мне. О женщинах нечего и говорить: с утра до вечера я получал раздушенные записки почти всегда следующего содержания: „Милейший граф, я так много наслышалась о ваших прелестных вечерах, что чрезвычайно интересуюсь и желаю побывать на одном из них! Прошу, умоляю вас, если это нужно, назначить мне день, в который я могу приехать к вам и увидеть вблизи всех этих знаменитых и любопытных для меня людей. Надеюсь и т. д.". Но женщинам самым милым и высокопоставленным мне приходилось наотрез отказывать, так как их появление привело бы в бегство не только мой милый зверинец, но и многих посетителей кабинета. Только четыре женщины, разумеется, исключая родных и Карамзиных, допускались на мои скромные сборища, а именно: графиня Ростопчина, известная писательница, графиня Александра Кирилловна Воронцова-

Дашкова, графиня Мусина-Пушкина и Аврора Карловна Демидова. Надо сказать, что все они держались так просто и мило, что нисколько не смущали моих гостей. Между нами было условлено, что туалеты на них будут самые скромные; они этому, хотя нехотя, подчинялись, и раз только Аврора Карловна Демидова, которой, едучи на какой-то бал, вздумалось завернуть к нам по дороге, вошла в гостиную в бальном платье. Правда, платье было темное, бархатное, одноцветное, но на обнаженной шее сиял баснословный демидовский бриллиант, стоивший, кажется, более миллиона рублей ассигнациями.

— Аврора Карловна, что вы это надели, помилуйте! Да они все разбегутся при виде вас!—идя ей навстречу, смеясь, закричал я, указывая на ее бриллиант.

Ах, это правда! — с таким же смехом ответила мне Демидова и, поспешно отстегнув с шеи свое ожерелье, положила его в карман.

Ровно в полночь у меня в столовой подавался ужин, состоявший из одного кушанья, какого-нибудь гомерических размеров ростбифа или двух-трех зажаренных индеек; но запивалось простым красным столовым вином. Гости мои, наговорившись досыта, кушали с большим аппетитом. После ужина все раз'езжались до следующего вечера [1].

В. А. Соллогуб

[1] См. еще Воспоминания П. П. Соколова в „Историч. Вестникс“ 1910, август, стр. 412—413.

ДОМ МАЙКОВЫХ [1]

Здесь кстати сказать несколько слов о семействе Майковых, служившем лучшей школой для многих молодых людей, сделавшихся впоследствии известными литераторами.

Это было во всех отношениях прекрасное и образцовое семейство вроде тех, о каких мечтали во французских и английских повестях, где описывались семейства Ван-Дика, Чимарозы и других. Семейство Майковых состояло из шести членов, но, начиная с обеда до поздней ночи, там почти ежедневно собиралось порядочное общество. Глава семейства, сын известного в начале этого столетия директора императорских театров Ап. Ал. Майкова, Николай Аполлонович Майков, отставной гусарский офицер, красивый брюнет, с открытым добродушным характером, был женат на дочери московского золотопромышленника Гусятникова, Евгении Петровне, стройной, красивой брюнетке с продолговатым аристократическим лицом, на которую был чрезвычайно похож второй сын Валериан. Н. А. Майков после женитьбы вышел в отставку и жил в Москве. Когда же пришло время воспитывать старших сыновей, он переселился в Петербург.

[1] А. В. Старчевский. Один из забытых журналистов (Из воспоминаний старого литератора). „Историч. Вестник" т. XXIII. 1886 год, стр. 374—384.

Еще в Москве Н. А. Майков стал заниматься живописью как любитель-самоучка. В Петербурге он посвятил себя ей вполне.

В это время молодые Майковы, посещавшие университет, приволокли в свой дом Дудышкина, желая сделать из него общественного человека. Тогда Н. А. было уже под пятьдесят, супруге его Евгении Петровне за сорок. Были они люди в высшей степени радушные, симпатичные и гостеприимные. Старший сын Ап. Ник., еще очень молодой человек, похожий на отца, только в миниатюрном виде, рано обнаружил поэтический талант, который доставил ему известность впоследствии. Второй сын Валериан был наделен большими публицистическими способностями, но тогдашнее время обрезало ему крылья, а затем случайная смерть погубила весьма даровитого и способного юношу. Третий сын, так называемый старичок по своему тихому и спокойному нраву,—Владимир Николаевич, менее даровитый, был тогда еще гимназистом. Четвертый—Леонид Николаевич, был тогда ребенком.

Семейство Майковых дополнялось еще следующими лицами: младший брат Ник. Аполл.—Константин Аполл., полковник Измайловского полка, заведывал библиотекой военной академии, часто навещал брата и проводил у него целые вечера с молодыми людьми. Наталья Александровна Майкова, вдова одного из братьев Н. А., рожденная Измайлова, дочь известного литератора, поэта и журналиста двадцатых годов, дама превосходно образованная и воспитанная, одаренная внешними прекрас-

ными качествами и остроумием,—была инспектрисой Екатерининского института, лично известна императрице Александре Феодоровне, при возможности посещала своего деверя и привозила с собою несколько классных дам; затем следовали люди, занимавшиеся наукою, искусством и литературою. Вот каково было семейство Майковых, в которое введен был Степан Семенович Дудышкин.

Прибавьте ко всему этому милое, свободное, но всегда приличное обращение, откровенность, юмор, радушие хозяев и умение их поддерживать разговор, переплетая его оживленными эпизодами и отступлениями, и тогда вы получите довольно приблизительное понятие о том, какое значение имел в свое время дом Майковых для молодых людей, которым почему-либо приходилось сблизиться с его младшими членами. В этом кругу никогда не происходило ни пошлых разговоров, не сообщалось двусмысленных анекдотов, никто не осуждался, никто не осмеивался; а между тем всем было весело, привольно, занятно, и постоянные посетители неохотно брались за шляпы в три часа ночи, чтобы отправиться во-свояси. Здесь Дудышкин был перевоспитан, обшлифован, набрался ума-разума, хорошего обхождения, выработал себе манеры, свое „tenue“ и даже имел свой тон. Если вспомнить Дудышкина, приехавшего из Витебска, и сличить его с Дудышкиным — сотрудником „Отечественных Записок“, то это были два совершенно различных человека. Вот что делает общение с образованными, благовоспитанными людьми в их тесном кружке.

В семействе Майковых по вечерам в воскресенье и другие праздничные дни, когда собиралось много молодежи, часто происходили чтения чего-нибудь выдающегося в современной журналистике, с критическими и другими замечаниями, идущими к делу. Чтения эти введены были покойным Владимиром Андреевичем Солоницыным, но со смертью его чтения эти почти прекратились, как вдруг Иван Александрович Гончаров, написав свою „Обыкновенную историю", заявил в один вечер, что прежде, чем отдать ее в печать, желал бы прочесть свое первое произведение у Майковых в несколько вечеров и выслушать замечания именно молодого, чуткого, откровенного и ничем не стесняющегося поколения; тем более, что все слушатели были его ближайшие друзья и доброжелатели, и если бы в чем-нибудь замечания их оказались неверны, то их тут же и опровергнут.

В тот же день я получил от Вл. Аполлон. Солоницына записку, в которой он приглашал меня притти в шесть часов вечера слушать сочинение Гончарова, о существовании которого до тех пор никому не было известно. Вот содержание этой записки:

Евгения Петровна (т. е. Майкова), Валерьян и я купно советуем тебе прийти слушать повесть Ив. Ал. (т. е. Гончарова) хотя к шести часам, иначе Ив. Ал. рассердится, тем более, что он читает повесть для тебя и Юлии Дмитриевны, которые не слыхали ее, а не для М-х (т. е. Майковых), которые уже слышали ее

дважды. Притом он, пожалуй, и не отдаст ее в твой журнал (тогда я имел в виду издавать „Русский Вестник", который передавал мне Серг. Ник. Глинка). Если ты не придешь, это его весьма обидит; ты знаешь, как он скрупулезен. Итак, убедительно советуем притти к шести часам. Ответь хоть словом.

В. Солоницын

На другой день я явился в семь часов к Майковым и застал там всех наших знакомых. Спустя четверть часа, Ив. Ал. начал читать свою повесть. Все мы слушали ее со вниманием. Язык у него хорош; она написана очень легко, и до чаю прочитано им было порядочно. Когда разнесли чай, начались замечания, но они были незначительны и не существенны. Вообще повесть произвела хорошее впечатление. Чтение продолжалось несколько вечеров сряду и по мере ближайшего знакомства с повестью развивался и интерес, все яснее и яснее выходили лица. Конечно, замысел ее незатейлив, ничего сложного и запутанного не было, но по мере ближайшего знакомства с действующими лицами все чаще и чаще становились замечания; но это были замечания слишком молодых и неопытных еще людей; дамы тоже делали в эти замечания и свои вставки, также не имевшие никакого критического значения; старики вовсе не высказывались.

Жаль, что тогда среди нас не было ни одного человека с опытом и авторитетом, который знал бы, на что следовало обратить внимание, что изменить, сократить или развить. Несмо-

гря однако на самые легкие замечания молодежи, Ив. Ал. обратил внимание на некоторые замечания самого младшего из нас, Валериана Майкова, и решился сделать изменения в повести „Обыкновенная история“ сообразно с указаниями молодого критика. Конечно, Ив. Ал. во время чтения своей повести при многочисленном обществе сам лучше других замечал, что надобно изменить и исправить, и потому постоянно делал свои отметки на рукописи, а иногда и просто перечеркивал карандашом несколько строк. Но все же переделка эта потребовала немного времени, потому что спустя несколько дней опять назначено было вторично прослушать „Обыкновенную историю“ в исправленном виде; я снова получил приглашение, но не мог им воспользоваться, потому что редактор „Журнала министерства народного просвещения“ Константин Степанович Сербинович прислал мне какую-то спешную работу; а так как он был человек в высшей степени аккуратный и всегда означал, к какому дню статья должна быть готова и доставлена ему на дом лично, поэтому я не был на вторичном чтении повести Гончарова.

Героем для повести Гончарова послужил его покойный начальник Вл. Андр. Солоницын и Андр. Парф. Заблоцкий-Десятовский, брат которого, Михаил Парф., бывший с нами в университете и знакомый Ив. Ал., близко познакомил автора с этой личностью. Из двух героев, положительных и черствых, притом не последних эгоистов, мечтавших только о том, как бы выйти в люди, составить капиталец

и сделать хорошую партию,—Ив. Ал. выкроил своего главного героя.

Племянничек с желтыми цветами составлен из Солика (племянника В. Андр. Солоницына—Вл. Апол. Солоницына) и Михаила Парфеновича Заблоцкого-Десятовского, а прощание с матерью, приготовление к отезду и первое впечатление, произведенное на племянничка Петербургом—это описание своего от'езда из родного гнезда и приезд в Петербург.

Антон Иванович—это тоже лицо мне хорошо знакомое; для этого господина материалом послужил, во-первых, Вл. Андр. Солоницын, а во-вторых, действительный Антон Иванович, знакомый Дудышкина, целых сорок лет заведывавший делами Новинских, торговцев мехами, и к которому во всех делах обращался за советом Степан Семенович Дудышкин, не придавая однако этим советам большого значения.

Когда мы с Дудышкиным и Соликом поселились в доме Трузсона, Ст. Сем. продолжал служить в своем комиссариате, почитывал в свободное время выходившие толстые журналы, давал очень мало уроков и довольно часто проводил вечера у Майковых.

В конце 1844 года молодой отставной военный Федор Карлович Дершау выхлопотал себе у правительства право издавать толстый журнал под названием „Финский Вестник". Дершау не имел никаких данных, чтобы быть редактором; единственный его литературный труд—„Поездка по Финляндии"—был первым и довольно слабым, а затем и последним литера-

турным трудом, так как он был осмеян во все тогдашних газетах и журналах.

Дершау жил по соседству с Майковыми; Аполлон Николаевич тогда уже возвратился из Италии и давно печатал свои стихотворения в журналах. Дершау обратился к нему с просьбой образовать ему редакцию и взять на себя это дело. После должного обсуждения молодые Майковы не только приняли на себя это дело, но хотели войти и в часть по изданию. Первая книжка „Финского Вестника" была редактирована ими, в ней замечательнейшей статьей была статья Вал. Майкова „Общественные науки", обратившая на себя внимание в тогдашних литературных кружках. Вскоре оказалось однако, что у Дершау не было никаких средств и что с ним нельзя было сварить каши, и Майковы бросили „Финский Вестник".

В конце 1845 года В. Г. Белинский, крепко державший в своих руках в „Отечественных Записках" отдел критики и библиографии с 1840 года, вздумал потребовать у А. А. Краевского увеличения гонорара в уверенности, что Краевский, сознавая всю важность для журнала отдела критики, удовлетворит его желание, тем более, что заменить Белинского в „Отечественных Записках" в то время было некем. Но Краевский как редактор чисто практический в душе рад был представившемуся случаю расстаться с Белинским и отказался исполнить его желание не потому, чтобы ему не хотелось платить Белинскому довольно значительную в то время сумму,—Белинский требовал назначить ему за критический отдел одной

изящной словесности 6000 р. с. в год,— а Краевский хотел покончить с такою критикой, какова была критика Белинского во второй половине 1844 и в 1845 году, когда эстетическому разбору Пушкина посвящено было целых двенадцать громадных статей, притом статей, написанных довольно тяжелым языком и которыми вовсе не могло наслаждаться большинство публики: это были статьи, имевшие неоспоримое достоинство, но имевшие значение для людей с высшим образованием, присяжных литераторов, профессоров, учителей гимназий и другой интеллигенции, посвятившей себя специальному служению, изучению и уяснению себе и другим, в чем и где именно находились красоты произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Большинством читателей эти статьи в журнале не разрезывались. Но Краевский еще не решался разорвать с Белинским и не знал, как ему приступить к такому радикальному перевороту в своем журнале. Случай выручил его. И. И. Панаев, шурин Краевского, работавший в его журнале „Отечественные Записки“, позавидовал его успеху и задумал сам издавать журнал, который арендовал у П. А. Плетнева. Журнал этот был „Современник“, основанный Пушкиным, по смерти которого за издание это принялся Плетнев; но талантливый литератор и критик оказался плохим журналистом, и „Современник“ пришел в скором времени в совершенный упадок. Дело стояло не за сотрудниками, так как у Плетнева был обширный круг знакомства с литераторами и притом литераторами первостатейными и очень

талантливыми, но у Плетнева не было материальных средств, т. е. денег, с которыми он непременно сделал бы дело. Выходя книжками в 7-8 печатных листов, а иной раз и того менее, журнал напоминал собою периодические издания двадцатых годов и не обращал на себя должного внимания, хотя, надо правду сказать, все статьи его имели литературное или ученое значение.

Заручившись журналом от Плетнева, И. И. Панаев стал внушать Белинскому мысль потребовать от Краевского увеличения гонорара за критику и испугать его тем, что Белинский может перейти в новый журнал, основанный прежними сотрудниками „Отечественных Записок". Но, как известно, это не подействовало на Краевского, и „Современник" навязал себе Белинского, который по болезни не мог дать ему ходу и ничего не сделал для журнала; притом же Белинский уже совершенно ослабел физически.

Решив, по уходе Белинского, разделить отдел критики между несколькими лицами, Краевский в самом конце 1846 года обратился ко мне, чрез своего сотрудника г. Калайдовича, с предложением, чтобы я взял на себя критический отдел „Отечественных Записок".

Однажды вечером Дудышкин пришел навестить меня, просидел довольно долго, и тут я, между прочим, сообщил своему университетскому другу о предложении, сделанном мне Краевским, и о постоянных посещениях Калайдовича. В свою очередь Дудышкин сообщил Майковым о том, что узнал от меня.

Это подало повод Валериану Майкову сделаться также сотрудником „Отечественных Записок“ по части критики. Семейство Майковых уже давно было знакомо с А. А. Краевским, но в передаче критического отдела в руки Вал. Майкова главным посредником явился И. С. Тургенев. Он отрекомендовал Валериана Николаевича Краевскому, как автора статьи „Общественные науки“, подававшего большие надежды.

Валериану Николаевичу даны были работы сначала по отделу литературной летописи. Вскоре и я, оправившись от болезни, побывал у Краевского, уговорился с ним и получил для критики: 1) „Историю смутного времени“ Бутурлина и 2) два тома „Юридических актов, относящихся до Сибири“, изданных археографической комиссиею. Разобрав то и другое, я доставил свои статьи Краевскому, который остался ими очень доволен и напечатал их без всяких поправок и сокращений в первой же июньской и июльской книжках „Отечественных Записок“ 1846 года. В это время я узнал, что и Вал. Майков тоже работает для Краевского и что он ввел туда и Дудышкина. Между тем мне в это самое время предложили редакцию „Справочного энциклопедического словаря“.

Я был очень занят своим „Справочным энциклопедическим словарем“ и до половины 1847 года не видался ни с Вал. Майковым, ни с Дудышкиным. Наконец, четвертого июля ко мне пришел Валериан Майков. Это было в пять часов в воскресенье, я послал за бутылкою шампанского, и мы распили ее с ним вдвоем, затем я проводил его до Большой Морской,

где жили его родители, и это был последний раз, что мы с ним виделись: через несколько дней ко мне зашел Достоевский и об'явил, что Валериан утонул на даче в 50 верстах за Петербургом. Для меня это известие было не менее тяжело, чем для его родных... Я очень любил В. Н.

Я потому пускаюсь в эти подробности, что смерть Вал. Майкова послужила к тому, что Дудышкин с осени 1846 года занял его место в „Отечественных Записках", но только как сотрудник по отделу библиографии, а впоследствии и критики.

С семейством Майковых Дудышкин попрежнему сохранил близкие отношения.

А. В. Старчевский

СРЕДЫ Ф. ТОЛСТОГО [1]

По инициативе Н. А. Осипова устроились у нас знаменитые „среды“, художественные вечера, прототипы позднейших „пятниц“ в академии и других подобных вечеров. Осипов был очень интересен: веселый, остроумный, прекрасный чтец, он всегда умел воодушевлять общество. По средам в громадной нашей зале ставились длинные столы, покрытые зеленым сукном, освещенные лампами с рефлекторами, и все наши художники садились за работу: кто рисовал карандашом, кто кистью. Писатели читали тут свои новые вещи, рассказывали, музыканты играли, пели. Публики собиралось очень много, но большею частью все были артисты, и потому эти вечера отличались оживлением, разнообразием, шумной веселостью и вместе с тем интимным характером. Чудные, незабвенные это были вечера. Если бы я захотела перечислить всех замечательных людей, которые собирались тут, то пришлось бы переименовать всех выдающихся тогда наших писателей и художников и очень многих профессоров, музыкантов, актеров и приезжих артистов. Тогда было богатое время по отношению к талантам: если период Пушкина, Жуковского,

[1] Е. Ф. Юнге, урожд. граф. Толстая. Воспоминания. К-во Сфинкс, стр. 61—74.

Гоголя, Брюллова (которые все были друзьями отца) миновал, то все-таки это было время, когда жили Вяземский, Одоевский,—время Тургенева, Писемского, Толстого, Майкова, Иванова... Тут слышали мы превосходное чтение Писемского, Тургенева и еще более превосходные рассказы последнего, неизданные вещи Майкова, Мея, Полонского, игру Контского, пение де-Бассини, Леоновой и Петрова.

Н. Ф. Щербина был душой нашего общества. Многие еще помнят вероятно этого маленького, смуглого человека, с необыкновенно блестящими, живыми и проницательными глазами, помнят его остроумие, его едкие сатиры, но мало кто знал его душевные качества, его трагическую внутреннюю жизнь, те богатые сокровища любви, которые таились под личиной озлобления, мало кто замечал, что в смехе его звучали слезы. Чуткая и нежная душа, страстное стремление к любви, высоко-идеальное представление о женщине—все это было попрано в нем жизнью. Он был весь точно израненный, весь окровавленный внутри, и чем сильнее поднималась в нем боль, тем веселее и ядовитее лились его остроты и оглушительнее гремел гомерический хохот его слушателей.

Как только появлялся Николай Федорович, все занятия прекращались, художники бросали свои кисти, старички—карты, дети—игрушки, около него образовывался тесный круг, и до утра лились самые оригинальные, самые фантастические импровизации. Тут задевалась и политика и литература, все „злобы дня“, рисо-

вались карикатуры нравов, рассказывались уморительные анекдоты, часто о присутствующих, но в них было столько комизма, веселости и добродушия, что никто не обижался. Щербина обладал необыкновенной наблюдательностью и способностью схватывать самые характерные черты человека, обрисовывать личность или кружок каким-нибудь словом так метко, что это слово навеки прилипало к охарактеризованному им лицу или кружку; но зла, желанья сделать кому-нибудь больно не было в Щербине, напротив, он с сердечным тактом умел разграничивать легкую насмешку от обиды, когда говорил о присутствующих. Талант этого человека выражался главным образом в том, что он никогда не повторялся и, множество раз передавая свои сонники и акафисты, умел разнообразить и варьировать их до неузнаваемости, вечно прибавляя что-нибудь новое и совершенно неожиданное. Напечатанные его вещи не дают и понятия о блеске его рассказов. Все новости дня, прочитанная вещь, случайно кем-нибудь сказанное слово—все служило ему темой для нескончаемых импровизаций. Такого хохота, который раздавался между его слушателями, право, мне не случалось потом слышать: хохотали до изнеможения, до боли, а на его лице никогда не появлялось даже и улыбки, он говорил совсем серьезно, точно рассказывал самые обыденные происшествия, и так убежденно, точно вполне верил в их действительность; этот контраст между его выражением и тем, что он рассказывал, производил невероятно комичное впечатление, которому способ-

ствовало легкое заикание Николая Федоровича: выходило как бы подчеркивание некоторых мест речи и иногда удивительно кстати. Вообще это чуть заметное заикание как-то шло к Щербине.

За этим-то игривым рассказчиком просмотрели страдающего человека и вдохновенного поэта. Щербину, как поэта, мало знали, а как человека — не понимали вовсе. Об его сатирах все говорили, в обществе его всегда просили рассказать что-нибудь, но только небольшой кружок оценивал вполне, как это делал мой отец, душевные качества Щербины и его дивные антологические стихотворения. В последних, по мнению моего отца, Щербина поднялся на высшие ступени, когда-либо достигнутые самыми великими поэтами.

Бывают личности, к которым всю жизнь судьба несправедлива: к таким принадлежал Щербина, и не мудрено, что он сделался мизантропом. Натешивши общество в продолжение целого вечера, вылив в насмешки все свои тайные слезы, иногда набравши в то же время в душу нового негодования, он отправлялся в трактир Палкина и там, одинокий и угрюмый, просиживал до утра; там он работал и читал, а чаще думал свои мрачные думы. При этом он пил один только чай. Утром возвращался он домой и ложился спать.

Часто отец мой и мать выговаривали ему за такой образ жизни; тогда он открывал перед ними свою наболевшую душу, описывал свою безрадостную жизнь, все порывы к тихому личному счастью, всю боль за страдающее

человечество, все то, что заставляло его ежиться от людей и уходить в себя.

Мей имел вид человека недовольного и страдающего; в противоположность Щербине, он у нас всегда был угрюм и молчалив. Говорили, что он был несчастлив в семейной жизни, что он сильно пил. Это последнее обстоятельство нисколько не умаляло его в моих глазах: столько славных людей земли русской пили в то время. Я, впрочем, никогда сама не видела никого из образованных людей пьяным и не знала хорошенько, что значит „пить"; видела я подвыпившим только Рамазанова в тот день, когда он нес отца моего с юбилея,—он был красен, весел и очень мил. Это было нечто отличное от того пьянства хороших людей, которое представлялось мне каким-то непонятным, великим горем. Мне кажется, Писемского можно причислить к той же категории страждущих и ушедших в себя людей, хотя я мало знала его и, может быть, ошибаюсь. Я помню только его превосходное чтение, особенно ненапечатанной тогда „Горькой судьбины", которая впоследствии на сцене произвела на меня менее впечатления, чем при чтении автора [1].

Бенедиктов был очень дружен с моей матерью; его я помню в раннем детстве; он был очень застенчив и молчалив; о поэте Губере я только много слышала, но не видела его. Майков, Полонский, Григорович

[1] Мей, Щербина, Ап. Майков, Курочкин в 1855—1858 гг. бывали в кружке А. А. Солнцева. См. Воспоминания Юрия Арнольда, выпуск III.

и Тургенев были уравновешенные натуры, светские люди и всегда были ровны в обращении. Майков был добрый, ласковый, мягкий; он приводил все наше общество в восторг каждым своим новым произведением; он очень эффектно читал.

Полонский был у нас совсем свой человек; одно время он давал мне уроки русского языка и словесности; я с нетерпением ждала его уроков, во-первых, потому, что они очень занимали меня, а во-вторых, потому, что после уроков у нас начиналась самая веселая беготня и возня; Яков Петрович сам делался ребенком с нами.

Тургенев бывал у нас реже и импонировал нам, детям; мы с наслаждением слушали его рассказы, но в интимности с ним не пускались. Его мужественное лицо, обрамленное бородой и гривой густых волос, казалось нам настолько величественным, что мы иначе не называли Тургенева, как „Юпитер Сергеевич".

Из более молодых писателей, бывавших у нас довольно часто, упомяну А. А. Потехина и Г. Н. Данилевского. С последним мы, дети, были очень дружны; он каждый раз обедал у нас, в сумерки сажал нас около себя и рассказывал нам украинские сказки. Бывали у нас и любители-поэты: Розенгейм, Алферьев, Арбузов. Из писательниц— Хвощинская, Жадовская и Т. П. Пассек. Горбунов начинал появляться со своими рассказами. После войны приезжал в Петербург и явился к нам Л. Н. Толстой; он тогда был еще очень молод, но его произве-

дения читались нарасхват; он уже стоял на ряду с лучшими писателями, а наш кружок ставил его выше многих; в его „Детстве“ и „Севастопольских рассказах“ веяло чем-то совсем новым, но таким, что находило отголосок во многих сердцах.

Одного только симпатичного поэта, моего двоюродного брата, Алексея Константиновича Толстого, не видала я в нашем доме во время моего детства и познакомилась с ним много позднее. Он был в ссоре со своим отцем, Константином Петровичем, и не хотел встречаться с ним, а наш милый „дядя Костя“ бывал у нас ежедневно. Они помирились уже перед самой смертью последнего.

Мать моя была в деятельной переписке с поэтом Никитиным и иногда читала нашему кружку его теплые, интересные письма, а позднее и замечательные письма к ней Шевченко.

Кроме воскресений и сред, в другие дни у нас тоже постоянно бывали гости: часто к обеду приходили двое-трое, а вечером иногда неожиданно собиралось довольно большое общество.

На святках наши друзья делали нам неожиданные сюрпризы. Бывало, сидим мы себе спокойно дома; отец, по обыкновению, работает у себя в кабинете, у мамы в будуаре кто-нибудь читает, мы приютились тут же; в темной анфиладе комнат тишина... Вдруг—звонок!.. Вбегает горничная и, запыхавшись, возвещает: „Ряженые приехали“. Залу моментально освещают; является несколько пар масок, закостю-

мированных с тем оттенком правдивости времени и стиля, которую так хорошо умеют придать маскарадным костюмам художники. Все это наши ежедневные посетители, но они долго интригуют нас, пока нам удается узнать их. На меня (даже и до сих пор) неприятно действуют маски, и я прошу снять их. Начинаются танцы. Я убегаю, надеваю свой сарафан, распускаю свою тяжелую косу и пляшу „русскую"; папа импровизирует несколько па менуэта. Ив. Ив. Соколов изображает балетную танцовщицу, что крайне комично при его долговязой фигуре; Рюль показывает изумительные фокусы; К. А. Трутовский острит напропалую, за что получает медные гроши... Шум, гам, смех и музыка звенят в только что перед тем таких молчаливых комнатах... Но почему дверь в гостиную закрыта? Перед ней начинают расставлять стулья, просят публику сесть. Раздается звонок, дверь растворяется— и перед нами эффектно освещенная живая картина: Фауст и Мефистофель. Через минуту картина оживляется; голова Фауста досадливо поднимается с руки, на которой покоилась:

— Мне скучно, бес!

— Что делать, Фауст!..

—звучат слова Пушкина, превосходно переданные Соколовым и в особенности Осиповым (Мефистофель). По окончании—взрыв рукоплесканий, а потом, как всегда бывает, критика, споры... А тетя уже успела позаботиться об ужине. Несмотря на скромное местечко, которое она занимала в нем, весь наш блестящий кружок кажется мне немыслимым без этой

тихой и ласковой хозяйки за столом. Она была как солнце в серенький летний день: оно не блестит, но все же светит и греет, и без него нельзя обойтись...

Иногда так же неожиданно приезжали тройки и увозили нас кататься при звуках песен и прибауток. Тройки несутся вперегонку, забрасывая снегом... „Эй вы, голубчики! Не здесь умирать—у бочки“.—„Эй вы, милые, с горки на горку—барин даст на водку!“—орут веселые голоса; бывало, даже ямщики разойдутся и грянут какую-нибудь удалую, залихватскую песню...

Весело, широко жилось. Но все было проникнуто простотой и потому более доступно, чем теперь. Смешно вспомнить, из чего состояли наши ужины,—даже на больших вечерах подавались к закуске: селедка, икра, сыр, потом какая-нибудь ветчина с горошком, громадная телятина или ростбиф, домашний сладкий пирог, из напитков—St. Julien или Медок в 60 коп. Но нашим гостям не требовалось помощи шипящего шампанского для возбуждения в них веселости и остроумия, и без того шутки, тосты, анекдоты, споры, а иногда и песни раздавались за нашим столом до самого утра...

Пустая игра, часто и теперь употребляемая под именем „игры во мнения“ (у нас она называлась „цензурой“), являлась в нашем кружке в высшей степени интересной. Игра состояла в том, что один из присутствующих, назвавшись какою-нибудь вещью, удаляется; остальные высказывают об этой вещи свои

мнения: вернувшийся должен выбрать одно из этих мнений и отгадать, кто его подал. Все наши писатели принимали участие в этой игре. Остротам, метким характеристикам не было конца—подчас зло продергивали друг друга, но у нас было принято не обижаться,—каждый давал не одно мнение, а десять, двенадцать, все это записывалось на целых листах,—Щербина был неистощим, и он, и Майков, и многие другие писали стихами; этих эпиграмм и острот набралось бы на целый том, если бы кто-нибудь из нас догадался припрятывать их; это было тем более интересно, что почти все подлежавшие „цензуре"—были известными личностями в нашей литературе и в нашем искусстве. К сожалению, мы не думали о будущем, а в настоящем так привыкли к окружавшему нас обществу, что во всем этом не видели ничего особенного: нам казалось, что все это всегда будет и так и быть должно.

Сам отец мой был непрочь пошутить и поиграть, в особенности после его послеобеденного сна, entre chien et loup. Иногда серьезные люди, обедавшие у нас, с ним во главе просто играли с нами в „кошки-мышки", или в „жмурки". Отец поразительно ловко жонглировал пятью медными шарами и большим шнурком с кистями, который с неимоверной быстротой описывал вокруг его головы всевозможные фигуры.

Но я слишком увлеклась шуточной стороной нашего времяпрепровождения и не говорила еще о серьезном воспитательном значе-

нии, которое имел дом отца моего для наших молодых художников,—а оно, по словам их самих, было громадно.

В то время для поступления в академию не требовалось никаких дипломов; часто поступали молодые люди совершенно неразвитые, чуть ли не безграмотные и не бывавшие никогда в обществе. Лишь только отец замечал признаки таланта в ком-нибудь из них—сейчас ободрял его, поддерживал и звал к себе.

„Притащенный к вам почти насильно товарищами,—рассказывал мне впоследствии один из наших известных художников,—дико озираешься на незнакомое общество, сидишь ни жив, ни мертв на кончике стула, а потом понемногу начинаешь чувствовать, что ты тут не чужой, что ты такой же гость, как и все прочие; не снисходительное покровительство встречаешь к себе, а полное равенство и ласковое участие. Скоро видишь себя поставленным на один уровень с людьми, стоящими выше в сословной и в художественной иерархии, и болезненное самолюбие исчезает, как-то подымаешься в своих собственных глазах. Прислушиваясь к тому, что говорилось и читалось вокруг, мы многому научились, а в то же время рождалась потребность еще большего знания и развития. Потом самого уже тянет в тот круг, где столько интересного, где не унижают человеческого достоинства, где и ты чувствуешь себя кем-нибудь... Ваш дом был для нас школой, мы тут и образовывались и воспитывались. Сначала и не опом-

нишься, а выйдешь от вас уже другим человеком!"

„Дом графа Ф. П. Толстого,—говорит Рамазанов [1],—самый воздух которого, кажется, был пропитан влечением к искусству, был постоянно высшею школою для молодых художников, имевших счастье бывать в кругу ученых, литераторов, опытных художников, поэтов, музыкантов и певцов, собиравшихся у Ф. П. по воскресеньям".

Отец мой был в высшей степени беспритязателен, до крайности скромен; он всегда стушевывался, давая высказаться другим, но все бывшие у нас невольно поддавались его очарованию, проникались чем-то исходящим от него и сплачивались около него, как около очага. Без всякого желания с его стороны, его духовная сила сказывалась и в семье и в гостиной.

Моя мать это хорошо понимала—она никогда в обществе не выставляла себя вперед, а всегда казалась только первой поклонницей и живой помощницей отца. В салоне мать моя была удивительная хозяйка: глаз ее был всюду, она умела возбудить интерес застывающего разговора, соединить разнородные элементы, поднять настроение общества. „А ведь надо правду сказать,—говорил мне Н. А. Северцов, когда мы с ним как-то вспоминали старину,—удивительно умела графиня возбудить во всех нас какое-то поэтическое настроение, создать поэтическую атмосферу".

[1] Материалы для истории художеств.

В то же время, когда мало читалось на Руси книг, общение с людьми образованными действительно имело значение школы для молодежи, и понятно, какую важность имел для них такой дом, как наш.

Е. Ф. Юнге

КРУЖКИ А. ПЛЕЩЕЕВА И С. ДУРОВА [1]

Познакомился я с Ф. М. Достоевским зимою 1848 года. Это было тяжелое время для тогдашней образованной молодежи. С первых дней парижской февральской революции самые неожиданные события сменялись в Европе одни другими. Небывалые реформы Пия IX отозвались восстаниями в Милане, Венеции, Неаполе; взрыв свободных идей в Германии вызвал революции в Берлине и Вене. Казалось, готовится какое-то общее перерождение всего европейского мира. Гнилые основы старой реакции падали, и новая жизнь зачинались во всей Европе. Но в то же время в России господствовал тяжелый застой; наука и печать все более и более стеснялись, и придавленная общественная жизнь ничем не проявляла своей деятельности. Из-за границы проникала контрабандным путем масса либеральных сочинений как ученых, так и чисто литературных; во французских и немецких газетах, несмотря на их кастрирование, беспрестанно проходили возбудительные статьи; а между тем у нас, больше чем когда-нибудь, стеснялась научная и литературная деятельность, и цензура заразилась самой острой

[1] А. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПБ, 1890, стр. 169—185.

книгобоязнью. Понятно, как все это действовало раздражительно на молодых людей, которые, с одной стороны, из проникающих из-за границы книг знакомились не только с либеральными идеями, но и с самыми крайними программами социализма, а с другой – видели у нас преследование всякой мало-мальски свободной мысли; читали жгучие речи, произносимые во французской палате, на франкфуртском с'езде, и в то же время понимали, что легко можно пострадать за какое-нибудь недозволенное сочинение, даже за неосторожное слово. Чуть не каждая заграничная почта приносила известие о новых правах, даруемых, волей или неволей, народам, а между тем в русском обществе ходили только слухи о новых ограничениях и стеснениях. Кто помнит то время, тот знает, как все это отзывалось на умах интеллигентной молодежи.

И вот в Петербурге начали мало-по-малу образовываться небольшие кружки близких по образу мыслей молодых людей, недавно покинувших высшие учебные заведения, сначала с единственной целью сойтись в приятельском доме, поделиться новостями и слухами, обменяться идеями, поговорить свободно, не опасаясь постороннего нескромного уха и языка. В таких приятельских кружках завязывались новые знакомства, закреплялись дружеские связи. Чаще всего бывал я на еженедельных вечерах у тогдашнего моего сослуживца Иринарха Ивановича Введенского, известного переводчика Диккенса. Обычными посетителями там были В. В. Дерикер—литератор

и впоследствии доктор-гомеопат, Н. Г. Чернышевский и Г. Е. Благосветлов, тогда еще студенты, и преподаватель русской словесности в одной из столичных гимназий, а потом помощник инспектора классов в Смольном монастыре М. М. Печкин. На вечерах говорили большею частью о литературе и европейских событиях. Те же молодые люди бывали и у меня.

Однажды Печкин пришел ко мне утром и между прочим спросил, не хочу ли я познакомиться с молодым начинающим поэтом А. Н. Плещеевым. Перед тем я только что прочел небольшую книжку его стихотворений, и мне понравились в ней, с одной стороны, неподдельное чувство и простодушие, а с другой — свежесть и юношеская пылкость мысли. Особенно обратили наше внимание небольшие пьесы „Поэту“ и „Вперед“. И могли ли, по тогдашнему настроению молодежи, не увлекать такие строфы, как например:

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я.
Смелей! дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет!

Разумеется, я ответил Печкину, что очень рад познакомиться с молодым поэтом. И мы скоро сошлись. Плещеев стал ездить ко мне, а через несколько времени пригласил к себе на приятельский вечер, говоря, что я найду

у него несколько хороших людей, с которыми ему хочется меня познакомить.

И действительно, я сошелся на этом вечере с людьми, о которых память навсегда останется для меня дорогою. В числе других тут были: Порфирий Иванович Ламанский, Сергей Федорович Дуров, гвардейские офицеры Николай Александрович Монбелли и Александр Иванович Пальм и братья Достоевские Михаил Михайлович и Федор Михайлович. Вся эта молодежь была мне очень симпатична. Особенно сошелся я с Достоевскими и Монбелли. Последний жил тогда в московских казармах, и у него тоже сходился кружок молодых людей. Там я встретил еще несколько новых лиц и узнал, что в Петербурге есть более обширный кружок М. В. Буташевича-Петрашевского, где на довольно многолюдных сходках читаются речи политического и социального характера. Не помню, кто именно предложил мне познакомиться с этим домом, но я отклонил это, не из опасения или равнодушия, а оттого, что сам Петрашевский, с которым я незадолго перед тем встретился, показался мне не очень симпатичным по резкой парадоксальности его взглядов и холодности ко всему русскому.

Иначе отнесся я к предложению сблизиться с небольшим кружком С. Ф. Дурова, который состоял, как узнал я, из людей, посещавших Петрашевского, но не вполне согласных с его мнениями. Это была кучка молодежи более умеренной. Дуров жил тогда вместе

с Пальмом и Алексеем Дмитриевичем Щелковым на Гороховской улице, за Семеновским мостом. В небольшой квартире их собирался уже несколько времени организованный кружок молодых военных и статских, а между тем гости сходились каждую неделю и засиживались обыкновенно часов до трех ночи, то всеми делался ежемесячный взнос на чай и ужин и на оплату взятого напрокат рояля. Я вошел в этот кружок среди зимы и посещал его регулярно до самого прекращения вечеров после ареста Петрашевского и посещавших его лиц. Здесь, кроме тех, с кем я познакомился у Плещеева и Монбелли, постоянно бывали Николай Александрович Спешнев и Павел Николаевич Филиппов, оба люди очень образованные и милые.

О собраниях Петрашевского я знаю только по слухам. Что же касается кружка Дурова, который я посещал постоянно и считал как бы своей дружеской семьей, то могу сказать положительно, что в нем не было чисто-революционных замыслов, и сходки эти, не имевшие не только писанного устава, но и никакой определенной программы, ни в каком случае нельзя было назвать тайным обществом. В кружке получались только и передавались друг другу недозволенные в тогдашнее время книги революционного и социального содержания, да разговоры большею частью обращались на вопросы, которые не могли тогда обсуждаться открыто. Больше всего занимал нас вопрос об освобождении крестьян, и на

вечерах постоянно рассуждали о том, какими путями и когда может он разрешиться. Иные высказывали мнение, что в виду реакции, вызванной у нас революциями в Европе, правительство едва ли приступит к решению этого дела, и скорее следует ожидать движения снизу, чем сверху. Другие, напротив, говорили, что народ наш не пойдет по следам европейских революционеров и, не веруя в новую пугачевщину, будет терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной власти. В этом смысле с особенной настойчивостью высказывался Ф. М. Достоевский. Я помню, как однажды с обычной своей энергией он читал стихотворение Пушкина „Уединение“ [1]. Как теперь слышу восторженный голос, каким он прочел заключительный куплет:

Увижу ль, о друзья, народ не угнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Когда при этом кто-то выразил сомнение в возможности освобождения крестьян легальным путем, Ф. М. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит.

Другой предмет, на который также часто обращались беседы в нашем кружке—была тогдашняя цензура. Нужно вспомнить, до каких крайностей доходили в то время цензурные стеснения, какие ходили в обществе рассказы по этому предмету и как умудрялись

[1] „Деревня“.

тогда писатели провести какую-нибудь смелую мысль под вуалем целомудренной скромности,— чтобы представить, в каком смысле высказывалась в нашем кружке молодежь, горячо любившая литературу. Это тем понятнее, что между нами были не только начинавшие литераторы, но и такие, которые обратили уже на себя внимание публики, а роман Ф. М. Достоевского „Бедные люди“ обещал уже в авторе крупный талант. Разумеется, вопрос об отмене цензуры не находил у нас ни одного противника.

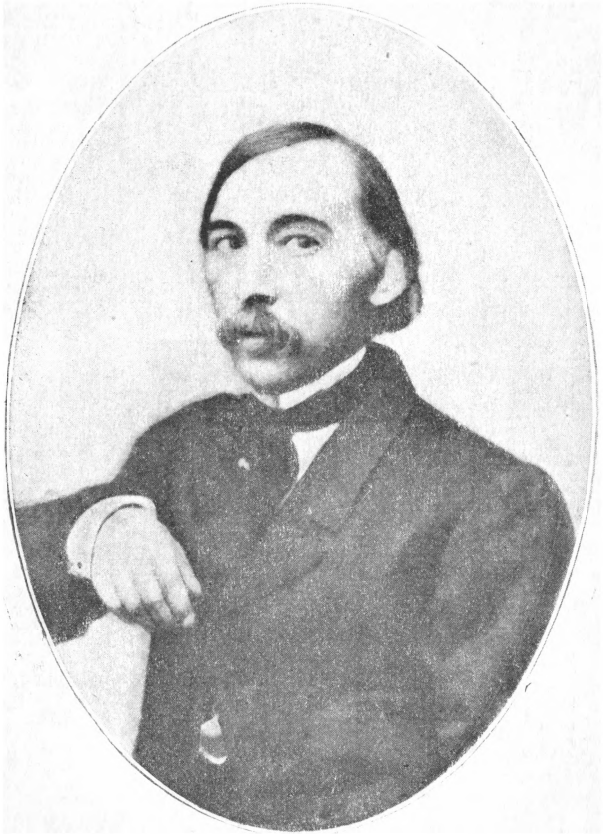
Толки о литературе происходили большею частью по поводу каких-нибудь замечательных статей в тогдашних журналах, и особенно таких, которые соответствовали направлению кружка. Но разговор обращался и на старых писателей, причем высказывались мнения резкие и иногда довольно односторонние и несправедливые. Однажды, я помню, речь зашла о Державине, и кто-то заявил, что видел в нем скорее напыщенного ритора и низкопоклонного панегириста, чем великого поэта, каким величали его современники и школьные педанты. При этом Ф. М. Достоевский вскочил, как ужаленный, и закричал:

— Как? да разве у Державина не было поэтических, вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая поэзия?

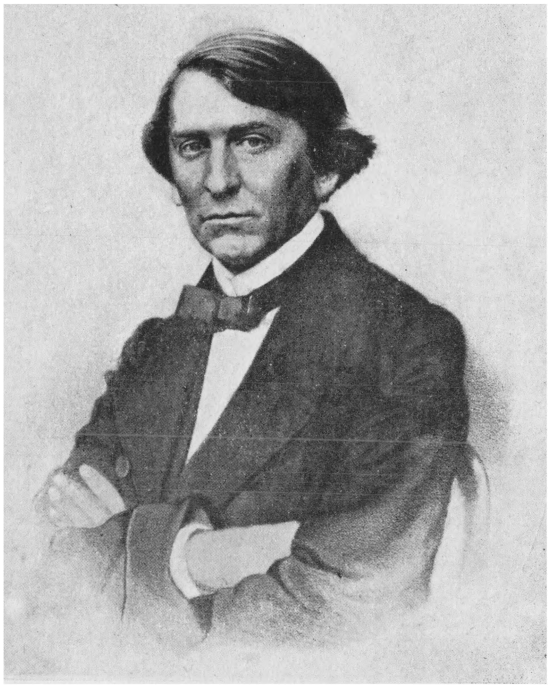
И он прочел напамять стихотворение „Властителям и судиям“ с такою силою, с таким восторженным чувством, что всех увлек своей декламацией и без всяких комментариев поднял в общем мнении певца Фелицы. В другой

раз читал он несколько стихотворений Пушкина и Виктора Гюго, сходных по основной мысли или картинам, и при этом мастерски доказывал, насколько наш поэт выше, как художник.

В дуровском кружке было несколько жарких социалистов. Увлекаясь гуманными утопиями европейских реформаторов, они видели в их учении начало новой религии, долженствующей будто бы пересоздать человечество и устроить общество на новых социальных началах. Все, что являлось нового по этому предмету во французской литературе, постоянно получалось, распространялось и обсуживалось на наших сходках. Толки о Нью-Ланарке Роберта Оуэна и об Икарии Кабэ, а в особенности о фаланстере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона занимали иногда значительную часть вечера. Все мы изучали этих социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов. В числе последних был Ф. М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он однако же считал их только честными фантазерами. В особенности настаивал он на том, что все эти теории для нас не имеют значения, что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы, более прочные



С. Ф. Дуров.



А. А. Плещеев.

и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его школы. Он говорил, что жизнь в икарийской коммуне или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги. Конечно, наши упорные проповедники социализма не соглашались с ним.

Не меньше занимали нас беседы о тогдашних законодательных и административных новостях, и понятно, что при этом высказывались резкие суждения, основанные иногда на неточных слухах или не вполне достоверных рассказах и анекдотах. И это в то время было естественно в молодежи, с одной стороны возмущаемой зрелищем произвола нашей администрации, стеснением науки и литературы, а с другой—возбужденной грандиозными событиями, какие совершались в Европе, порождая надежды на лучшую, более свободную и деятельную жизнь. В этом отношении Ф. М. Достоевский высказывался с неменьшей резкостью и увлечением, чем и другие члены нашего кружка. Не могу теперь привести с точностью его речей, но помню хорошо, что он всегда энергически говорил против мероприятий, способных стеснить чем-нибудь народ, и в особенности возмущали его злоупотребления, от которых страдали низшие классы и учащаяся молодежь. В суждениях его постоянно слышался автор „Бедных людей", горячо сочувствующий человеку в самом приниженном его состоянии. Когда, по предложению одного из членов нашего кружка, решено было писать статьи обличительного содержания и читать их на наших вечерах, Ф. М. До-

стоевский одобрил эту мысль и обещал с своей стороны работать, но, сколько я знаю, не успел ничего приготовить в этом роде. К первой же статье, написанной одним из офицеров, где рассказывался известный тогда в городе анекдот, он отнесся неодобрительно и порицал как содержание ее, так и слабость литературной формы. Я, с своей стороны, прочел на одном из наших вечеров переведенную мною на церковно-славянский язык главу из „Paroles d'un croyant" [1] Ламеннэ, и Ф. М. Достоевский сказал мне, что суровая библейская речь этого сочинения вышла в моем переводе выразительнее, чем в оригинале. Конечно, он разумел при этом только самое свойство языка, но отзыв его был для меня очень приятен. К сожалению, у меня не сохранилось рукописи. В последние недели существования дуровского кружка возникло предположение литографировать и сколько можно более распространять этим путем статьи, которые будут одобрены по общему соглашению, но мысль эта не была приведена в исполнение, так как вскоре большая часть наших друзей, именно все, кто посещал вечера Петрашевского, были арестованы.

Незадолго перед закрытием кружка один из наших членов ездил в Москву и привез оттуда список известного письма Белинского к Гоголю, писанного по поводу его „Переписки с друзьями". Ф. М. Достоевский прочел это письмо на вечере и потом, как сам он говорил,

[1] [„Слова верующего".]

читал его в разных знакомых домах и давал списывать с него копии. Впоследствии это послужило одним из главных мотивов к его обвинению и ссылке. Письмо это, которое в настоящее время едва ли увлечет кого-нибудь своей односторонней парадоксальностью, произвело в то время сильное впечатление. У многих из наших знакомых оно обращалось в списках, вместе с привезенной также из Москвы юмористической статьей А. Герцена, в которой остроумно и зло сравнивались обе наши столицы. Вероятно, при аресте петрашевцев немало экземпляров этих сочинений отобрано и передано было в Третье Отделение. Нередко С. Ф. Дуров читал свои стихотворения, и я помню, с каким удовольствием слушали мы его перевод известной пьесы Барбье „Киайя", в которой цензура уничтожила несколько стихов. Кроме бесед и чтения, у нас бывала по вечерам и музыка. Последний вечер закончился тем, что один даровитый пианист, Кашевский, сыграл на рояле увертюру из „Вильгельма Телля" Россини.

А. Милюков

КРУЖОК И. ВВЕДЕНСКОГО [1]

Другой кружок людей отчасти с педагогическими, а главное с литературными интересами я встретил у очень известного тогда Введенского, Иринарха Ивановича. Один из наиболее выдающихся педагогов в области военно-учебных заведений, которого очень ценил Я. И. Ростовцев, управляющий тогда этими заведениями (он дал Введенскому особое положение, назначив его, по тогдашнему, „наставником-наблюдателем", т. е. руководителем и инспектором преподавания по русскому языку и словесности), Введенский был очень известен и в литературных кругах, как замечательный переводчик Диккенса. Впоследствии, долго спустя, говорили, что переводы Введенского не отличались большой точностью,—другими словами, он за мелочной точностью не гнался, но живой рассказ Диккенса он умел передавать живым рассказом русским, и это, конечно, было немалым достоинством и прямо свидетельствовало о его литературном даровании. С Введенским познакомил меня Н. Г., знавший его раньше отчасти как земляка,—и я потом почти не пропускал его пятниц, на которых всегда собирался кружок преподавателей и литераторов. Введен-

[1] А. Н. Пыпин. Мои заметки. М. 1910, стр. 74—77.

ский был действительно человек интересный: он происходил из духовного звания, прошел семинарию, побывал, кажется, в московской духовной академии и университете, жил одно время у Погодина (кажется, в роли репетитора в его пансионе), о котором сохранил не весьма благополучную память. В литературных вопросах он (как тогдашнее большинство) был самоучкой, но у него была большая начитанность,—особенно, кажется, во французской и английской литературе,—и вопросы общественные. Собиравшаяся у него публика приносила с разных концов Петербурга новости подобного характера и новости литературные; в разговорах вспоминалось недавнее прошлое—разгром кружка Петрашевского, в котором бывали и люди знакомые; симпатии были несомненно к широкому развитию литературы; анекдоты о действовавшем тогда негласном комитете указывали невозможное положение вещей; в параллель к ним шли рассказы о разных случаях в тогдашней общественной жизни. Несмотря на покровительство Ростовцева, Введенский имел все-таки репутацию человека либерального образа мыслей. Около этого времени (не помню с точностью годов; я был еще, кажется, в университете) открылась вакансия на кафедру русской словесности в университете,—вероятно, по выходе из университета Плетнева; решено было назначить на кафедру конкурс; вероятно, конкуренты должны были указать свои ученые труды, а кроме того, они должны были прочитать пробную лекцию. Этому последнему я был

свидетелем. Конкурентов было трое: М. И. Сухомлинов, Введенский и некто Тимофеев; лекция была прочитана в большой аудитории в присутствии факультета и при большой массе слушателей—студентов. Лекция Сухомлинова была очень гладкая, с некоторыми оригинальностями; лекция Тимофеева была слабая; но самое сильное впечатление оставила лекция Введенского. Здесь я единственный раз видел его на кафедре. Это была крепкая, несколько грубоватая фигура, с громким голосом, с ясной, почти резкой манерой говорить и с довольно определенным общественным взглядом, который можно было бы назвать демократическим или, по позднейшему, народническим. Не знаю по какому мотиву, может быть вследствие непривычности случая и новой аудитории Введенский, чтобы резче указать свою мысль, отметил, что энергия деятельности Ломоносова имела источником то, что он был „мужик", и это слово для большей выразительности было подкреплено довольно звучным ударом кулака по кафедре. Мы тогда же подумали, что этот ораторский прием, вероятно, происходивший от простой неловкости,—перепугает факультетское начальство и сделает кандидатуру Введенского невозможной. Так это и случилось. Кафедра была предоставлена Сухомлинову... Как педагог, Введенский пользовался большим авторитетом и любовью у своих питомцев. Последние годы жизни он совсем потерял зрение, но некоторое время не прекращал своих уроков: его приводили в класс, и он, слепой, давал свои

уроки или лекции. Сколько припомню, он, вероятно, очень расширил и осмыслил преподавание словесности; между прочим он вводил до некоторой степени знакомство с западноевропейской литературой. У него я встречал тогдашних педагогов и начинавших писателей, например, В. Кеневича, Г. Е. Благосветлова, уже тогда человека решительных мнений, А. П. Милюкова и других. Круг Введенского был не единственный, где собирались люди с литературными интересами; как я упомянул, здесь очень хорошо знали и близко принимали к сердцу недавние литературные погромы—ссылку Салтыкова, историю Петрашевского, деяния тогдашней цензуры и III Отделения, но в общем настроение того времени, первых пятидесятых годов, не было похоже ни на философские кружки тридцатых, сороковых годов (когда, между прочим, возникло славянофильство и западничество), ни на социалистические увлечения друзей Петрашевского. Настроение было вообще, что называется, либеральное, но занимали не вопросы отвлеченные (как философия Гегеля или самый социализм), а вопросы ближайшей действительности. Господствовало сознание тягостного положения литературы, т. е. умственного и нравственного состояния общества и ожидание какого-нибудь исхода [1].

А. Пыпин

[1] Дополнительно см.: А. Милюков. Литературные встречи и знакомства (глава—Иринарх Иванович Введенский); А. Фет. Ранние годы моей жизни (глава 16).

У А. А. КРАЕВСКОГО [1]

У Краевского собиралось по четвергам довольно многолюдное литературное и артистическое общество, очень разнообразное—тут были всего больше писатели, но бывали также художники, актеры, важные чиновники; в те годы Краевский был одним из самых видных как бы „представителей печати". Здесь, например, я видел в первый раз А. П. Заблоцкого-Десятовского (еще в конце сороковых годов он поместил в „Отечественных Записках" знаменитую статью „О колебании цен на хлеб в России"—это было замечательное, хотя по обстоятельствам времени очень прикрытое указание на ненормальность крепостного права); здесь бывал В. В. Самойлов; здесь я в первый раз познакомился с И. Ф. Горбуновым, которого тогда вывез из Москвы Островский и который уже на первых порах производил большой эффект и имел успех в разных слоях петербургского общества; здесь бывал Писемский, Д. В. Григорович и пр.; бывали, наконец, и мои знакомцы по исследованиям в старой литературе; гости обыкновенно разбивались на отдельные кружки... Понятно, что этот круг представлял

[1] А. Н. Пыпин. „Н. А. Некрасов". СПБ. 1905.

очень много интереса для меня, вчерашнего студента, уже начавшего „литературные изучения"; бывало много неизвестных мне раньше любопытных людей, сообщались литературные и общественные новости—между прочим в это время готовился, а потом и совершился столетний юбилей Московского университета, еще небывалое до тех пор научно-литературное торжество; происходил финал Крымской войны.

А. Н. Пыпин

КРУЖОК РЕДАКЦИИ „СОВРЕМЕННИКА“ [1]

Совсем иного характера был кружок „Современника“. Там не было „журфикса“, на который могла собираться многолюдная и случайно соединявшаяся толпа. Сходился только определенный, ближайший кружок, который обыкновенно и соединялся в одном общем разговоре... В первый раз, когда я видел Некрасова, он жил в доме, еще недавно сохранявшемся в том же виде на углу Загородного проспекта и Звенигородской улицы. Здесь у него я встретил в первый раз И. С. Тургенева.

При этом первом знакомстве с кружком редакции „Современника“ я уже достаточно знал принадлежавших к нему лиц по их литературным трудам и репутации,—уже вперед этот кружок имел для меня самый живой интерес. Действительно, здесь собрались самые лучшие силы тогдашней литературы—притом не в случайной встрече по журнальным делам (как это бывало в редакции „Отечественных Записок“), а в сознательном единении, которое внушалось общими литературными взглядами и задачами, сродством

[1] А. Н. Пыпин. „Н. А. Некрасов“. СПБ, 1905, Стр. 8—21.

художественного вкуса и взаимной оценкой,— и это единение переходило в дружеские отношения; многих, как, например, Тургенева, Григоровича, Анненкова, Боткина, связывало дружество еще со времен Белинского. В литературном отношении „Современник" без сомнения был лучшим журналом того времени. Здесь начались и продолжались „Записки охотника" Тургенева, оставшиеся самым замечательным его произведением; помещались повести Григоровича (другие, второстепенные вещи, как „Проселочные дороги" и т. п., помещались в „Отечественных Записках"); здесь появлялись произведения Гончарова, Дружинина, художественно-критические статьи В. Боткина; в дружеских отношениях с редакцией был Н. В. Анненков; далее Евг. П. Ковалевский, В. П. Гаевский, братья Жемчужниковы и т. д. Нет сомнения, что писатель, которого можно было справедливо назвать писателем-художником, должен был гораздо больше тяготеть к редакции „Современника", чем к „Отечественным Запискам". В последних для такого писателя был только один материальный вопрос—вопрос напечатания повести, романа и т. д. и гонорар; здесь, напротив, он мог быть уверен в интересе целого кружка к самому произведению, его художественному значению и общественному смыслу; в случае успеха, он мог ожидать искреннего сочувствия, а также и критики, внушаемой опытным вкусом,—того и другого всегда жаждет писатель-художник, серьезно относящийся к своему труду. Эти

отношения чувствовались и впоследствии, когда я ближе видал редакцию „Современника“ и убеждался, что это было действительно так.

Кроме названных лиц, здесь встречались и другие известные писатели того времени: бывал Писемский, Я. П. Полонский; ни тот, ни другой не были, сколько припоминаю, частыми посетителями; позднее, едва ли не после известных статей Добролюбова, бывал А. Н. Островский.

Характеры лиц были довольно разнообразны; но в целом это был без сомнения лучший литературный круг того времени. В самом деле, в этом кругу в известной степени чувствовалось превосходство над обычною массой тогдашней литературы. И это не было лишено основания: за этим кругом стояло славное предание Белинского и сороковых годов; высокая степень дарований, литературного вкуса и опыта. К этому чувству превосходства присоединилось вероятно и некоторое, уже не зависевшее от литературы, барство. Кружок мог напоминать слова г-жи Сталь, что в России несколько „gentilshommes“ занимаются литературой [1]. Большею частью это были люди именно дворянского круга, с еще привычными тогда его чертами; последние принимались и другими,

[1] [Дальше увидим, что Фет, отчасти примыкавший к этому кругу, с некоторой гордостью утверждал, что тогдашняя литература была „дворянская“—он скорбел, что потом в эту литературу вошли „разночинцы“, а из прежних деятелей многие изменили „дворянским интересам“ (во время освобождения крестьян).

у которых дворянское барство заменялось барством купеческим, как, например, у В. П. Боткина.

Самым сильным по таланту и самым крупным по литературному значению (до Л. Н. Толстого) в этом кругу был несомненно Тургенев; по уму и общественному пониманию едва ли не превосходил всех Некрасов. Тургенев в кружке Некрасова был интересный собеседник, между прочим, по обширному знанию европейской литературы. Здесь вровень с ним стоял А. В. Дружинин, который, впрочем, особенно увлекался тогда и после „британской" литературой. Бывший гвардейский офицер, кажется, довольно богатый человек, Дружинин держал себя английским джентльменом, строго корректным во внешности и манерах; при всей этой немного искусственной и, по-английски, холодной манере, он был очень хороший человек,—недаром из „британской" словесности он вычитал идею литературного фонда и был инициатором нашего учреждения этого имени. Боткин только по временам жил в Петербурге и тогда бывал частым посетителем Некрасова. Когда мы видели его здесь, время дружбы с Белинским давно миновало; характер немало изменился в сторону деловых интересов и приемов; он был тогда главным руководителем богатой фирмы. Повидимому издавна принадлежала ему свойственная его практической деятельности сухость; он не был приветлив; из молодого поколения он, кажется, не сблизился ни с кем; в особенности он считал себя судьей в деле художественной критики, и немалая

опытность у него несомненно была. Со старыми друзьями, как Некрасов, Тургенев, у него были короткие отношения. Появлялся в кружке и П. В. Анненков, когда еще ожидался выход в свет издания Пушкина. Бывал Писемский — это был уже авторитетный писатель, несомненно талантливый, по-своему умный; он не привлекал к себе; его провинциально-грубая манера, не весьма изящный костромской говор, который выдавался очень резко, как будто предвещали, что здесь он не в своем кругу. И действительно, когда впоследствии он стал одним из руководителей „Библиотеки для чтения“ [1], там его фельетоны, под грубым, даже несколько бессмысленным псевдонимом [2] (трудно понять, почему выбранным), проводили какую-то нелепо консервативную тенденцию.

Пятидесятые годы, именно их середина, были знаменательным временем в целой новейшей русской истории, временем кризиса в жизни государства и великого перелома в умах общества и даже народа. То был канун и вскоре начало Крымской войны. Литература переживала тяжелое время. Под гнетом цензуры трудно было сказать что-нибудь живое, стать в какой-либо степени не то что органом, но хотя бы слабым отголоском общественного мнения. Это было то время, когда по внушениям „негласного комитета“, который был настоящим пугалом

[1] [После Дружинина.]
[2] Никита Безрылов.

литературы и самой цензуры, распространились особенная боязнь печатного слова и преследование всякого намека на критическую мысль. Гроза была неотвратимая, и с нею нужно было считаться, чтобы сохранить существование журнала. Одного специального цензурного учреждения казалось мало: каждое министерство или крупное ведомство имело особых цензоров из своих чиновников, которые должны были просматривать или целые статьи, или отдельные места, где речь касалась их компетенции. Обыкновенный цензор отмечал в посылаемых ему корректурах, что статья или отчеркнутое место должны были быть направлены к особому цензору того или другого ведомства. Сколько помню, тогда насчитывали до семнадцати подобных цензур. Понятно, что такое положение вещей не представляло для редактора журнала ни удобства, ни удовольствия: во всяком случае это была неприятная проволочка, которой старались избегать. К счастью, специальным цензором „Современника" был тогда В. Н. Бекетов, человек более или менее простой, довольно благодушный и благожелательный. Конечно, сам находясь под ферулой, он не мог уступать и не уступал своих цензорских обязанностей, но, по крайней мере, он не был мелочен и не прибавлял к обязанностям официальным личной придирчивости и каприза. Я много раз встречал его за обедами или ужинами Некрасова. Настроение литературного круга, который я видел здесь и в некоторых иных кружках, было довольно странное: прежде всего это было,

конечно, настроение подавленное; трудно было говорить в литературе даже то, что говорилось еще недавно, в конце сороковых годов. По распоряжениям негласного комитета даже отбирались некоторые книги прежнего времени, напр., „Отечественные Записки“ сороковых годов; славянофилам просто запрещали писать или представлять в цензуру какие-нибудь свои статьи; оставались возможны только темные намеки или молчание. В кругу „Современника“ передавались текущие новости разного рода, цензурные анекдоты, иногда сверхъестественные, или шла незатейливая приятельская болтовня, какая издавна господствовала в холостой компании тогдашнего барского сословия,—а эта компания была и холостая и барская. Нередко она попадала на темы совсем скользкие. В это время Дружинин писал в „Современнике“ целые шутовские фельетоны под заглавием „Путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам“—для развлечения читателя, да и собственного. В это время создавались творения знаменитого Кузьмы Пруткова, которые также печатались в „Современнике“, в особом отделе журнала, и в редакции „Современника“ я в первый раз познакомился с одним из главных представителей этого сборного символического псевдонима, Владимиром Жемчужниковым. В то же время, когда писались творения Кузьмы Пруткова, приятельская компания, которую он собою представлял, отчасти аристократическая, проделывала в Петербурге различные практические шутовства, о которых, если не ошибаюсь, было говорено в литературе

И. И. Введенский.

А. А. Краевский.

по поводу Кузьмы Пруткова. Это не были только простые шалости беззаботных и балованных молодых людей; вместе с тем, бывало здесь частью инстинктивное, частью сознательное желание посмеяться в удушливой атмосфере времени. Самые творения Кузьмы Пруткова как бы хотели быть образчиком серьезной, даже глубокомысленной, а также скромной и благонамеренной литературы, которая ничем не нарушила бы строгих требований „негласного комитета". Знаменитая пьеса „Фантазия" должна была представлять просто скромную шутку, без признака какой-нибудь тенденции; но и „Фантазия" и мудрые афоризмы Кузьмы Пруткова, исторические анекдоты, басни и пр.,— все это было сплошное шутовство, где однако, при некотором внимании мелькала какая-то неопределенная насмешка: в литературу, введен был писатель, который очевидно был карикатурой,—тупоумный или одурелый чиновник, который считал себя и мудрым и благонамеренным. По странной случайности, около этого времени заехал в Петербург мелкий провинциальный чиновник хлопотал о своих делах. Это был некто Афанасий Анаевский, известный тогда в литературе так же, как во времена Пушкина известен был Александр Анфимович Орлов—автор целого ряда небольших книжек, совсем серьезных по намерению автора, но чудовищных по своей нелепости,—как бы прототип Кузьмы Пруткова; книжки носили, например, такие названия: „Энхиридон любознательный", „Жезл", „Экзалтацион и девять муз", „Мальчик, игравший в садах Тригуляя" и т. п.

Такое тяжелое положение угнетало не только литературу, но и все серьезное общество,— при наступавших событиях нельзя было отдохнуть одною шуткою, прикрытою насмешкою над самой цензурой, и в конце концов протест против этого подавления общественной мысли высказался в особой, рукописной литературе, уже не считавшей нужным искать дозволения цензуры. В канун и в течение Крымской войны эта рукописная литература обильно разрослась и распространилась в списках, ходивших по рукам и с жадностью прочитываемых. В большинстве случаев это были весьма серьезные „записки", трактовавшие о тех вопросах, какие в тревожную пору грозившей войны волновали общество и для которых не было места в обыкновенной литературе... „Записки" говорили об общем политическом положении вещей, о массе внутренних неурядиц—испорченности и подкупности администрации и суда, о бессилии правительственной власти искоренить злоупотребления при господстве официальной лжи („все обстоит благополучно") и при вынужденном молчании общественного мнения, усиленно подавляемого. Кроме записок по общему вопросу нашей внутренней жизни, были специальные записки, напр., о состоянии суда, администрации (были даже целые большие сочинения), о невозможных абсурдах цензуры и т. д. Наконец, ходили по рукам стихотворения, вызванные войной или чисто патриотические („Вот в воинственном азарте—воевода Пальмерстон"), или такие, где патриотизм выражался протестом против домашних неустройств и испорченности

(стихотворение Хомякова—„Раскаявшейся России"; или известное тогда стихотворение неназванного автора—„Меня поставил бог над русскою землею"...[1] Многое из этой рукописной литературы издано было потом за-границей в „Голосах из России". Авторы, конечно, предпочитали умалчивать свои имена; но известно было, что одна из самых значительных записок принадлежала Грановскому; многое написано было Погодиным; были работы Ив. Аксакова... Теперь многое из потаенной литературы стало более или менее изве́стно; целые трактаты посвящены изображению цензуры николаевских времен; издано многое из переписки того времени,—и вот, например, подобранные недавно г. Барсуковым из того времени слова знаменитого историка, писателя, отличительной чертой которого было мудрое спокойствие мысли: „Приходилось,—писал С. М. Соловьев в эпоху Крымской войны,—расплатиться... за полную остановку именно того, что нужно было более всего поощрять, чего, к несчастью, так мало приготовила наша история, именно самостоятельного и общего действия, без которого самодержец, самый гениальный и благонамеренный, остается беспомощным, встречает страшные затруднения в осуществлении своих добрых намерений. Некоторые утешали себя так:—тяжко! всем жертвуется для материальной силы; но по крайней мере мы сильны, Россия занимает важное место, нас уважают и боятся.— И это утешение было отнято, в доказательство,

[1] Стихотворение это принадлежало П. Лаврову.

что дух есть иже живит, плоть—ничто же пользует, в доказательство гибельности материализма, в доказательство того, что сила и материя—не одно и то же" [1].

Мы сделали это отступление, чтобы напомнить настроение общества в половине пятидесятых годов, в эпоху Крымской войны, и дать понятие, в какие условия поставлена была деятельность журнала, если бы он не хотел остаться чуждым настроениям и исканиям общества.

В тяжелых условиях времени для журнала, который в конце сороковых годов начат был деятельностью Белинского, невозможно было думать о непосредственном продолжении начатого Белинским. На ту минуту не было и людей, которые были способны к юношескому энтузиазму Белинского. Но так или иначе, завет Белинского не иссяк совсем. Высоко ставилось дело литературы; с делом литературы само собою соединялось (у более серьезных людей) и предполагалось известное нравственное достоинство и общественная обязанность. В журнале соединились лучшие литературные силы; к нему примыкали и несколько замечательных людей другой области—ученые и публицисты. В первое время журнала в нем работал Кавелин; присылали свои труды С. М. Соловьев, А. Н. Афанасьев, И. Е. Забелин; много поработал Владимир Милютин; одно

[1] Барсуков. Жизнь и труды Погодина, XIII, стр. 20. В этой же книге г. Барсукова сообщены любопытные сведения о политических записках Погодина, ходивших по рукам в эпоху Крымской войны.

время усердным сотрудником был Ушинский и т. д. В 1853 к блестящей плеяде Тургенева, Гончарова, Григоровича присоединилось имя или, на первое время, три буквы, которые тотчас привлекли всеобщее внимание,—эти буквы были Л. Н. Т. „Детство", „Отрочество", „Юность" и вскоре затем „Севастопольские рассказы" поставили гр. Л. Н. Толстого в первом ряду русских писателей. О нем самом пока знали только по слухам и в первый раз в литературных кругах увидели его в 1856 году, когда после севастопольской осады он приехал в Петербург; его приняли с распростертыми об'ятиями...

В этом характере журнала и в этом составе редакции вступил в „Современник" Н. Г. Чернышевский и года через два потом Добролюбов. Положение вещей было таково. На первый раз вступление Н. Г. Чернышевского в редакцию не произвело на членов кружка особенного впечатления, но уже вскоре, при всем согласии основных стремлений к успехам литературы, сказалась весьма существенная разница в понимании ее общественного значения. Различие этих оттенков восходило к различию понятий теоретических и общественно-исторических.

А. Н. Пыпин

В ПРОВИНЦИИ

ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА В ХАРЬКОВЕ[1]

В доме жены губернского прокурора Любовниковой, которую до сих пор с почтением вспоминают бывшие тогда студенты харьковские, стали собираться по вечерам для чтения. Эти первые „литературные вечера" собирали цвет тогдашнего харьковского ученого и литературного света, профессоров, студентов и всяких дилетантов, словом, все мыслящее общество маленького городка, где тогда было не более двенадцати тысяч жителей. Здесь стал появляться, со своими малороссийскими анекдотами, игрою на флейте и пьесами для фортепьяно своего сочинения, и будущий Основьяненко.

Вслед за вечерами Любовниковой открылись литературные чтения у Гонорского, молодого ад'юнкта русской словесности. Основьяненко, появляясь здесь, уже не сидел молча, а позволял себе рассуждать о тогдашней русской литературе. Читалось, однако, тогда мало. Книги привозились в Харьков, до 1805 года, московскими книгопродавцами во время ярмарок. Помещики запасались букварями для детей, кое-чем новым для себя, из фаланги „Псовых

[1] Основьяненко. Сочинение Григория Данилевского. СПБ. 1856, стр. 35–36, 40—41.

охотников", „Ружейных егерей", „Домашних аптекарей" и „Домашних кухарок"; и затем временные книжные лавки опять скрывались из Харькова[1]. Том, где теперь в гостином дворе известная книжная лавка П. И. Апарина, возникла скоро постоянная маленькая кладовая книг от московского магазина М. П. Глазунова[2]. Тогда баоле ешел в продажу „Анахарсис". Однажды, эт было около 1814 года, в лавку вошел робкий молодой студент Н. К. М., от которого мы это слышали, и принес подмышкою книгопродавцу толстую тетрадь, предлагая ее купить. Тетрадь была перевод романа Кубуадор, под именем „Ужасы судьбы, или четыре несчастливца". Владетель магазина повернул в руках увесистую кипу листов, взглянул на молодого автора и предложил ему за все три тома двадцать пять рублей ассигнациями. Таковы были тогдашние харьковские средства в отношении литературных изданий!

Один шаг уже оставался к изданию журнала. Но, при страстном желании посетителей вечеров у Любовниковой и Гонорского, издание журнала долго не осуществлялось. Наконец, журнал — гордость маленького городка — в начале 1816 года вышел, и Основьяненко в нем с первых же пор является прямо одним из издателей.

[1] [Со слов И. Т. Лисенкова, бывшего приказчиком в одной из книжных лавок того времени.]

[2] [Брата петербургского книгопродавца И. П. Глазунова.]

Журнал, который стал выходить при харьковской типографии, назывался „Украинский Вестник“. Он выходил в шестнадцатую долю листа в 1816, 1817 и 1818 годах и составляет теперь для самих библиоманов библиографическую редкость. Редакторами его были Евграф Филомафитский и Разумник Тимофеевич Гонорский. В конце четвертой и последней части этого журнала за первый год, при известии об издании его в следующем году, во главе двух этих издателей подписался и Основьяненко настоящим своим именем: Григорий Квитка.

Под редакцией Основьяненка и двух других издателей „Украинский Вестник“ тотчас стал на твердую ногу.

Г. Данилевский

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА В ДОМЕ А. А. ФУКС[1]

I

16-го февраля 1836 года в воскресенье был я на литературном вечере у К. Ф. и Ал. Анд. Фукс. Общество было отборное и образованное: гг. Хомутов, Приклонский, де-ла-Рю, Левашов и проч.; много было дам. Читали сочинения: А. А. Фукс, Городчанинов, Перцов, Киселевский, де-ла-Рю, Рындовский и К. Ф. Фукс. На третьем чтении был странный эпизод. Вице-губернатор, правящий губернией, Евграф Васильевич Филиппов, предложил читать поднесенную ему каким-то чиновником поэму. Прочитали первую песнь. Рындовский возгласил, что это сочинение его и украдено. Филиппов вышел из себя, по его самолюбию и гордости, заставлял молчать Рындовского, кричал, что заткнет ему рот и прочее. Многие раз'ехались от такой суматохи, и сам виновник ее уехал. Осталось около двадцати человек, и снова продолжали чтение. Предложено было прочитать мои стихи „Время“ и „Царев Курган“, но

[1] Из дневника Ивана Андреевича Второва. М. Ф. Де-Пуле. Отец и сын. Опыт культурно-биографической хроники. „Русский Вестник“, 1875, т. 119, сентябрь, стр. 139—140.

я отклонил от сего. Мне очень понравились гг. де-ла-Рю и Николай Михайлович Приклонский. После открылось, что мнимый сочинитель краденых стихов—какой-то пьяный титулярный советник, которого Филиппов присылал к Рындовскому с повинною и сам извинялся перед ним.

II

Утешительно было видеть живое участие, принятое многими здешними, любителями литературы в прекрасном предприятии почтенных хозяев дома,—участие, свидетельствующее, что общество наше не удовлетворяется обыкновенными общественными удовольствиями, но имеет другие высшие потребности. Некоторые посетители литературной беседы были приглашены в то же время на два другие вечера; однако они предпочли ее картам и танцам и в назначенное время, в семь часов вечера, с'ехались в дом Карла Федоровича (17 ноября 1843 г.). В восемь часов началось чтение, которое открыла сама хозяйка дома. А. А. прочитала из своего нового романа „Зюлимат" один занимательный отрывок, содержавший в себе описание лагеря Пугачева под Казанью и разные неистовства его сволочи.

Вслед затем Г. Н. Городчанинов, „истинный ветеран нашей словесности" и бывший профессор казанского университета, читал стихотворение, написанное им в честь Державина под названием „Бессмертие пиита".

— Это был отзвук минувшего периода русской литературы, периода восторгов, огня, пламени,—говорит Второв-сын.

Трогательно было видеть почтенного старца посреди слушателей, принадлежавших большей частью к молодому поколению, холодному, прозаическому, обращающегося с восторженною хвалою к знаменитому поэту.

После этого стихотворения один из посетителей литературной беседы прочитал письма Державина к Г. Н. Городчанинову, драгоценные для нас как памятник, сохранившийся после праотца русской поэзии Все это имело тем более цены, что в настоящем году исполнилось ровно сто лет со времени рождения Державина, и было таким образом как бы данью незабвенной его памяти.

По этому поводу Л. Н. Ибрагимов прочитал потом одно из лучших своих стихотворений „Памяти великого Державина".

Далее было прочитано сочинение И. А. Второва „Мои воспоминания о Казани", заключающее в себе многие интересные для казанских старожилов подробности о некоторых лицах, живших в Казани лет тридцать тому назад. Статья эта была выслушана с живым участием, особенно теми из посетителей, кому были знакомы упоминаемые в ней лица.

Чтение заключилось любопытным описанием татарской свадьбы. Новость и оригинальность этого одного из замечательнейших обрядов татар, на изучение образа жизни которых автор, Карл Федорович, посвятил многие годы, приковали всеобщее внимание, и неподдельный юмор, проникающий почти всю статью, несколько раз срывал невольную улыбку с лиц слушателей. Два последних сочинения читали

посторонние лица; первое — по причине отсутствия, а последнее—по слабости зрения автора.

После этой духовной пищи радушные хозяева предложили прекрасный ужин гостям своим, которые раз'ехались довольно поздно. Мы уверены, полагает автор сообщения, что каждый из них возвратился домой, исполненный впечатления несравненно приятнейшего, нежели какое оставляют карточные вечера или балы, после которых трудно ожидать, чтобы заронилась светлая мысль в голову или залегло в сердце теплое, отрадное чувство, после которых едва ли остается что, кроме усталости, головной боли и пустоты душевной.

Следующий литературный вечер в доме Карла Федоровича был 1-го декабря, т. е. ровно через две недели после первого. На предшествовавшей неделе, в среду 24-го ноября, он был отложен по случаю Екатеринина дня, в который праздновалось много имянин. Посетителей на этом вечере было несравненно более, нежели в первый раз. Присутствовали на вечере — сам начальник губернии С. П. Шипов и супруга его Анна Евграфовна, которые приняли в беседе самое живое, непритворное участие.

Чтение началось в назначенное время. Н. И. Второв прочитал отрывки из своих путевых записок, заключавшие в себе описание Ревеля. Следовавшее затем чтение доставило слушателям особенное удовольствие: это были прочитанные профессором И. М. Симоновым несколько отрывков из путешествия его по

Англии и Франции[1], отрывков, исполненных высшего интереса по разным встречам И. М. с многими замечательными лицами и анекдотам, красноречиво и увлекательно рассказанным. После того хозяйка дома А. А. Фукс читала о пребывании А. С. Пушкина в Казани статью, любопытную по некоторым подробностям о поэте. В дополнение к тому были прочитаны одним из посетителей несколько собственноручных писем Пушкина к А. А., отрывки из которых были приведены в нашей статье выше. Весьма близкое отношение к статье А. А. имело стихотворение на смерть Пушкина, сочинение князя А. А. Долгорукого, вслед затем прочитанное самим автором вместе с некоторыми другими мелкими стихотворениями его же сочинения.

За стихами опять следовала проза. К. О. Александров читал свою статью „Несколько слов о Гейне и глава из его книги о романтической школе в Германии". Единодушное одобрение слушателей служило лучшим свидетельством достоинств этого сочинения, отличавшегося как по прекрасному изложению, так и по тому, что в нем едва ли не в первый раз на русском языке была представлена довольно полная характеристика этого писателя.

Чтение заключил снова почтенный хозяин дома К. Ф. Фукс любопытною статьею о татарских женщинах, обнаруживающею зоркую

[1] [Книга Симонова вышла в Казани в 1844 г. отдельным изданием под заглавием „Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 г." 333 стр.]

наблюдательность автора. В особенности были интересны письма, в которых татарки из'яснялись в любви к Карлу Федоровичу.

Было уже довольно поздно, когда кончилось чтение, и весьма многие статьи, приготовленные к настоящему вечеру, остались непрочитанными [1].

Н. И. Второв

[1] Известия о двух вечерах в доме Фукса сообщены были в фельетонах „Прибавлений к Казанским Губернским Ведомостям" 1843 № 48, суббота, 27 ноября, стр. 299—300 № 150 11 декабря, стр. 320—321. Мы извлекли описание (№ 2) из статьи Е. Боброва „А. А. Фукс и казанские литераторы 30—40-х годов" в „Русской Старине" 1904, июнь, стр. 503—506 В июньской и июльской книжках дан исчерпывающий материал по данному вопросу.

КРУЖОК Н. И. ВТОРОВА

I

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ К. О. АЛЕКСАНДРОВА-ДОЛЬНИКА[1]

Очутившись в новой для нас местности, мы[2] старались ближе познакомиться с нею, с ее историей, этнографией и статистикой... Для наших этнографических этюдов Воронежская губерния доставляла богатый материал, особенно в северной части: здесь, на незначительном пространстве, встречается большое разнообразие в говоре, женских костюмах и обычаях. В деле изучения статистики и этнографии края много помог нам бывший министр внутренних дел Лев Алексеевич Перовский, возложивший на Второва поручение ежегодно ревизовать городские думы и вводить в городские хозяйства более правильные порядки. Пользуясь этим случаем, мы совершали поездки по губернии, всегда вместе в летнее время и в сообществе учителя рисования

[1] М. Ф Де-Пуле. Николай Иванович Второв. „Русск. Архив" 1877, № 8, стр. 445 – 446, или Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. 1886, стр. 243 245.

[2] Н. И. Второв и К. О. Александров-Дольник в 1849 году.

воронежского кадетского корпуса Сергея Павловича Павлова, предложившего нам свою готовность для снятия костюмов. По приезде в какой-либо уездный город Николай Иванович спешил к своим служебным обязанностям по думе, я же с Павловым, иногда в самом городе, а большею частью в деревнях, занимались снятием и описанием костюмов крестьян, записыванием песен, сказок, пословиц, поговорок и областных слов. В свободное от своих занятий время к нам присоединялся и Второв. Эти занятия, кроме служебных, и литературные чтения заменяли нам все другие увеселения. Мы не заводили знакомств, но были всегда рады, если кто-либо навещал нас и не скучал нашими беседами и чтениями. Так образовался сам собою около нас кружок молодых людей из учителей гимназии, кадетского корпуса и других лиц [1].

[1] По словам А. Г. Фомина, в этот кружок входили люди, разнообразные по социальному и служебному положению: крупные и мелкие чиновники, педагоги, офицеры, купцы с разным образованием и разными интересами; одни интересовались историей, другие естественными науками, многих членов об'единял интерес к изучению местного края, наиболее общими интересами были к общественной жизни и затем к литературе. „Особенно ею интересовались Второв, Александров-Дольник, Нордштейн, Придорогин, Де-Пуле, Михайлов, Зиновьев, Малыхин. Повидимому, не было единства между членами кружка в области общественно-политич. взглядов: среди них был человек крайних воззрений Придорогин и очень умеренных Де-Пуле". Полное собр. соч. и писем И. С. Никитина. Т. I. Под ред. А. Г. Фомина. СПБ. 1913, гл. VI.

II

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. И. ВТОРОВА [1]

У меня и Константина Осиповича Александрова-Дольника по одному разу в неделю собирались короткие наши знакомые не для карточной (столь обыкновенной в нашей общественной жизни) беседы, а для простой. Само собою разумеется, что мы оба тотчас же предложили Никитину бывать у нас в эти дни. Как ни чужды были всякого этикета наши вечеринки, Иван Саввич все-таки сначала дичился, и нужно было каждый раз повторять приглашение, чтобы видеть его у себя; в другое время приходить к нам запросто стал он уже спустя довольно долго после первого знакомства... Никитин не замедлил, по просьбе нашей, познакомить нас с своими стихотворениями. Он принес нам сначала небольшую тетрадь, в которой заключалось десятка два стихотворений, а потом еще несколько других... Посещая меня и Константина Осиповича, Никитин познакомился с нашим кружком...

За нашу дружбу Никитин платил нам совершенным доверием, показывал нам работы свои и в неоконченной форме, никогда не пренебрегал нашими советами и был в среде нашей совершенно свободен и, как сам утверждал неоднократно, счастлив [2].

[1] А. Г. Фомин. И. С. Никитин. Полное собрание сочинений и писем И. С. Никитина Т. I. Под ред. А. Г. Фомина. СПБ, 1913, стр. 63, 74—75.

[2] О роли кружка Второва в литературной судьбе Никитина см. особенно стр 88—103 в указанной работе А. Г. Фомина.—Второвский кружок распался в 1857 г.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Адрианова. 357

Айвазовский художник-маринист. 381

Аксаков И. С. (1823—1886)— младший славянофил, поэт и публицист, издатель ряда газет („Парус" 1859 и др.) 212, 337, 338, 340, 369, 413, 547.

Аксакова, В. С. 341

Аксаков К. С. (1817—1860 — поэт и драматург, автор филологических и исторических трудов славянофильского направления. 301, 304, 319, 320, 323, 324, 328, 338, 339, 341, 369, 372 413, 435.

Аксаков С. Т. (1791—1859) приобрел знакомство с Державиным, Шишковым, Шушериным и др. по службе в Комиссии составления законов (1808—1811); в Москве был цензором в Моск. Цензурном Комитете (1827—1832); участвовал во многих периодических изданиях (Москвитянин, Московский Вестник и др.), автор „Записок об ужении рыбы", 1847, „Семейной хроники и воспоминаний" 1856 и др.; в 1812 г. перевел с французского языка трагедию Софокла „Филоктет", предназначавшуюся для бенефиса артиста Я. Г. Шушерина. 91, 17, 127, 167, 169, 171, 328, 337, 343, 355, 413, 426.

Аладьин Е. В.—282, 283, 284, 285.

Александров-Дольник К. О. Советник Губернского Правления в Воронеже, выпустил вместе с Второвым Н. И. в 3 томах „Древние грамоты и другие письменные памятники, касающиеся Воронежской губерн. и частью Азова" (1851—1853). 160, 562—4.

Александров Н. 211.

Алмазов Б. Н. 385, 407.

Алферьев. 523.

Алябьев А. А. 38

Анаевский А. 545.

Андреев 435, 437.

Анненков П. В. (1813—1887) очеркист 40-х годов, литературный критик; близкий к людям 40-х годов (Гоголю, Белинскому, Тургеневу и др.); мемуарист. 159, 321. 476, 539, 542.

Апарин, П. И. 554.

Арбузов. 513.
Арнольд, Ю. К. 447, 451, 453, 465, 512.
Арсеньев И А. 245.
Арсеньев П. М. 33, 34, 35, 37
Арсеньева Е. А. (1760—1815) 463, 464.
Армфельд. 342.
Артемьев П. И. 356.
Атрешков Н. И 259.
Афанасьев А. Н. 548.
Аш В. И. 246 .
Бажанов И. А. 354.
Базили. 229.
Байрон. 349, 350, 351, 352
Бакунин М. А. (1814—1876) 303, 304, 305, 310, 323, 359
Бальзак. 443, 444.
Бантышев. 356, 364, 386, 389
Барсуков Н. П. 160, 171, 547, 548.
Бартенев П. 90, 335, 372
Бартенев Ю. Н. (1791—1866) 231, 418.
Бассини. 509
Батюшков К. Н. (1787—1855) 41, 64, 80 88, 89, 113, 114
Бах. 447, 450.
Башуцкий. 476.
Бегичев 418.
Безбородко. 229.
Безобразов П. 408.
Белинский В. Г. (1811—1848) 202, 301, 302, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 323, 356, 431, 453, 458, 559, 460, 461, 462, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 503, 504, 505, 530, 539, 540, 541, 548.
Белосельский, князь 24
Бенедиктов В. Г. (1807—1873) поэт. 90, 201. 227, 236, 287 288, 289. 304, 347, 492, 512.
Бенжамен Констан 143, 297
Бен ендорф А. Х. 183, 287, 460.
Беранже. 297.
Берг Н. В. (1823—1884) поэт, переводчик особенно с разных славянских наречий 368, 370, 379, 384, 402, 405, 410, 423.
Берлиоз. 335.
Берх. 275
Бессомыкин. 152.
Бестужев А. А. (Марлинский) 38, 175, 184, 185, 201, 283, 292, 454.
Бестужев-Рюмин К. Н. 428
Бестужев-Рюмин М. А. 273 277, 278, 279, 280, 281, 282
Бирон Луиза 489.
Бистром К. И. 297
Бичурин (отец Иакинф) 235
Благосветлов Г. Е. 523, 535
Блудова А. Д. 78, 80.
Блудов Д. Н. (1785 - 1864) был близок с А. И. Тургеневым, Жуковским, Вяземским и др., выдвинулся на службе участием в Верховном Суде над декабристами и составлением Донесения Следственной о них Комиссии, 40, 47. 48, 49. 50, 53, 54, 56, 58, 68, 70, 88, 163, 213, 427, 443, 490.
Боклевский П. М. (1816—1897) художник иллюстратор Гоголя, Тургенева и др. 400, 401.

Боратынский Е. А. (1800—1844). В 1826 г. выпустил сборник „Эда и Пиры", в 1827 г. „С ихотворения", в 1831 — „Наложн ца", в 1842—„Сумерки". 156, 157, 161, 166, 167, 169, 172, 181, 183, 193, 336.

Бораты ский А. А. (1806—1858) 93, 96, 97.

Боратынский С. А. 188, 190, 205, 217.

Боткин В. П. (1811—1869) ав ор „Писем об Испании" и критических эскизов, приятель Белинского, Грановского, Тургенева и др. люд й 40-х годов; зарисован Герцен м в „Былое и Думы" (г X II, п. 1919 323, 422 424, 468, 476, 81, 539, 541.

Боткин Н. П. 476.

Брант Л. В. Автор книг: „Жизнь, как она есть. Записки неизвестного, изд. Л. Брантом. СПБ. 1845, (ч. III, гл. 27 повествует о лит. вечере у герцогини д'Арбантес и о парижских журналистах); „Воспоминания и очерки жизни". П, 183 , ч. I и II. 476.

Бродский Н. Л. 413.

Брюллов К. П. (1799—1852) 214, 231, 233, 237, 238, 2 9, 241, 242, 243, 253, 406, 509.

Брянский. 465.

Буало 28, 37.

Булгаков К. Н. 405, 409

Булгаков Я, И. 405.

Булгарин Ф. Б. (789—1859) беллетрист (роман „Иван Выжигин", 1829), журналист (главный его орган „Северная Пчела" 1825—1859) 81, 87, 185, 186, 189, 190, 191, 194, 239, 240, 252, 253, 254, 255, 156, 257, 258. 259, 260, 261, 262, 266, 269, 276, 291, 292, 358.

Бунина А. П 25, 26

Бунина Е. А. 62.

Буташевич-Петрашевский М. В. (1821—1866) 493, 524, 525, 530, 533, 555.

Бутурлин. 506.

Валуев Д. А. 326.

Вальховский В. Д. (1798—1841) Лицейский товарищ Пушкина 66.

Васильев. 414.

Введенский И. И. 522, 532, 533, 534, 535.

Вегезак 444.

Вельтман А. Ф. 377, 380, 382, 383, 384.

Венгеров С. А. 192

Веневитинов Д В. (1805—1827)—поэт, литературный теоретик - шеллингианец. 136, 137, 141, 143, 145, 147, 151, 161, 162, 163, 166, 168, 171, 172, 175, 181

Вердеревский В. Е. 276

Верстовский А. Н. 38, 123, 124, 125. 171.

Веселовский А. Н. 433.

Виардо-Гарсиа 419

Вигель Ф. Ф. (1786—1856). В оценке К. С. Аксакова „на все озлобленный мордвин", каковая черта ха-

рактера сказалась на тоне его и вестных записок, вышедших в отдельном полном издании в 1892 г. П. Вяземский о них писал: „должно читать их, следует доверять им с большой осторожностью... В записках (Вигеля) много злости и много злопамятности", 41, 45, 46, 69, 7 , 78.
Виельгорский Матвей Ю. 442, 457
Вильегорский М. Ю. (1788—1856) композитор и музыкант, был близок со многими литераторами (Державин, Карамзин, Жуковский, Пушкин, Гоголь, Лермонтов); П. Вяземский посвятил ему стих „Поминки" 113, 442, 489, 490.
Вильнд 24, 112
Владиславлев В. А. (1807—1856), издатель альманаха „Утренняя Заря" (1839—1843), Спб.) 198, 203, 286, 287
Власьев. 435, 437
Воейков А. Ф. (1779—1839) переводчик (Виргилий, Делиль), журналист, автор сатиры „Дом сумасшедших"; о литературных вечерах у него в 1819 г. см. „Иллюстрация" 1861, № 152 95, 104, 110, 111, 112, 115, 165, 185, 198, 202, 230, 231, 236, 255, 257, 258, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 28 , 285, 286, 290, 291, 292.
Волков А. А. (1788—?) поэт, автор поэмы в десяти песнях „Освобожденная Москва" (М. 1920) 117.
Волконская З. Н. (1792—1862) поэтесса. 168, 172, 173, 174, 175.
Волконская М. Н. 175
Вольтер. 299.
Вонлярлярский В. А. 367, 418.
Воробьева А. Я. 201.
Воронцов-Дашков И. 214.
Воронцова-Дашкова А. К. 494
Востоков А. Х. (1781—1864), поэт, филолог 209.
Всеволожский Н. 38.
Второв И. А. Автор записок „Москва и Казань в начале XIX века" („Рус. Старина" 1891, апрель). 556, 558.
Второв Н. И. (1818—1865) редактор „Казанских Губ. Ведомостей" 1843), автор нескольких работ по городскому самоуправлению (1860—1864. 557, 559, 561, 562, 563, 564.
Вульф А. Н. 182, 183.
Вяземский П. А. (1792—1878) Литератор пушкинской поры, поэт и мемуарист. 59, 64, 74, 88, 90, 111, 113, 115, 118, 155, 161, 163, 170, 172, 174, 190, 208, 210, 212, 216, 222, 225, 228, 233, 254, 321, 329, 333, 335, 336, 409
Гагарин И. А. 33, 34, 35, 37.
Гаевский В. П. (1826—1888) 92, 102, 193, 539.

Гакстгаузен А. Автор „Исследования внутренних отношений и родной жизни России". Перевод с немецкого в 1869 г. (М., т. I); в Ганновере вышло в 1847 г. 335.
Галахов А. Д. (1807—1892) историк русской литературы, педагог. 358. 361, 364
Галинковский Я. А. 7.
Гаррик. 446.
Гейне. 295. 352, 560.
Гегель. 133, 305, 306, 323, 347, 350. 432, 381. 535
Гербель. Н. В. (1827—1883) поэт и переводчик 422.
Герке 324.
Герцен А. И. (1812—1870). Автор романа „Кто виноват" (1847), публицист, эмигрант (с 1847 г.). Издатель "Полярной звезды" (с 1855 г.) и „Колокола" (1857—1863) 160, 295. 300, 304, 315, 320, 321, 325, 328, 333 356, 361, 435, 437, 468, 473, 531.
Ге шензон М. О. 352.
Гесс 441
Гете. 112, 307, 347, 362, 471
Гиппиус В. В. 192
Гиппиус Г. К 454, 455.
Глазунов И. П. 554.
Глазунова М П. 554.
Глебов А. Н. 274.
Глинка А. П. (1795—1863) поэтесса: любила читать в кружках поэму своего мужа, Федора Никол. Глинки, „Таинственную каплю", однажды сказав С. В. Энгельгардт (1846): „Напрасно вы пришли. Это писал не какой-нибудь негодяй Пушкин или пьяница Лермонтов, а апостол Федор" („Русский Вестник" 1887. № 11. Из воспоминаний Ольги N) 422.
Глинка М. И. (1804—1857) Композитор. 168.
Глинка С. Н. 500.
Глинка Ф. Н. (1786—1880) поэт с религиозно-мистической и патриотической тематикой. 181, 201, 214, 237, 238, 242, 243, 244, 245. 256, 258, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 406, 422, 441, 442.
Гнедич Н. И. (1784—1833) поэт, переводчик „Илиады", учитель трагической актрисы Семеновой. 18, 19, 20. 21, 22, 40, 41. 43, 44, 47, 48, 57 88, 91, 93, 97, 168, 192.
Гоголь Н. В (1809—1854) 90, 202. 205, 210. 212, 221, 315. 328, 335, 337, 338. 339, 340, 341, 342, 343, 355, 383 . 398, 401, 402, 404, 416, 417, 442, 462, 475. 492. 504, 509, 530,
Голицина. 443.
Голицын Д. В. 140.
Голохвастов 347
Гонорский Р. Т. 553. 554, 555
Гончаров И. А. (1812—1891) 428. 475, 476, 499. 501, 549
Горац й 129.
Горбунов И. Ф. (1831—1895) актер, историк рус. театра 365, 367, 385, 386, 387,

388, 394, 405, 409, 458, 513, 536.
Горожанинов Г. Н. (1771—1852) в 1836 г. издал свои „Сочинения и переводы в прозе и стихах". Об эт й книге есть отзыв А. С. Пушкина: „О, эти проза и стихи! Как жа ки те поэты, которые начинают писать прозой". 556, 557, 558.
Горчаков В. П. 380
Горчаков Д. П. 6, 9, 10, 28
Гофман Э. Т. А. 179, 187, 445, 446 450, 451, 458.
Грановский Т. Н. (1813—1855 профессор Моск. универс., один из ярких представителей либерального западничества, зло очерченный Достоевским в образе Степана Верховенского („Бесы") 205, 305 320, 321, 322, 323, 324, 329, 355, 373, 370, 371, 403, 424, 429, 471, 473, 547.
Гребенка Е. П. 199, 201, 454, 457.
Греч А. Н. 259.
Греч Н. И. (1787—1867) автор „Опыта краткой истории русской литературы" (1822); журналист, близкий к III Отделению, редактор Энциклопедического Словаря (издатель А. А. Плюшар) 51, 186, 187, 189, 190, 191, 230, 239, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 272 273, 285, 290, 292.
Грибоедов А. С. (1795—1829) 38 167, 322, 462, 475.
Григорович Д. В. (1822—1899 419 420, 475, 476, 486, 487, 492, 512, 536, 539, 549.
Григорьев А. А. (1822—1864) поэт, литературный критик-почвенник 203, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 358, 385, 388, 392, 403, 413.
Грузинский А. Е. 434.
Губер Эдуард. Поэт, переводчик 199, 202, 512.
Гусятников 496.
Гюго 208, 245, 528.
Давыдов Д. В. (1784—1839) поэт. 64, 167, 226, 227.
Давыдов И. И. 135.
Данилевский Г. Н. 422, 513, 553, 555.
Данте. 374
Дантес. 196, 444.
Даргомыжский А. С. 214, 442
Дашкевич. 169.
Дашков Д. В. (1788—1839) 47, 43, 49, 51, 56 58, 59, 69, 74, 78 88, 217.
Двигубский И. А. 135.
Деген. 447.
Дели ь. 414.
Дельвиг А. И. 66, 92, 93, 95, 96. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 157, 168, 172, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188 190, 191, 192, 193, 283, 336.
Де-ля-Рю М. Д. (1811—1868) поэт („Превращение Дафны" сельская поэма 1829 г.

„Сон и Смерть“ 1831, „Опыты в стихах“ (1835) и перевел дчик из Овидия, Виргилия, принимал участие в „Северных Цветах“ Дельвига, с которым был близок, и в издании „Одесского альманаха“ 1839 г. Был связан с Пушкиным дружескими отношениями. О его стихотвор. опыт ах есть отзыв Пушкина—„в нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства“... 188, 556, 557
Демидов А. 420.
Демидова А. К. 495
Де-Пуле М. Ф. (1822—1885) педагог, журналист, работал в „Русском Слове“ (1859), позже примкнул к консервативному лагерю Каткова. 192, 556, 562, 563
Державин Г. Р. (1743—1816) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 41, 43, 44, 45, 57, 69, 88, 163, 170, 313, 475, 527, 557, 558.
Дерикер В. В. 522
Деркачев И. П. 429, 433.
Дершау Ф. К. 502, 503.
Дидро 354.
Дмитревский И. А.—актер 31.
Дмитриев И. И. (1760—1837) поэт сентиментальной школы. 23, 44, 60, 64, 74, 90, 140, 329, 336.
Дмитриев М. А. (1796—1866) сторонник классицизма, извест н полемикой с П. А. Вяземским по поводу защиты последним романтизма Пушкина, автор „Мелочей из запаса моей памяти“ (1854 — 1869) 115, 118, 161, 167, 171, 323, 336, 377, 380.
Добролюбов Н. А. (1836—1861) 540, 549.
Добротворский С. Ф. 436.
Долгорукий А. А. 560.
Долгорукий И. М. (1764—1873) 115, 116, 117, 118.
Достоевский М. М. 524.
Достоевский Ф. М. (1821—1881) 431, 475, 476, 486, 487, 492, 493, 507, 521, 524, 526, 527, 528, 529, 530.
Драгоманов. 471.
Дружинин А. В. (1824—1864) беллетрист („Полинька Сакс“), критик. 488, 539, 541, 542, 544.
Дружини Я. А. 24.
Дудышкин С. С. 488, 539, 541, 542, 544.
Дуров С. Ф. 521, 523, 525, 531.
Дюбюк А. И. 386, 407.
Дюмушель 175.
Дюпре-де-Сен-Мор. 81, 85.
Дютш. 400.
Егоров. 39.
Елагина А. П. 137, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331.
Елагины 168, 171, 413.
Ермолов А. П. 146, 323.
Ешевский. 169.
Жадовская Ю. В. 513.
Жандр А. А. 38.
Железов И. 402.
Жемчужников В. 544.
Жемчужниковы. 539.
Жерар-Жюль. 418.

Живокини. 356, 360.
Жихарев С. П. 3, 18, 38, 49, 56, 70, 75, 113. 348.
Жорж-Занд 469, 479.
Жуков. 264, 268.
Жуковский А.К. 1810—1864). Поэт, писавший под псевдонимом Е. Берн т; сборник его стихотворений вышел в 1837 г. 203, 230.
Жуковский В. А. (1783—1852) 26, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 70, 72, 75, 77, 88, 89, 90, 91, 98, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 123, 137, 60, 168, 188, 190, 191, 203, 205, 208, 211, 213, 216, 221, 226, 227, 229, 256, 262, 268, 329, 441, 443, 453, 454, 508.
Забелин И. Е. 548.
Заблоцкий - Десятовский А. П 501.
Заблоцкий - Десятовский М. П. 502, 536.
Завадовский. 25.
Загоскин М. Н. (1789—1852). С 1823 г. служил в конторе Моск. театра, в 831 г. был назначен директором Моск. театров. Драматург, б ллетрист. 51, 52, 77, 117, 124, 1 5, 126, 167, 171, 172, 236, 325, 339, 370, 380.
Загоскин С. М. 325.
Закревский А. А. 434.
Замятин. 443.
Зам тина. 443.
Захаров И. С. 6, 12, 13, 18, 20, 26, 29.
Зебах. 233.
Зильберштейн И. С. 188.
Зиновьев И. И. Служил в Воронежской Городской Думе, беллетрист. 563.
Иакинф (Бичурин). 441.
Ибрагимов Л. Н. издал в 1891 г в Казани книжку своих стихотворений, автор популярной песни „Ты, душа ль моя красна девица". 558.
Иванов С. С. 349.
Иванов. 404
Иванов Ф. Ф 114, 115.
Измайлов А. Е. баснописец, романист, журна ист. 27, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 01, 103, 113.
Илличевский А. Д. 93, 95, 96, 97, 98
Ил ин Н. И 115.
И гансон А. И. 248.
Инзов И. Н. 380
Истрин В. М. 111.
Кабэ 528.
Кав лин Д. А. 61.
Кавелин К Д. 326, 331, 349, 466, 473, 548.
Казначеев. 381.
Кайсаров А. С. Питомец геттингенского унив., автор диссертации об освобождении крестьян (1886). 110, 111.
Кайсаров М. С. Поэт, переводчик („Тристрам Шанди" 1804 — 07) Петрарки, Стерна. 110, 111.
Калайдович. 505.
Калошин. 413.
Камашев И. Н. 152.
Каменская М. Ф. 41, 295.
К менский П. 232, 242.
Капгер. 483.

Капнист В. В. (1757—1823). Автор „Я еды", поэт. 23, 40, 41, 122.
Карабанов П. М. 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 21, 29
Карамзин Н. М. (1766—1826). 24, 41, 44, 48, 60, 64, 70, 83, 85, 86, 87, 100, 216, 217, 268, 454, 494.
Карамзина Е. А. (1780—1851) дочь А. И. Вяземского, в 1804 г. замужем з историографом Н. М. Карамзиным; ей п священо стихотворение Е. А. Растопчиной „Где мне хорошо" (1838). В альбоме ее падчерицы С. Н. Карамзиной Пушкин написал „Три ключа", а Лермонтов стихотворение „Любил и я в бывые годы"; Пушкин же посвятил старшей ее дочери, Е. Н. Карамзиной, „Акафист". 213, 216, 217, 218.
Карамзина С. Н. 214, 215, 218, 219.
Каратыгин В. А. 357.
Карлгоф 202, 259, 275, 276.
Карлгоф Е. А. (Драшусова). 226, 236.
Карт зов. 77.
Кастарев. 348.
Катенин П. А. 38, 190.
Катонов. 130, 131.
Катков М. Н. 292, 356, 424, 426, 468.
Каховский П. Г. 149.
Каченовский М. Т. (1775—1842). 113, 118, 120, 135, 168.
Кашевский. 531.
Кашперов В. 246.
Квитка Г. Ф. (Основьяненко) 457, 553, 554, 555.
Кеневич В. 535.
Кетчер Н. Х. (1801—1886). Переводчик Шекспира. 336, 356, 360, 361, 473, 476.
Кикин П. А. 6, 9, 11, 16, 20.
Киреевский И. В. (1806—1856). Лит. критик, журналист-славянофил. 134, 136, 137, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 154, 166, 168, 171, 318, 319, 324, 329, 390, 403, 413.
Киевенский М. М. 434.
Кли овский. 390.
Клюшников И. П. 301, 365.
Княжевич Д. М. (1788—1844). 103.
Княжнин В. 20, 121, 352.
Кобяков. 32.
Ковалевски Е. П. 539.
Ков нько. 95.
Кожевников С. 436.
Коз ов А. 433, 434, 435, 436, 437.
Козлов И. И. 31.
Козловский. 358.
Кокошкин Ф. Ф. (1773—1838) с 1823 по 1831 г. управляю. Мос овским театром, автор многих комедий, комических опер, переводчик „Мизантр па" (1816) 114, 115, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 163, 167, 384.
Колзаков. 477.
Колосов Станий. 24.
Кольцов А. В. (1806—1842). 200, 203, 204, 460, 461.
Кольчугин. 431.
Колычев. 27.

Колюбакин. 392, 395, 396, 397, 298, 399.
Комаров А. А. 476.
Комаров А. С. 477.
Комар в кий Е. Е. 81.
Комовский. 235.
Кони Ф. А Издатель-редактор театрального журнала „Пантеон"; водевилист. 453.
Контский. 509.
Корсаков П. А. 7, 25.
Корф 66.
Корш В. Ф. 427, 473.
Коссович. 380.
Котляревский А. А. 435.
К цебу. 111, 421, 422.
Кошанский. 100.
Кошелев А. И. (1806—1883). Публицист-славянофил. 90, 134, 138, 140, 141, 150, 175, 213, 316, 321, 324, 403, 413.
Краевский А. А. (1810—1889). Журналист. 242, 426, 453, 468, 485, 492, 503, 504, 505, 506, 536.
Крестова Л. В. 212.
Крешев. 203.
Крутникова Е. И. 377, 383.
Крылов И. А. (1769—1844). 6, 9, 17, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 57, 88, 90, 91, 98, 99, 190, 227, 233, 235, 250, 347, 441.
Крылов Н. И. 386.
Крюков Д. Л. Профессор римской словесности в Моск. унив. (1835—1845). 323.
Крюковский М. В. 19, 33, 34, 35, 37.
Кубуадор. 554.
Кугушев Г. Автор повести „Корнет Отлетаев" (1856). 436.
Кудрявцев П. Н. Беллетрист; профессор. 356, 424, 425, 429, 430.
Кульчицкий А. Я. 466, 470, 477, 483.
Кукольник Н. В. (1809—1868) романист-романтик („Эвелина де Вальероль", „Альф и Альдона", и др.). Драматург („Торквато Тассо" 1833, „Рука Всевышнего отечество спасла" 1834 и др.), поэт, издатель „Художественной Газеты" (1836—1837), „Иллюстрации" (1845—47); с 1831 по 1857 г. с перерывами служил в военном министерстве. 195, 201, 229, 230, 231, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 253, 259, 264, 287, 289, 290.
Куракин. 24.
Курбатов. 117.
Курочкин. 512.
Кутузов П. И. 24, 50.
Кюстин. 335.
Кюхельбекер В. К. 90.
Лабзин А. Ф. 7, 29.
Лабрюер. 14.
Лаваль. 443, 444.
Лавров. П. Л. 547.
Ламанский П. И. 524.
Ламарк. 295.
Ламартин. 346, 351.
Ламене. 372, 530.
Лафайет. 295, 297.
Лафонтен. 28.
Левашева Е. Г. 336.

Левашовы. 334, 336.
Лейченко, 128
Лемке М. К. 336.
Ленский Д. Т. Водевилист, актер. 355, 358, 359, 360, 361, 363, 365.
Ленц В. В. 447.
Леонова. 509.
Леонтьев П. М. 424, 428.
Лерминье. 446.
Лермонтов М. Ю. (1814 — —1841). 212, 214, 215, 217, 351, 352, 372, 441, 463, 464, 465, 472, 475, 481, 504.
Лесков Н. С. 292, 428.
Лисников И. Т. 254, 263, 275, 554.
Лист. 335, 419.
Лихонин М. Н. 152, 377, 380.
Лобанов М. Е. 46, 47.
Лобачевский. 128, 131.
Логинов М. Н. 407.
Локк. 134.
Ломоносов М. В. (1711— —1765). 89, 161, 163, 534.
Лопагина. 476.
Лопухин П. В. 4.
Лужин. 412.
Лукьянович. 277.
Львов П. Ю 7.
Львов С. Л. 30.
Львов Ф. П. 16, 17.
Львов-Рогачевский В. Л. 413.
Любовников 553, 554.
Магницкий М. Л. 61.
Мазаев М. 103.
Майков А. А 496.
Майков А. Н. 419, 497, 503.
Майков В. А. 496, 497, 501, 503, 06, 507.
Майков К. А. 497.
Майков Л. Н. 41, 171, 175, 497.
Майков Н. А. 496, 497.
Майкова Е. П. 499.
Майковы. 500, 502, 503, 505, 506.
Макаров К 245.
Максимов С. В. 386, 402.
Максимович М. А. 160, 171.
Максин. 366, 406, 407, 414.
Малинов кий А. Ф. 145, 149.
Малыхин П. В (1818—1867) педагог, редактор первой частной Воронежской газеты „Воронежский Листок". 563.
Мальгин. 24.
Мальцев С. 137, 166.
Мальцев К. 392, 393, 394, 395.
Мамонов. 327.
Мансырев Н. 352.
Марин. 28.
Марио. 419.
Маркевич Б. М. 476, 492.
Марковецкий. 291.
Маркс А. 367, 385.
Мармье. 335.
Мартынов. 113.
Масальский К. П. 285, 286.
Маслов И. И. 468, 477, 483.
Массильон 330.
Межевич В С. 356, 357.
Мей Л. А 391, 403, 413, 418, 509, 512.
Мельгунов Н. А. (1804 –1867) беллетрист (Рассказы о былом и небывалом. М. 1834. Гулянье под Новинским. М 1841 и др.) и музыкальный критик. В 1826 г. вместе с С. Шевыревым и В. Титовым перевел книгу Ваккенродера „Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, люби-

теля изящного, изданные Л. Тиком". 135, 137, 168, 325.
Меналков. 97.
Менгден. 380.
Мендельсон. 450.
Мерзляков А. Ф. (1778 — 1830). Перевел „Освобожденный Иерусалим" Тассо, поэт, литерат. критик. 24. 26, 27, 109, 110, 111, 112, 113, 114. 115. 116, 120, 121, 133. 135, 136.
Мериме. 335.
Мефодий (Тверской) 24.
Мещерский. 168, 324. 423.
Мещерские. 137. 175
Миллер Ф. Б. 376. 377, 380.
Милорадович М. А. 422.
Милюков А. П. 127, 521, 531, 535.
Милютин В. 548.
Минцлов С. 292.
Миркур. 335.
Михаил (Черниговский). 24.
Михайлов А. Р. (1802—1874) из крепостных купец участвовал в столичных и местных воронежских газетах. 563.
Мицкевич (1798 1855). 156, 158, 166, 169, 174, 187, 227, 290, 418. 471.
Могень. 335, 372.
Модзалевский Б. Л. 160.
Мольер. 29, 82, 83, 84, 114, 119, 123.
Монбелли Н. А. 524, 525.
Морошкин Ф. Л. 171.
Мочалов П. С. 131, 313, 154, 156, 157.
Муравьев-Апостол. 43, 149.
Муравьев А. Н. 140, 172, 173.
Муравьев М. Н. 23.
Муравьева Е. Ф. 66.
Муренко. 395.
Муромцева К. А. 7.
Мусин-Пушкин В. В. 24, 35.
Мусина-Пушкина. 495.
Муханов А. М. 159.
Муханов П. А. (1799 — 1854) был близок с декабристами, участвовал в разных альманахах и журналах, после суда в 1826 г. был сослан в Сибирь, где и умер. 161, 213.
Мятлев И. П. (1796 — 1844) эпиграмматист, печатавший сборнички своих стихотворений не для продажи (1834 — 1835), автор „Сенсаций и замечаний г-жи Курдюковой за границей, дан л'этранже" (3 части, 1840—44), известный под именем Ишки (см. Лермонтова „В альбом автору Курдюковой" 1840). 209, 212, 453, 465.
Надеждин Н. И. (1804—1856). Журналист, профессор моск. унив. 168, 171, 303.
Нартов. 5.
Нарышкин М. М. 143, 144, 147.
Неверов Я. М. 232. 325.
Некрасов Н. А. (1821—1877) 468, 472. 475, 476, 486, 487, 492, 541, 542, 543.
Нелединский-Мелецкий Ю. А. (1752—1829) 23. 60, 221.
Нечаев С. Д. 175.
Никитенко А. В. Из крепостных, профессор, цензор, мемуарист. 194, 197.

Никитин. 24.
Никитин И. С. (1824—1861) 514, 564.
Николаев. 24, 71.
Никольский. 24.
Никонов В. П. 280, 281.
Новикова. 115.
Новосильцев А. В. 239, 347, 349, 419.
Норов А. С. 139, 146, 175.
Норов В. С. 146.
Нордштейн А. П. Непременный член строительной и дорожной комиссии в Воронеже. 563.
Оболенский. 143, 166.
Огарев Н. П. (1813—1877)—поэт, политический деятель. 296, 297, 304, 306, 311, 329.
Одоевская. 179, 443.
Одоевский В. Ф. (1803—1869). 90, 111, 134, 135, 137, 139, 141, 142, 147, 155, 160, 172, 175, 179, 199, 441, 442, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 476, 492, 509.
Озеров В. А. 20, 24, 34, 40, 121, 137, 163.
Озерецковский. 24.
Ознобишин Д. П. (1803—1877)—поэт (в 1830 году вышел его сборник „Селам или язык цветов"), участник альманахов „Урания" (М. П. Погодина) и „Северные цветы" (А. И. Дельвига) 18-6, в 1827 г. вместе с Раичем составил альманах „Северная Лира" и сотрудничал в журнале Раича „Галатея" (1829—1830), печатался в Плетневском Современнике 1839 г., Погодинском „Москвитянине" 1841 г. и т. д. 139, 161.
Окэн. 132, 141.
Оленин А. Н. 39, 40, 41, 43, 46, 48, 57, 88, 250, 252.
Олин. 280, 281, 282, 292.
Ольховский. 477.
Орлов А. А. 427, 548.
Орлов М. Ф. 7, 65, 67, 68, 322, 324, 332, 336
Орлов Н. М. 348, 352, 356.
Осипов Н. А. 508, 515.
Орфанов. 436.
Остен-Сакен 145.
Остолопов Н. Ф. 103.
Островский А. Н. (1823—1886). 365, 366, 380, 385, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 399, 400, 401, 402, 403, 415, 416, 418, 421, 423, 536, 540.
Оуэн Р. 528.
Офросимов А. 110.
Очкин А. Н. 249.
Павлов М. Г. (1793—1840) профессор Москов. Унив., шеллингианец. 135, 168.
Павлов Н. Ф. (1805—1864), беллетрист („Три повести" 1835) и журналист. Для его литературной и общественной позиции любопытны его письма к В. Ф. Одоевскому („Русс. Старина" 1904, апрель) и „Четыре письма к Н. В. Гоголю 1847). 320, 321, 368, 369, 370, 371, 413, 418, 429.
Павлов С. П. (умер 1873) педагог, этнограф. 563.

Павлова К. К. (1810 — 1893). Поэтесса. 368, 369, 370, 372.
Пальм А. И. 524, 525.
Панаев В. А. 474, 488.
Панаев В. И. (1792 — 1859). Автор идиллий (1820). 45, 93, 95, 97, 103.
Панаев И. И. (1812—1862). 237, 245, 276, 321, 428, 467, 469, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 487, 488, 492, 504, 505.
Панов. 341, 342, 343.
Пассек В. 296, 297, 298.
Пассек Т. П. 513.
Пасынков. 280.
Перевощи ов В. 165.
Перевощиков Д. М. 307, 363.
Перовский Л. А. 562.
Перцов Э. П. (1804 — 1873) сотрудничал в „Заволжском Муравье", в „Библиотеке для чтения". Был знаком с А. С. Пушкиным, Е. Баратынским и Киреевским. В одном из писем Баратынского от 1832 года есть указание: „Я нашел в Казани молодого Перцова известного своими стихотворными шалостями, которого нам хвалил Пушкин". М. С. Щепкин, приезжавшей на гастроли в Казань, обычно останавливался у Перцовых. 556.
Пестель П. И. 148.
Петров О. А. 509.
Петров П. Я. 301.
Печкин М. М. 353, 354, 355, 362, 365, 366, 367, 623.
Пименов. 13.
Пинский М. А. 171.
Пинский М. М. 338.
Пирогов Н. И. знаменитый хирург. 128, 133.
Писарев (полковник). 7, 10, 13, 20.
Писарев. 43, 44, 122, 124, 125, 167, 171.
Писемский А. Ф. (1820 — 1881). 367, 385, 392, 413, 428, 492, 509, 512, 536, 540, 542.
Плавильщиков. 20.
Плетнев П. А. (1792 - 1862). 88, 90, 91, 95, 97, 111, 179, 187, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 203, 204, 207, 227, 230, 453, 504, 505, 533.
Плетнева. 179.
Плещеев А. А. 63, 76.
Плещеев А. Н. (1825—1893). 521, 523, 525.
Плюшар А. А. 239, 250, 251.
Погодин Д. М. 405.
Погодин М. П. (180—1875), 135, 139, 141, 160, 171, 187, 189, 318, 321, 336, 337, 338, 380, 402, 403, 404, 405, 416. 417, 419, 434, 44 , 533, 547, 548.
Подолинский А. И. (1806 — 1886) автор поэмы „Дивы Поэзии" (1827). 179, 188, 228, 278, 383.
Познанский. 227.
Покровский В. И. 434.
Полевой Н. А. (1796—1846) — издатель „Московского Телеграфа" (1825—1834), беллетрист и драматург. Для характеристики его отношений к современному ему

направлениям литературной и общественной жизни ценны его письма к А. Бестужеву от 1830–1831 г. г. („Известия по Русс. языку и словесности" 1929 том 2-й книга I). 151, 155, 156, 157, 160, 188, 189, 229, 236, 286, 287, 289, 312.

Полежаев А. И. (1805—1838). Поэт, за поэму „Сашка" отданный из студентов на военную службу. 132, 133.

Полетаева П. И. 58.

Полонский Я. П. (1819–1895). 348, 349, 352, 509, 512, 513, 540.

Полторацкие. 41.

Полторацкий. 477.

Пономарев. 20.

Пономарев А. И. 103.

Пономарева С. Д. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103.

Попов А. Н. (1820 — 1877), историк — знаток войны 1812 года, был близок к славянофильскому лагерю. 327, 331.

Попова Е. И. 328.

Потехин А. А. 385, 513.

Потехин Н. А. 435.

Придорогин И. А. (ум. 1859) из купцов, питомец Москов. Университета эпохи Грановского; по словам Александрова-Дольника, „спорщик, крикун, прозванный нами красным", приятель Кольцова. 563.

Приклонский Н. М. 557.

Прокопович-Антонский А. А. 136.

Протасова Е. И. 218. 544, 545.

Путята Н. В. (1802—1877)— был близок к Пушкинскому кружку, автор многих историко-литературных статей в „Рус. Архиве", в „Беседах Общества любителей Российской словесности" в 60—70 годах. 139.

Пушкин А. М. 115.

Пушкин А. С. (26 мая 1799—29 января 1837). 38, 67, 79, 88, 89, 90, 91, 98, 111, 123, 130, 137, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 204, 205, 209, 210, 211, 112, 213, 215, 221, 222, 224, 227, 228, 229, 237, 240, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 292, 309, 322, 329, 347, 418, 441, 443, 444, 445, 446, 453, 475, 476, 480, 504, 508, 515, 526, 528, 542, 525, 560.

Пушкин В. Л. (1770—1830)— автор сатиры „Опасный сосед" (1815), многих басен, стихотворений (сборник 1822 года, „Записки в стихах" М. 1834 и др.). 26, 27, 60, 70, 71, 72, 73, 113, 115.

Пушкин Л. С. 180.

Пущин И. И. 143.

Пыляев М. 292.

Пыпин А. Н 532, 535, 536 537, 538, 549.

Рабус К. И. 376, 377, 380.

Раевская. 332.
Раевский А. Н. 336.
Раич С. Е. (1792 — 1855) — магистр словесных наук („Рассуждение о дидактической поэзии" М. 1822); педагог, воспитатель Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова; издатель альманахов „Новые Аониды" (М. 1823) и „Северная Лира" (М. 1827), редактор журнала „Галатея" (1829—30, 1831—40), переводчик поэм: „Виргилиевы Георгики" (М. 1821), „Освобожденный Иерусалим" Тасса (М. 1848, 4 части) и „Неистовый Орланд" Ариоста (М. 1834 - 37; автор многих стихотворений. 139, 161, 166, 168, 171, 172, 377.
Раль. 233.
Рамазанов. 385, 388, 400, 403, 404, 405, 407, 413, 418, 512, 519.
Расин. 44, 46, 85, 330.
Рассадин И. 435, 436.
Ратынский Н. А. 351.
Рахманов. 139
Рахманова. 20.
Рашель. 357, 403, 405, 419.
Редкин П. Г. 323, 347, 350.
Рязанов В. И. 111.
Рекамье. 323.
Репин. 465.
Рихтер. 166.
Робеспьер. 478, 479.
Родзянко А. Г. (1793—1850) поэт; к нему есть послание Пушкина („Прости, украинский мудрец"). 41.
Родзянко С. Поэт, переводчик („Белый бык" повесть Вольтера. М. 1802). 110, 111.
Розберг М. П. (1804—1874) кончил курс М ков. Универ. в 1825 году со степенью кандидата философского факультета; редактор „Одесского Вестника" (1830 — 1834); профессор рус. языка и словесности в Дерптском унив. (1836—1867). 151, 152, 153, 154, 160.
Розен Э. Ф. (1800 — 1860) — поэт, драматург 30-х годов. (1179—1791). 188, 190, 2 7, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 272, 275.
Розенгейм М. П. 513.
Рожалин Н. М. (1805—1834) перевел „Страдания молодого Вертера" (издан. 1828—29); в Москов. Вестнике, где он некоторое время был помощником редактора, имеется несколько его переводов и рецензий. Ближайший друг Д. Веневитинова, посвятившего ему несколько стихотворений. 137, 141, 147, 152, 166.
Ростовцев Я. И. 532, 533.
Ростопчина Е. П. (1811 — 1858) поэтесса („Стихотворения" 1841); автор „Очерков большого света" (1839), „Насильный брак" появился в „Северной Пчеле" 1846; ей принадлежит „Дом сумасшедших в Москве" 1858 — продол-

жение Воейковской сатиры под тем же заглавием. 203, 212, 369, 410, 411, 412, 413, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 441, 494,
Рубин . 472.
Рубинштейн А. Г. (1829—1894). Композитор 402.
Рубинштейн Н. Г. 400, 402.
Рулье. 356, 386, 407.
Румянцев Н. П. 4.
Руссо Ж. Ж. 330, 354.
Рыбников П. Н. (1831—1885). Известный собиратель устной поэзии. 429, 430, 431, 434, 435, 436, 437.
Рыкалов. 20.
Рылеев К. Ф. (1795—1826)—поэт-декабрист. 132, 143, 149, 184, 283.
Рындовский Ф. М. (1783—1839) — участник многих журналов конца XVIII и начала XIX в.; отдельно изданы его сочинения: Печальные, веселые и унылые тоны моего сердца" 1809: „Сотворение мира" поэма 1832 года и „Путешествия и отды "стихотв оный рассказ, Казань, 1833. 556, 557.
Рязанцев. 291.
Савиньи. 446.
Садовский П. М. (1818—1872). 356, 363, 364, 365, 366, 367, 385, 388, 395, 397, 403, 404, 414.
Салиас-де-Турнемир Е. В. (1815—1892 —автор романа „Племянница" (1851) вызвавшего рецензию И. С. Тургенева („Современник" 1852), сотрудница в 50-х годах в „Отчет. Записках", „Библиотеке для чтения", „Русском Вестнике", сестра А. В. Сухово-Кобылина, имевшего отношение к ее романическому эпизоду в юности с Н. И. Надеждиным. 424, 425, 427.
Салтыков М. Е. (1826—1889). 431, 535.
Салтыков А. Н. 60.
Салтыков М. А. 60.
Самарин И. В. 356, 418.
Самарин Ю. Ф. (1819—1876). Славянофил. 212, 319, 323, 325, 328, 372.
Самборская С. 341.
Смойлов. 33.
Самсонов. 490.
Санглен Я. И. 377.
Санковская, 357.
Сатин Н. М. 329.
Сахаров И. П. 441, 490.
Свербеев Д. Н. 324, 328, 334, 336, 372
Свечины. 175.
Свиньин П. П. 271.
Свириденко. 432, 435.
Севостьянов. 24.
Северин Д. П. (1791—1865)—обязан своим званием арзамасца „почти исключительно дружескими связями с писателями карамзинистами"; служил по министерству иностранных дел; на него есть эпиграмах Пушкина „Жалоба" 1823. 59, 70, 77, 78.
Северцев Н. А. 418, 519.
Селиванов В. В. 373, 376.
Семенов В. Н. 265, 266.

Семенов. 20. 21, 33, 34, 40.
Сенковский О. И. (1800 — 1858). Журналист (редактор „Библиотеки для чтения"), беллетрист. 233, 234, 235, 251, 252, 254, 258, 259, 261, 264, 265, 273.
Сен-Симон. 529.
Сербинович К. С. 501.
Серов А. Н (1820 — 1871). Композитор. 442.
Симонов И. М. (1795—1855) профессор астрономии в Казанском университете. 559, 560.
Синецкая. 122.
Синявин. 325.
Скалон. 452, 453.
Скобелев И. Н. (1778—1849) комендант Петербургской Крепости (с 1839 г); известный доносом на Пушкина (в 1824 г.) за его вольнолюбивые стихотворения, автор рассказов из солдатской жизни („Беседы русского инвалида" 1838. „Кремнев, русский солдат. Оргинальное драматическое представление". 1839 и проч.). 198, 202, 313, 468.
Сленин 187.
Слепцов. 337.
Слепушкин Ф. Н. 270, 271, 272.
Смирдин А. Ф. (1795—1857) книгопродавец и издатель, пользовавшийся большой популярностью среди писателей (в 1832 году ряд литераторов поднесли ему для издания свои сочинения, из которых составилось три тома сборника „Новоселье" 1833, 1844 и 1846 г. г.), памятный между прочим шуточными стихами Пушкина „Коль ты к Смирдину зайдешь..." и т. д. 251, 261, 265.
Смирнов А. М. 26.
Смирнов С. И. 114, 119.
Смирнова (Россет) А. О. (1809 — 1882) фрейлина (с 1826 года), в 1829 году вышла замуж за Н. М. Смирнова, впоследствии получивш го пост губернатора в Калуге (1845 — 1851) и Петербурге 1855 — 1861); автор записок, где сохранены интересные подробности о Пушкине, Гоголе и др. писателях, с которыми она была в дружеских связях. Ее автобиография приготовлена к печати Л. В. Крестовой (изд-ство „Мир"). Тургенев изобразил ее в образе Ласунской („Рудин") и упомянул в „Отцах и детях". 90, 208, 211, 212, 427.
Смирнова О. Н. 212.
Снегирев И. М. 157, 161.
Соболев М. Е 386, 389.
Собо евский С. А. (1804 — 1870) — известный эпиграмматист, библиофил и библиограф, был близок с Пушкиным, Баратынским, Мицкевичем, Мэриме. 137, 157, 158, 166, 168, 356, 418, 476.
Соколов И. И. 515.

Соколов Н. И. 44.
Соколов П. И. 21, 22, 23, 181.
Соколов П. П. (1829—1899). Акварелист. 488, 495.
Соколовский В. Автор драматич. поэмы „Хеверь" (1837 231.
Солдатенков. 437.
Сологуб В. А. (1814—1882)— автор повести „Тарантас". 213, 314, 215, 221, 340, 369, 441, 453, 455, 456, 457, 476, 489, 495.
Солнцев А. А 512.
Солнцев Ф. Г. 41, 383.
Соловьев С. М. 348, 352, 547, 548.
Солоницын В. А. 499, 500, 501, 502.
Сомов О. 93, 95, 97, 103, 184, 186, 187, 188, 190, 194, 263.
Спасский. 188
Сперанский М М. 44, 88.
Спешнев Е. А. 525.
Спиноза 141.
Сталь. 540.
Станкевич Н. В. (1813—1840). 301, 302, 303, 304, 305, 323, 329
Старчевский А. В. 335, 496, 507.
Стахович А. А. 365, 367.
Стахович М. А. 327, 385, 388.
Степанов. 242.
Степанова. 201.
Столпянский. 192.
Строганов. 24, 364.
Строев В. М. 161, 249, 258.
Струговщиков А. Н. 242, 245.
Струйский Д. Ю. поэт, писавший в 1830—1840 году под псевдонимом Трилунный; музыкальный критик. 289.
Студицкий. 349, 350.
Ступин. 69.
Стурдза А. С. (1791—1554), известен реакционной работой в главном управлении училищ (с 1818 года); Пушкин на него написал эпиграмму „Холоп венчаного солдата" и „Я вкруг Стурдзы хожу"—пародию на песню „Я вокруг бочки хожу". Проживая в Одессе, писал на религиозно-нравственные темы; попал в роман Тургенева „Рудин" под именем „благопотребного старца Роксолана Медиаровича Ксандрыки". 45, 69.
Суворов. 70.
Сумароков А. П. 20, 30, 121.
Сумароков П. И. 113.
Сухово-Кобылины. 171.
Сухово-Кобылин А. В. (1817—1903). 424.
Сухомлинов М. И. 534.
Сушков Н. В. (1796—1871), поэт, драматург („Москва" 1847 и др.) издатель 3-х литературных сборников „Раут" (1851, 52, 54). О его салоне упоминает Ф. И. Тютчев в письмах к своей второй жене: „Гостиная Сушковых, если и не первая в Европе, то бесспорно самая многолюдная. Это постоянная

толчея . . . . . Надо сознаться, что салон Сушковых положительно приятен". 325.
Тасс 120.
Татищев Н. А. 279, 280.
Телегин М. П. 117.
Тепляков В. 90, 227.
Тимковский Р. Ф. 7, 23.
Тимофеев А. В. Поэт 30-х годов („Песни" 1835, „Опыты" 1837 . 203.
Тимофеев. 534
Титов В. П. (1807 — 1891), под псевдонимом Тита Космократова сотрудничал в „Мнемозине", „Моск. Вестнике" и др. органах, где участвовали „Архивные юноши"—любомудры. В „Северных Цветах" на 1829 г. (стр. 147—217 со слов Пушкина передана повесть „Уединенный домик на Васильевском Острове". После службы в Московском архиве коллегии иностр. дел в 1830 году получил назначение в посольство в Константинополь. 135, 137, 139, 147, 161, 166, 213.
Толстой А. К. 212, 514.
Толстой Г. М. 339, 340, 486.
Толстой Л. Н. (1827—1910), 428, 475, 476, 509, 513, 541, 549.
Толстой Ф. М. 454, 457.
Толсто Ф. П. 41, 203, 242, 508, 519.
Толстой Я. 38.
Томашевский А. Ф. 139.
Томская М. В. 279.
Третьяковский В. К. 346.
Трощинский Д. П. 24, 41.
Трубецкой Н, И. 144.
Трутовский К. А. 515.
Туманский В. 212
Тургенев А. И. 46, 47, 49, 56, 64, 70, 79, 90, 104, 110, 111, 113, 174, 323, 329.
Тургенев Андрей И. Поэт-сентименталист, переводчик Шекспира, Коцебу, 104, 110, 111, 112
Тургенев И. С. (1818—1883) 207, 313, 401, 419, 424, 425, 426, 427, 428, 468, 469, 475, 476, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486. 487, 492, 506, 509, 538, 513, 539, 541, 542.
Тургенев Н. И. 65.
Турчанинов И. Е. 394, 414.
Тучков 436.
Тютчев А. Ф. 216, 220.
Тютчев Н. Н. 466, 470, 472, 477, 483.
Тютчев Ф. И (1803—1873) О нем библиография. Д. Д. Благого в Тютчевском сборнике, П. 1923. 139, 161, 491, 492.
Уваров С. С. 40, 42, 47, 48, 52, 53, 54. 56, 59, 67, 70, 71, 78, 88.
Ушинский К Д.—Известный педагог. 549.
Федоров Б. М. 270, 280.
Федоров С. 436.
Фейербах 407.
Фенелон 330.
Феоктист (Курский) 24.
Феоктистов 128, 129.
Феоктистов Е. М. (1829—1898) сотрудник в 50-х годах „Современника" (ре-

цензия и переводы); редактор „Русской Речи" (1861), журнала Евгении Тур, сменивший впоследствии свои либеральные настроения на реакционно-охранительные, проявившиеся особенно в бытность его начальником Главного Управления по делам печати (с 1883 г.). Недавно вышли его воспоминания под редакцией Ю. Г. Оксмана („За кулисами политики и литературы" Л. 1929). 424. 425, 427.

Фет А. А. (1820–1892). 344, 362, 364, 365, 370, 372, 427. 487, 535. 540.

Фикельмон Д. Ф. 223.

Филиппов П. Н. 525, 556, 557,

Филиппов Т. И. 385, 387, 388, 389, 403, 413, 418.

Филомафитский Е. 555.

Фихте 141.

Фомин А. Г. 192, 563, 564.

Фонвизин Д. И. 475.

Фо. витин М. А. 147.

Фришман И. К. 386,

Фро ов П. Г. 338.

Фукс А. А. (умерла в 1853) принимала деятельное участие в Казанском Журнале „Заволжский Муравей"; в 1834 году издала свои „Стихотворения" (192 стр.); в 1836 г.—повесть в стихах взятую из татарских преданий „Основание города Казани"; писала также водевили и этнографические этюды. Свое знакомство с А. С. Пушкиным, бывавшим у ней в Казани, описала в „Казанских Губернских в домостях" за 1841 № 2 (с приложением к ней писем поэта); ей принадлежит стихотворение" На проезд А. С Пушкина через Казань" О своих литературных вечерах. А. А. Фукс передает в стихотв. „Разговор с Музою. После отъезда Е А. Баратынского из Казани". Баратынский посвятил ей стихотворение „А. А. Ф ксовой" („Вы ль дочерь Евы, как другая", М А. Языков—стих. А А. Фукс („Зав ден жребий Ваш") 556, 560, 561.

Фукс К. Ф. (умер в 1846), профес ор Казанского университет , знаток истории и этнографии Казанского Края. 556, 560.

Фурье 528.

Хвостов А. С. 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 27, 47.

Хвостов Д. И. (1757—1835) поэт-метроман, поклонник классической школы XVIII в., воспетый в эпиграммах почти всех писателей начала XIX в. (Державин, В. Жуковский, Воейков и др.); упомянут между прочим в „Медном Всаднике" (1833). 24, 70, 75, 77, 104.

Хвощинская Н. Д. Писала под. псевдонимом Крестовский. 513.

Херасков М. М. 23, 163.

Хитрово Е. М. 221, 222, 284.
Хлебников 434.
Хмельницкий Н. И. 38, 283, 284.
Ховрины 325.
Хомутов 556.
Хомяков А. С. (1804—1860). поэт, драматург, славяно-ф л. 166, 212. 213. 317, 318. 321, 323, 324, 329 372, 386, 403, 404, 405, 413, 4 6, 430, 432, 547.
Чаадаев П. Я. (1793—1856), автор знаменитых „Философических писем", пострадавши за одно из них, напечатанное в „Телескопе" (1836); Пушкин посвятил ему несколько стихотворений 312, 320, 323, 324, 332, 333, 334, 335, 336, 431.
Чеботарев. 24.
Черкасский В. А. 348, 349.
Чернышев 257.
Чернышевский Н. Г. 549.
Чиабатта 444.
Чистов 128. 129. 130.
Чистяков. 350, 351.
Шаликов П. И. 27.
Шатобриан 23
Шаховской А. А. (1777—1846) 24, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38. 41, 48, 49, 50, 51, 57, 71, 72. 91, 122, 123, 125, 127, 167, 171, 443.
Шебуев. 39.
Шевченко Т. Г. 514.
Шевырев С. П. (1806—1864) поэт, теоретик и историк литературы, профессор Московского Универс. (с 1834 г.) 135, 137, 139, 147, 160, 161, 162, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 187 188. 318, 319, 321, 323, 351 372, 416.
Шекспир. 106, 349, 368, 476.
Шелихов. 154.
Шеллинг. 132, 136, 141, 323.
Шиллер 81, 112, 328, 347, 551, 372. 379.
Шиллинг. 441.
Шипов С. П. 559.
Ширков 285.
Шишков А. С. (1754—1841) крупный государственный чиновник, создатель цензурного устава 1826 г да; „тупой" реакционер, известен фантастическими словопроизводствами, глава „Беседы любителей русского слова" (с 1811 года), наводнивший Академию Наук (где был президентом 1813—1841 г. г.) совершенно неизвестными в науке лицами („Набил Академию попами") 5, 6, 11, 12. 14, 15. 19, 22. 23, 25, 27. 29 43, 44, 45, 69, 77, 104, 122.
Шлецер. 136.
Шихматов. 6, 11, 13, 14, 15, 28
Штейн. 67.
Шульгоф. 419.
Шульц. 334.
Шушерин. 20, 21, 120.
Щастный. 179. 290.
Щебальский 41.
Щелков А. Д. 525.
Щепкин М. С. (1788—1863). 122, 123. 126, 167, 168, 323, 355, 363, 364, 402, 407, 416, 418, 420, 465.

Щербина Н. Ф. (1821—1869) 356, 421, 422, 423, 424, 425, 509, 510, 511, 512, 517.
Шулепников Н. С. 7, 8, 10, 17, 24.
Эд льсон А. 397.
Эдельсон Е. Н. 365 385, 392, 398, 403, 413, 418.
Эльслер Фа ни. 419.
Эристов Д. А. 179, 180.
Юнге Е. Ф. 379. 508, 520.
Юрьев Ф. Ф 38.
Юсупов. 247.
Ю—ч П. И. 249.
Ягужинский Н. 394.
Языков М. А. (1811—1858) 468, 477, 483, 485.
Языков Н. М. (1803 – 1849) 182, 184.
Языкова Е. М. 328.
Яковлев М. Л. 179, 180, 184.
Яковлев М. А. 259 291.
Якубович Л. М. 292.
Якушкин П. И. 388.
Яненко Я. Ф. 238, 240, 242, 253, 254, 257, 259, 260, 407.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр.

1. Г. Р. Державин. С масляного портрета 32— 33
2. А. С. Шишков. С масляного портрета . . 32 – 33
3. В доме А. Н. Оленина . . . . . 48— 49
4. Семейство Голицыных. Из журнала „Мир Искусства“ за 1902 г. № 4 . . . . 48— 49
5. В. Ф. Одоевский. С литографии по рис. акад. К. А. Горбунова . . . . 144—145
6. Н. А. Полевой. С литографии . . . . 144—145
7. Салон Зинаиды Волконской. С картины худ. Мясоедова . . . . 160—161
8. Д. В. Веневитинов. С масляного портрета неизвестного художника . . . . . 160—161
9. И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский и Н. И. Гнедич в 1832 г. С картины худ. Григория Чернецова . . 192—193
10. П. А. Плетнев. С гравюры Иордана . . 192—193
11. А. О. Смирнова . . 208—209
12. Н. В. Кукольник . . . . 208—209
13. Н. И. Греч . . . . 288—289

Стр.

14. А. Ф. Воейков. Из журнала „Русская Старина" за 1875 г. № 12 . . . . . 288—289
15. Н. В. Станкевич. С акварели . 304 - 305
16. А. И. Герцен . . . . . 304—305
17. П. Я. Чаадаев. С гравюры на стали . . . 336 - 337
18. А. П. Елагина. С фотографии . . . . 336—337
19. А. А. Григорьев. С фотографии . . . . . 352—353
20. Каролина Павлова. С фотографии . . . . . 352—353
21. Авдотья и Федор Глинки. С фотографии . 384 - 385
22. А. Ф. Вельтман . . . . . 384—385
23. Е. П. Ростопчина. С фотографии . . . 400—401
24. Е. А. Салиас-де-Турнемир. С фотографии . 400—401
25. П. Н. Рыбников. С фотографии . . 464—465
26. В. Г. Белинский. С литографии по рис. акад. К. А. Горбунова . . . . . 464—465
27. В. А. Соллогуб. С литографии . . . . 480—481
28. Ф. Толстой. Семья художника . . . . . 480—481
29. С. Ф. Дуров . . . . . 528—529
30. А. А. Плещеев. С литографии Мюнстера . 528 - 529
31. И. И. Введенский. С фотографии . . . . 544—545
32. А. А. Краевски. С фотографии . . . . . 544—545

№№ 1, 2, 5, 6, 8—13, 15—17, 19—24, 26, 27, 29—32 из собрания Пушкинского Дома.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Н. Л. Бродский. Предисловие . V

В ПЕТЕРБУРГЕ С НАЧАЛА XIX В. ПО 20-е ГОДЫ.

У Державина 3
Литературный вечер у А. С. Шишкова.—С. П. Жихарев 6
Литературный вечер у Г. Р. Державина.—С. П. Жихарев 13
Литературный вечер у А. С. Шишкова.—С. П. Жихарев 18
Литературный вечер у Г. Р. Державина.—С. П. Жихарев 25
Литературный вечер у А. С. Хвостова.—С. П. Жихарев 27
Литературный вечер у А. А. Шаховского.—С. П. Жихарев 31
Дом А. С. Оленина.—С. Уваров 39
Беседа Любителей Российского Слова.—А. Стурдза 43
Арзамас.—Ф. Вигель, М. Дмитриев, Д. Дашков, А. Блудова 46
Литературные вечера в 1819 г.—Ф. Булгарин . 81
Субботы В. А. Жуковского.—П. А. Плетнев . . 88
Салон С. Д. Пономаревой.—В. П. Гаевский . . 92

Стр.

В МОСКВЕ С НАЧАЛА XIX В. ПО 20-е ГОДЫ.

Дружеское литературное общество.—А. Мерзляков, А. Тургенев 109
Литературные вечера Ф. Ф. Иванова.—М. Дмитриев 114
Литературное общество И. М. Долгорукого. — М. Дмитриев 116
Литературные собрания у Ф. Ф. Кокошкина.— С. Т. Аксаков . . 119
Десятый нумер.—Н. И. Пирогов 128
Кружок архивных юношей.—А. И. Кошелев . . 134
Кружок С. Раича.—А. И. Кошелев . 139
Кружок любомудров.—А. И. Кошелев . . 141
Кружок Н. А. Полевого.—К. А. Полевой 151
Кружок Д. Веневитинова.—М. П. Погодин 161
Салон Зинаиды Волконской.—С. Шевырев 172

В ПЕТЕРБУРГЕ 30-х ГОДОВ.

Литературные вечера Дельвига. — А. И. Дельвиг 181
Субботы П. А. Плетнева. — В. П. Гаевский, А. В. Никитенко, И. С. Тургенев . 193
Салон А. О. Смирновой-Россет. — П. А. Вяземский 208
Салон Е. А. Карамзиной. — А. И. Кошелев, В. А. Сологуб, А. Ф. Тютчева . . 213
Салон Е. М. Хитрово.—П. А. Вяземский . 221
У Е. Карлгоф.—Е. Карлгоф-Драшусова . 226
Среды Н. Кукольника.—И. И. Панаев . 237
Четверги Н. И. Греча.—В. Бурнашев . . 246
Пятницы А. Ф. Воейкова.—В. Бурнашев 267

Стр.

В МОСКВЕ 30—50-х ГОДОВ.

Кружок А. И. Герцена.—А. И. Герцен . . . 295
Кружок Станкевича. — К. С. Аксаков, А. И. Герцен 301
Кружки з падников и славянофилов.—А. И. Кошелев, А. И. Герцен . . . 316
Салон А. П. Елагиной.—К. Д. Кавелин . . . 326
У М. Ф. Орлова.—А. И. Герцен 332
Понедельники П. Я. Чаадаева.—Д. Свербеев 334
Субботы С. Т. Аксакова.—С. Т. Аксаков . . . 337
Кружок Ап. Григорьева.—А. А. Фет 344
Литературная кофейня Печкина.—А. Д. Галахов, А. А. Фет, А. Стахович 353
Салон Каролины Павловой. — Н. В. Берг, А. А. Фет 368
Понедельники Ф. Н. Глинки. — В. В. Селиванов, Н. В. Берг 373
Четверги А. Ф. Вельтмана.—Н. В. Берг . . . 380
Кружок Молодой редакции „Москвитянина". — И. Ф. Горбунов, С. В. Максимов, Н. В. Берг. И. Ф. Горбунов 385
Салон Е. Ростопчиной.—Н. В. Берг 410
Салон Е. А. Салиас.—К. Леонтьев . 424
Кружок П. Н. Рыбникова.— П. П. Деркачев 429

В ПЕТЕРБУРГЕ 40—50-х ГОДОВ.

Салон В. Ф. Одоевского. — М. П. Погодин, В. В. Ленц, Ю. Арнольд . . . 441
Кружок Белинского. К. Д. Кавелин 466
Кружок И. И. Панаева. В. А. Панаев . . . 474
Салон В. А. Соллогуба.—В. А. Соллогуб . 489

Стр.

Дом Майковых.—В. В. Старчевский. 496
Среды Ф. Толстого. Е. Ф. Юнге 508
Кружки С. Дурова и А. Плещеева.—А. Милюков 521
Кружок И. И. Введенского.—А. Н. Пыпин . . . 532
У А. А. Краевского.—А. Н. Пыпин . . . 536
Кружок редакции „Современника". — А. Н. Пыпин 538

В ПРОВИНЦИИ.

Первые литературные вечера в Харькове.—Г. Данилевский 553
Литературные вечера в доме А. А. Фукс (Казань).—Н. И. Второв 556
Кружок Н. И. Второва.—К. О. Александров-Дольник, Н. И. Второв 562
Именной указатель 565
Список иллюстраций. . 587